

K 975531

**ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ**

1



**Избранные
произведения
в
двух
томах**



**ТОМ
1**

**«СОВРЕМЕНИК»
МОСКВА
1982**

ВАЛЕРИЙ АЕМЕНТЬЕВ

СЕВЕРНЫЕ ФРЕСКИ

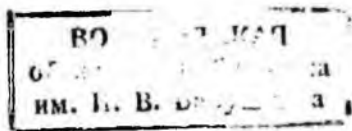


ЛИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



ГРАНИ ВЕКОВ

К 975531



8P
Д30

+ Кр

Дементьев В. В.

Д30 Избранные произведения в 2-х томах. Т. 1. — М.: Современник, 1982. — 527 с.

Первый том известного советского критика Валерия Дементьева составили произведения, которые в целом дают представление о большом пласте нашей культуры — о творчестве писателей XIX — начала XX веков, о древней и современной русской живописи.

4601000000—175
Д М106(03)—82 294—82

ББК83.3(2)+85.143(2)1
8P+75C1



СЕВЕРНЫЕ ФРЕСКИ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

*Памяти матери моей
Екатерины Александровны*

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной...

Это двестишестидесятые в прошлом веке нередко приводилось как образец «пушкинской» гармонии, хотя на самом деле оно принадлежит Константину Николаевичу Батюшкову, современнику великого поэта. Нынче это — поэтический афоризм, вроде бы совершенно утративший родословную, известный безымянно, но все-таки сохранивший и красоту, и изысканность, и свежесть, которые свойственны именно поэтам пушкинской плеяды и которые все более ценятся в наши дни.

Для меня чудесная сила этих строк — в глубоком вздохе, как бы невольно вырвавшемся из человеческой груди, в запоздалом сожалении, что ли, в просветленной печали, а может, и просто — в воспоминаниях, в виденьях наяву, как говорили во времена Батюшкова. Иначе говоря, для меня в этом стихотворении скрыты чувства томительные, почти не переводимые на язык прозы. И всегда, когда я их прочитываю, незагаданно, неизбежно возникает желание воскресить страницы прожитой жизни, углубиться в себя, задуматься. Вот и теперь, поддавшись очарованию старинного полустиха, медленно, медленно разворачиваю свиток пережитого...

В декабре сорок второго года сразу же после уроков мы с моим другом Толей Ульяновым, погибшим через несколько месяцев в атаке, пошли на призывной пункт —

повестки из военкомата лежали в наших потрепанных школьных портфелях. Помнится, в красном уголке, битком набитом бритоголовыми подростками, какими в ту пору были и мы, шел концерт... Артист местной филармонии под трофейный аккордеон пел песню. Поразила меня не мелодия — она была самодельной, если можно так сказать о мелодии, — поразили слова песни. Никто из нас не знал автора, да, пожалуй, и не задумывался над тем, был ли у нее, у этой песни, какой-то конкретный автор. А он был, был автор, был поэт, написавший пронзительные до дрожи стихотворные строки: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Да, стихотворение Константина Симонова «Жди меня» как заговор, как заклинание повторялось тысячами людей, хотя не судьба была вернуться многим из них ни в ближайшие дни, ни в ближайшие годы...

А в разгар военных действий, летом сорок четвертого года, мне впервые довелось выползти на «нейтралку» на Карельском перешейке, где в декабре сорок второго пропал без вести мой отец. Нашему взводу необходимо было заминировать передний край обороны... Потом, несколько месяцев спустя — проклятая война! — на этих же минных полях подрывались мои товарищи-саперы: во время перемирия мы получили приказ снять минные заграждения, снять на той же нейтральной полосе, которую перепахал, обезобразил артиллерийский и минометный огонь.

Затем — прорыв на Сандомирском плацдарме; польские села, горящие вдоль всего горизонта; заводские трубы и концлагеря Верхней Селезни; отчаянная переправа через Одер и, наконец, тот майский полдень, когда от гражданского немца я услышал: «Пан офицер, война капут!»

...Дождь накрапывал с самого утра. Небо, как бы застывшее в серой неподвижности, укрывало пашни, селения, далекие предгорья, которые едва обозначались в морозящей мгле. За предгорьями — Чехословакия, а здесь — Германия, которая, впрочем, была для нас все теми же пашнями, дорогами, городками с кирхами, гастхаузами, была всей этой сумеречной природой, застывшей в каком-то угрюмом ожидании. В такие дни появлялось ощущение, что снова может повернуть на

снег, на холода и что войне еще долго не будет ни конца, ни краю.

Вот почему под низким немецким небом двор какого-то богатого бауэра, вымощенный плитами, заваленный мокрой соломой, казался непомерно огромным, просторным. Мы ходили по соломе, пахнувшей сыростью и чем-то давним, деревенским, и разматывали телефонный провод, привязывали к нему белые лоскутки. Ночью наш взвод саперов-разведчиков должен был сделать проходы в минных полях, а затем обозначить эти проходы телефонным проводом с лоскутками. За долгие годы войны работа стала привычной, и все-таки солдаты спешили, чтобы поскорее укрыться где-нибудь от дождя.

Внезапно из-за черепичных крыш, которые мокро краснели под дождем, в небо врезались огненные сверла — это ударили гвардейские минометы. И в ответ незамедлительно раздался скрежет немецких шестиствольных минометов, в просторечии называемых «ишаками». Мины падали густо — они взметнули солому, обнажили плиты двора, рассеяли осколочные брызги. Налет кончился внезапно, как и начался, но в дальнем углу двора остались лежать несколько солдат: их намокшие шинели горбились на спинах, их тяжелые крестьянские руки были уронены в вороха соломы.

К вечеру дождь припустил, и вся округа потонула в сизом дыму. Мы сидели в окопах, прислонившись к стенкам, накрывшись с головой плащ-палатками, покуривали, прислушивались к редким выстрелам, к шуму дождя, барабанившему по плащ-палаткам, и томительно ждали ночной темноты. Сержант первого отделения, разбитной парень из-под Луги, не уставал удивляться — когда это пехота успела выкопать траншеи да еще нарыть себе нор, откуда кое-где торчали солдатские ботинки.

— Дают братья славяне, — ворчал он. — Как речные раки: клешня в норе, а... наружу...

Взлетели первые сигнальные ракеты. Их радужные венцы подсказали нам — пора на «нейтралку». Осклизшая от дождей корка пашни продавливалась под руками, и тогда в мягкой, паровитой борозде мы нащупывали тарелки тяжелых противотанковых мин. Перева-

лившись на бок, как и другие саперы, я часто вытирал о ватник руки, облепленные землей, подолгу грел их под мышками, но пальцы были мокры и скользки, они дрожали, когда я вывинчивал медную гайку взрывателя и клял про себя и эту ночь, и дождь, и «нейтралку», и немцев, чьи голоса раздавались впереди меня.

А небо светлело с каждой минутой, оно прояснялось, загоралось вишневыми отблесками, становилось лазурнее, выше. И когда я на миг поднялся на локтях и оглянулся назад, то увидел неправдоподобно огромный раскаленный солнечный шар.

...Впереди стих слитный грохот дизельных моторов, резкие выстрелы танковых пушек, лязг гусеничных траков. Пехотинцы по одному, нащупав ступеньки в передней стенке траншеи, привычно выскакивали на пашню и бежали по колеям, оставленным танковыми гусеницами. Повсюду зеленели всходы пшеницы, чуть дальше кудрявился лесок, еще дальше голубели предгорья.

Уже не двор немецкого бауэра — земля становилась с каждой минутой светлей и просторней. Только никто из нас представить себе не мог, что это была наша самая последняя на войне атака, что горячее солнце, поднимавшееся за нашими спинами, было солнце победы; нет, мы знали и помнили совсем другое, мы рвались к предгорьям, мы должны были достичь их в этот же день.

Солнце давно перевалило за полдень, когда я проснулся, — мне казалось, всего несколько минут назад я забрался на подводу, заваленную саперным имуществом.

Стояла подвода в немецком городке, на ратушной площади, среди сотен фургонов, самоходок, танков, грузовиков с прицепленными сзади пушками-сорокапятками. Не только городок, вся округа была забита армейскими обозами и военной техникой: наступление шло стремительно, хотя иногда возникали заторы вроде того, в какой мы попали теперь. Куда ни глянешь — всюду окопная братва: с возов, с брони самоходок торчали

солдатские ботинки с засохшей грязью, мелькали шинели, ватники, телогрейки, слышались звуки трофейных аккордеонов, разноголосое пенье солдат. В желтых фаэтонах, украшенных гербами, сидели пехотные офицеры — они громко смеялись, покуривали трофейные сигары, с напускной важностью поглядывали вокруг.

Нестерпимо хотелось пить. Я свернул в ближайшую улицу и пошел мимо серых домов, сверкавших в вечерних лучах множеством окон, белевших рядами простыней.

Согбенный немец, попавшийся навстречу, к счастью, хорошо говорил по-польски. Он позвал меня за собою, мы прошли дворик, поднялись по сумеречной лестнице, вошли в кухню, бедновато и просто обставленную, и здесь-то прямо из-под крана этот старый цинильный немец напоил меня.

— Пан офицер,— повторял он, глядя на меня старчески спокойными глазами,— война капут!

Еще что-то добавил про передачи Би-би-си, но даже и тогда я не придавал значения его словам — за последние месяцы войны кому из нас не доводилось слышать это самое «капут» из уст любого жителя Германии?!

Когда я вышел из дворика, наши части ушли вперед, а мне необходимо было догнать штурмовые группы батальона. Я вернулся к старику. Не скажу, охотно, скорее сокрушенно кивая головою, он отдал мне «коло» — удобный дорожный велосипед, на котором я и поехал все к тем же предгорьям — они виднелись прямо передо мной.

В бесконечно мелькавший частокोल слились придорожные черешни; одни деревни и городки переходили в другие, а шоссейка бежала и бежала под шинами велосипеда, бежала серой лентой, терявшейся в отдалении. Уже звезды прокололи майский небосклон, уже легкий туман стал подниматься с полей, а я по-прежнему гнал и гнал вперед машину.

Иногда впереди что-то чернело, можно было подумать, что это груды камня, но когда я подъезжал ближе, то каждый раз это оказывались штабеля пехотного оружия: поблескивали стволы винтовок, автоматов, пистолетов, фаустпатронов, сваленных отступавшими солдатами вермахта прямо на обочинах дорог. Таких груд

молчаливого, зловещего в своем молчании металла больше мне никогда не доводилось видеть. А я крутил и крутил педали велосипеда, понимая, что свернул где-то не на том повороте, что гоню машину в неизвестность, что надо бы у своих расспросить дорогу на чешский город Градец Кралове. Но дорога, затерявшаяся среди молчаливых полей, была безлюдна.

Вдруг возле поворота неясно обозначились человеческие фигуры. Я соскочил с велосипеда, достал пистолет, положил его за пазуху ватника, ко мне приближались трое мужчин. На мой оклик они отозвались: «Товажиш, товажиш!» Это были пленные югославы, как и я, заплутавшие среди одинаковых пашен и таких же одинаковых шоссе́йных дорог.

Пока мы разговаривали на немыслимом диалекте, понятном нам одним, пока мы прикуривали друг у друга, совсем стемнело. И вот тогда-то разноцветное полымя охватило горизонт: предгорья внезапно осветились мириадами сигнальных ракет, трассирующих очередей, разрывами осветительных снарядов. Зарево подымалось выше и выше, оно завораживало нас неправдоподобно прекрасным и величественным сияньем. Мы стояли посреди дороги, обнявшись за плечи, стояли безмолвно, потрясенно: перед нами был неистовый, небывалый, полыхавший по всем фронтам, войсковым частям и соединениям салют победы.

На всю землю — и на эти аккуратные пашни, на эти деревни, дороги, склоны холмов — под рокот всеармейского салюта сходила благословенная тишина...

На зеленом поле стадиона у чешского города Градец Кралове выступал фронтовой ансамбль песни и пляски. Ансамбль исполнял «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». И вновь ни я, ни мои товарищи не задумывались — был ли автор у этой песни. Она родилась, возникла, облетела все войска в тот самый час, когда солнце победы поднялось над руинами и пепелищами Европы, когда в воздухе растаяли последние следы трассирующих пуль. Мы удивились бы, если бы такой песни, таких строк не было, если бы мы их не узнали, не услышали в этой незабываемой голубизне мая.

Так война и поэзия одновременно входили в мою

жизнь... Они были нерасторжимы в моей судьбе, и в этой своей нерасторжимости требовали обозначения словом. Позднее мне довелось прочитать: Константин Батюшков на поле брани узнал, что «война дает новую цену вещам», а чтобы познать эту цену, художнику «надобно все испытать, обе фортуны: подобно Тассу — любить и страдать всем сердцем, подобно Камюэнсу — сражаться за отечество».

Но такие невольные ассоциации возникали потом, спустя десятки лет, а не в мае 1945 года, когда были восторженные толпы народа вдоль автострад, крики «Наздар!», охапки сирени, невероятное буйство сирени и песни, и солнце, и долгожданный мир.

В старину филологические факультеты назывались отделениями словесности. Так вот, только словесником я хотел быть после войны; у меня не было присущих молодости сомнений при выборе профессии — смутно, как говорится, про себя, знал, что лишь в сфере словесности, а если точнее, хотя, может быть, и старомоднее, — изящной словесности — я обрету жизненное призвание. Влияние матери, воспитавшей во мне эту любовь к печатному Слову, я всегда признаю с благодарностью.

Из раннего детства мне памятен такой эпизод. Както на кухне, заставленной корытами и столами, читали книгу. Моя мать любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я не помню, что это была за книга и кто ее написал. Помню лишь свое удивление: из какого тайника мог увидеть тот, кто это написал, как люди ходят по комнатам, разговаривают между собой, о чем они думают, оставшись в одиночестве?

Я не представлял себе, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей огромной кухни, начинал нарочито громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, он тоже подглядывает за мной в эти минуты?

Не в этой ли чистосердечной вере, что все написанное и рассказанное художником — правда, живет душа поэзии? Часто книга была как бы продолжением жизни, а жизнь и отношения людей друг к другу пово-

рачивались такой гранью, какую ранее открыли книги. Но постепенно, хотя и неуклонно, я стал догадываться о другом, о том, что книги — это «вторая реальность», которая является сгущением, а еще точнее — переосмыслением реальных положений, реальных ситуаций, реальных характеров людей. Или выскажу свою мысль несколько иначе, что сфера прекрасного в искусстве, в том числе и в изящной словесности, это — реальность, но иллюзорная, многозначная, таинственная в своей глубине, и она оплодотворена человеческим духом, чувствами, мыслями, всем существом человека. Эта таинственная красота всегда влечет нас к себе и, добавлю я, зовет за собой, поскольку она временами мелькнет и скроется снова, как пели в старинной песне, «за лесом, за полем, за белой зарей...».

Вот почему реальность искусства — это не только то, что дано, но и то, что возможно, вероятно, мыслимо...

...Очередь крупнокалиберного пулемета прошила воздух и оставила точечный след на плитняковой ограде. Мы бросились влево: там, за оградой, за вязами, за гребнями заснеженных крыш, в небо вонзилась каменная громада собора. Вновь по верху ограды пробежали дымки разрывных пуль, но мы, не сгибаясь, летели вдоль ограды. И только тогда, когда, нырнув в ворота, очутились во внутреннем дворе собора, присели у стены на корточки отдышаться, оглядеться вокруг. Плиты двора кое-где перемело снежными заносами, человеческих следов не было видно. Деревья тянули к небу голые ветви, было в них что-то от безмолвного, как бы навеки застывшего вопля. Деревья, стены, цветные витражи собора полузанесло мокрым снегом, который, не переставая, шел весь день.

Оглядевшись, мы решили войти в здание: строчки наших следов протянулись по белизне заносов.

В пустом соборе в этот серый час было знобко от сквозняка, от гулких шагов по холодным плитам, от статуй католических святых, от камня, который столетиями — сумрачно и страстно — рвался ввысь.

Озираясь то с простодушным любопытством, то с внутренним отчуждением, мы подошли к распятию. Изогнутое страданиями тело Христа, мертвенно-синие,

окровавленные, пробитые гвоздями ступни ног, пышная и торжественная старина собора, притаившаяся в стрельчатых сводах, — все казалось нам чужим, угрюмым миром, подавлявшим нашу волю, наше стремление жить, быть, существовать вопреки смертям и непомерным людским мукам там, за стенами этого старинного здания. Вероятно, с подобным ощущением подавленности я так бы и ушел, если бы не статуя мадонны, которая стояла в одной из ниш. Спустя десятки лет мне все мерещится, что это была работа великого средневекового мастера, но тогда, в феврале, мысль о мастерстве не приходила в голову. Я видел иное. Тяжелое головное покрывало упало на плечи матери. Узки были ее плечи от многодневной работы. Худошав и прям негнувшийся к старости стан. Только руки, обнаженные по локоть, были полны прежней силы. Левая рука, опущенная к земле, судорожно стиснула платок, правая поднесена к подбородку. В этом извечном жесте скорбящей женщины, который един на всех окровавленных материках и континентах, виделась мне безмолвная горечь, а сведенные к переносью брови, стиснутый прямой рот, весь ее облик вопрошал: за что?..

Мне захотелось стащить с головы ушанку, мою прожженную, продырявленную армейскую ушанку, потому что неловко было стоять перед этой скорбящей, перед этой уповающей на воскрешение сына матерью, стоять просто так, ничем не выдав, не выразив своего уважения, удивления, восхищения перед силой искусства, которое не было искусством, а было человеческой судьбой.

— Пойдем, Жабчиков. — И мы пошли к выходу, завешенному густым снегопадом...

Так я понял, что вдали от отчего предела, на краю жизни и смерти, потребность в возвышенной красоте не покидает человека, а томит его, сушит губы тоской все по тому же отчему пределу, все по тем же памятным с детства преданьям и мечтам.

...Неумолчно звучит в душе старинное полустышье, едва различимое, как бывает едва различима игра на старинных клавишках:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД

Июль — самый длинный, самый скучный месяц в году. Игушка снова уехал в Крым вместе с родителями. Вернется он только осенью перед первым сентября и привезет разные сокровища: засушенного краба, старинную монету, камушки, такие гладкие, что о них можно потереться щекой, можно покатать с ладони на ладонь, помусолить, и тогда в темно-синих овалах отчетливее выступят белые птичьи глазки.

Но главное, Игушка будет рассказывать о генуэзской крепости. С ее развалин он увидит море и морской прибой...

Сколько ни силился, я не мог представить себе море: выходило что-то непомерно большое, и только. А вот высоту я знал — не раз забирался на колокольню Софийского собора. Поэтому мне и снилась генуэзская крепость: стены ее уходили в сумрачную вспененную пучину, а остроконечные шпили впивались в небо. Даже во сне я ощущал тревожный холодок, подступающий к сердцу, когда смотришь вниз, когда земля неудержимо тянет к себе.

Но как все-таки одиноко и маотно живетсЯ без друга в июле!

Мама нынешним летом опять будет работать по две смены: осенью придется мне справлять зимнее пальто, шапку, ботинки с галошами. Из ребят в городе осталась только Галка, но она — девчонка, да еще живем мы в одной квартире — за зиму надоели друг другу страшно.

А летом без ребят во дворе какие развлечения? У складских ворот понуро стоят ломовые лошади. Пахнет от них крепким потом и навозом, мухи выются у покорных, слезящихся глаз. В деревне лошади другие, резвые, гладкие, звонко ёкающие на бегу селезенкой. На такой лошади хоть в ночное, хоть на дальний покос — только рубашка пузырится, только ветер треплет волосы да хлещет по глазам, высекая нечаянную слезу.

Можно, конечно, сбегать на площадь к котлам, поглядеть, как рабочий, встав на колено, утюжит горячий асфальт, можно незаметно вдавить босую пятку в асфальт, оставить свою метку для будущих времен,

можно, наконец, пойти на купалку. Но пока идешь по тротуару мимо полосатых, выцветших на солнце тен-тов, снова обольешься потом.

По всему видно, лето будет долгим, жарким, с редкими грозами и дождями; ведь минувшая зима была холодной. Это за двенадцать лет моей жизни я не раз успел проверить.

Жара спадала только к вечеру, и тогда с Галкой мы начинали игру в «двенадцать палочек». Кому выпадало водить, тот должен был оберегать доску, а другой прятаться. Стоит зазеваться сторожу, как ты выскакиваешь из-за угла, прыгаешь обеими ногами на доску: палочки — р-раз — в разные стороны, а ты с хохотом убегаешь снова. Конечно, вдвоем играть неинтересно, но надо же чем-то занять себя.

Галка, как всегда, водила, я выбирал дворовые закоулки подальше, поглуше. Наконец мне надоела наша игра, и я решил спрятаться так далеко, чтобы она ни за что меня не нашла. Для этого нужно было перелезть через забор, пройти густые заросли крапивы и выбраться на откос Золотухи. Из могучих, тронутых ржавчиной лопухов там и сям торчали остовы старых кроватей, валялись ломаные ящики со склада, дырявый матрас, тазы с пробитыми днищами и разная домашняя рухлядь.

Я шел по направлению к Каменному мосту, под которым протекала Золотуха. Каменный мост вплотную застроен магазинами, мастерскими, складами; обрывы здесь особенно круты, и никто, кроме мальчишек да еще жуликов, не забирается в буйные заросли лопухов и лебеды. До кирпичных опор моста оставалось несколько шагов, но они были самыми трудными: земля осыпалась под ногами, крошилась, скатывалась к воде. Я хватался за стебли, забираясь все выше и выше. И когда рубашка стала мокрой от пота, а лицо густо облепила паутина, я дотронулся рукой до кирпичной опоры. Внизу, в вонючих комьях пены, текла Золотуха.

Раздвинув листья татарника и стебли прозрачной лебеды, я даже присел на корточки от удивления: передо мной возвышался город! Террасами, бесконечными переходами, башенками и башнями он уходил ввысь. Заканчивался он острым шпилем, который гордо парил над зарослями бурьяна. Низкое, оранжевое солн-

це опускалось за моей спиной, отбрасывая причудливые тени от лопухов. Город был безлюден. Но безлюдье и молчаливость придавали ему вид таинственный, нездешний. Именно такой и была гемузская крепость в моих сновиденьях. Я присел сбоку, замороженно пробегая глазами по переходам, по остроконечным шпилям, по строеньям. Мне даже в голову не пришло подумать, кто выстроил здесь этот удивительный замок. Он был передо мною, был не мечтой, не сном, не фантазией, а явью,—я мог протянуть руку и осторожно потрогать его, мог поставить сюда человека из бумаги, мог украсить флагами, засадить садами. Но и без моих украшений город был прекрасен.

Уже совсем за вечерело. От Золотухи стал подниматься ядовитый, тяжелый туман. Надо было возвращаться домой.

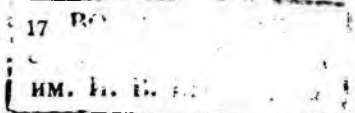
Сон бежал от меня в тот вечер: перед закрытыми глазами вставали башенки и переходы, и я мечтал, как завтра вечером, непременно вечером, я пойду на откос и тогда вдоволь налюбуюсь моим сокровищем. А когда уснул, то не слышал, как небо раскололи глухие раскаты грома, как проливной дождь захлестал по стеклам, как мама осторожно встала и укрыла меня одеялом.

Когда я выскочил за дверь, во дворе парило — парили стены сараев, замшелые «галдарей», парила мостовая и груды ящиков, сложенных возле склада; пар подымался даже от спин лошадей, как всегда уныло стоявших у ворот.

Весь день я томился ожиданием, бесцельно слоняясь из угла в угол, подходил к забору и возвращался обратно. При виде Галки отводил глаза в сторону, напускал на себя вид скучающий, равнодушный.

Однако характера у меня не хватило. Таинственно оглянувшись по сторонам, я поманил ее рукой, помог залезть на забор, потом соскочить в густые заросли крапивы. Галка судорожно хваталась за меня, таращила глаза от страха и вообще вела себя как девочка, но я упорно тащил ее к устоям Каменного моста. Вот и знакомый обрыв, выше, выше,—я сдерживаю дыхание, пригибаю мощные стебли лопухов — и застываю пораженный. Мой сказочный город исчез! Ис-

975531



чез, как будто его никогда и не было. Не было шпиля, сверкающего на солнце обломком стекла, башенок, куполов — совсем ничего, ничего не было... На коленях я излазил лопухи, вернулся к забору, опять прошел весь путь над обрывом — напрасно, город исчез.

Галка, выдирая репейник из волос, ругала меня, вспоминала самые обидные дворовые прозвища, грозилась вернуться и рассказать все как есть тете Кате, но я стоял в лопухах настолько обескураженный, настолько потерянный, что не обращал на Галку никакого внимания. До нее ли, решившей, что я все навывдумывал, напсевирал, было мне тогда!

Но город, похожий на генуэзскую крепость, был!..

С Каменного моста по желобу дворники ссыпали на берега Золотухи пыль. В куче слежавшейся пыли мелкий дождик выбил стенки, террасы, призматические столбы. Однако ночная гроза, которую я смутно слышал сквозь сон, размыла высокую пирамиду до основания.

И все-таки жарким, томительно-длинным и скучным июлем я, вероятно, был счастливее Игушки, который беспечно загорал в Крыму. Я все-таки был его богаче: городские чащобы — мы ли не знали их — одарили меня чудесной тайной.

СОКОЛЕНА

Только однажды, да, пожалуй, только однажды я слышал, как звенят колокольцы почтовой тройки. Память случайно выхватила это воспоминание, вне всякой связи с другими, но четко и зримо.

...Тропу заплела спелая рожь, и колосья с вкрадчивым шорохом клонились к моему лицу. На бегу, — я держался за подол материнской юбки, — мне хотелось подпрыгнуть и оглядеть это знойное, плавное колыханье. Но сколько я ни вытягивался, мне виднелись одни беспокойно кивающие колосья ржи да пушистые маковки осота. Я притомился в духоте ржаного поля, оттопал пятки о каменистую землю, а тропинка по-

прежнему волнисто бежала по бороздам, синё мерцала васильками. Мать шла быстро, и я, вцепившись в край подола, топтал следом, такой вспотевший, такой радостно-возбужденный, что мать не могла сдержать молодой доброй улыбки.

Было тихо, так тихо, как бывает в полдень в густой ржи, когда басок шмеля сонно гудит под ногами, когда не прекращается странное шелестенье, то ли солнечных лучей, осыпающихся на землю, то ли колосьев, плывущих волнами.

Внезапно далеко-далеко за сухим зноем что-то народилось, струнулось с места, покатилося гулкой горошиной. Горошина, подпрыгивая на ухабах, разрасталась, потом враз рассыпалась на множество звонких осколков — и я услышал храп коней, дробный ливень копыт, говор колес.

— Что это, мам? — спросил я, подпрыгивая на бегу.

Мать держала на плече тяжелый чемодан и, не оборачиваясь ко мне, коротко сказала:

— Почта.

Она напряженно смотрела вдаль, боясь, что вот-вот в глубоком сиянии озера, которого я не видел, за клубится дымок рейсового парохода. Тройка покати-лась дальше, тая в неумолчном шелесте ржи.

Мы вышли на Большую дорогу — так в наших местах зовут почтовый тракт, ведущий из Вологды в Кириллов. Оводы перелетали через дорогу. Лопухи мать-и-мачехи, одетые в лохматые шубы, пыльные обочины, замшелые валуны хранили напряженное молчание. Мать покусывала острую стебелинку. Она смотрела прямо перед собой, смотрела, уставившись в одну точку. И мое детское сердце сжалось от ее отсутствующего взгляда, от этой неизъяснимой дорожной тоски, и я, боясь разреветься в голос, стал тянуть ее за руку:

— Ма-а-м... Ну, пойдем же скорее от них, мама!

Прошло много-много лет. Однажды судьба меня забросила в село — райцентр озерной округи. Зимние сумерки наступили быстро, и я, чтобы как-нибудь скоротать вечер, вышел из Дома колхозника, где бездумно валялся на железной койке, курил и слушал, как бухают в стол небритые лесозаготовители. Они забивали «козла».

Ветер хлопнул заиндевелой дверью, сыпанул мне в лицо порошей.

Поземка, змеясь и шурша, переползала через шоссе, которое поблескивало обледенелыми колеями. Мгновенно меня ослепило светом фар,— снежный вихрь ударил в грудь, подхватил полы пальто, напрягся, опал,— кузов автомашины мелькнул мимо, и снова передо мной замигали желтоватые огоньки домов.

Кому, скажите по совести, не знакомо чувство заброшенности, бесприютности, когда ты выходишь на зимнюю дорогу, подымаешь воротник пальто, нахлобучиваешь на глаза шапку? Кого не манили чужие окна? Кто не мечтал о свете абажура, оранжевого, да пусть даже оранжевого, над чистой скатертью, о дымящемся стакане чаю, о теплой руке, легшей тебе на плечо?

Только в тот вечер все это было не для меня.

Я довольно долго брел вдоль шоссе, отворачивая лицо от встречного ветра. Наконец, дорогу мне загородило кирпичное зданье, увенчанное куполообразной крышей. Дверь оказалась приоткрытой, и я машинально взялся за скобу. В фойе — при зыбком свете фонаря — за стойкой громоздилась толстая буфетчица. Когда я стал стряхивать шапкой снег, она, укутанная до самых глаз шалью, полусонно поглядела на меня. Я осторожно открыл дверь в зрительный зал. Впереди чернели головы зрителей, дальше — прямо на сцене — стояли керосиновые лампы. Было холодно и как-то знобко в этой гулкой темноте. Под звуки расстроенного фортепьяно две легких, как будто прозрачных, фигурки выполняли гимнастические упражнения. «Э-э, да это концерт художественной самодеятельности», — догадался я. Девушки в черном трико неловко поклонились и вприскокку убежали со сцены.

Долговязый парень, в ковбойке и широком, как римский меч, галстуке, вынес стул, что-то поострил для порядка, зрители для порядка посмеялись, — и все были довольны друг другом, потому что честно соблюдали правила самодеятельной игры.

В общем, мне стало нестерпимо скучно, и я откровенно жалел, что забрел в этот полупустой зал, что сижу здесь, а мог бы еще позвонить в райком и вырвать, несмотря ни на что, машину до Вологды. Но лень и безразличие охватили меня, и я сидел, уста-

вившись на сцену, ожидая конца сельского действия.

— Евдокия Соколёнова,— с преувеличенным значением объявил долговязый парень. Баянист поставил на квадратные колени квадратный баян и повернул стриженую голову в ожидании.

И тут в неверном свете керосиновых ламп возникла девушка. Ее простенькое платьице, ее газовая косынка, ее кудряшки — все бесповоротно, с первого взгляда, располагало к ней. Она передохнула от волнения и негромко вымолвила: «Романс Гурилева...» Ей не дали договорить: зал дрогнул, заплескался, словно осинник под напором ветра.

Не без внутренней усмешки я смотрел на это оживление в зале, на эту девчушку в школьном платьице с глухим кружевным воротничком. Где-то в глубине души зазвучал другой голос — густой, щемящий, вибрирующий голос великой русской актрисы... Черные крутящиеся диски раскручивались, разворачивались в гигантскую спираль, опоясывали землю и разносили ее «Тройку» по всему белому свету.

«Ах, Соколёна, Соколёна,— думал я, опершись подбородком на руки.— Знаешь ли ты, что такое красота и как мучительна ее тайна? Из каких душевных страстей и страданий рождается та гармония, которая одна и способна покорить сердца?..»

Но песня уже возникла,— пришла без моего ведома, без моего зова из глубины зала. Голос Соколёны был высок и прозрачен, он был похож на полевую тропинку, которая волнисто бежит по бороздам, мерцает васильками и зовет, зовет тебя за собою. Я закрыл глаза: передо мной качнулись спелые колосья ржи, пахнуло сухим зноем, мелькнула молодая улыбка матери и покатилась, покатилась звонкая горошина, разбиваясь на радужные осколки. Внезапно мне стало грустно, словно я в чем-то обездолил себя, прошел мимо чего-то неповторимого, не понял, не угадал своего призвания, своей отрады, горьковатой, как березовый сок в рощах детства, где так-то выщелкивали, выпевали молодые соловьи.

Соколёна кончила петь. Я не сразу открыл глаза: мне было неловко навернувшихся на ресницы слез.

Ах, как досадно, как все-таки досадно, что лишь однажды я слышал колокольцы почтовой тройки.

БАРАШКИ

Надо было найти в сених старый мешок, вывернуть его углом, накинуть на голову и боком-боком — подалее от оконца — спуститься с крыльца. А уж потом припустить так, чтобы замелькали колья загороды, чтобы лужи разлетались вдребезги. В ушах только свист ветра да запоздалый крик тетки: «Куда вы, дьяволяты-ы?...»

Но от отчаянного восторга дыхание перехватило в груди, босые ноги не чувствуют осклизшей тропинки, дождевые капли высыхают на пылающем лице.

Небо — серое, обложное и такое, что кажется, подскочи на бегу и зачерпнешь набрякших водой прядей. Долгое ненастье приблизило к деревне край света: он где-то здесь, сразу же за скотным двором, за кучами навоза, дымящимися теплым парком. Вбежать бы на эти кучи да отогреть бы занемевшие от холода ноги. Но — мимо скотного двора, мимо последних изб, которые, казалось, только что вышли из мелколесья и вымокли там по пояс: до самых застрех исхлестали их многодневные дожди.

Вёдра не обещают ни ветер со Спаса, ни пелена тумана над ельником. Нигде не видать ни души: деревня затихла, притаилась в ожидании золотого солнечного дня. В такую погоду сторож Вахромеев сидит, наверно, в избе Дмитрия-кузнеца, в крайней избе всего посада. Он всегда там сидит, когда на улице непогода. Расставит ноги в латаных-перелатаных, огромных, как две пароходные трубы, валенках — и сидит на лавке возле двери. Дымит самосадом, складывает окурки под порожек к венику, говорит всякое такое, что на ум взбредет, а сам ждет, когда накроют на стол, поставят самовар да позовут его пить чай с медом. Хозяйка у Дмитрия молодая и поэтому добрая, всегда Вахромеева чаем угощает.

Но это так, между прочим, пока летишь что есть духу к поскотине, успокаиваешь себя, отгоняешь тайные мысли: а вдруг выскочит Вахромеев из шалаша, заорет, затопает валенками, схватит старую берданку да как бабахнет... Мимоходом заглядываешь в шалаш, сбитый из замшелых досок. В нем только сенная труха да прокопченный чайник в углу.

Мы с Санькой сбавляем бег. Ближко заветная межа,

где налево — волны серебристо-зеленого гороха, направо — длинные ряды репы, — что хочешь, то и выбирай. Теперь можно отдышаться, можно не торопясь идти по меже, иногда срывая пузатый стручок, иногда дергая за жесткие будылья репы. Жаль, мешок надо снимать с головы: не тащить же за пазухой вороха гороха и репы, облепленные вязкой землей. От одной такой мысли мурашки по спине пробегают. На тебе нитки сухой нет, рубашку — хоть выжимай, штанины облепили икры ног, но все кажется мало, все еще жадно шарят глаза по ту и по другую сторону межи. Ну, хотя бы вот эту, — суглинок размыло дождем, и глянцевого бок репины, огромной, как месяц за деревней, обнажился, зажелтел — ну, просто нет никаких сил удержаться и не вырвать ее с тяжелым придыханием.

Теперь все, кажется, все. Закинув мешки за спину, мы с Санькой легкой рысцой направляемся к дому. Идем задами — мало ли что может случиться? Но это так, для порядка. Пьет Вахромеев десятую чашку чая и прикидывает про себя, зачерпнуть ему янтарного меду или все-таки воздержаться, поводить куском пирога по дну щербатого блюдечка, вздохнуть и отставить чашку, предварительно перевернув ее вверх дном... Надо ведь соблюдать и приличие, и хозяев не обидеть, да и себе чтоб, конечно, не было обидно. Вздыхает Вахромеев, отставляет от себя блюдце с чашкой далеко-далеко, говорит снова всякую всячину, а мы уже вытряхиваем мешки возле крыльца, полощем репу в бочке, посмеиваясь, тычем друг друга под бока. На подоконнике повисла наша челядь: Мишутка, Аришка и даже голопузый Юрка вылез и таращит глаза на нас сквозь туманное стекло.

Тетка ушла — и мы в избе полные хозяева-большаки. Санька достает из укромного уголка ножик, выточенный из старой ножовки, я беру городскую перочинку — наступает сладостный момент, награда за озноб, который колотит нас даже здесь, в чистой, пропахшей печеным хлебом и укропом избе.

— Балашка, балашка, — тянет голопузый Юрка, и мы, снисходя к его малолетству, начинаем вырезать первого барашка.

Ядреную репину надо положить в ладонь, взять нож и, срезав круг, завить кожуру тонкой спиралью. Спираль эта ни разу не должна поломаться, а должна

снова сложиться на столе неким подобием репы. Изпод лезвия ножа сверкает желтая, как засахарившийся мед, мякоть репы. Землей, полевой свежестью и еще чем-то таким острым, что и передать трудно, пахнет теперь в избе. Постепенно вырезаются крутые рога, спинка, даже маленький хвостик — баран ставится перед самым Юркиным носом.

В избе слышно только напряженное шмыганье ногами да однообразное гудение мух у загнетки. В тепле нас с Санькой разморило, глаза слипаются от усталости, но мы не можем остановиться; челядь заворожена превращением репы, которую тетка скармливает корове, во что-то совершенно чудесное, даже необыкновенное. Стол завален желтой кожурой — стадо растет на глазах. Есть в нем крохотные барашки, есть однорогие бараны-неудачники и веселые бараны-зайцы. Иные тут же съедаются, иные берегутся для игры.

Теперь не нужно протирать запотевшие стекла и с тоской смотреть, как отряхиваются куры под соседским крыльцом, как рябит лужу порывами ветра, как перебегают улицу, накрывшись плащом с головой, базниковская Верка. Теперь можно ехать в город, торговать на базаре, меняться друг с другом, спорить из-за вываленного в пыли, замусоленного барана, чтобы в конце концов потерять его где-то в подпечке и уснуть в тихих дождливых сумерках вповалку здесь же, на широких лавках избы. А утром проснуться, выскочить на крыльцо и долго и счастливо жмуриться от неправдоподобно горячего деревенского солнца.

* * *

Я поднялся на шестой этаж, хлопнул дверью лифта и вошел в квартиру. Поставил на табурет хозяйственную сумку, бока которой распирала рыночная снедь, позвал из соседней комнаты сына.

— Смотри, что я тебе принес. — Малыш выжидательно молчал. — Это же репа!..

Поверх пакетов с картофелем и луком лежало полдюжину сморщенных, желтоватых репок. Сын вежливо повертел одну из них в руках и положил обратно.

— Хочешь, я тебе барана сделаю? — все еще питая надежду заинтересовать его, спросил я...

На какое-то мгновение, когда я срезал, вернее, кром-

сал кожуру, в глазах сына мелькнуло любопытство. Но вот сухая, как дерево, репа очищена, выструган баранчик. Нет, не баранчик, а нечто квадратное, малосъедобное было поставлено на стол... Мне самому стала смешна моя затея: ни с каких станций не уходят поезда в страну нашего детства. Я горестно сгреб баранчика вместе с очистками, завернул в газету, хлопнул крышкой мусоропровода. Сын ушел к себе.

Медленно покуривая сигарету, я долго глядел в широкое окно кухни на коробки строящихся домов, уходящих к самому горизонту. Потом пошел к сыну. Перед ним лежала раскрытая коробка немецкого «Конструктора». Неумелыми, неуверенными пальчиками он пытался свинтить передвижной строительный кран. Гайки и винтики выскальзывали из рук, сын сердито сопел, но не отступал от задуманного. Холодно поблескивали перед ним металлические планки, угольники, спирали, блоки «Конструктора». Но в глазах сына я увидел те жадные огоньки нетерпения и любопытства, которые так тщетно мечтал увидеть вначале.

ЛАСТОЧКИ И КУПОЛА

Замечали ли вы за собой такую особенность: на художественных выставках далеко не сразу и далеко не все полотна открываются вам. Видишь как будто бы все: и приглушенный или, наоборот, интенсивный цвет, и композиционное решение, и выразительные детали, а вот — поди ж ты! — все эти составные элементы искусства существуют сами по себе, а картина — сама по себе. Полотно молчит, хотя каким-то седьмым чувством знаешь, что ты не добрался до его сокровенной сути.

Нечто подобное происходило со мной, когда я видел многочисленные картины, эскизы и этюды Константина Федоровича Юона, понимая разумом, что это крупный художник, влюбленный в Россию, что надо бы мне замедлить шаг, остановиться хотя бы возле знаменитого Троице-Сергиевского цикла. Я останавливался, вглядывался и — проходил дальше. Но вот однажды в руки мне попала всего лишь цветная журнальная репродукция картины Юона «Купола и ласточки», написанной еще в двадцатых годах. И что же?..

Чем-то близким, до боли знакомым вдруг повеяло на меня от этой картины. Но чем? Ах да, вспомнил!

В Вологде, возле Софийского собора, в прошлом веке какой-то архиепископ воздвиг высокую колокольню. Насколько классически ясны, строги линии собора Софии, насколько прост и величествен весь его белокаменный облик, настолько странна по стилю эта колокольня: когда смотришь на нее вблизи, создается впечатление, что это немецкая кирха, стреловидные окна и закомары которой неизвестно по какой причине увенчаны огромной луковицей. Но именно с этой колокольни, куда по воскресеньям пускают всех желающих, открывается такой вид на Вологду, на ее окрестности, что дух захватывает. Прямо перед основанием колокольни — здание государственного банка, дальше идут городские кварталы, поблескивает река Вологда, а по самому горизонту — деревеньки, пашни, леса. Возле решетки, ограждающей площадку для обзора, с пронзительным криком выются ласточки, из колокольни, как из погреба, тянет прохладой, а ты жадно вбираешь эту даль и не можешь оторвать взора от северных просторов, которые видны тебе на все четыре стороны света.

Пережив все это за несколько неуловимых мгновений, я вновь стал разглядывать картину Юона. Вот тут-то она и открылась мне. Искусство художника покорило меня, заговорило со мной ясным, понятным языком. Массивные барабаны собора порозовели от заходящих лучей солнца. Кресты ажурной позлащеннойковки как будто поплыли в летнем небе. Черные точки ласточек, которые скорее угадывались, чем виделись наяву, стремительной метелью закружились над куполами. Между их молниевидным полетом и белокаменной громадой собора был разительный контраст: он-то и заставлял пристально вглядываться в картину, искать в ней сокровенный смысл. А палитра художника продолжала творить чудеса: небо чуть позеленело, сады и поля по горизонту как бы восприняли эту вечернюю прозелень неба, окутались туманцем, стали терять очертанья, — и все вместе захватывало чувством приволья, радостного умиротворения, покоя, чувством, которое хотел передать художник. И он передал мне это чувство, возникшее в нем в минуту благоговения перед вечной красотой Руси.

— Идем в Сады?— спросил меня тезка, парень лет шестнадцати, надевая праздничную ковбойку и доставая гармонь.

Садами на Сяме зовут бывшую поповскую усадьбу, где в бывшем же поповском доме находился сельский клуб. Вообще-то, садов этих и в помине нет, они померзли в сороковом году да так и не отродились, но сохранилась в садах задичавшая черемуховая аллея, кольцом окружавшая пруд. Там-то и собиралось ежевечернее гулянье, там можно было повстречать знакомых девчонок, поугасть их из зарослей, а то и подражаться из-за дроли с излишне настойчивым ухажером. Сады располагались поодаль от деревень — без родительского надзора было вольготнее молодяжке, как зовут в деревнях подростков. Известное дело, чуть заведут, вылезут старухи на завалинки и заладят: «А мой-то Ваня, а ваш-то Саня...»

До Садов надо было идти километров пять, но желание увидеть деревенское гулянье в том давнем послевоенном году было настолько велико, что я согласился. Когда мы пришли, Сады были уже пусты. Возле клуба тархтел движок — вот-вот должно было начаться кино. Мы стали протискиваться в тесные сенцы, мой тезка моментально потерялся в толпе, и я был вынужден без него смотреть какой-то трофейный фильм еще довоенной давности. От старости лента была не черно-белой, а почти прозрачной; она беспрерывно рвалась, и тогда киномеханик зажигал переноску, ребята гуртом валили в сенцы покурить, а девчонки шушукались, окликали подружек, беспokoйно вертелись, ждали, когда окончится эта маета.

Наконец, актриса в последний раз заломила руки, мелькнула какая-то тень — картина кончилась.

Одним моментом длинные скамьи были составлены в угол; девчонки побрызгали из чайника и подмели пол, принесли бак с водой и кружкой. Заиграла гармонь, начались танцы.

Сыграв для приличия какое-то подобие вальса, мой тезка — он сидел в углу с ухажерками — рванул свою, деревенскую. Бесконечной чередой сменялись пары; парни с низко опущенными губами, с отрешенными, каменными лицами бухали в пол так, что покачивалась

под потолком висячая лампа; их подружки, в красных и синих плащах, в белых платочках, ловко дробили, тонкими голосами выкрикивали частушки. Потом пары сходились, и парни, не меняя выражения лица, ожесточенно вертели подружек, а те взвизгивали, хватались за подол и быстро-быстро перебирали ногами. Все здесь было как на «взрослом» гулянье, и даже танец этот, называемый «зайнька», был известен на Сяме с незапамятных времен. В молодости «зайньку» играли наши прабабки, причем если было несколько гармонистов, то играли «зайньку» много часов подряд. Так было и в Садах из вечера в вечер.

Но вот тетка внезапно остановился, перебрал лады, подождал, пока отдышатся танцоры, и начал знакомый мне мотив. «Что это?» — спросил я у соседки, забывшейся в полумрак избы и ни разу не рискнувшей выйти на круг. «Ланчик», — еле слышно прошелестела она.

Теперь парни встали у одной стены, девушки — у другой. Парни пошли им навстречу — тут поднялся такой топот, словно по избе пробежал табун коней. Затем девушки наступали на парней, а парни разбирали своих подружек и вертели их с еще большей силой, чем в «зайньке». Потом все начиналось сначала.

Поздней ночью я выбрался из избы. Высокое, блестящее звездами небо после недавней тесноты казалось еще выше, заросли черемухи в Садах — чернее, воздух — духовитее и прохладней. Постепенно в ушах смолкал однообразный хрип гармоники, гулка дробь каблуков, выкрики частушек, и тишина, как бесшумная ночная птица, начала сужать и сужать над головой круги.

Я очнулся от внезапно ожившего динамика на высоком столбе. Сладкозвучный голос певца хватил за сердце. «И на тайное свиданье приходи скорей», — выводил он, и странно было думать, что всего в сутках езды от Сямы есть огромные, залитые светом концертные залы, чинная публика, праздничный блеск реклам, толпы прохожих, глухой рокот большого города, не смолкающий, не затихающий ни на одно мгновение.

И пока я шел полевой дорогой, белевшей во тьме, я видел перед глазами озаренный прожекторами алый

бархат занавеса. Вот он медленно поднимается, вот выходит, нет, семенит в тяжелом платье ведущая, вот она объявляет в микрофон:

— Старинный северный танец «Лансе».

Легкое движение пробегает по залу, словно ветерок налетел на осиновую рощу, налетел — и смолк. Три баяниста согласно берут величавый, спокойный наигрыш, и так же величаво выплывают на сцену русские боярышни и танцоры в высоких сапогах и длинных рубахах. Спокойствием, сдержанностью веет от каждого их движения, согласием и долгой выучкой от неторопливых па. Хочется, чтобы праздничное, залитое то голубоватым, то оранжевым светом рамп танцевальное действо длилось и длилось, чтобы глаз радовался, видя эти костюмы, это мастерство балетмейстера, ставившего танец, это изысканное искусство всей танцевальной группы.

Из глуши северных лесов пришел «Ланчик» на столичную сцену, претерпев на долгом пути удивительные изменения. Но, думал я, надо, чтобы он вернулся к себе на родину, в те же сямские Сады, чтобы он был таким же, каким я увидел его на столичной сцене, и чтобы в таком виде он стал доступен моим землякам.

...Длинна ночная полевая дорога. Чего только не передумает одинокий прохожий, овеваемый то теплом нагретых за день хлебов, то холодом туманных низин.

СЕИ ДОБРО

Сильным гребком я разогнал лодку, и пока она скользила по темной озерной глади, наскоро выбрал лески, зацепил блесны за борта, поднял слань, вычерпал воду и только после этого разогнулся.

В глаза мне ударило белоснежное диво облаков. Они давно и неподвижно стояли над головой, но я не замечал их, однообразно раскачиваясь взад и вперед, делая по воде большие круги, и часто то притворно равнодушно, то напряженно поглядывал на сторожки. Лески безостановочно чертили воду, слегка подрагивая

от вращения блесен; самодельные колокольцы на сторожках молчали, и мне не оставалось ничего другого, как грести и грести, постепенно погружаясь в какое-то мрачное оцепенение. Встав еще до восхода солнца, я, как говорится, маковой росинки в рот не брал, подхлестывая себя надеждой, что вот сейчас, вот в это самое мгновение сторожок судорожно задергается, леска запружинит, и где-то там, метрах в тридцати позади лодки, озеро вспенит раскрытая пасть щуки. Тогда можно будет передохнуть и с тоской подумать о горбушке хлеба и головке лука, которые я впопыхах оставил в избе. Но удачи в тот день не было. Легкая зыбь сладко почмокивала о днище лодки, и кроме этого чуть слышного плеска ни единый звук не нарушал тишины июльского полдня.

Солнце накалило плечи и голову, но мне казалось, что в ушах звенит не ток крови, что это звоном звенит выпуклая гладь озера, звенят туго натянутые солнечные лучи, нимбом расходясь вокруг моей тени на воде. А сквозь этот звон и зной медленно, бесшумно на меня рушился белый водопад, снимая усталость, заставляя широко раскрывать глаза, залитые потом. Красота-то, красота-то какая!

Я посмотрел против солнца и увидел силуэты рыбацких лодок. Взмахи длинных весел придавали им удивительное сходство с караваном птиц, которые вот так же неторопливо и тяжело взмахивают крыльями в долгом полете.

Откинувшись на переднюю скамейку, я сладко потянулся, и тут только мое внимание привлекла дымная полоса, протянувшаяся над тихим озером. Одинокая лодка оставляла за собой этот бурый, долго не тающий в летнем мареве след. «Чем черт не шутит», — подумал я и нехотя взялся за весла. Непрестанно оглядываясь, увидел, как со скамейки встал человек и замахал мне рукой. Я навалился на весла, вода сильнее зажурчала под днищем, и чужая лодка стала расти прямо на глазах. Легкий толчок, и мы встали борт о борт. Сосед прикрутил уключины обрывком веревки и сказал, широко улыбаясь:

— А ты, парень, прямо к обеду поспел.

На носу его лодки возвышалось диковинное сооружение. На железном листе стояла печурка, короткая труба была отведена за борт, она сильно дымила.

К печурке, раскалившейся до малинового жара, была прикручена большая эмалированная кастрюля, в которой побулькивало какое-то варево.

— Мне подумалось, уж не горит ли чего, — заметил я, отдышавшись.

— Угадал. Не горит, а пригорает. Супец пригорает, — пояснил человек, которого я никогда прежде не видел. Но он обращался ко мне так, словно мы были знакомы сто лет. От солнца, от ветра лицо его стало медно-красным, губы потрескались и слегка шелушились. На вид рыбаку было лет пятьдесят, а может, и меньше, — в деревнях люди выглядят значительно старше своих лет.

Порывшись под скамейкой, сосед достал две алюминиевые ложки, две миски, отрезал два здоровенных ломтя хлеба, открутил проволоку от кастрюли и стал наливать густое варево через край. Большие куски тушенки нехотя вываливались в миску. Лицо рыбака окуталось ароматным парком, он поднял брови, и тогда белые лучики морщин разбежались от глаз. Я сглотнул голодную слюну, глядя на его хозяйскую рачительность и неторопливость. Миска дымящейся похлебки, остро пахивающей лавровым листом, заправленной крупой и большими картофелинами, была передана мне вместе с ложкой и хлебом. Ели в полном молчании. Только сейчас я понял, какое счастье подвалило мне: озерная вода, которую я пил с утра, тяжело булькала в животе, от папирос подташнивало и першило в горле. Я сразу же очистил миску, получил добавку, снова выскреб все до дна и лишь после этого помыл посуду, отдал ее хозяйину и закурил.

Рыбак стал неторопливо вставлять весла в уключины. Я начал было рассыпаться в благодарностях.

— Пустое, парень. Сей добро на лес, и то пойдешь да найдешь, — сказал он на прощание.

Взмах, и еще взмах, и еще взмах весел, — лодка, напоминающая птицу, стала таять, исчезать в золотистых отблесках полдня.

Я направился в устье Ельмы, прикинув про себя, что лишь с темнотою попаду в дом.

В лад сильным и четким гребкам, в лад спокойному журчанию воды во мне звучала пословица, которой я никогда не слышал прежде. Сей добро на лес (пере-

дышка, глубокий вздох), и то пойдешь да найдешь (снова передышка, снова глубокий вздох).

Меня завораживала необычность ударений, музыка пословицы, ее отшлифованная в столетиях красота. Потом пришло другое — захватила красота мысли, вложенной в эти слова.

В самом деле, какой вселенской добротой надо было обладать тому русскому человеку, которому впервые довелось высказать эти слова. Он знал, северные чащобы — непролазны, как и в море, в них бесполезно искать отклик на твою доброту. И все-таки сей добро на лес, иди к людям с добросердечием, — тебе добром же воздастся за твое добро!

...Закат прокатил по озеру алую дорожку, она тянулась от кормы лодки до самого горизонта, до той невидимой черты, за которой давным-давно скрылась добрая душа — мужик-кубеноозер.

ПОЛЕТ В ГРОЗУ

Наш «борт» запаздывал с вылетом. Двигаясь вслед за тенью, я успел обшуровать обе скамейки перед невзрачным домиком аэропорта, выучить наизусть расписание местных авиалиний, изобрести и отвергнуть множество вариантов собственного вызволения из этой, как мне тогда казалось в сердцах, несусветной дыры, а самолета Белозерск — Вологда — хоть ты пропади! — не было и в помине. И только когда я твердо решил возвращаться в Дом колхозника, повернулось какое-то колесико в летном расписании, сработал какой-то механизм, и перед самым моим носом затрещал легонький ЯК.

Устроившись в кабине рядом с пилотом, я облегченно вздохнул: ожидание и неизвестность — две подружки-неразлучницы — оставались на летном поле. Пилот достал планшет, поправил ларингофон, включил зажигание. Под крылом дрогнуло полевое разнотравье: ЯК, мягко подпрыгнув, оторвался от земли и начал набирать высоту.

Голубая стена Белого озера в последний раз наполнила на стекла кабины и разом схлынула, уступив место медлительным перелескам и полям. Солнце садилось.

Вечерние тени перехлестнули лесные поляны, придали им какой-то непривычный, неестественный вид. Из-под тонкого слоя тумана проступали пашни; дороги влетали прямо в темную зыбь, надолго исчезали в ней, чтобы, вынырнув, снова петлять по округе.

Постепенно земля пошла плавными крупными волнами. Солнце опускалось в эти дымчатые волны. Оно казалось огромным красным глазом, бесстрастно взиравшим на валы земли, которые текли и текли под крылом самолета.

И впервые подумалось мне, как, в сущности, равнодушна природа и к своей бессмертной красоте, и к самому человеку. Перед туманным безбрежным океаном, раскинувшимся внизу, наш самолетик превратился в пылинку, слабо и немощно парящую в высоте. А ведь эта высота ничтожна перед неисчислимостью иных миров — перед Вселенной.

Я искоса посмотрел на пилота. Его рябоватое лицо было непримечательно: такие лица часто встречаются в северных деревнях. Кровь деревенских предков сказывалась в медлительных, но точных движениях пилота, в его манере держать штурвал. Возможно, в дни детства он так же крепко держал сошник плуга, а молодым парнем крутил баранку на вологодских проселках. Все возможно, потому что в его обличье было что-то до боли знакомое и, не найду другого слова, родное.

Наш выдавший виды ЯК был для него привычен, как привычна его брату жнейка или его деду соха. И тут я понял, что не так уж незначителен и ничтожен человек перед пропастями Вселенной, если оратаи земли спокойно пашут облачные хляби. Как человек, далекий от техники, я с каким-то особым уважением, даже восторгом, отношусь к тем, кто по призванию или по профессии берет на себя ответственность за жизнь других, кому мы, пассажиры, доверчиво вручаем свои судьбы. На сколько времени — это неважно: мера ответственности водителя воздушного такси не меньше ответственности командира транссибирского лайнера. Ведь в воздухе не предугадаешь, что произойдет через минуту. Так было и теперь. Пилот, словно бы между прочим, кивнул вправо: то, что я увидел, поразило меня.

Половину небесного пространства закрывала громада грозowych туч. Над ней слабо поблескивали первые

звезды, а подошва ее сливалась со свинцово-синими валами земли. В густом месиве ежеминутно вспыхивали кроваво-красные зарницы — так на фронте били орудия в ночи: две-три вспышки, перерыв, снова вспышки. Это сходство с залпами страшной мощи и захватило меня — на земле молнии видятся иначе, в них нет багровой ярости облаков.

Самолет стал проваливаться в воздушные ямы. И хотя мы давно должны были приземлиться на вологодском аэродроме, наш ЯК все тянул вдоль грозового материка, все огибал его по бесконечной, как мне казалось в полете, орбите.

...Ожидая со своими пожитками автобус, я видел, как пилот вышел из аэродромного домика с фибровым чемоданчиком, с каким ребята-спортсмены возвращаются с тренировки. Он не размахивал этим чемоданчиком, не насвистывал на ходу, не шагал вразвалку, а просто шел к автобусной остановке, как идет любой из нас, закончив рабочий день.

ТЕЛЕГРАММА

— Дядь Вась, а дядь Вась! — молоденькая почтальонша Нюрка во весь дух бежала к озеру. — Ты на сенокос, а, дядя Вася?

Василий Никитич хотел обернуться на ходу, но тяжелая станина подвесного мотора мешала ему. Он поджидал Нюрку, пригнув голову, словно захомутанная лошадь, и глядя прямо перед собой.

— Чего тебе?

Запыхавшаяся Нюрка не в силах была вымолвить ни слова и только трясла перед ним какой-то бумажкой.

— Ну, чего тебе? — поторопил ее Василий Никитич.

— Телеграмма Отшенкову. Может, думаю, что срочное, — заторопилась почтальонша. — А у них — как на грех, дома никого нет. Уж я в загороде бегала... Нигде бабки Василисы нет, а хозяйка-то, слышь, в городе...

— Давай, — коротко оборвал ее Василий Никитич и, по-прежнему глядя в землю, сунул бумажку в карман ватника.

Нюрка постояла на тропе, посмотрела, как грузно

ступал Никитич, шаркая отворотами резиновых сапог, повернулась и медленно пошла обратно.

Потом еще раз обернулась. Лодка Никитича, покачиваясь на волнах, нехотя отдалялась от берега. Сам он размашисто дергал ремень завода. Нюрка успокоилась и вприпрыжку побежала к деревне.

Мотор взревел. Никитич, сбавив газ, еще потоптался на корме, потом уселся на заднюю скамейку и, выписав большую плавную дугу, направился в за-озерье.

Время от времени левой рукой он нажимал на резиновый шланг, подкачивая бензин, а правой крепко держал рукоятку мотора. Смотрел он поверх задранного носа лодки туда, где дымилась зелень кустарника. По обе стороны горизонта зелень тончала, синела, сходила на нет и где-то у края земли повисала в воздухе слабым многоточьем. От буйства воды и солнца у приезжего человека, наверно, закружилась бы голова. Но Никитич с детства привык к озеру. Он не представлял себе, как можно жить без этого ослепительного сияния голубой воды, без этих неподвижных облаков, без этой знакомой и все-таки неизменно влекущей к себе кромки далекого берега.

Совсем другое волновало Никитича. Лодку подгонял попутный ветер, она плавно взбиралась на волну и так же плавно с нее соскальзывала. Этот попутный ветер и огорчал Никитича больше всего. Он знал: лодка обгоняет волну и, как машина, идущая на подъем, напрягается до пределов, дрожит от напряженья. Никитич боялся пережечь бензин: трудноовато нынче стало с горючим.

Чтобы как-то отвлечься от досадных размышлений, Никитич стал думать о сенокосе, о мужиках, которые остались на пожне. Он вспомнил Отшенкова, многодетного, работающего соседа, его тихий нрав, его неуверенную улыбку. Улыбался Отшенков редко, скупно поблескивая металлической пластинкой. Свои зубы он потерял еще в блокаду под Ленинградом и до сих пор не мог привыкнуть к вставным. Никитичу стало жаль мужика: везет он ему невесть что в телеграмме. И дернул его черт остановиться на берегу. Да эта девка вопила так, что мертвый бы ее услышал.

Никитич полез за папиросами и вместе со спичками достал из кармана вдвое сложенную бумажку. Не раз-

думывая много, он развернул ее и прочитал: «Все пять — на пять. Оля».

— Тьфу ты, дьявол, — Никитич даже сплюнул в сердцах. Ведь надо же такими глупостями отнимать у людей время. Это из какой же дали отстучала Оля телеграмму? И что в ней такого? Белиберда какая-то.

Насупясь, Никитич записнул телеграмму обратно в карман. Давно ли эта Ольга по двору бегала, сверкая ягодицами — платьишко продувное, застиранное, сама, как галчонок, остроносая, чернявая. А теперь фу-ты, ну-ты — «все пять на пять». Семка у него такой же: «Шлю пламенный сахалинский привет». Нет бы отцу прислал на пол-литра. Да и то подумать, без всякого перехода решил Никитич, добро хоть родителей не забывает, на каждый праздник поклон шлет. Да и Олюшка — девка ничего. Бедовая девка.

Прибойная волна сильно гнала лодку к берегу. Отмель была пустынная, только на камнях, выставивших из воды серые хребтины, сидели чайки.

Никитич сбавил газ, — лодка, прошуршав днищем по песку, ткнулась в берег. Пока Никитич выволакивал ее из озера, она вырывалась из рук, моталась из стороны в сторону, как необъезженный конь.

Оставляя на песке рубчатые следы, Никитич прошел вдоль отмели, перевалил за песчаный бугор, вышел на пожню. Под лучами закатного солнца нежно желтели ольховые кусты, истекали охрой стога сена.

И все вместе, и каждая травинка в отдельности были какими-то особенно зримыми, отчетливыми, такими, что хотелось рукой потрогать колючую, щетинистую стерню.

Недалеко за кустами стрекотала сенокосилка, слышался конский хrap.

— Отшенков! — позвал соседа Никитич. — Поди сюда!

Тот, прикрикнув на лошадей, вышел из-за куста и направился к Никитичу, спотыкаясь о кочки, на ходу вытирая рубахой вспотевшее лицо.

— Телеграмма тебе. Нюрка велела передать.

Водитель сенокосилки бережно развернул помятый лист, прочитал телеграмму, вскинул глаза на Никитича, не веря прочитанному, снова пробежал короткую строчку. И вдруг его потное загорелое лицо беспомощно дрогнуло и стало расплываться в такой произвольной

улыбке, что, глядя на него, и Никитич осклабился.

— Ну, чего там?

— Эх, — с досадой, уже оправившись, сказал Отшенков, — вот жалость-то, маленькую не прихватил.

— По какому еще поводу?

— Да от Олюшки телеграмма-то, от старшей дочери. Все пять экзаменов на пятерки сдала. В институт девка поступила, — помедлил и, будучи не в силах сдерживать волнения, добавил: — В Москву...

Из-за песчаного бугра с криком поднялись чайки. Они взлетели стаей, но вот одна, сильно взмахнув крылами, метнулась в сторону, стала подниматься выше, выше над желтыми шапками ольхи, над пожней, над фигурками двух мужиков, стоящих друг перед другом, над озерной ширью, пока наконец не скрылась, не растаяла в синеве неба.

ВЕСТНИК ПОБЕДЫ

Резиновые сапоги зачавкали по илистому дну, забулькали мелководьем, — напарник оттолкнулся и стал грузно переваливаться через борт. «Тише ты», — бросил ему Виктор хриловатым от первой сигарки голосом. Он махал кормовой лопатой, выравнивая лодку и направляя ее к устью Ельмы. Было так тихо, что слышался звон капель, падающих с весла, и легкое журчание воды под днищем лодки. Только в прибрежном тумане разноголосо кричали петухи. По их внезапным вскрикам угадывались крайние дворы деревни, которая крепко спала, закутавшись в шубу ночного тумана. Этой же туманной мглой покрывался правый, низменный берег. Лодка плыла в парной, белой тишине, вернее, эта тишина нехотя наплывала пластами на лодку и сразу же смыкалась за кормой. Ватник отсырел. Скамейки и снасти покрыла серебристая испарина. Все глуше и глуше слышался победный петушиный крик, все сильнее охватывало рыбаков чувство близкого простора.

Лодку слегка качнуло на длинной, пологой волне; они выгреблись в озеро. Теперь надо было найти колышек, который отыскать в этой слоистой мгле не было

никакой возможности. И все-таки не подвела интуиция. Измочаленный кол вынырнул из тумана и поплыл возле борта. Они привязались к нему, закинули удочки, притаились в ожидании. Снова лодку качнуло на далекой, пришедшей откуда-то из заозерья волне, и Виктору подумалось, что не так ли иногда качнет волна прошлого, подыметя из глубин «я» и захлестнет спокойную гладь души.

Привкус паленой бумаги во рту, сухая резь в глазах от бессонницы — все подымало, все гнало с полузабытого берега эту плавную, неостановимую в своем раскате волну. Виктор закрыл глаза.

И тут же перед глазами раскололся огненный смерч, яростно загудело пламя — сознание стало меркнуть в ослепительных кругах и разводьях.

«Ты что, задремал, что ли?» — сквозь пронзительный посвист пламени услышал он знакомый голос. Смысл слов доходил трудно: уши забило чем-то, и сам Виктор был укутан в белые простыни. Но слова уже зацепились за сознание, потянули его из глубокого омута забытья. Белая пелена стала сползать с глаз, рваться в клочьях, и в просветах свежо заблестела озерная вода.

Еще окончательно не очнувшись, Виктор тупо посмотрел прямо перед собою: удилище лежало у него на коленях, обожженная, искалеченная рука безвольно выпустила его.

— Клевало у тебя, — с упреком сказал напарник. — А ты спать!

Виктор сменил червяка, далеко закинул леску — поплавок звонко шлепнулся о воду. Дремота освежила Виктора, и теперь он заново, пристально и возбужденно, вглядывался во все, что его окружало. Близился рассвет. Правым виском он ощутил легкое дуновение. Словно белые флаги, взлетали вверх полотнища ночного тумана, и алый свет — предвестник близкого солнца — разливался вокруг свободно и неостановимо. Этот алый свет смешивался с акварельной синевой воды и неба, от него порозовела и лодка, и бледное, напряженное лицо напарника, согнувшегося на носу, и даже маленький белый поплавок источал розовое сияние.

Он все густел, этот алый свет, все напрягался и вдруг выбросил вверх вороха радужных перьев. Тогда-

то над озером и показался край солнца. Непрерывно струясь, растекаясь волнами, пламенный гребень приковывал взгляд какой-то почти языческой силой.

Никогда — ни раньше, ни позже — не доводилось видеть Виктору такого рассвета.

Откуда-то из-за горизонта набегающим прибоем вытолкнуло рыбацью лодку.

— ...беда! — донеслось до удильщиков. Оба привстали, недоуменно переглянулись и напрягли слух до предела. По частым взмахам весел было заметно, как, не жалея себя, выгребал к ним человек, как он безостановочно оглядывался на них и снова принимался кричать.

Голос летел над гладью озера, летел и гаснул, пока наконец не удалось расслышать:

— Эй вы, чего вы сидите-то? Война окончилась! Победа-а-а!

Торжествующее «а-а-а!» катилось к ним вместе с лодкой, вместе с раскаленными лучами солнца, которое, едва оторвавшись от кромки воды, теперь круто взбиралось по небосводу. И так же круто летел ввысь, заполняя все небесное пространство, голос человека, кричавшего в радостном беспамятстве:

— Побе-да-а-а!

Не смежая век, Виктор пристально глядел на лодку, на пылающее светило, на выпуклую, голубоватую даль озера и не чувствовал, не видел, не понимал, что по щекам его текут слезы, что текут они вовсе не потому, что на майское утреннее солнце невозможно было смотреть не мигая, а потому, что пришел, наконец-то наступил этот великий рассвет.

...Деревню качало. Окна, двери, калитки — настужь. Звон посуды, всхлипы гармошек, дробь каблуков, пронзительные выкрики песельниц раздавались то там, то тут и слышались даже из-за околицы. Возле резных наличников молодо алел кумач флагов, по садам и проулкам дымилась нежная зелень.

В полдень к пристани подошел рейсовый пароход. Матросы и пассажиры сгрудились на верхней палубе, вразнобой что-то кричали на берег, где беспорядочно галдела пестрая, праздничная толпа.

Виктор не помнил, как его вынесло на береговой

откос. Он никого не ждал, но его подхватило, ввинтило в людской водоворот, а затем выбросило к пристанским сходням. Теперь, окруженный со всех сторон односельчанами, он празднично наблюдал, как вахтенные подтащили трап, как от гудящего роя пассажиров отделились и поплыли над головами мешки, чемоданы, какие-то корзины, обшитые рядом, как осторожно поднимались вверх по сходням приехавшие люди.

Внезапно он ощутил, что дыхание перехватило в груди: по трапу, среди баб со сбившимися платками, с покрасневшими от весенней жары лицами, поднималась Юля. Она щурилась от ослепительного солнца, от цветного многолюдья, растерянно улыбалась и, видимо, выискивала глазами кого-то из своей родни. Виктор отчаянно заработал локтями, пробиваясь к перилам сходен. Юля теперь была совсем рядом, — ее взгляд по-прежнему рассеянно скользил по лицам земляков. На какое-то мгновение взгляд задержался на нем, скользнул дальше, снова вернулся, — и тогда в ее серых глазах сверкнул испуг, самый откровенный испуг молодой женщины, которая увидела что-то неожиданное, неприятное, оскорбляющее красоту этого сверкающего голубизной и солнцем майского полудня.

Встретившись глазами, они поняли все. Она — что он ничего не забыл и все оставил на будущее; он — что она тоже ничего не забыла, но прошлое отчеркнула непереступимой чертой.

Сзади сильно нажимали. Откуда-то из чрева толпы раздался сдавленный женский крик:

— Юленька!..

Виктора оторвало от сходен, отнесло в сторону: он так и не успел поздороваться с Юлей...

К вечеру подул сиверок. Заклубилась на улицах первая майская сушь, захлопали полотнища флагов, запузырились юбки девчонок и баб, пьяно топчущихся возле пристани.

От банного, слитного гула в избах, от выпитого самогона, ото всей этой яростной пестроты нарядов у Виктора зашло сердце и разболелась голова. Он долго сидел на жердях поскотины, смотрел, покусывая сухую былинку, на сизые облака, залегшие обогреться у заходящего заката, на его тревожный малиновый блеск,

а когда небосвод прокололи алмазные шилья звезд, ушел спать на сеновал.

Накрывшись тулупом и беспокойно ворочаясь с боку на бок, он иногда нащупывал в темноте смятую пачку папирос, закуривал и, по-прежнему не открывая глаз, лежал лицом вверх, перебирал в памяти все большие и малые события этого ослепительного дня. Откуда-то из тьмы наплывали на него Юлины глаза, крупнее, крупнее — и вот непроизвольный, безотчетный испуг, потом снова тьма, снова пестрое кружение лиц, деревьев, медленно развевающихся флагов.

Самое трудное, мучительно-горькое было принято им, но ведь это еще не все, ведь было у него сегодня что-то такое, что не давало ему уснуть на сеновале. Что было сегодня? Что надо отбросить, а что запомнить? Запомнить?.. Где и когда родилось у него это ощущение?

Но, кроме алого струящегося света, больше ничего не вспоминалось. Только теперь этот алый свет, казалось, прожигал закрытые веки, слипшиеся от непрошенных слез, навеки отпечатывался на сетчатке глаз. «Победа-а!» — истошно вопил человек в рыжей сбившейся набок старой ушанке. Он стоял в лодке, а за его спиной полыхал огненный шар. Он не думал о себе, этот случайный вестник победы, он радовался только одному, он хотел только одного, чтобы она навсегда была такой, как этот майский рассвет.

СТРАНА ПРОМЕТЕЕВ

Уже не первый раз золотым бабьим летом я возвращаюсь в Москву.

За окном — по-осеннему чистые поля и пашни, пустынные перроны северных станций. Поезд останавливается часто и стоит одну-две минуты. Вот и сейчас к вагону подошла одинокая древняя старуха. Бормоча что-то под нос, она сует проводнице, стоящей у вагона, сморщенной темной рукой такое же сморщенное, в темных крапинках яблоко. За водокачкой, за станционными пристройками вьется полевая дорога, за взгорком видны серые от дождей деревенские крыши, старые тополя, остов ветхой колоколенки.

Поезд медленно трогает, и косяки вагонного окна начинают отсчитывать телеграфные столбы. На невысокой насыпи поезд замедляет ход, — лес еще зелен, но уже припорошен желтоватой пылью. Ветки молодых березок теряются, истаивают в темной чаще, — и золотистая дымка парит невесомо вдоль всего пути.

Когда я отвернулся от окна, напротив меня сидел новый пассажир. Он сидел на нижней полке, свесив обрубки ног в кожаной «обсоюзке». Помятый, затасканный пиджак, свалявшаяся рубашка — все обличало в нем горькое наследие военных лет. Его глаза были под стать выцветшему осеннему небу — такой же ясной прозрачности и синевы. Без вступлений, без переходов, как о само собой разумеющемся, он начал рассказывать:

— Баянист я. Работа у меня хорошая. Когда сижу в чайной, — а я в чайной в Грязовце играю, — дак ног не видать. Меня одна женщина даже танцевать приглашала. Мог я и вальс, и фокстрот, и нашу деревенскую мог. А теперь, — он посмотрел на «обсоюзку», — теперь нет, видно, все, видно, оттанцевал свое... А началось это с пупырышка, вот с такого пупырычка. — И он показал мне заскорузлый палец. На пальце я действительно увидел пятнышко с бархатистой серой каймой. — Это она и есть, — пояснил сосед спокойно, — болезнь-то моя...

Я содрогнулся от этого спокойствия, от этого чистого сияния голубых глаз. Человек, видимо, по-своему оценил мое молчание как поощрение к рассказу. И продолжал. Во всем его облике не было ни рисовки, ни болезненного упоения несчастьем; им двигало одно желание — развлечь незнакомого человека, скрасить ему часы долгого пути.

— Ни одного ранения за всю войну не получил. Может, потому — служил на флоте. Под Сталинградом — и то уцелел. Был я тогда в морской пехоте. Тельняшки нам под гимнастеркой для отличия разрешали носить. Радовались, как малые ребята... И думал ли я тогда, что без ног останусь? Врачи говорят — болезнь. Какая, где? — разве упомнишь... А война-то вон как отыгралась.

Человек достал рваную пачку «Норда», закурил.

— Ведь сколько лет прошло, — повторил он, — а она вон как отыгралась!

В этом восклицании было столько горестного недоумения, столько простой человеческой обиды, что сердце мое сжалось от сострадания, от полной беспомощности перед чужим горем.

— На фронте, — продолжил мой собеседник, — потаскал грузов-то, поскрипел спиной. А после войны?.. Колхоз подымать надо, семью подымать... Тут уж о себе не думал нисколько. А война-то уж кусками рвала тело. Я и на баяне в госпитале играть научился.

Человек как-то осторожно улыбнулся. Потом вскинул на меня ясные глаза.

— Баян у меня хороший... кирилловской работы баян. Вот приеду в госпиталь, — отнимут, видно, и руку напрочь. Продавать баян-то придется: ребята малые — шестеро их у меня, — для баловства инструмент дорогой...

Сосед вопросительно посмотрел на меня, словно бы желая доподлинно узнать, стоит ли ему продавать баян или, может, так все обойдется. Его глаза излучали такой нестерпимо синий блеск, что я поспешил отвести взгляд в сторону и только молчаливо покачал головой в ответ.

Сквозные перелески, припорошенные желтизной, плыли в вагонном окне. Иногда они размыкали свою золотую цепь, и тогда открывались взору пустынные поля и лесные дали. Не каждому дано оценить их скрытую красоту, их печальную величавость. Не каждому дано почувствовать за этим забытьем молчаливый вопрошающий порыв. Но тот, кто ощутил на своем лице их легкое дыхание, кто впитал глазами их неяркие тона, тот — я верю — никогда не забудет отчего порога.

О, родина моя — страна Прометеев!

ПЕРЫНЬ

В то бабье лето я любил вставать рано-рано, с первыми лучами солнца, когда оно едва показывалось из-за крыш новостроек, когда улицы были особенно просторны и тихи. Процокает по асфальту каблучками девушка — и снова дворы, проспекты, площади замрут

в утренней дреме. Прозрачный колокол неба, голубого, холодноватого, усиливает любой звук: за квартал слышно, как, слипаясь шинами с мостовой, пройдет троллейбус, шаркнет метла дворника, загомонят городские воробы.

А город оживает, поеживается со сна, светлеет с каждой минутой. У остановок выстраиваются первые очереди: троллейбусы и автобусы, едва замедляя ход, всасывают пассажиров, ходко бегут дальше. И опять под легкой тенью рябинок — безлюдье.

Листва на рябинках в рыжих накрапах. От этой ржавчины деревца кажутся запыленными, уставшими от летнего зноя, — тем ярче и приметнее горят кисти рябин, тем праздничнее вид домов-новостроек, самих улиц, уходивших вдаль.

Пожалуй, ни в одном другом городе я не встречал так много лесной рябины — и не только во дворах, на улицах, но и в городском парке, который полукольцом охватил кремль. В этом старом городском парке дорожки были утрамбованы битым кирпичом, обсажены молодыми рябинками, согнувшимися под тяжестью кистей. Как будто кровь, обильно пролитая в прошлом, прянула из глубин земли, заставила эти гроздья пламенеть среди обвялой листвы, пламенеть всюду, куда бы ни упал взгляд приезжего человека.

Таким этот город мне и помнится — рябиновым да еще ослепительно белым, поскольку рябины чаще всего оттеняли белизну известных всему миру древних новгородских церквей. С куполами, нахлобученными на барабаны, храмы возникали всегда внезапно, потому что были неприметны из-за лоджий, перегородок, противопожарных лестниц, всего современного, геометрически правильного многоэтажья. Зато в асимметрии церквушек, в их приземистости, в их многовековой прочности было что-то незаменимое для города в целом и для тебя самого; точно так же в обвялой зелени, в красноте рябинок было что-то такое, что соответствовало спокойному, чисто русскому облику этого города, всей его красоте.

Душевно я смирялся с тем, что новгородские храмы — ровесники кварталов-новостроек, мимо которых я проходил каждое утро: только коробки домов, вылизанные огнем, да груды щебня вместо церквей, да поросшие травой булыжные мостовые означали в дни

войны улицы и проулки. Долгие годы памятники старины воссоздавались заново,— да нет, терпеливо, старательно собирались из кирпичных обломков, из крошева штукатурки, чтобы ныне на фоне сбежеотбеленных стен так простодушно-весело пламенели осенние рябины.

Я любил в этом городе пройти через кремль, по-летописному детинец, любил смотреть на туристов, которые всегда обгоняли меня, потому что они всегда спешили все разом увидеть, оглядеть, зафотографировать, запомнить, а я никуда не спешил и ничего не старался запомнить — я принадлежал самому себе и находил удовольствие как раз в том, что не должен ничего запоминать, не должен был догонять группу, переживать из-за отставшего товарища; я никому ничего не был должен и поэтому мог просто так — из отдаления — смотреть и на туристов, и на краснокирпичные стены детинца, и на памятник «Тысячелетие России».

Этот памятник своими очертаниями — особенно против утреннего солнца — всегда напоминал мне царь-колокол в московском Кремле. Но стоило приблизиться к нему, обойти его со всех сторон, как передо мной вставал великий летописный свод, отлитый в бронзе гениальным Микешинным.

Золотые главы Софии Новгородской при этом оставались у меня за спиной... Но я мог в конце концов вернуться и туда, пройти мимо собора, незыблемо стоявшего десятое столетие, возведенного повелением сына Ярослава Мудрого, князя Владимира, мимо музыкальной школы-десятилетки, рассыпавшей из окон первые утренние гаммы,— все это можно было сделать, ведь я был предоставлен самому себе, но меня тянуло к Волхову, к гнутым, поигрывающим солнечными бликами волховским стремнинам.

Возле железного плашкоута, к которому приставили рейсовые «метсоры», уходившие на Ильмень-озеро и на Перынь, на берегу краснела кирпичная щебенка. В городе ее не видно, она ровно укатана катками, залита на площадях асфальтом, застроена новыми домами, а здесь она проступила сквозь песок. Эта кирпичная щебенка уходила влево — к высоченным опорам автодорожного моста через Волхов и вправо — к зативным лугам, которые начинались сразу же за крепостным рвом и тянулись вплоть до Юрьева монастыря.

Почти в центре города — и копны сена, зеленый кустарник, остов полуразрушенной церквушки. Нет, невозможно было привыкнуть к Новгороду!..

Там, за рекой, вокруг Ярославова дворища, окаймленного по берегу белой стеной с арками, — все, что осталось от гостиных рядов после войны, — возникали дивные новгородские храмы: вон — Параскевы Пятницы, вон — Николо-Дворищинский собор, вон — Прокопия, а вон — Ивана на Опоках. И над всей этой россыпью церквей, домов, домиков, домишек, над бывшей вечевой площадью, на которой когда-то гремел вечевой колокол, над Воротной башней гостиного двора высилась ажурная телевизионная игла.

Я сошел с плашкоута. У самых ног Волхов поплескивал мелкой зыбью, но дальше — к середине — он был полноводен, былинен, как и подобает быть Волх-реке. Не таким ли осенним утром приходила сюда девушка-чернавушка с ведерком кленовым, с коромыслом кипарисовым? Или, расталкивая народ, тащили под руки мужика-смутьяна, чтобы сбросить его с великого моста, как повелевал новгородский обычай?..

Захотелось побыть наедине с этой былинной далью.

Оглянувшись, я заметил на приплеске орудийный ствол самоходки, торчавший из кирпичного щебня, словно бивень мамонта. Ствол был до блеска заеложан суконными штанами новгородских школьников...

«Ну, вот и встретились!» Почему-то хотелось, чтобы самоходка была именно из нашей стрелковой дивизии, входившей в состав 59-й армии. А 59-я армия держала не вообще какой-то фронт, а Волховский и освобождала не вообще какой-то город, а Новгород Великий!.. Бронетанковые корпуса немцев три года не могли одолеть волховский рубеж в районе Новгорода. Сшибалась броня с броней, взрывались боезапасы в горящих танках — черный дым падал на заснеженные поля, изрытые воронками, усеянные трупами вражеских солдат. 20 января 1944 года наши части перешли в наступление здесь в Новгороде: они вышибли немцев из укреплений по всему левобережью Волх-реки. И вот теперь, возле крепостной стены, бывшее вдруг одело берег в снежные заносы, Волхов — в лед, испятнало этот лед полыньями, залило кровью, проломило у берега самоходной пушкой, той самой, на стволе которой я сидел, уставившись в водные дали.

...По реке, задрвав алюминиевые носы, пролетали моторные лодки рыбаков — они держали курс на Перынь, а может быть, даже на Ильмень-озеро. Я понял: пора идти на раскоп.

...Поскрипывает на роликах, повизгивает лента транспортера; она бежит и бежит по крутой стреле, бежит неостановимо, бесконечно, но иногда кажется, что черная земля, лежащая на ней, сама по себе течет вверх, к отвалу, чтобы там ссыпаться со стрелы непрерывной струей.

Дно раскопа, иначе сказать, обширного котлована — все в полусгнивших сваях, бревнах срубов, черных от земли плахах мостовых, нижних венцах колодезцев. И повсюду на низких скамеечках сидят пожилые женщины-домохозяйки, старики в выгоревших кителях, студенты-практиканты в тренировочных брюках, кедах. Один угол раскопа заняли девочки-старшеклассницы. Все они — рабочие археологической экспедиции, ведущей изыскания на одной из самых древних, но и поныне одной из самых оживленных улиц Новгорода.

Пожилые женщины привычно, словно они пересаживают комнатные цветы, берут комья земли, тщательно разминают их в ладонях, рассматривают, что-то откладывают в сторону, в маленький ящик. Старики-пенсионеры перебирают комки неохотно, покуривают, поглядывают вверх. Старшеклассницы в резиновых перчатках поднимают и крошат землю с неприязнью: им скучна эта работа, и если бы не родители — какой-никакой, а все-таки заработок, — они бы давно сбежали в кино или в сад, к Волхову. Но все-таки каждый комок этой влажной, иссиня-черной земли, прежде чем попасть в отвал, проходит через человеческие руки. Любой предмет — будь то кость или трубочка бересты — предварительно ощупан, осмотрен, отложен в ящик, потому что — кто знает! — может быть, именно эта трубочка окажется берестяной грамотой, а кость — искусно вырезанной палочкой для письма.

...Холодны комья земли, ох, как они холодны даже в сентябрьскую теплынь. Ведь недаром и в песне поется «мать сыра-земля» да еще «мать сыра-земля холод-

ная»... Пожалуй, только здесь, на раскопе, до конца и поймешь вещую силу слов песни: столетиями веет от этого холода...

«...Первая грамота на бересте была найдена как раз под злополучной бровкой. Нашла ее спустя ровно две недели после начала раскопок — 26 июля 1951 года — молодая работница Нина Федоровна Акулова. Запомните это имя. Оно навсегда вошло в историю науки. Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века в щели между двумя плахами.

Акулова передала свою находку Гайде Андреевне Авдусиной, начальнику своего участка, а та окликнула Артемия Владимировича Арциховского.

Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопией улицы во двор усадьбы. И вот, стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем, он в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни единого слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом срывающимся голосом выкрикнул: «Премия — сто рублей!» Наконец выдохнул: «Я этой находки ждал двадцать лет!»

Вероятно, тогда, 26 июля, он был единственным человеком, в какой-то степени предвидевшим будущее находки».

Дословный отрывок из книги «Я послал тебе бересту...» профессора В. И. Янина лучше всего, вероятно, передает незабываемый момент научного открытия, которое вначале, в полной мере, было оценено лишь А. В. Арциховским, но которое позднее взволновало научную общественность всей страны, отозвалось далеко за ее пределами. А сколько таких сокровищ открылось с той поры — переписка с Корелой, отчеты управляющих усадьбами, жалобы крестьян, деловые депеши, любовные записки, детские рисунки, молитвы — тома и тома берестяных грамот, зазвучавших голосами жителей Новгорода. И это чудо случилось в наши дни!..

...Однообразно поскрипывал ленточный транспортер. Солнце из-за высоких крыш заглядывало в раскоп,

в котором уже многое было мне привычно и знакомо. Я сидел на железобетонных плитах, сложенных на краю котлована, и ждал, что вот сейчас, в этот самый момент будет найдено берестяное письмо. Неодолимая сила не давала мне встать и уйти на розыски других материалов. Правда, временами думалось: а не лучше ли сходить в архитектурную мастерскую — там составляются проекты реставрации разрушенных храмов. Нет, не лучше! Берестяная грамота должна быть найдена на моих глазах — ведь их в Новгороде раскопали более четырехсот! Почему бы не быть еще одной? Почему бы мне не подержать в руках трубочку бересты, пахнущую сырой землей, хранившую человеческое Слово?.. Или, может быть, рисунок новгородской ладьи?..

Но чуда не было! Вернее, оно произошло, но без меня. Вчера, к концу рабочего дня, когда я все-таки ушел с котлована, была найдена берестяная грамота, одна из первых за весь сезон. «И оженивоя ту...» — начертал на бересте безвестный новгородец. Каково?! Он «оженивоя» здесь, где по окончании полевых работ строители воздвигнут не что иное, как... как дворец бракосочетаний!.. Строители уже завезли железобетонные плиты, они ждут, чтобы приступить к закладке фундамента, чтобы через шестьсот лет вновь кто-то подумал и написал: «И женился я здесь, в Новгороде...»

Я сидел на бетонных плитах, сложенных строителями на краю раскопа, и размышлял обо всем этом. Что могло стоять в продолжении письма? Да и что это вообще такое? Предуказание судьбы? Неизбежный и вечный круговорот событий? Историческая случайность?..

Солнце ушло за дома, и теперь в раскопе стало сумеречней, таинственней, глуше. Нижние венцы бревенчатых срубов, деревянная мостовая, склоненные над ящиками женщины, студенты-практиканты с белыми рейками — все потеряло отчетливость и резкость.

Долгое и, чудилось, бесцельное ожидание все-таки утомило меня. От нечего делать я стал изучать стенку раскопа, озаренную по верхней бровке закатным солн-

цем. Археологические пласты были отмечены остатками бревен, углем, пеплом. Они сливались, перекрещивались, спрессовывались в столетья... Первый... Второй... Десятый... Одиннадцатый...

Из рассказов археологов мне было известно, что новгородская «мать сыра-земля» обладает удивительной особенностью — во влажной среде, без доступа воздуха, она сохраняет на многие века дерево, ткани, бересту, кожу, рыбу чешую, орехи, даже клюкву, которая и после раскопок, пролежав в земле сотни лет, бывает съедобна.

Вот почему остатки всех мостовых, пристаней, зданий, выстроенных на берегах Волхова, лежат под современным Новгородом. Столетиями они подымали город над «материком», пока не стали его многовековым культурным слоем.

И чем упорнее я вглядывался в древние слои, тем фантастичнее было виденье, которое возникало передо мной: древние усадьбы, терема, частоколы прорастали еще более древними усадьбами и частоколами, но и в них прорастали еще и еще более древнейшие — и все они срастались, как срастаются друг с другом кристаллы гигантского горного хрусталя.

Мое «я» терялось в этом чудовищном лесу частоколов, в этом хаотическом нагромождении теремов-хоромин, в этих мостовых, висящих друг над другом, перекрывающих друг друга много раз. Город был многолик, но он был един, он жил тысячелетье, но и одно мгновение тоже! Миг растягивается на столетья, оставаясь мигом, город был реальностью, оставаясь мечтой.

...Я не слышал, как меня окликнули из котлована.

Звала практикантка Рая, опекавшая меня на раскопе и вводившая «в науку», как она шутя говорила друзьям-студентам. Склонившись к водоотводной канавке так, что светлые волосы, рассыпавшись, закрыли лицо, девушка прополаскивала какой-то предмет. Медленно очнувшись от видений, — вот оно, первое берестяное письмо! — я сбежал по трапу в котлован и ступил на заляпанные грязью мостки, не зная, что иду на этот раз в страну собственного детства.

Девушка, отводя волосы тыльной стороной ладони, с любопытством рассматривала короткую палочку, заостренную с двух сторон. Из-за ее спины я заглянул

на этот обломок, хранивший следы ножа. И Рая, не поняв назначения находки, передала ее мне. Подавив невольное разочарование,—опять не берестяное письмо!—я стал мучительно соображать—что бы это такое могло быть? Что бы это...

«Чижик!»—верчу палочку так и сяк и уже больше не сомневаюсь: передо мной самый что ни на есть настоящий «чижик».

— Это — «чиж»...— пояснил я, но тут же догадался, что мое пояснение ничего не дало Рае. Да и откуда ей, московской студентке, было знать о нашей любимой и самой азартной игре.

...За бревенчатым амбаром, на лужайке, вытопанной босыми пятками всего деревенского проулка, я бью битой по «чижику»—и он, стремительно кувыряясь, летит к амбару. С радостным визгом, с хохотом разбегаются деревенская братня, кто куда может. А «чиж» ударяется о стенку амбара и отскакивает в сторону—тем труднее будет его найти водящему...

С кем это было? Со мной или с моим тезкой, который забросил «чижик», эту чудесную палочку, так далеко, что она пролетела пять с половиной веков и упала в этот вечереющий час ко мне в руки.

...Только теперь я по-настоящему разглядел находки, которыми ежечасно одаряла нас новгородская «мать сыра-земля», но которые я, захваченный жаждой поиска грамот—одних грамот!—не замечал, вернее—не придавал им никакого значения. А ведь эти находки археологи откладывали в отдельный ящик и каждый вечер уносили на базу экспедиции—там, на базе, их подвергали тщательному осмотру.

Постороннему человеку, обладающему практической жилкой, содержимое ящика могло показаться довольно странным. В самом деле, достаточно было бы порыться за избами в наших северных деревнях, чтобы найти эти обрезки кожи, обломки горшков, это круглое донышко от жбана, этот черенок ложки,—да мало ли чего выбрасывают хозяйки за частокол, где в горячей

пыли рожься куры и неистово орут петухи. В общем-то, раньше я и был на положении человека «со здравым смыслом». Но теперь с какой-то душевной отрадой угадывал предмет за предметом.

...Беру из ящика и разглядываю витой черенок ложки, которую как будто вчера вырезал сосед Ероха... Верчу в руках мутовку — такой мутовкой орудовала по утрам Евлаша... Бережно держу на ладони обломок деревянной рыбацкой иглы — мне самому довелось в детстве выстрогать такую иглу и даже ухитриться сплести маленький бредешок.

Подумать только! За сотни лет приемы и навыки северного крестьянина-ремесленника не претерпели заметных изменений. Нельзя было не удивляться верности однажды выбранной формы («как скажет мера и красота», говорили в народе), — с которыми была вырезана ложка или сплетен хотя бы вот этот берестяной туесок: древний новгородец на его донышке начертал «Ждань» — значит, это был Жданов туес, значит, грамотные соседи могли прочитать, кому принадлежал сей нехитрый сосуд. В великом множестве в ящиках, принесенных с раскопа, встречались и небольшие железные скобы, назначения которых я никак не мог понять. Но затем все выяснилось — и выяснилось не из книг, не из археологических исследований, а из самой жизни...

...Перынь — это береговой мыс, поросший древними соснами. Здесь когда-то было главное мольбище Перуна-громовика, одного из самых почитаемых богов ильменских славян. Здесь горели жертвенные огни, высились изваяния бога-громовика. Раньше к Перыню непременно приставали корабли, идущие по великому пути «из варяг в греки». Корабельщики приносили Перуну жертвы, получали от волхвов обереги и амулеты... Да и теперь на этом песчаном берегу можно встретить совхозных рыбаков, плывущих с Ильмень-озера. Ходят они на соймах — старинных рыболовецких судах, ходят в полный бейдвинд, то есть против ветра, и имеют выдвижной деревянный киль.

Как-то слоняясь по берегу Перыни и ожидая рейсовый «метеор», чтобы возвратиться в Новгород, я увидел такую сойму, которая шла под парусом удивитель-

но легко и красиво. По своим очертаниям она не была похожа на прогулочную яхту. Она была похожа... похожа — на ладью!

Сойма ткнулась в песчаный берег рядом с пристанью, и я с особым интересом стал ее рассматривать. Полные носовые обводы, крутые борта, хорошая всхожесть на волну... И вдоль каждого паза на обшивке — металлические скобки... Точно такие же, какие были найдены на раскопе!.. Так вот, значит, для чего предназначались эти скобки! Они предохраняли лодку от рассыхания...

Озерные соймы строились из поколения в поколение, и также из поколения в поколение передавались секреты их парусности, их рулевого и килевого устройства. Таким образом древнеславянская ладья, нотолько под названием соймы, дошла до наших дней... Эти ладьи когда-то плавали по всему Обонежью, а под именем «кареводниц» и кочей попали на русский Север. И лишь в последние десятилетия стали уступать место стеклопластиковым катерам...

...Итак, я пришел в свое детство. На новгородском раскопе я стоял у начала родной земли Заволоцкой; отсюда пошла и есть северная Русь...

Но в то золотое бабье лето Новгород одарил меня еще одним поразительным открытием. И это открытие заставило меня по-иному понять и почувствовать изначальную Русь.

...Венцы истлевшего сруба, который был раскопан на следующий день, мало чем отличались от ему подобных. Правда, в срубе были найдены угли, обрезки кожи, «писало» — костяная палочка, которой в древнем Новгороде пользовались вместо гусиного пера: человек брал «писало», вдавливал буквы по бересте, смягченной жидкостью, возможно, рыбьим клеем, и получался оттиск этих букв. Но в общем-то сруб был малоинтересен, и его уже начали разбирать, когда нашли один довольно странный предмет.

Начальник участка — медлительный, не по возрасту грузный аспирант исторического факультета — взял этот предмет и по обычаю прополоскал его в водоотводной канавке.

Хотя я и сидел, как всегда, на бетонных плитах,

у края раскопа, он ничего не сказал мне, вероятно, полагая: берестяные грамоты для меня важнее! А находка между тем была необыкновенной, и уж если я хотел заполучить «гвоздевой» материал, то в первую очередь должен был поинтересоваться ею. Ирония судьбы! Мне бы любопытствовать — чем озабочен начальник участка? Почему так тщательно он фотографирует этот сруб? Однако я не подошел к нему и не спросил его, — о чем по сей день сожалею.

Случайно оказавшись на базе, в дощатом бараке, разгороженном на тесные комнаты (в одной проходили производственные совещания, в другой был склад археологических находок, в третьей сидели художники-реставраторы), я узнал, что за предмет унес с собой начальник участка.

Это был Перунов оберег!

«А тот камень падает и стреляет сверху от грома, — можно прочесть в древнем рукописном «Травнике». — Он же громовая стрела называем... Того же камня демоны боятся, а носящий его не убоится напасти и беды и одолеет супротивников своих. Аще кто и стрелу громовую с собой носит, тот может всех одолеть силою своею, и против его никто не устоит, хотя бы сильнее его был».

В языческие времена поверье о «громовых стрелах» было распространено среди народностей Европы и Азии. Да и в средние века на Руси «громовые стрелы» считались талисманами, амулетами, или, по-древнерусски, оберегами, которые как будто обладали чудесной силой, оберегали человека от ударов грозы, от пожара, от меча, от «дурного глаза». Ведь эти стрелы были посланы на землю самим Перуном, мольбище которого находилось в старом сосновом бору под Перынью.

Я попросил практикантку Раю принести мне «громовую стрелу», потому что все рассказанное разожгло мое любопытство.

...Был обеденный перерыв. В тесной комнатке, в которой художники-реставраторы делали прориси берестяных грамот, я остался совершенно один. Стол художников, заваленный листами бумаги, перьями, пособиями по археологии, томами «Материалов и исследо-

ваний», освещало жидкое сентябрьское солнце. На чистом листе ватмана передо мной лежала «громовая стрела». Серебряная оковка ее была изрыта, измята, исцарапана многотонной тяжестью земли, но, измятая, изрытая, исцарапанная, она посвечивала матовым светом. Разглядел я и серебряное ушко, в которое продевалась серебряная же цепочка. И хотя в комнате было жарко, душно от застоявшегося табачного дыма, мне почудилось: от «громовой стрелы» тянет ледяным холодом, как от безмолвных земных глубин, в которых она была найдена несколько часов назад. В черной исторической мгле, что погребла и бревенчатый сруб, и владельца Перунова оберега, и сам оберег, царил этот космический холод.

ПОСВЯЩАЮ КАРЕЛИИ

Есть строчки, обладающие одной примечательной особенностью: ты твердо знаешь, что пережил то же самое, что их автор, но вот почему-то не догадался об этом сказать вслух, не удосужился сесть и хотя бы одним словом закрепить мелькнувшую счастливую мысль. Так было и со мной, когда — хоть убей — не помню, где я вычитал:

В карельских лесах заплутала
Военная юность моя.

Моя юность тоже заплутала в карельских лесах. Правда, уже много лет прошло с той поры, когда молоденьким лейтенантиком, выпускником офицерского училища, с кирзовой кабурой, с кирзовой полевой сумкой я перемахнул через борт фронтовой полуторки и спрыгнул на пыльную обочину. Кругом громоздились груды валунов, замшелых, испятнанных осколками снарядов, прикрытых сквозной тенью сосенок. От них исходили волны тепла и света, поскольку солнце палило в этот полуденный час немилосердно, и еще волны какой-то обезволивающей лени, которые заставляли выискивать глазами прохладную, заросшую травой расщелину, где можно было бы выспаться на двое суток вперед... Но странно, именно в этой расслабляющей дреме летнего полдня мне впервые довелось расслышать отдаленный грохот передовой...

Каким все-таки наивным и простодушным был я в ту пору! Казалось, если подняться вверх, в гору, то я непременно увижу эту самую передовую. Легко перепрыгивая с одного валуна на другой, я стал подыматься по склону, хватаясь за тонкие стволы сосенок, иногда подтягиваясь на руках. Подъем оказался коротким и трудным. И все-таки я одолел его... Растрескавшиеся глыбы бетона, изогнутые, как щупальцы, прутья арматуры, завитые спиралью железные балки перекрытий, и повсюду маслянисто поблескивающие россыпи гильз — вот что я нашел на этой безымянной высоте. Из ближайшей расщелины топорщилась какая-то шинельная рвань и шел сладковатый запах, который, даже не зная его, нельзя было спутать ни с чем, — трупный запах, запах смерти.

Все вокруг было искорежено, изломано чудовищной силой взрыва. И здесь же совсем случайно я наткнулся на длинную щебеночную насыпь, посредине которой кто-то второпях воткнул уже полуосыпавшуюся елку. Простое человеческое любопытство — а именно с ним я разглядывал взорванный дот — сменилось чем-то иным, чем-то похожим на холодок, которым опохнуло меня враз и иссушило рот еще неясной мне самому тревогой. Но когда я спустился вниз, закинул за плечо новенький вещмешок, по-фронтовому — сидор, я уже забыл обо всем пережитом и беспечно зашагал навстречу неумолчному, как неумолчен рокот тяжелых мельничных жерновов, грохоту передовой.

И вот снова — жаркой июльской порою — я тревожно вглядывался в каждый поворот пустынной лесной дороги. Мне казалось, что вот сейчас, отогнув от лица колючий лапник, выйдут ребята в маскхалатах, подымут руку и, когда машина остановится, скажут: «А ты, младший, вовремя прибыл. Будем делать проходы в минных полях: ночью поиск!» И вся моя сегодняшняя жизнь, все мои тревобления, обиды, беды, ночные телефонные звонки, гонка на такси из одной редакции в другую — все это окажется чем-то нереальным, ненастоящим, призрачным, как призрачно забытье перед рассветом, когда явь и сон непрерывно меняются, рвутся, словно старая кинолента, томят ожиданием чего-то неизбежного. Я знал, что люди в маскхалатах спешат: им надо еще поспеть к батальонной кухне, к обжигающей горло мерке спирта, к сухарям,

пережаренным вместе с салом на огромной сковородке и заменяющим разведчикам обычный армейский приварок. Но дорога была пустыня, она по-прежнему бросалась под колеса, поскрипывала гравием, покачивала нас, как на волнах, на длинных спусках, и ребята не выходили ни у этого поворота, ни у следующего... Только время от времени на вершинах каменных высоток вставали строгие бетонные обелиски.

Сбегали сосновые рощи
Напиться озерной волны.
И думалось чище и проще
О судьбах любви и войны...

Да, вблизи этих серых обелисков думалось чище и проще о судьбах окаянной, по-человечески трудной любви, о жизни, о смерти, о войне, которую, как оказалось, не стереть в памяти никакими силами на свете.

Измотанный долгой дорогой, я иногда выходил из автомашины, бродил по старым местам, бродил там, где покосились колы проволочных заграждений, подернуло мхом и завалило хвоей глыбы взорванных дотов,

Где пели в потемках осколки,
Шарахались мины окрест,
Где выросли низкие елки,
И каждая елка, как крест.

По склонам, по завалам камней виделись теперь эти елки, похожие на кресты, они кружились в глухой и полной тишине полуденного леса, они сопровождали меня до самой Кимас-озерской. Позднее я нашел строки, которые твердил про себя на дорогах Карелии, нашел в стихотворении «Тропинку трава заплетает» — их написал мой друг Михаил Дудин, участник финской кампании, а затем — обороны Гангута и обороны Ленинграда. Но тем летом на пустынной лесной дороге, ведущей в Кимас-озеро — конечный пункт моего маршрута, я этих стихов не помнил, однако почему-то думал, что стихи должны быть именно такими, и даже образ — «и каждая елка, как крест» должен быть в этих стихах, прерываемым невольным вздохом сожаления и горькой печали.

Итак, я ехал в Кимас-озеро!.. Мне обязательно надо было попасть в этот отдаленный, почти у самой государственной границы, поселок. Среди многих других побуждений, которые владели мною тогда, не послед-

нее место занимало желание наяву увидеть легенду моего детства. Ведь с Кимас-озером меня связывали воспоминания даже не юношеских — я не был там в дни войны, — но отроческих лет.

Среди кинокартин, выпущенных в предвоенные годы, теперь совсем забыта и не упоминается одна — «За советскую Родину». Эта лента была сделана по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера», и повествовала она о легендарном зимнем походе отряда Антикайнена по вражеским тылам в 1922 году. Однако помнится, что на нас, учеников вологодской школы, эта картина произвела сильное впечатление. Наши воскресные лыжные прогулки приобрели теперь особый смысл: вооружившись самодельными пистолетами, мы гонялись друг за другом по заснеженным лесным перелескам с утра и до позднего вечера.

А через год колонны лыжных батальонов уже шли через Вологду на фронт, в Карелию, и в письме, присланном с «той войны незначенитой» двоюродным братом Виктором, который и был-то немногим старше меня, я прочитал, как отряд лыжников-добровольцев шел через горящие Терйоки, как трудно в лесах выискивать и настигать «кукушек», как надо беречь и понимать лыжи, не раз спасавшие ему жизнь.

Забегая вперед, скажу, что после этой поездки в Карелию я еще раз прочитал «Падение Кимас-озера» и, как говорится, заново пережил эту небольшую повесть, пережил все тяготы и лишения, выпавшие на долю отряда курсантов-интернационалистов. Под командованием Тойво Антикайнена они совершили трехсоткилометровый переход по январским лесам и озерам и, с ходу разгромив штаб белофиннов в Кимас-озерской, способствовали утверждению Советской власти в Карелии. Конечно, в книге немало характерных для того времени публицистических и стилевых оборотов, но ее пафос — пафос беззаветной преданности революции — невозможно не оценить и по сей день. Книга эта в отличие от иных храбрых сочинений, написанных по принципу «шапками закидаем», настойчиво учила терпению, мужеству и воле к победе.

Одним словом, «Падение Кимас-озера» — честная, хорошая книга писателя-современника.

И вот к вечеру, когда я был вконец измотан дорогой, наш мощный лесовоз подъехал к жердевому от-

водку,— примете всех северных поселений. На узком полуострове виднелись дома поселка. К воде сбегали крохотные баньки, сарайчики и огороды. На другой стороне залива белела крыша лесничества с четким аэропознавательным знаком «Т». Это и был поселок Кимас-озеро! Тем же вечером, обычным по своему ненастью для здешних мест, когда в жарко натопленной комнатухе было особенно домовито и хорошо, мы разговорились с хозяйкой, Татьяной Егоровной, пожилой карелкой с красными от воды и стужи руками. Я люблю деревенские сумерки: тикают ходики на стене, полумгла медленно заливает комнату, и только изредка долетают с улицы глухие порывы ветра да скрежет жестяного листа на соседской крыше. Лицо Татьяны Егоровны смутно белело возле окна.

— Знаете ли вы что-нибудь об Антикайнене?— спросил я хозяйку.

— Как же, как же... И даже поговорить могу,— охотно отозвалась она с тем певучим смягчением согласных, которое трудно передать на бумаге, но которое сразу же отличает жителя Карелии. И Татьяна Егоровна рассказала мне, как девочкой она увидела однажды возникшие в метели фигуры солдат.

— Вон с того берега,— показала она рукой на крышу лесничества,— и слетели они на озеро, в белых балахонах, в шапках с красными звездами, стреляя на ходу, крича «ура». Тогда же у нас и школу сожгли, и в ней штаб белофиннов, и склады разные, и домов не помню сколько...

В рассказе моей хозяйки не было каких-то особенных подробностей и деталей— да и что могла запомнить маленькая девочка в то метельное утро, когда отряд Антикайнена ворвался в деревню. Но что пожилая карелка сама видела этого легендарного человека и его бойцов, что я находился в деревне, которая была для меня раньше чем-то бесконечно отдаленным во времени и пространстве, вроде клондайских зимовок Джека Лондона,— все это взволновало меня неизъяснимо. Постепенно я осознал, что совершаю путешествие в страну, которая не могла быть для меня лишь обителью фронтовых воспоминаний, но по контрасту, по внутреннему несогласию с жестокой памятью войны, могла быть и стала страной Калевы, где все еще живет дух рунопевцев, сказителей и боянов.

МАЛЬЧИК

Начальник партии был хмур и неразговорчив: третий раз за неделю приходилось менять табор, а значит, терять целый день. Высветленный солнцем, сонный от безветрия и августовской теплоты, этот день дразнил его бесцельным великолепием, обещал спокойный, тихий закат. А ведь здесь, на севере, как бывает: с утра — солнце, а к вечеру наплзет такая — невозможно даже высказать — такая мразь, что, кажется, не будет ей ни конца, ни краю. Ветер подхватит изморось, захлещет по озерам, по мокрым бокам валунов, по стволам сосен. Вот тогда и поработай на лесных выделах. А сейчас, когда надо перебираться на новое место, откуда что и взялось — солнце сияет, валуны теплы, багульники пышны, а заозерные леса так заманчивы, что невозможно отвести глаз.

Чтобы не растревлять себя, начальник стал следить за погрузкой. Рабочие спешили. Они торопливо и небрежно собирали пожитки. Одна за другой, качнувшись, запузырив брезентом, рушились таборные палатки. Их сворачивали вместе с веревочными таями, с колышками, осклизшими от сырого мха, с коробками из-под гильз, набитыми во внутренние карманы. Спальные мешки спешно засовывали в чехлы и, перекидывая тюки из рук в руки, бросали на днище алюминиевой моторки. Прокопченные кастрюли, ведра, тарелки с грохотом складывали в нос рыбацкой лодки, которую таскали на буксире за моторкой. Постепенно табор пустел. Обнажился примятый, но еще зеленый настил под днищами палаток, осиротел костер, открылись стволы сосен, — на них висели ватники, полотенца и зеркальца для бритья.

Наконец-то лодки, доверху груженные скарбом и людьми, тронулись по мелкой воде. Начальник безучастно сгорбился и уставился прямо перед собой. Он ни разу не оглянулся назад, хотя другие с каким-то щемящим чувством смотрели, как ширилась голубая полоска воды, как отдалялась и отдалялась от них сосна, поваленная в воду буреломом, — место недавнего приюта.

С дымком первой папиросы это чувство развеялось, растаяло в дреме августовского полдня. Оно мимоходом возникло как будто для того, чтобы сильнее оттенить жажду новизны и сладость дорожного ничегонеделанья,

которое постепенно охватывало сидевших в лодке. Путь предстоял дальний, и рабочие устраивались поуютнее среди ведер, ящиков, мешков и прочего лагерного имущества.

— А Мальчика-то забыли?!— удивленно воскликнул самый молодой из рабочих.

Действительно, по берегу мелькало желтое пятно. Оно исчезало и возникало вновь, словно закатное солнце, которое временами врывается в окна железнодорожного вагона.

Сидевшие в рыбацкой лодке разом обернулись. Выскакивая на увалы, прыгивая к воде, за ними бежал таборный пес. Несколько раз он забегал на отмелях в воду, но лодки уходили от него настойчиво и неуклонно, и желтое пятно еще долго мелькало в зеленоватосизой мгле берега.

Пес был приبلудшим. Вернее, парни-сезонники прихватили его где-то около Устья, втащили в кузов автомашины и привезли на озеро. Пес привязался к людям, охотно откликался на любую кличку и не выделял никого особенно из партии. Прозвали его, не мудрствуя лукаво, Мальчиком. Старые хозяева, судя по всему, собаку нещадно били: при резком движении пес пригибался к земле, втягивал голову между лапами и торопливо — задом-задом — уползал в болотные кочки. Его никто не баловал, никто не ласкал, но и никто не обижал. Жил он в таборе сам по себе.

Любимым занятием Мальчика было довольно-таки бесцельное рысканье по лесу: внезапно появлялся он на дальних выделах, вертелся под ногами, мешал рабочим, а потом надолго исчезал в чахлом мелколесье. Он принадлежал всем и никому в отдельности, как, впрочем, и многое из таборного имущества. И отношение к нему было таким же временным, как к палаткам, топорам, рулеткам, даже больше — ко всей этой кочевой жизни, которая здесь, в северных лесах, была одна, а где-то там, за озерами, болотами, реками, совсем другая.

В одном месте озеро образовало широкую горловину, и моторка, оторвавшись от правого берега, пошла наискосок к левому. Пес добежал до кромки воды, кинулся в нее с разбега, вернулся, выскочил на откос, потом

опять сбежал к воде. Он не знал, куда повернет моторка. Но отчаянье побороло в нем нерешительность, и через миг острые уши уже торчали из воды. Бешено работая лапами, Мальчик выплывал на середину озера,— по его разумению так было вернее, так он мог дольше видеть лодки.

Поднялась легкая зыбь, и вскоре голова собаки пропала в голубовато-свинцовой дали.

Начальник, сгорбившись у руля, был безмолвен и безучастен ко всему происходящему. Никто не решился напомнить ему про пса, перекричать протяжное гудение мотора.

На рыбацкой лодке кто-то откинулся на мешки, закрыв глаза от солнца кепкой, кто-то закурил и все как будто забыли про торчащие из воды темные собачьи уши. Но по тому, как словно бы ненароком каждый оглядывался назад, было очевидно, что никто ничего не забыл: просто в перегруженной людьми и таборными пожитками лодке не знали, что делать.

— А ведь Мальчик-то выплыл!— обрадованно крикнул все тот же самый молодой.

— Где? Где?— все оживились, разом смахнули притворную дремоту.

Теперь уже не по правому, а по левому берегу замелькало желтое солнечное пятно. Оно постепенно приближалось, росло, но возле длинной отмели моторка внезапно развернулась и пошла наперерез волне к далекому заозерью. Все помрачнели, насупились и с тягостным чувством стали глядеть, как пес выскочил на отмель и неподвижно встал у воды. Моторка уходила в заозерье, уходила, чтобы никогда не возвращаться на старый табор.

Песчаная отмель готова была вот-вот исчезнуть совсем, когда с берега донесся протяжный вой. Он был суров и требователен, этот вой, он не срывался на визг, но оглашал озеро воплем, и жутко и нестерпимо стыдно становилось людям. Кто мог подумать, что веселый, разбитной, трусоватый малый—таборный пес способен с такой силой тосковать и рваться к людям, которые не то чтобы ласкали или привечали его,—где уж там—хотя бы не били, не гнали от себя.

В успокоительном пении мотора, в глухих шлепках волн о борта лодки смолкли крики оставленного на отмели пса.

Снова по крутому откосу, соскальзывая и падая, люди таскали тюки и ящики. Снова весело трещал сухим валежником костер. Снова одна за другой вздымались верха палаток и звенели топоры от ударов по колышкам. Но самый молодой и кучерявый уже выгребался в озеро, часто взмахивая веслами и резко откидываясь к корме. Он отправлялся на старое пепелище.

И только к вечеру, когда верхушки сосен четко впечатались в багряное солнце, на озере послышался усталый, победный скрип его уключин.

ПОЮЩИЙ АВТОБУС

На станции Кочкома, в сотне метров от Беломоро-Балтийского канала, мне пришлось довольно долго ждать рейсовый автобус. Я кружил вокруг телеграфного столба, к которому было прибито расписание. Кружил, напоминая плотву, посаженную на кукан, злился и все-таки не решался отойти далеко в сторону: автобус мог прибыть с минуты на минуту, а у столба его поджидала толпа пассажиров. Наконец из-за поворота вынырнул запыленный ковчег местного значения и начался штурм задней дверцы.

По наивности я думал, что Кочкома — это почти край света и я буду ехать две сотни километров, наслаждаясь пейзажами Карелии, прославленными во всех путеводителях и туристических справочниках. Между тем все было точно так же, как у нас на Дмитровском шоссе в часы пик, только, может быть, побольше мешков, узлов и чемоданов да поменьше портфелей и сумок. Вот почему на остановках мне приходилось выходить, ожидая, когда из автобуса вырвутся распаренные пассажиры, и по возможности первым вклиниваться обратно.

Однако с каждым километром в салоне что-то утрясалось, что-то перемещалось, и в конце концов я получил возможность притулиться на одно сиденье с кондукторшей. Повернувшись к ней боком,— делать нечего: теснота,— прильнул к окну.

Я впервые был на севере Карелии, и понятно, что хотел набраться свежих впечатлений, как говорят на

заседаниях творческих секций. Но набраться этих самых впечатлений мне никак не удавалось: мимо текли редкие сосенки, мелькали замшелые валуны, вздымались, пропадали горы камней, и снова струился сосняк со сквозной, как бы дымчатой хвоей. У себя на родине я насмотрелся этих сосенок вдоволь. Но здесь почти все время за сосняком виднелась вода. Она стояла голубой стеной, и эта стена то подступала к обочине, то едва-едва просвечивала сквозь зеленый частокол. Глядя на эту манящую голубизну и прохладу, я решил припомнить, сколько же озер в Карелии, но вспомнить никак не мог, хотя и пытался приблизительно прикинуть — ну, тысяча, пять тысяч, в крайнем случае, десять тысяч. Лишь в Петрозаводске от знакомых узнал астрономическую цифру — сорок четыре тысячи — вот сколько, оказывается, больших и малых озер в Карелии!

Мелькание сосен, валунов, песчаных осыпей быстро утомило меня, и я перевел глаза в салон. Виднелись пестрые косынки пассажиров, их темные жакеты да коричневые шелковые плащи. Большинство женщин было в пожилом, если не сказать преклонном, возрасте. Сквозь однообразный рокот мотора, скрип сидений, позвякивание железок и стихающий детский плач ко мне не сразу пробился негромкий голос. В передних рядах кто-то пел. Пела женщина, пела для себя, про себя, чтобы скоротать скуку дальней дороги. Но голос ее все-таки заставил прислушаться, уловить мотив. И вдруг — совершенно неожиданно грянуло дружное трехголосие:

И снова у проходной
Встречает милый меня.

Я вздрогнул. Уж очень согласно, до удивления согласно, зазвучала песня. Теперь не одна, не две, не три пассажирки, а, казалось, весь автобус принял ее, как свою, дал силу и необычайную — до мурашек по спине — пронзительность. Слушая этот хор, я думал: какую неожиданную радость принесла мне встреча с Карелией. Неужели всюду так привольно, так многоголосно поют в карельских лесах? Что женщины карелки — я догадался по их мягкому акценту, по голубым, первозданной синевы глазам, как будто освещенным синевой большой озерной воды. В автобусе между тем

стали слышаться заказы: «Вечерком на реке», «Сормовскую лирическую», «Костры горят далекие»...

— Нет, нет,—убеждала всех кондукторша,— пусть споют эту... Как ее? Да там еще есть слова... ну, как их? Ну, что кавалеров мне вполне хватает...

И женщины безотказно пели про зори, про костры, про кавалеров, которых, судя по всему, действительно вполне хватало нашей кондукторше. Вкладывали они в слова не заглушенное невзгодами былое, увы, для многих былое, но страстное желание взаимной любви и счастья. Они как бы вновь переживали молодость, выпевали ее очарование, ее радости и ее беды, они жили этими песнями, они отреклись от себя, дородных матерей семейств, старых домохозяек,—и разом помолодели, покрасивели, если можно так сказать.

Наконец парень, впрыгнувший на одной из остановок в автобус, догадался и крикнул: «Карельскую! Просим карельскую!» Женщины поотнекивались, мол, неинтересно будет, но, когда все пассажиры стали их уговаривать, они сдались. Трудно, не зная языка, до конца постигнуть красоту и выразительность исполнения, но едва женщины смолкли—в автобусе на время установилась тишина. Сами женщины притихли, потрясенные неостановимым, как прибойная волна, раскатом мелодии.

Я не выдержал, перегнулся через спинку сиденья и спросил у ближайшей соседки: о чем эта песня?

— Эт-то о девушке, которая живет у озера и ждет своего дорогого,—сказала она.

— Ну, а вы кто?—решился я выяснить загадку, мучившую меня всю дорогу.

— А мы самодеятельный карельский хор из Реболы. Ездили на праздник торговли, в Сегежу. Да вот, видно, не напелись,—она улыбнулась, выждала такт и подхватила вместе с подружками громко и счастливо:

Люби, куда любится,
Встречай, пока встречается.

...С наступающими сумерками автобус въехал в поселок лесорубов, в котором я должен был сделать остановку. И хотя двести километров остались позади, и хотя я уже сутки не спал в дороге, жаль было расставаться с этим районным ковчегом. Кажется, еще минута—и я бы тронулся вместе с ними на Реболу.

Кижы ныне прославлены. Кижы знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издают о нем фотоальбомы, серии цветных открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижы — уникальный архитектурный ансамбль: посетите Кижы».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят вытянутые, как ракетноносцы, «метеоры», юркие речные трамвайчики — и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного зодчества, что высота главной Преображенской церкви — 37 метров, иначе говоря, высота двенадцатиэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубам, на сруб поставлены еще два восьмеришка, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, а на бочках расположены 22 главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами, — и многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантаской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принимал, но вот что касается души...

В общем, я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Валентиной Михайловной — тоже художницей — в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радужно.

Естественно, мы разговорились о том, какое впечатление на меня произвели Кижы. Сам Алексей Иванович — старожил этих мест. Он знает здесь каждый камень, каждую отмель, рыбачит ранней весной и поздней осенью и пишет «картинки», как иронически говорит о своей работе. Теперь к Авдышеву пришел за-

служенный успех. Но успех его линогравюр — лирики в черно-белых тонах — объясняется не только талантливостью и трудолюбием художника. Когда мы вышли на высокое деревянное крыльцо, то в глаза бросился плоский остров Киж, дебаркадер, моторки, ныряющие в озерных волнах, а главное, — храм Преображения и соседние с ним колокольня и Покровская церковь, которые действительно составляют с храмом единый ансамбль.

Зная, как много художников пытается выразить резцом — на линолеуме и дереве, кистью — на холсте и бумаге нечто колдовское, нечто таинственное, присущее Кижскому погосту, я думал раньше, что Алексею Авдышеву просто повезло. Но здесь, присев вместе с хозяином дома на перила крыльца, понял, что за этим везением, по существу, стоит вся сознательная жизнь художника. Чтобы так «повезло», надо было не просто часто бывать в Заонежье, но и вырасти здесь, найти себя в зрелые годы и не в чем-нибудь другом, а в том, что с детства было перед глазами, что ты всегда любил неосознанной любовью, к чему тянулся не проснувшимся еще для творческого деяния сердцем. Именно с детских лет влюбился в Заонежье Алексей Авдышев.

— Однако как вам Киж? — повторил он вопрос.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего. Когда с палубы «метеора» впереди замаячил погост, мне он показался хрупким, вроде резной этажерки, нереальным, даже каким-то непужным среди этой россыпи каменистых островов, синих вод, бездонного утреннего неба.

— Не так надо смотреть Киж, как вы смотрели на них, не на ходу, не вполглаза, — с укором заметил мне Алексей Иванович. — Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и дожде, при тихом месяце и шторме. Попробуйте проплыть вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижский погост, — и тогда вы, может быть, — он повторил, — может быть, поймете, что такое Киж!

Я с сомнением покачал головой, и мы оба, по молчаливому согласию, больше не возвращались к этому разговору.

...Случилось так, что на утлой лодчонке, взятой на-

прокат на турбазе, я выехал порыбачить за деревню Ольхино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображения. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взглядывать на нее всякий раз, когда мою ветхую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне. Напоминала она что-то знакомое, виденное множество раз и вместе с тем величавое, вечное. Погост не казался мне, как прежде, хрупким, ненужным среди этой глубины и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес, как вписывается... Нет, я не мог найти сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, поднимающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь, и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они, безмянные плотники и мастеровые, выросли в заонежских лесах, внутренним чувством, интуицией истинных художников шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы стройный, многоглавый деревянный собор своими контурами не разрушал очарования закатов и восходов, лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменистой и все-таки щедрой матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова, или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком. Дорога шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными рядами камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны тоже были разделены оградами из крупных и мелких валунов. Солнце тихо сгорало в густеющей мгле. Я не видел погоста, он остался у меня за спиной, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня от-

крытие. Я понял, по-своему понял мастерство строителей Кижей, и это понимание сделало меня богаче, чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромодили эти камни, нет, они были сложены человеческими руками!

Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижь, уходя с луговины или с клочка пашни, уносили с собой камни — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать косу, повредить копыто коня, ушибить ногу. Они складывали их в груды, груды росли, ширились, пока наконец не образовали этот нескончаемый гранитный лабиринт. Эти гранитные лабиринты не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их — вечных памятников крестьянскому труду и терпению, — не было бы Кижей, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: Кижь — уникальный архитектурный ансамбль, посетите Кижь. Только, пожалуйста, прислушайтесь к совету художника Алексея Авдышева и научитесь смотреть не вполглаза, а во все глаза на этот остров сокровищ.

ДЕРЕВЯННАЯ ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Стояла середина апреля. На опушке снег лежал мокрыми серыми полотнищами. Лес казался каким-то заброшенным, захламленным: на осевших сугробах виднелась ржавая хвоя, чернели шишки, топорщились ветки, оброненные соснами в зимнюю пору. Трава еще не пошла в рост, мертвенно желтея на прогалинах. Обрывы пахли сырой глиной.

Лес, голый, вздрагивающий от озноба, роняющий крупные капли, был безлюден.

Мы остановились около ивового куста: соцветья на нем походили на мышат, у которых в воде намокла серая шерстка. Сходство было настолько очевидным,

что ты сорвала ветку и стала отогревать ее в розовых ладошках.

— Посмотри, какие они маленькие,— сказала ты и вытянула губы.

А дорога с заледенелыми колеями уходила дальше в лес. Солнце не было видно сквозь туман, но, невидимое, оно прогревало воздух, заставляло все чаще по-свистывать синичек. Вслед за синичками подали голос и другие пичуги. Лес оживал, стряхивал дремотное оцепенение, веселее свивал серебряные жгуты ручьев. С запахом талого снега, с горечью оттаявших осин, с треньканьем синичек шла в наш приозерный край весна.

Вдруг в темной лесной утробе протяжно проскрипела сосна. Проскрипела, как простонала, словно вспомнила декабрьские холода и бураны. Но даже скрип сосны не мог заглушить разгорающегося птичьего веселья. Откуда-то в ответ ему донесся такой же звонкий скрип. И снова проскрипела старая сосна. И снова ей ответила другая.

«Что бы это такое могло быть?»— подумали мы одновременно и решили пройти к певучему дереву. Ведь лес был неподвижен. Оттепель унизала каждую ветку сверкающим бисером капель. Чуть коснешься— и капли, набегая одна на другую, сорвутся в сырой снег.

Вот мы и подошли к сосне. Бронзовый, с темными подпалинами ствол стремительно рвался в поднебесье. Где-то там, в вышине, сосна раскинула могучие ветви, чтобы плыть столетья, оставаясь вросшей в суровую землю, и все-таки вечно плыть куда-то под парусами зеленой хвои.

На одиноком сучке, обломанном бурей и заострившемся, словно копье, сидел маленький дятел. Невозможно было различить его окраску,— смахивал он, неподвижный и крохотный, на продолжение сучка. Птаха как будто прислушивалась к нарастающему гомону птиц. И вдруг выдала такую звонкую, такую частую дробь, что эта дробь далеко-далеко разнеслась по лесной округе. Нет, птица не пела: у нее не было голоса, и она понимала это, она была безмолвной. Певучий, насквозь пропитанный живицей сучок резонировал в лесу, словно старинная скрипка. И дробь была столь стремительной, что сливалась в одну протяжную трель,

а может быть, и в один протяжный скрип, который мы услышали в отдалении. Птаха радовалась весне, она пела!

Как же должна быть изобретательна и щедра природа, если даже безголосой птице, вечному труженику леса, она подарила свою песню — деревянную песню любви!

БЕРЕГ ОЛЕШКИ

По озеру шли длинные пенные полосы. Ветер срывал гребни волн и пригоршнями брызг бросал их в лицо. Утираться было некогда: то правое, то левое весло судорожно хватало воздух, лодка сразу же становилась боком к набегающей волне, и тогда надо было снова выворачивать ее наискосок качающимся хлябям. Если лодку держать чуть наискосок перекату, она плавно соскальзывает с волны, а не рыскает из стороны в сторону; взлетающую вверх корму не захлестывает девятый вал, и нос лодки не черпает, как ковш, озерную брагу.

До берега было уже недалеко. Но очутиться в воде, а главное, утопить снасти — эта возможность никак не устраивала меня.

Подгоняемый вспененными валами, я наконец-то с силой врезался в песок, соскочил в воду и стал тянуть лодку посуху до тех пор, пока хватило сил. Песок был утрамбован прибоем, на нем даже не оставалось моих следов.

Разгоряченный безостановочной греблей, я не почувствовал вначале ни пронзительного ветра, ни холодного песка. Насколько хватало глаз, прибойная полоса была безлюдна, и моя лодка, лежащая на боку, придавала берегу вид еще более заброшенный и пустынный.

Так вот он каков, Шелин мыс!

По рассказам других рыбаков я знал, что сразу же за прибойными песками тянутся заросли тресты, потом идут мшарники, поросшие осиной и болотной березой, потом леса и леса — вплоть до Уфтюги, а может, и дальше.

Озеро гудело. Беляки испятнали даль. Линия горизонта крылась в туманной дымке. В такую непогоду

о возвращении домой и думать нечего: снесет на Спас-камень, а то и в самое Устье.

«Что ж, придется загорать»,— невесело решил я про себя и только теперь почувствовал приступы озноба, безостановочно сотрясавшие меня. Чтобы разогреться, я взбежал на песчаный бугор, спустился с него и поразился внезапной тишине. «Эх, набереу-ка плавника да разведу где-нибудь здесь, в тишине, костерок». Решено — сделано. Раздвигая руками высокую тресту, я выискивал место посуше, поуютнее. У старой осины, отчаянно трепещущей листьями, нагнулся за сухой валежиной, а когда выпрямился, то увидел два изумленных, круглых глаза, глядевших на меня в упор. На миг я остолбенел. Потом мелькнуло: «Да ведь это же олененок!» Он стоял так близко от меня, что казалось, можно дотронуться рукой до мягких, четко вырезанных ноздрей, до крутого бархатистого лба. Еще какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. Потом за олененком что-то тяжело и сильно качнулось, что-то прошуршало в тресте — и видение исчезло. Даже следы, когда я подошел поближе, засосала болотная ржа.

Возвращаясь обратно на пески, я нет-нет да и ухмылялся про себя, все удивленно мотал головой: ведь надо же такому случиться! Никогда прежде я не видел олененка на воле, а тут выскочили друг на друга, и стоило мне протянуть руку, как я мог погладить его по доверчиво-изумленной мордочке. Вот тебе и полное одиночество, вот тебе и северный Робинзон!

На песке между тем повсюду валялись старые, отполированные, словно кость, корни. Я натаскал их целый ворох и свалил в кучу. Рядом вбил кол для чайника, разжег костер, подстелил под себя старый ватник. Хо-ро-шо!

Озеро гудело глухо и непрерывно, как гудит, вероятно, под ветром один лишь сосновый бор. Надо было набираться терпения и готовиться к долгому ожиданию. Волна могла стихнуть, пожалуй, к вечеру, это в лучшем случае, а то и к завтрашнему утру.

Не торопясь, я поставил на костер чайник, выпил три кружки горячей воды, съел припасенный хлеб, перемотал дорожки. Потом, не зная, чем занять себя, полужал на спине, поднялся и стал выбирать корневище поувесистее и потолще.

Сидя у костра, я бездумно постукивал по песку

гладким, сухим комлем, потом попридержал его на весу и внимательно взгляделся. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в этом изгибе; я повернул корень — все исчезло. Снова восстановил прежнее положение — теперь яснее проступило увиденное вначале. Батюшки, да ведь это же олешка! Ну да, вот и нежная шея, и гордо вскинутая голова, и чуткий вырез ноздрей. Нужно, пожалуй, только подрезать вот этот сучок да чуть-чуть подстрогать — и лучше не придумаешь: сама мать-природа изваяла из корня изумительный шедевр. Я поворачивал корень так и эдак, откладывал его в сторону, снова брал в руки, но образ, поразивший воображение, не покидал меня ни на минуту. Дальше медлить не было никаких сил. Охотничий нож в руке, корневиче — на коленях. «Дерзай, новоявленный Роден», — усмехнулся я и приступил к делу.

Увиденное внутренним взором отчетливее проступало наяву; теперь поворот головы был выразительнее, ощущались в нем любопытство и настороженность. Еще немного — и настороженность исчезла, осталось только любопытство и только доверие, даже больше — какая-то безотчетная ласковость чувствовалась в этой вытянутой вперед шее олененка. Больше ничего нельзя трогать, решил я про себя и, подхлестнутый волной безотчетной радости, выскочил на бугор.

От резкого встречного ветра у меня перехватило дыхание. Озеро почернело, и прежде едва видимый горизонт застилала тяжелые дождевые облака. Прибой шел теперь по ивовым кустам. Они низко пригибались к воде, волны с грохотом проходили их, выворачивали замшелые коряги и, откатываясь назад, тащили эти коряги за собой.

Тяжелая работа прибоя, казалось, длилась целую вечность, ярость его была бесцельна и неутолима.

Я вернулся к костерку, который едва теплился, и потянулся к корню. Олешка, маленький олененок, был теперь у меня в руках. Я уже думал о том, как поставлю его к себе на письменный стол, как придет сосед Василий Семенович и станет дивиться моей неожиданной находке. Нужно только вот здесь чуть-чуть убрать, и все будет в порядке.

Я нажал — от изваяния отскочила щепка. Все!.. Немыслимо нелепый корень я держал перед собою. Был он только кое-где обструган, но ничем больше не отли-

чался от вороха таких же палок, которые лежали на песке возле замирающего костерка. Не знаю, вероятно, никогда раньше я не испытывал приступа такой горькой досады на самого себя, как в это мгновение. Ведь надо же, ах ты, боже мой, ведь надо же такому случиться. И, кроме себя, винить некого.

...Когда поздним вечером я отчалил от Шелина мыса, в рваных прорехах облаков кое-где посвечивали первые звезды. Может быть, и правильно, что Шелин мыс назвали Шелиным мысом, думал я, безостановочно склоняясь над веслами, может быть, этот самый неведомый мне Шелин и достоин этого, но про себя я назову его по-другому: Берег Олешки!

КРЕКА

Дальше выдерживать такое не было сил: пальцы затекли, побелели на суставах, но едва я оставлял скобу, как меня начинало стремительно валить на плечо Грачева или с силой прижимать к боковой дверце. Я упирался руками в клеенчатое сиденье, чтобы не скользить, не ерзать, хватался за скобу, торчавшую впереди меня, и все-таки не мог удержать приступов дурноты. Многочасовая качка измотала меня вконец, и я чувствовал, как подступает к горлу горький комок, как заходится сердце.

Грачев, широко и крепко охватив руль лесовоза, бегло поглядывал на меня. Время от времени он перекидывал потухшую папироску в угол рта, замедлял ход машины, как можно осторожнее переваливал через измочаленное бревно, но машина тут же проваливалась в торфяную жижу, обдавая широким веером брызг заросли иван-чая. Резкие толчки в спину начинались снова, я снова подтягивался к скобе или спешно отталкивался от нее, втискиваясь в спинку кабины.

За канавами, заполненными густо-коричневой водой, кренилось, качалось, вздрагивало скудное мелкоколосье. Изогнутые стволы сосенок обросли бесцветным мхом. Колюче поблескивала на солнце листва берез. Подлесок переплели, запутали жадные до света травы.

И только белоснежные кружевные зонтики дягилей высились над ними. Эти зонтики да розовые метелки иван-чая по краям топкой низины одни радовали глаз.

Лесовоз медленно взобрался на drobный настил, взвыл в последний раз мотором, встал.

Грачев снял тяжелые руки с баранки, привычно откинул дверцу и спрыгнул на дорогу.

— Передохнем, что ли?— предложил он, отходя к задним колесам и оставаясь там некоторое время. Я неловко вывалился из кабины и со сладким стоном, с хрустом в суставах потянулся. Капот полыхал машинным маслом и удушливой гарью бензина. Уши, как ватой, были забиты грохотом двигателя, но сквозь эти пробки уже просачивался тонкий металлический звон уставшего металла.

Между тем Грачев вскочил на подножку, порылся в кабине и, пока я оттапывал занемевшие ноги, выбрал место посуше, кинул на него ватник, развязал и расстелил застиранный, с заплатками платок, разложил снесь.

— Начнем, благословясь,— то ли спрашивая, то ли предлагая, сказал он и жестом показал мне место возле себя.

Нехотя, как бы принужденно, я подошел к нему. Отломив большую часть наливушки— так на севере зовут ржаной пирог, залитый картошкой,— Грачев подал мне вместе с ней головку молодого лука, прозрачную, круто просоленную спинку леща. Пока мы ели, он как-то беспокойно поглядывал на меня из-под надвинутой на лоб засаленной кепки. Сломанный вдвое, сильно загнутый вниз козырек и впрямь делал его похожим на грача, носатую, быструю в поворотах, исполненную достоинства птицу. Наконец, не выдержав, он мотнул козырьком в сторону лежневки:

— Ведь как по зубьям бороны едешь...

— Неужели вы не привыкли?

— Какое там привык... Сколько ни езжу, никакого терпенья не хватает. Сосет, сосет вот здесь,— он показал тыльной стороной ладони на сердце.— Хоть бросай все— и впереди машины беги.— Грачев раздраженно сплюнул и добавил:— Только технику зря гробим.— И отвалился от ватника, ища в карманах пачку папирос, затертый коробок спичек.

От переспелой немоты леса, в которой попискивали

какие-то пичуги, от обильных сытных харчей я испытывал прилив особой признательности к моему полутчику. Мне нравилось в нем все: и его сдержанность в речах, и быстрые — грачиные — повороты головы, и широкие штаны, заправленные в сапоги, и даже синяя куртка, облегавшая плечи, по-мастеровому ладно сидевшая на нем. Вероятно, он чувствовал это и лежал теперь на локтях, запрокинув назад голову. Кепку он снял: на лбу краснела полоска. Слежавшиеся, слипшиеся от пота волосы были тронуты заметной сединой. Возле подбритого виска, у мочки, уже залегли ранние морщины, лицо было бледно от бензинной гари. Крепкими сухими губами Грачев мял папироску и в задумчивости смотрел в небо. Не зная, как продолжить разговор, я стал вспоминать странное слово, услышанное в леспромхозе, когда механик, конопатый мужичонка, вручал шоферу путевой лист.

— Небось опять крёку наведаетесь?—спросил он, сладко прижмутив глазки цвета золотистой луковой кожуры. Шофер в ответ досадливо мотнул козырьком, словно клюнул низкорослого механика в темя. И все-таки, пряча документ в карман куртки, сизо блестящей на локтях и на груди, испытующе посмотрел в мою сторону. Я беспечно покуривал, перекинув через плечо плащ болонью, приставив к ноге серый матерчатый чемоданчик с молнией. Мне не терпелось выехать из леспромхоза и никакого дела не было до их разговора. Теперь же резкое, скрежещущее словцо явно забавляло меня. И под этим неподвижным голубым небом, в эти минуты покоя и лени я надумал проверить догадку, мелькнувшую в гараже, испытать Грачева.

— Крека?—переспросил он, подымая голову, скидывая на меня короткие ресницы.— Это шоферня промежу между собой ухажерок называет.— Он помедлил в нерешительности.— Ну, тех, что живут на дороге.— Затем, припомнив утренний разговор, нахмурился, пристально посмотрел мне в глаза:— Пустое Суходеев болтал. Пустой он человек, вот и болтает по-пустому.— И стал с силой натягивать кепку на глаза, собираться в дорогу.

Любой новый поворот казался мне последним, а топкой, выгоревшей гати не было конца. Грачев

устал. И чаще, чем обычно, закуривал: нетерпение его росло, он больше не осторожничал перед рытвинами, как раньше, а брал их с ходу — нас подбрасывало так, что зубы у меня клацкали и голова доставала верха кабины.

Закатное солнце слепило сквозь редколесье, пряталось в осиннике, вырывалось из недр его и опять огненно мельтешило справа от нас. И все же с каждым километром смелее бросались под радиатор наезженные колес, ровнее бежал подлесок. Все выше становились кроны сосен, вернее признаки жилья: то поленища дров, то маслянисто-белая щепка берез, то обчесанный стожок сена. Когда разом оборвалась, отступила назад стена леса, когда за кустарником зазеленели поля и поскотины — я не сразу поверил, что наконец-то мы вырвались из тягостного плена дороги с ее рывками, с провалами в болото, с ожесточенной тряской.

Лесовоз остановился у отводка. Я неумело распутал проволоку, оттащил в сторону скрипучий отводок, пропустил машину. Мимо проскочила первая изба с заколоченными окнами, какой-то древний амбарчик — мы въехали в деревню.

В простодушном любопытстве к стеклам прильнули лица старух и ребятишек. Поэтому меня не удивило, когда в одном окне дольше других белело чье-то лицо. Но именно у этого дома — перед ним не было ограды — Грачев завернул во двор и въехал на просторную лужайку. Мотор заглох. Еще минуту шофер оставался неподвижным: ссутулившись, он обнимал баранку руками, как крыльями, отяжелевшими в долгом полете. Потом спросил, повернув козырек ко мне:

— Ну, земляк... Здесь будем ночевать или дальше поедем? — Глаза его были притенены кепкой. Голос безучастен.

— А сколько до Усолья?

— Километров сорок...

— И все лежневкой?

— Нет, лежневка за деревней кончается, но дорога худая — скрывать не стану.

Грачев сидел спокойно, опираясь руками на баранку, хотя в словах его я уловил что-то вроде затаенного нетерпенья.

— Пожалуй, на сегодня с меня довольно.

— Будь по-вашему. Как это в армии говорили: кончай ночевать — выходи строиться!

Грачев оживился, повеселел и, легко нажав ручку дверцы, первым спрыгнул на землю.

— Принимай, хозяйка, гостей,— сказал он, заметно волнуясь, когда мы вошли в избу.

У стола виднелась женщина. Она не всплеснула руками, не захохала, а только качнулась вперед, как пламя свечи на притворе. Затем поздоровалась, протянув маленькую, сильную ладонь.

— Тоня,— увидев ремешок фотоаппарата, смешалась, поправилась:— Антонина Алексеевна.

Я беззастенчиво разглядывал ее. Сильно выгоревшая, когда-то голубая кофта женщины, темная юбка, а главное, напряженный, хотя и приветливый взгляд — все было обыденнее и проще, чем мне представлялось раньше, все вроде бы даже разочаровало меня. Каркающее словцо, услышанное в леспромхозе, успело глубоко засесть в моем сознании, настраивало — вольно или невольно — на некий доверительный, а может быть, и нарочито-беспечный лад. Но первые минуты показали мне, что здесь не нужна ни моя подчеркнутая галантность, ни моя догадливость. Была женщина проста и в обликии, и во всем поведении. Круглый овал ее лица, мягкие, точнее — теплые края губ, встревоженные глаза выдавали характер отзывчивый и чуткий. Но больше всего меня поразила ее улыбка, скрыто блуждавшая в уголках доверчивых губ, возникающая каждый раз, когда к тому был хотя бы малейший повод.

Грачев внес чемоданчик. Ни ватника, ни застиранного, залатанного платка с остатками обеда с ним не было. Я сел на широкую лавку возле окна и только сейчас огляделся. Под локтем у меня стояла тумбочка и на ней — высокой стопкой книги, прикрытые кружевной салфеткой. Таким же белым, кружевным покрывалом была застелена кровать с горой подушек. На выскобленных бревенчатых стенах я не увидел ни любительских фотографий, вставленных под одно стекло, ни грамот, ни дипломов, ни вышитых полотенец, свисающих с настенного зеркала,— ничего, что составляет убранство северной избы. Только чистые бревенчатые стены да старая пожелтевшая открытка с видом на Петропавловскую крепость.

Грачев окликнул меня за стеной:

— Будете умываться?

Ключевая вода была холодна и прозрачна. Холщовое полотенце, которое он кинул мне через плечо, отливало голубизной мартовского снега. Кусок мыла, как янтарь, желтел на щербатом блюдечке. Мне, выросшему на севере, не в диковинку была опрятность деревенской избы, но здесь в домовитости, в чистоте чувствовалось нечто большее, какая-то одержимость, какое-то сожаление о другой, не похожей на весь местный уклад жизни, непохожей на все, к чему человек давно должен был привыкнуть и все-таки привыкнуть никак не мог.

Стол был накрыт: потрескивала картошка на сковороде, в глубокой тарелке был истолчен и перемешан со сметаной зеленый лук. Солидно дышали ломти ржаного хлеба. Из жармана Грачева появилась заветная бутылка. Антонина Алексеевна, мягко и проворно сновавшая по избе, присела сбоку на табурет.

— Что же, со знакомством? — сказал Грачев, выдохнул и разом опрокинул стопку. Хозяйка тоже выпила свою, но без жеманства, без извинительного похищивания, которое в здешних местах служит признаком хорошего тона. Она выпила, задохнулась, забавно затрясла ладошкой перед вытянутыми губами, а когда пришла в себя, то рассмеялась звонко и непринужденно. Я внутренне похолодел от этого знакомого, не позабытого с годами, так мучительно отрадного мне смеха. Ведь бывают же, бывают на свете такие совпадения?! И пока Грачев говорил с хозяйкой, пока он расспрашивал ее о разных хозяйственных делах, о картошке, медленно всходившей в этом году, о председателе, который стал сильно зашибать, о каком-то Иване Дмитриевиче, который все обещался написать, да так и не написал, я с неослабевающим напряжением ждал, когда же она рассмеется снова, как в прошлый раз, непринужденно и легко...

Мы закурили. Табачный дым гнутыми, сизыми пластами потянулся в открытое окно. Уже совсем завечерело, и на улице раздался дробный стук овечьих копытцев, тяжелое мычанье, удары ботал. Хозяйка встала, легко выскользнула за дверь. Трава на лужайке, стены и крыши соседских изб, тополя с жестяной листвою — все горело вечерним медвяным светом. Внезапно

Грачев оглянулся. Я тоже посмотрел в глубину комнаты: там, на пороге, заложив руки за спину, прижалась к пробойю девочка-подросток. Она исподлобья посмотрела на нас и, не говоря ни слова, выскочила за дверь.

Грачев закурил новую папироску и, долго разглядывая обгорелую спичку, пояснил мне нерадостно:

— Верунька, Тонина дочь. Дичится она меня — не любит,—и вздохнул глубоко, и замолчал снова.

Раскиснув в избе от сумеречной дремы, от монотонного тиканья ходиков, я вышел на крыльцо и с удовольствием подставил грудь сквозняку, который тянул с туманных низин. Наш лесовоз густо облепили деревенские ребятишки: по огромным колесам они взбирались на раму и, визжа и хохоча, спрыгивали на лужайку. За лесовозом торчал угол сараюшки, крытый потемневшей дранью. Возле нее валялись сосновые кряжи. Колун, глубоко всаженный в один кряж, блестел треснувшим топориком.

Душевное успокоение, которого я не испытывал давным-давно, овладело мною на ступеньках этого чужого дома, в деревне, названия которой я толком даже не запомнил. Ребятишки исчезли мгновенно, как стайка воробьев: их голоса и крики доносились теперь с крыльца соседней избы. Босоногая Верунька гонялась за телкой, которая то бросалась в чужие дворы, то останавливалась посреди улицы, опустив низко лобастую голову. И тогда Верунька начинала толкать ее в зад. «Ух ты, дьяволица!» — шипела она, пытаясь стронуть телку, поддавая коленом, упираясь руками в лоснящиеся гладкие бока.

В воздухе стояла та чуткая полумгла, когда кажется, что вот-вот должно случиться нечто неожиданное, странно-умиротворяющее, способное приглушить все эти нестройные звуки — и стук отбойного молоточка, и пофыркивание «Беларуси», и голоса женщин, перекликающихся в загороде, и всю эту сумятицу деревеньки, отходящей ко сну, но не имеющей сил расстаться с дневными волнениями и заботами. Оно, это ожидаемое, случилось!.. На крыши дворов, на темные шапки тополей, на деревенскую улицу пролилось таинственное сияние. И вскоре над сараюшкой возшла

луна — огромная, охватывающая, как мне думалось, полнеба, тревожная в своей багряности, в своей огромности.

Задохнувшись от страстного желания продлить бесконечно это дивное циво природы, которое было перед моими глазами, но было где-то вне моего понимания, вне моего разума, уже привыкшего воспринимать все видимое сквозь напластования чужих знаний и чужих мнений, я ждал, что и во мне, в моем собственном «я» все озарится этим трепетным багряным светом, что и во мне опадет, осядет все незначительное, пустяковое, ложное, недостойное меня и этой красоты, имя которой Вечность.

Очнулся я только тогда, когда Грачев тихонько тронул меня за плечо:

— Вам Тоня в избе постелила, а то ночью сыро-мокро, застынете, не ровен час.

Говорил он дружелюбно и спокойно, впервые так спокойно за целый день знакомства. Я молча поднялся с крыльца и ушел в избу.

Возле лавки стояла раскладушка, смутно белевшая простыней. Я разделся, сел на край кровати, со вздохом облегчения нырнул в холодноватую белизну. Перед закрытыми глазами встала дыбом и упала навзничь лежневка: меня закружило, понесло, бросило в глубокий омут сна.

Безбрежное море теперь окружало меня, и я не столько слышал, различал, сколько понимал, что волна, вкрадчиво шипя, захлестывает голову и плечи, что я вытягиваю вперед обессиленные руки и гребу, гребу, изредка различая на горизонте ослепительно-яркую точку, которая внезапно приближается ко мне, вырастает в бешено крутящуюся воронку, втягивает меня, и все же в глубине этой воронки я вижу снова мерцающую точку, но, сбитый очередной волной, глотаю зеленоватую воду и не могу загасить ни этой точки перед глазами, ни внутреннего жара, полыхавшего во мне.

...Когда я проснулся, губы мои запеклись, ссохлись от жажды. Еще некоторое время я смотрел в темноту — она раскачивалась, колыхаясь, потом остановилась: поточные швы проступили в ночном мраке. Ощупью я стал продвигаться к двери — в сенях находилась кадка

с водой и большим эмалированным ковшом. Но в сенях, залитых высокой полной луной, мне пришлось остановиться: на порожке четко вырисовывались две тени.

— Не могу, не могу, не могу терпеть! Не могу! — женщина, захлебнувшись слезами, упала головой на колени Грачева. Теперь ее стоны звучали глухо, как сквозь воду: — Почитай, с самой весны не приезжал, а я все жди, жди... Всполохнусь до свету, гляну в окно: может, приехал, может, стоит уже... Вечером слушаю, не гудет ли за лесом, не едет ли... И за что мне такая мука? За что? Ну, что я такого сделала? — она заплакала навзрыд. Грачев положил ей руку на голову.

— Перестань, слышишь, перестань, — повторял он шепотом.

Боль, которая таилась в его беспомощных словах, пронзила меня. Замирая от мысли, что они могут заметить, что как-то нехорошо все это получилось, я не мог сдвинуться с места, не мог одолеть тягостного оцепенения.

— Ведь и сейчас, — продолжал Грачев, все более и более наклоняясь, целуя в затылок плачущую женщину, — ведь и сейчас-то я с ночной смены. Слышу, с журналистом надо ехать. Вот я и вызвался. Пошел в контору, мол, лучше меня никто дорогу не знает. Инженер согласился, ему — что, лишь бы езду оправдать. А Суходеев, стерва, издеваться начал: к креке, дескать, опять направился. Я ему, как вернусь, ребра, суке, переломлю...

От сбивчивого шепота, от незначительных слов женщина вроде бы поутихла, поуспокоилась. Только глубокий, прерывистый вздох, как бывает у детей, когда их горько и жестоко обижают, изредка сотрясал ее.

— Крека я, крека и есть, — сказала она протрезвевшим жестким голосом, подымая с колен Грачева голову и отстраняясь от него. — Но ведь люблю-то я тебя, понимаешь, люблю. А день в разлуке, сам знаешь, с год кажется...

И припала к его плечу, и совсем тихо, грустно-грустно добавила:

— Ты бы снял майку-то. Я обстирну: смотри, вся пропотела.

Не в силах больше сдерживать озноба, колотившего меня, я осторожно закрыл дверь и незаметно юркнул в постель.

В избе с утра было пусто и сумрачно. Так же пусто и сумрачно было на деревенской улице, когда я вышел на крыльцо. Лесовоз стоял, как и вчера, возле сараюшки. Все было, как и вчера, только высокая поленница дров была сложена теперь у стенки. Грачев копался в моторе и, заметив меня, кивнул носатым козырьком в знак приветствия. Когда мы сдавали задом, на крыльцо выскочила Верунька, хозяйская дочка, заложила руки за спину, проводила нас недоверчивым долгим взглядом.

...Заструилось, понеслось полевое разнотравье. Свежий ветер качнул спелые клевера, погнал их волнами. Какая-то птица, взмыв над кабиной, боком, словно подстреленная, пошла над дорогой и осталась сзади в быстротающем клубке пыли.

За жердевой оградой поскотины началось картофельное поле. Среди сочной ботвы, тянувшейся рядами, замелькали белые платки колхозниц. Одна из них, стоявшая у дороги, разогнулась: я увидел внезапно побледневшее лицо, слабую улыбку и невольный, сразу погасший взмах руки. Грачев краем глаз проследил за ней, глубже натянул на лоб замасленную кепку и надбавил скорость.

Лесовоз снова въезжал в мелколесье.

ПЯТНИЦА ИЗ БРОСАЧИХИ

Неделю назад я буквально увязался за Виктором Корегинным, этим бородатым мазилой, отправившимся на этюды в низовья Сухоны. Этюды этюдами, но была у Корегина одна страсть, которая заставляла его довольно пренебрежительно отзываться о своих выставочных композициях, увлекаться новыми замыслами, оставлять их и не жалеть об этом. Вероятно, и самому себе Корегин не всегда признавался в истинном призвании, потому что призвание, в котором ты не утвердился смолоду, вернее, не нашел в нем самого себя, в зрелом возрасте может обернуться бедой: нет тяжелее беды, чем однажды осознанная мысль — не то ты делал до сих пор, не по тому руслу пошла жизнь. И счастлив

тот, кто никогда не узнает об этом. А ты будешь носить свою беду в себе, скрывать ее от других, говорить о ней стеснительно или нарочито небрежно. И я понимал Виктора, который в дружеском застолье любил повторять:

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В спю священную броню.

...Виктор Корегин, как говорится, милостью божьей был художник-реставратор. Но понял он это поздно, когда собирательство древних икон, в чем-то похожее на поиски древнего клада, захватило его целиком. Свою страсть он таил от других — стеснялся ее, что ли, — и пребывал в том постоянном внутреннем напряжении, которое, по-моему, присуще всем цельным и сильным натурам.

Пока мы ехали поездом до Котласа, а затем «ракетой» до Великого Устюга, пока мы на перекладных добирались до Устья-Федоровского, Виктор, разоткровенничавшись, немало порассказал мне о реставраторах старого и нового времени — о Гурьянове, вернувшем миру гениальную «Троицу» Рублева, о Чирикове, Юркине, Баранове, Брягине, Перцеве, о земляке-воложанине Федышине. Корегин превосходно разбирался в искусствоведческих работах и, увлекшись, мог часами говорить о том, чем отличается русская школа иконографии от византийской живописи или новгородские «письма» от икон «северного письма». Но только когда мы добрались до Устья-Федоровского и поселились в избе Ивана Григорьевича Селезнева, сторожа нефтебазы, он открылся мне до конца.

В низовьях Сухоны, как и по всему Заволочью, с давних пор бытует великое множество преданий и легенд. К примеру, передают: Чудская горушка прозвана так потому, что зарыт в ней знатный чудинин и там по ночам «блазнит», а в Панском болоте утонули польские паны в Смутное время и там тоже ночами «блазнит», иначе — мерещится всякая нечисть.

Виктор Корегин с детства знал, что в Станке, заброшенном дворце, обитали в старину разбойники,

хоронили там награбленное добро. Впрочем, он не только знал эту побывальщину, но находил на дворике — к радости и удивлению — позеленевшие медные монетки. Слышал он и предание о некой великоустюжской иконе Параскевы Пятницы. От кого слышал? Да ни от кого! Может, от деревенских старух, а может, от пимоката, бродившего по сухонским деревням.

Слышать-то слышал, да вряд ли вспомнил бы о ней спустя столько лет, если бы не легенда, которой эта икона и была знаменита... Говорили, что в старопрежние времена была она похищена ушкуйником-новгородцем из горящего Успенского собора. Да приплыла по воде обратно в Великий Устюг. Другие рассказывали другое. Когда Петр I соизволил отправиться в Архангельск-город, показали ему какую-то Параскеву: стояла она в Успенском соборе особливо, и были прибиты к ней рукояти, чтобы, значит, выносить ее из собора в торжественные дни. Его величество строго приказали рукоятки отнять — не приглянулась Петру икона и ее особливость. Опасаясь большей царской немилости, начали прятать Параскеву, таить по другим церквям. Вот никто и не может теперь сказать, где находится великоустюжская святыня.

Виктор Корегин, конечно, понимал, что деятели из областного отделения союза художников, которые выдавали ему творческие командировки, на первый случай отказали бы ему в командировках, вздумай он рассказать об этом предании. Но — поди ж ты! — каждое лето, отправляясь в низовья Сухоны, в самые отдаленные лесные деревушки, он мечтал найти именно эту легендарную Параскеву, освободить ее от многовековых записей и вернуть родному городу Устюгу.

В Бросачиху — глухую деревеньку, состоявшую из нескольких дворов, — Корегин возмечтал попасть, едва прослышал в Устье-Федоровском, что имеется там икона незапамятно старинного письма. Да еще, добавляли иные, бабка Харлапаниха стара и может отдать икону запросто так, если покажешься ей человеком приветливым, или, по-нашему, важеватым.

— Чего другого, а важеватости хватит, — говорил Виктор, посмеиваясь и по-быстрому собираясь в дорогу. — Ежели одна важеватость нужна, так будет дело на деле. Не понял?! — удивлялся он, обращаясь ко

мне.— Для таких, как ты, гаврил переиначу: в порядке, значит, будет наше дело, в ажуре!..

Лодка-«казанка» со всего ходу громыхнула днищем. Корегин резко сбавил обороты, потом довернул рукоять до полного: за кормой заклокотало, забурлило, но широкий нос моторки поворачивало течением к берегу. Заглушив мотор, Виктор перегнулся через корму.

— Чего там?

Вместо ответа он откинул мотор на себя так, что гребной винт выступил наружу,— при этом из охладителя потекла вода.

— Тю-ю-ю... — разочарованно протянул Виктор.— «Все возможное было мечтой». — И сел против меня.

— Чего, чего?..

— Не бывать нам в Бросачихе,— пояснил он.— Капец.

Меня разозлили эти иносказания:

— Да говори же ты дело!..

— А я дело и говорю. Капец, сиречь амба: шпонку сорвало!.. Понимаешь,— Виктор повторил раздельно,— шпон-ку, ту, которая крепит гребной винт на валу. Ага! Понял... До чего же ты понятливый мужик, ну, прямо...

Пока мы перебрасывались колкостями, лодку относил к тихой заводи, испещренной листьями кувшинок; листья цеплялись за лодку, поворачивались боком, пропадали под днищем и всплывали, мокрые, мясистые, покачивающиеся в темных промоинах солнечный овал.

Вскоре и это покачивание, шелестение прекратилось: лодка встала.

Ни я, ни Виктор не пошевелились, не переменили позы — переход от стремительно летящей за бортом воды, пения мотора, щегольских разворотов вдоль отмелей и нырков у камней был слишком внезапен, чтобы на какое-то время мы не отдались этой неподвижности, этой послепопуденной тишине.

Охваченный неодолимой слабостью, я плохо соображал, что делать дальше, а поэтому с детским упрямством, в котором, впрочем, скрывалось желание переложить на плечи напарника решение нашей судьбы, задавал вопрос за вопросом.

— А до Бросачихи далеко?

— Кто ее знает, — уклончиво ответил Виктор, — наверное, километров десять.

Ему тоже было лень говорить и думать. Он вытянул вперед ноги в выгоревших кедах.

— Ну и что? — не унимался я.

— Сказано тебе, — с усмешкой ответил Виктор. — «Невозможное было возможно, но, — подчеркнул он, — возможное было мечтой!»

— Надоел же ты мне вместе с Александром Александровичем, его мировой душой, Вечной Женственностью, Таинственной Незнакомкой...

— А ты мне с своими вопросами.

— Поговорили! — подытожил я, как всегда, первым идя на примирение.

Великое дело — прощать ближним слабости и привычки. А в дальней дороге без этой науки прощать вообще не обойтись.

Институт Корегин кончал после войны в Ленинграде, и Ленинград дал ему не только художественное образование, но и научил скрашивать иронией свои неудачи, горести и обиды. В их студенческой среде говорить вот так насмешливо, отрывисто, резко служило признаком хорошего тона. Ленинграду же Виктор был обязан и любовью к Блоку, который в последние годы увлек его трепетным мистицизмом стихов о Прекрасной Даме. И хотя Корегин ни одного стихотворения Блока не помнил наизусть, в разговоре он неожиданно выпаливал блоковские строфы и строки. Не из-за этой ли неизменной приверженности к Блоку он в конце концов и согласился взять меня с собой? Не надеялся ли он найти во мне профессионального толкователя блоковских снов? Не знаю. Только привычка меня иное раздражала, иное забавляла, пока я не понял, что Блок в речах Корегина возникал интуитивно и был для него опять-таки своеобразной броней, под которой скрывалась и его восторженность, и его душевная беззащитность.

...Виктор встал, покачал бачок с бензином, отвинтил пробку и со вздохом завинтил.

Все наше предприятие — плыть по реке, на которой

перекаты, по-местному, переборы, следовали один за другим,—выглядело теперь по меньшей мере блажью. Взять у хозяина, долго мявшегося, не соглашавшегося с нами, алюминиевую лодку-«казанку», разбить мотор, ну, пусть не разбить, сорвать шпонку, не доехав до Бросачихи какой-то десяток километров,—это надо было уметь. А ведь с Бросачихой нас связывало столько надежд... Воистину «невозможное было возможно». Теперь опять приходилось на долгий срок откладывать то, что откладывать больше не было никаких сил.

— Давай-ка, паря,—берись за весла... — Виктор, прищурившись, смотрел против солнца.— Пристанем во-о-он к той круче.

— И что?

— Там увидим.

Нехотя я снял алюминиевые весла, лежавшие вдоль бортов, уперся ногами в рейку: лодка, такая легкая на ходу с мотором, оказалась неповоротливой и тяжелой, едва был сделан первый гребок. Я поддевал мокрые листья и змеевидные стебли на весла, рывками продвигал лодку вперед и особенно ясно понимал, что без мотора нам не пройти не то что вверх к Бросачихе, но и не спуститься обратно к устью, к селу Федоровскому, откуда мы выехали на рассвете, преисполненные лучших надежд.

Виктор достал из-под сиденья промасленный сверток, в котором хранились запасные свечи, отвертки, гаечные ключи, разложил все это добро на коленях и теперь, задумчиво почесывая заросшую щеку, перебирал инструментарий... Когда общими усилиями мы вытащили лодку и сняли мотор, он раскрыл план действий. Перво-наперво, надо пробиться через лес на бетонку, ее проложили в здешних местах строители газопровода «Северное сияние». После — попутной машиной — до ближайшей деревни, где есть какая-никакая мастерская или, на худой конец, мужики, разбирающиеся в моторах. А такие нынче везде есть! Мне же пребывать при лодке, ловить рыбу и, поймав оную, варить из нее уху.

Закинув за плечо аэрофлотовскую сумку, Виктор пошел вдоль обрыва. Издали была видна его худоба. При черной бороде, которая делала загорелые пролысины на лбу еще заметнее, а щеки еще более впалыми, походил он на странника, случайно забредшего в наш век. Впрочем, и худоба, и сутулость, и прямая черная

борода, которая в пору студенческой юности была модной шкиперской бородкой, и нос уточкой еще ничего бы не говорили о его натуре, если бы не серые, глубоко посаженные глаза да пальцы художника, как будто ласкающие предмет, к которому они прикасались.

...Из носового отсека «казанки» я извлек удилище спиннинга, коробку с блеснами и катушку. Попыхивая сигаретой, привычно свинтил спиннинг, помахал им, проверяя гибкость, потом долго перебирал блесны, пока не остановился на серебряном «байкальчике», исцарапанном щучьими зубами и приносившем мне прежде неизменную удачу. Продеть леску в кольцо карабинчика, завязать ее тугим узлом — было делом одной минуты. Я встал к корме, отвел удилище назад, сделал несильный бросок — блесна описала дугу и шлепнулась метрах в двадцати от меня.

Механический треск, который издает спиннинговая катушка, когда выбираешь лесу, шлепанье блесны то в темную заводь, то в слепящую быстрину — вот все, что я мог слышать и воспринимать с того самого мгновенья, как почувствовал первый рывок рыбыны. Остальное в этом мире перестало для меня существовать.

...Не мной сказано: долгая дорога располагает к откровенности, сближает людей. Так было и с нами. Томительные часы ожиданий — то рейсового катера, то автобуса, то самолета, опаздывающего из-за непогоды, — Виктор Корегин скрашивал рассказами и рассуждениями. Он раскрывал облик родного Заволочья с такой стороны, о существовании которой я не догадывался и не подозревал раньше. Правда, рассказывая о Севере, Виктор Корегин рассказывал и о себе, обнаруживал свою сущность, свое «верую», потому что ни в чем другом человек так полно и отчетливо не может проявиться, как в отношении к профессии, к истинному призванию.

— Понимаешь, — говорил он, подпирая спиной скамью на автовокзале и вытянув вперед ноги, — любовь к цветному узорочью у нас, северян, в крови. Вспомни Оранту в киевском Софийском соборе, исполненную греческими мастерами. По-другому ее называют «Нерушимая стена». Она массивна и монументальна. Да иначе и быть не могло — византийцы унаследовали художест-

венные приемы античного мира. Для древнерусских живописцев, освободившихся от византийского влияния в четырнадцатом веке, наоборот, силуэт приобрел главное значение. Почему? Была в этом своя закономерность: библейский сюжет иконник изображал описью фигуры, ритмикой линий, цветных пятен, имеющих к тому же и символический смысл. И ему тем легче было обрести это чувство силуэтности, эту ритмику и гармонию цветов, что его родная мать или бабка цветным узорочьем, по существу, выражала то же самое. Правда, узор сохранялся до тех пор, пока существовало праздничное полотенце или праздничная рубаха. Другое дело — древняя живопись. Иконник покрывал изображение олифой; он тем самым как бы консервировал краски на долгий срок. Но через шестьдесят — семьдесят лет олифа темнела, лики приобретали ту сумеречность, ту неразличимость, с которой у нас по традиции связано представление о древних иконах. Новое поколение деревенских иконников покрывало потемневшие доски новым левкасом — меловым раствором, по которому поновляло изображение или писало новый сюжет. Сюжет накладывался на сюжет, краска — на краску. Ты представляешь, сколько записей могло быть за сотни лет?

Теперь возьмем художника-реставратора. Чтобы добраться до оригинала, до «материка», ему приходится снимать все слои олифы, все записи и делать это с величайшей осторожностью и старанием. Да и снимать-то не сразу, а на крохотных участках, каждый раз изучая следы старых чинок, записей, поновлений. Вот ты и скажи — разве реставратор чем-нибудь отличается от археолога? И тот и тот постепенно продвигаются в глубину веков, в неизвестную мглу столетий. Только реставратор сам себе и рабочий, и руководитель экспедиции, и ее научно-исследовательский центр...

Подобие улыбки пробежало по губам Корегина.

— Экономия зарплаты очевидная, а результат один: и мы, художники, хотим знать все о тех, кто мог бы сказать о себе такое: «Затопили нас волны времен, и была наша участь — мгновенна!..»

Как ни увлекали нас эти беседы о древнерусской живописи вообще, как ни были они для меня новы,

в конце концов мы возвращались все к тому же — к легенде о великоустюжской Параскеве Пятнице, покровительнице торговли на Руси. На мой взгляд, в легенде было много таинственного и неясного.

— Ага,— охотно отзывался Корегин,— на то она и легенда, а не справка из управления архивов.

— Но ты-то в нее веришь?..

— Верю! А что? Тебе не нравится? Мистицизмом отдает?..

— Да нет, я не об этом... Меня волнует в данном случае психологический феномен...

— Хвати-ил,— протянул насмешливо Корегин.— Какие слова еще знаешь — сикамбр, органон, феномен...

Когда Виктор не хотел говорить всерьез, почти невозможно было пробить броню его иронических реплик. Но я не отступал и твердил про психологический феномен, предопределивший — по неведомым мне причинам — многовековое бытование легенды об образе Параскевы, которая приплыла в Великий Устюг из-за тридевяти земель. Уж не позднейшая ли это подделка?

— Та-ак,— подытожил Виктор.— Но феномен ты все-таки признаешь...

Он разогнулся, вцепился тонкими пальцами в край скамьи и, обратившись ко мне, заговорил:

— Конечно, существует история, но существует и подделка под историю. Легенда о сухонской Параскеве — это наша история, а не подделка под нее. В прошлом веке — его ты имеешь в виду? — икону бы просто выкрали, ободрали оклад — и дело с концом. В легенде же она — военная добыча. Это — неоспоримая примета времени. Пойми меня, какое время я имею в виду... Время жесточайших междоусобиц, тем более страшных, что Русь изнемогала под игом татар. Время Мамаева побоища и позорной сдачи Москвы ордам Тохтомыша. Время Дмитрия Донского и застарелых распрей между князьями. Время расцвета христианства и заката язычества. Да что там говорить! Целая эпоха, кровавая, жестокая, таинственная, как и сама легенда, чудится мне в ненайденной Параскеве. Хотим ли мы узнать о ней больше того, что знаем?.. Это решать тебе.

— Хорошо!.. Ты убежден в художественной ценности Параскевы. Но почему скрываешь поиски от других?

Вопрос заставил Виктора задуматься.

— Слаб человек,— ответил он неохотно.— Боюсь показаться смешным. Жизненный опыт мне говорит: предубеждение — сила. Да, сила!— Виктор повторил с особым ударением.— Она гнет меня, она лишает меня свободы, она заставляет всегда чего-то бояться. Да только ли меня одного?— Виктор ладонью хлопнул по колену.— Вот тебе, пожалуйста, еще один психологический феномен, который доведется — да и доведется ли? — разгадать будущим искусствоведам. Это — предубеждение против своего искусства, своей истории, своего художественного бытия... Представь хоть бы на один миг: я разыскиваю святую Магдалину работы неизвестного умбрийского мастера середины четырнадцатого века, чудом оказавшуюся здесь. Да никому и в голову не придет подозревать меня в опасной блажи... Напротив, я повсюду встречал бы гул одобрений и похвал. А святая Параскева из Великого Устюга — это что-то такое...— Виктор подозрительно пожевал губами.— Нет, знаете ли, это не тае. А что тае?! Ведь другой живописи в раннем средневековье не существовало. Вот и жгли доски возами, распыляли национальное богатство, как могли!..

Он сделал длинную, длинную паузу. Потом взорвался:

— Найти! Найти, пока не поздно, что-то такое, что встало бы в один ряд с «Троицей» Рублева, с ферапонтовской «Одигитрией» Дионисия. Найти. Доказать. Еще раз доказать. И еще раз доказать самому себе... Поразиться своей гениальности, возопить от восторга...

Серые, глубоко запавшие глаза Корегина были темны от возбуждения. Многодневный загар не мог скрыть бледности, покрывавшей лоб и щеки. Я молчал...

И почти весь вечер мы провели в молчании. Больше за всю поездку мы не возвращались к легенде о великоустюжской Параскеве.

Остатки ухи я выплеснул в костер, который закадил, зашипел, за клубился белым парком. Виктор лежал недалеко от костра, выставив углом бороду, устало закрыв глаза,— он приходил в себя после дальней дороги. Пока я надраивал эмалированное ведро, сносил в лодку рыболовные снасти и укладывал все это хозяйство в носовом отсеке, он не шевелился — лежал, сложив руки

на груди, неприятно поражая меня своей неподвижностью, сложенными крест-накрест руками и выставленной вперед бородой. Я окликнул его.

— Сейчас, сейчас,— отозвался он сквозь дрему и поднялся, всполошно оглядываясь.

...Снова я часто бухал веслами в золотистую гладь реки, и снова Виктор рывком дергал привод мотора: от этих рывков лодка слабо раскачивалась, зыбь пробегала по реке до раkit и медвяно желтевших над ними косогоров.

Высокое небо испятнал разлохматившийся след самолета. Я пошел глазами по этому следу и неожиданно увидел белоснежную гряду облаков, набухавшую над дальним лесом.

...Мотор взревел, окутав Виктора бензиным дымом, за бортом прынула назад, понеслась вода. Я лег животом на теплый алюминиевый нос лодки, чтобы издали предупредить Виктора о подводном камне-валуне.

— Пересядь на скамейку,— крикнул он через некоторое время.— Добавим газку.

Мотор запел регистром выше, стремительно потекли по берегам наволоки — низкие прибрежные луга и заросли ольхи. Клубящаяся гора застыла над лесом — это наступил миг странной неопределенности в природе, когда близкая гроза может разойтись, рассеяться по безбрежному небосклону и внезапно осветить землю закатным солнцем. Казалось, что мы ушли от перевалки, вернее, замороженные скоростью, думали, что мы уходим от нее, но чем быстрее мы от нее уходили, тем быстрее река из темно-синей становилась глянцево-маслянистой, сизой, зловещей. Такой же зловещий вид приобретали окрестные луга и пашни... Только на севере может так внезапно опахнуть этой дикостью и жутью, этой предгрозовой тоской, таящейся в извечном противоборстве земли и неба.

Из перевалки хватил порыв ветра, реку заморщило, зарябило, погнало вперед лодки крупной зыбью: лодка запрыгала по кочкастому полю, разбрасывая в обе стороны каскады брызг. Поворот за поворотом мы проходили в густеющей мгле, а дождя не было, и отлегалось от сердца, развеивалось предгрозовое томление.

Сухой электрический треск пробежал в недоступной глазу вышине; был он слаб и нестрашен. В потемневшей бездне проросло ослепительно белое корневище,

и тут же небо расколосось с таким оглушительным грохотом, что я вобрал голову в плечи.

Порывы ветра становились все чаще, «казанку» водило на высокой скорости, как водит в воздушных струях самолет; громовые разряды прокатывались по небосклону, а дождя все не было, хотя первая ледяная капля с размаху ударила мне в лицо. Вновь на мгновение осветило и прибрежные кусты, и лодку, и напряженное лицо Виктора. Оглянувшись на вспышку, я увидел, как тысячи гвоздиков запрыгали по воде: впереди грянул ливень.

Виктор, закрывая грудь и плечи плащом, добавил оборотов.

— ...жии-ись,— донеслось до меня.

Треск грозового разряда, почти одновременного со вспышкой молнии, заглушил слова и надсадный вой мотора.

— Держись, говорю, паря,— прокричал снова Корегин и жестом показал, чтобы я ложился на дно лодки: при вспышках молнии он отыскивал фарватер.

Закутавшись плащом с головой, скорчившись так, что колени упирались в грудь, я лежал между скамеек, а лодка раскачивалась в пространстве, сотканном из дождевых струй, и сходство с самолетной болтанкой было еще неотступней, острее.

Довольно долго мне пришлось так лежать под проливным дождем, вздрагивать от озноба, от прикосновений мокрой одежды к телу, но когда я встал на колени, впереди прорезались огоньки Устья...

Тысячи дождинок покалывают драночную крышу. От этого покалывания наметанное в угол сено кажется особенно хрупким и сухим, а повесть Ивана Григорьевича, погруженная в непроглядный мрак, особенно теплой, обжитой. Отдавшись этому теплу, этой обжитости старого деревенского дома, Виктор раздумывал об иконе пз Бросачихи, досадовал, сожалел и снова надеялся на что-то, надеялся неопределенно, томительно-грустно. Он припоминал прежние находки — они приносили ему немало восторженных минут, но все-таки в нем неотступно жило беспокойство, которое заставляло его покидать семью, городскую квартиру, ночевать в горкомхозовских гостиницах, месяцами не видеть друзей и, глав-

ное, раздраженно относиться к самому себе, к своим композициям, к тому миру линий и красок, в котором другие по-прежнему чувствовали себя столь же тепло, как он на повети сторожа Ивана Григорьевича.

Виктор вспоминал доски древних живописцев, мысленно проходил по залам знаменитых музеев, припоминал росписи в соборах и монастырях и поражался тому, что главного-то он и не заметил. А главным было чудо искусства, то бесконечно длящееся состояние, запечатлеть которое стремились старые живописцы,— нет, не краткий момент, не четкий временной отрезок... а именно состояние... Или становление, из которого и возникает красота...

Пожалуй, Корегин не сумел бы развить или как-то истолковать свое открытие, но он чувствовал, что подошел к нему вплотную.

Как жаль, что в студенческие годы он не знал слов, сказанных Матиссом: современный художник должен черпать вдохновение в живописи древнерусских мастеров. Народность, яркость, большая сила чувств — вот первоисточник художественных исканий! И еще: в Италии больше делать нечего, французские художники должны ездить в Россию.

Почему он не знал этого? Почему так поздно пришло к нему прозрение? Почему?

Торопливее забарабанил по дранкам дождь. В углах между бревенчатым срубом и скатом крыши оказались щели, откуда полыхнул огненно-белый свет: на Устье-Федоровское накатывалась еще одна перевалка.

Виктор лежал с открытыми глазами: белые отсветы выхватывали из темноты бревенчатые стропила, ниже — под скатом — какие-то бутылки, банки, картонные коробки, сложенные на широкую доску, — торец ее виднелся из-под рухляди, отслужившей свой век, прибранной бережливым Селезевым.

Виктор так и не мог понять, что это такое: старая столешница или, возможно, крышка от сундука?

Засыпая, он вспомнил себя, лежащего пластом на нарах в блиндаже, вырытом невдалеке от Волхова. Тяжелые немецкие «пантеры» — бронированные чудища упорно бьют по нашим позициям. От каждого взрыва

в блиндажах осыпается, шурша, песок, и просветы между накатом и срубом начинают багрово светиться...

Блеяние овец, кудахтанье кур, устраивавшихся на гнездо, прервалось таким оглушительным криком петуха, что стало ясно: пытаться снова заснуть — бесполезно.

Топот овечьих копытцев, нетерпеливое меканье матки, крик петуха — все было удивительно согласно с утренним холодком, с запахом сена, с солнечными лучами, которые пробивались в щели чердака и кружили рои пылинки.

От неистового кукареканья мы проснулись одновременно, и Виктор, как будто повинувшись внезапному толчку, пошел в дальний угол повети, где на картонных коробках лежали овчины и старые зипуны.

Мне не хотелось вылезать из спального мешка: густые паутины, развешанные под гребнем крыши, кудахтанье кур, блеяние овцы-матки — все это откровенно занимало и радовало меня, а больше всего радовала ясность мыслей, душевная бодрость и вся эта непередаваемо яркая полнота жизни, которую несет с собой послегрозовое летнее утро в деревне.

Пыль в солнечных просветах завилась гуще — Виктор возился в углу, скидывал ватники, овчины, снимал пустые банки — пытался вытащить из-под картонных коробок выгнутую крышку старого сундука.

— Да помоги же ты мне! — окликнул он меня с досадой. Вдвоем мы поднесли черную доску, заляпанную засохшим куриным пометом, к воротцам, через которые подают на повесть сено. Протяжно проскрипел отводок, солнце ворвалось на чердак, сильно запахло навозом, мокрым деревом, травой. Вдали, в струящемся мареве, загорелась река. Утро было тихим, солнечным, умиротворенным. Но Корегин, присев перед крышкой на корточки, не обращал внимания на эту благодать. Он изучал еле приметные затесы и врезные планки, которыми крепилась крышка; ее вогнутая поверхность заросла слоем пыли; что-либо разглядеть на ней, по-моему, было невозможно. Но эту вогнутую сторону и рассматривал художник. Кое-где он смахнул пыль — доска зажелтела старым-престарым деревом, как матица в избе, где потолок еще не заклеен бумагой.

— Понятно? — это Виктор обратился ко мне, подытожив свои наблюдения. И запел: — «Я вас открыл, святые письма. Я вас храню с улыбкой на рассвете...»

— Хоть убей, не понимаю, — признался я.

— Так и следовало ожидать! — ликование прорвалось в голосе Корегина. Однако причиной его ликования была не моя растерянность... нет, а доска, которая стоймя стояла между нами.

— Смотри и запоминай, — наставительно начал Корегин. — Это не столешница. Это не крышка от сундука... это старая храмовая икона. Видишь, липовые доски вытесаны топором. И резные шпонки тоже обтесаны и обработаны топором.

Возбуждение Виктора передавалось мне.

— Это углубление называется ковчегом или, по-деревенски, корытцем: оно — неременная особенность древней иконы. Доходит до тебя, гаврила?!

Он живо потянулся к воротцам, вдохнул утреннюю свежесть и счастливо сказал:

— А теперь спустим-ка это чудо пречудное вниз.

...Мы прислонили тяжелую доску к крыльцу. При солнечном свете она выглядела еще запущеннее, грязнее. Однако Виктор хлопотал возле нее в том радостно-сосредоточенном состоянии, которое мгновенно преобразует человека и которое невозможно скрыть от посторонних глаз. Он сбегал на поветь, принес обрывок мережки и стал протирать доску, вроде бы даже не протирать, а ласкать ее бугристую поверхность.

С крыльца спустился хозяин. Он смотрел на наши хлопоты и заботы, щурясь от дыма папиросы: ни тени удивления не было на его лице.

— А что, ребята, видно, сгодится века¹ в вашем хозяйстве?

— Сгодится, Иван Григорьевич, — с готовностью отозвался я. Но Виктор, протирая руки мережкой, подошел к Селезневу и, глядя куда-то в переносицу, хмуро спросил:

— Иван Григорьевич, откуда у вас это? — Он показал на доску.

— У хлеба не без крох, — посмеиваясь, ответил хозяин. Потом подумал и пояснил: — Это мой тесть Николай Константинович забагрил у запани. Давно дело-то

¹ Века — крышка от короба, вообще крышка.

было, не упомяну и когда.— Селезнев ввинтил окурок в землю.— В Бросачихе разбирали на дрова церковь Вознесенья... Лесу-то у нас мало, девать некуда... Кто-то из тамошних и спустил ее в реку. Преже обычай был — спускать иконы на воду, ежели церковь порушат.

— Иван Григорьевич, а вы не отдали бы эту доску?.. — Корегин замер в ожидании.

— Почему не отдать,— спокойно рассудил Селезнев.— Ежели по совести, дак она мне вовсе без надобности... — Хозяин почему-то замолчал.

— Да мы, Иван Григорьевич...

— О чем разговор, ребята,— оживившись, подхватил Селезнев.— Ежели люди просят, ежели им нужда при-спела...

Виктор весело подмигнул мне и, не прерывая, дослу-шал Селезнева до конца.

В Заволочье реки многолюднее иных поселений. По реке тянутся плоты, разворачиваются у пристаней трам-вайчики, снуют моторки, набегают и, оставляя бурун-ный след, тут же исчезают «ракеты», а на окраинных улицах дремотно, пустынно, тихо. Редко-редко проско-чит совхозный грузовичок, проедет легковушка, сопро-вождаемая лаем собак и взглядами одиночных прохо-жих. Обочины дороги от весны до осени зеленеют травой, на них пасутся коровы, ребятишки играют в мяч, старшие чинят лодки или пилят бензопилой дрова. Де-ревянные мостки на бревнах-подкладышах гулко и весело отвечают на шаги прохожих. За домами повсюду виднеются сараи, поленницы дров и старые тополя — выше этих тополей и сараев только купола церквей да мачты высоковольтных линий.

В таком прибрежном поселении, называемом Дым-ковской слободой, мы и жили с Виктором после воз-вращения из Устья, жили в начальной школе, в пустом, а поэтому уютном и безмолвном классе. Парты были вынесены и сложены громоздкой кучей на дворе, кори-доры школы залиты известкой, двери зашпаклеваны: пахло краской, мелом, тесом и пылью давно не провет-риваемого старого здания. Но в просторных окнах го-лубела Сухона, а за Сухоной — бетонная набережная города Великий Устюг. Эта набережная со старинными особняками, соборами, зелеными кущами деревьев от-

сюда — из-за реки — была изумительно красива; особенно в центральной части, где подымал вверх вычурные главы Успенский собор, — филиал местного историко-художественного музея. Хороша была и двухэтажная пристань: возле нее — борт о борт — стояли двинские теплоходы, «ракеты», работяги-буксиры, щеголеватые катера.

Нетерпение Виктора приступить к расчистке иконы, найденной в Устье-Федоровском, было настолько велико, что вскоре мне пришлось одному ездить в город за разными хозяйственными мелочами и покупками. И сколько бы раз я не возвращался из таких поездок, всегда заставал одно и то же: Виктор сидел на расшатанном стуле, облокотившись на колени, подперев ладонями обеих рук бороду, и в упор смотрел на безмолвную черную доску.

Однажды я застал его деятельным и возбужденным. Подпоясавшись полотенцем, Виктор кипятил на электроплитке медицинские шприцы. В этот день я никуда не поехал, а лежал поверх спального мешка, читая какую-то давид-копперфильдовскую муть, как сказал бы Холден Колфилд, герой романа Сэлинджера. Мне хорошо было видно, что делал Корегин.

Положив доску на учительский столик и набрав в шприц слабо разведенный рыбий клей, Виктор осторожно прокалывал иглою края ковчега, где краска охлупла и пошла от сырости пузырями. Он питал левкас клеем столько, сколько тот его брал.

Был Корегин похож в этот момент на «брата милосердия» — настолько бережно, морщась, будто от боли, он прокалывал черные пузыри и бугры. Затем размягчил рыбьим клеем верхний слой и стал заклеивать каждый кусок полосками папиросной бумаги. Бумага плотно-плотно прилипала к доске, и все-таки Виктор сходил к сторожике школы, выпросил у нее чугуновый утюжок, нагрел его и сквозь газету стал легонько проглаживать всю поверхность иконы.

Несколько дней мы не виделись — я уехал в Котлас, а оттуда в Сольвычегодск. Когда же вернулся и первым делом бросился к учительскому столу, в классе

ничего не переменялось: бугристая поверхность доски была заклеена латками полупрозрачной бумаги.

Все чаще, томясь вынужденным ничегонеделаньем, мы уезжали в город или уходили к Троице-Гледенскому монастырю, где с берегового обрыва — Гледена, образовавшегося от слияния Юга и Сухоны, смотрели на даль и ширь, расстилавшуюся перед нами. Гора Гледен вместе с Соколиной горой, что в самом Устюге Великом, создала здесь ворота, — и дальше шли наволоки, красноглинные угоры, гребни лесов, но пойменное раздолье неприметно менялось, вроде бы синело, суровело, дышало близостью Ледовитого океана.

И казалось тогда: эти ворота в старину открывали путь новгородским корабельщикам, позднее — устюжанам-мореходам, идущим встречь солнца в Беломорье, Мангазею, Сибирь и — через Тихий океан — на Алеутские острова.

Истекало ярко-алым сиянием солнце. Оно садилось за нашими спинами, и мы, свесив ноги с обрыва, отдавались безмолвному северному закату.

Как-то само собой вспоминались, возникали стихи, словно гладкое зеркало родника бугрили подземные ключи.

На глади бесконечных вод,
Закатом в пурпур облаченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных,
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...

Интонация стихотворения менялась, и, следуя интонации, голос начинал вибрировать:

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вечной правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!

— «Уста, запекшиеся кровью!» — как эхо, повторял вслед за мной Корегин. И вздыхал, и отдельно, словно вслушиваясь в каждый звук, произносил: — «Уста, запекшиеся кровью...»

После этого всегда мы говорили о Блоке. Мне казалось, что поэт шел неизведанными путями, в чем-то

схожими с путями группы Батиньоль, группы импрессионистов: как те, стремясь вызвать представление о предмете тенью, отвергли битум и открыли светотень, так и Блок, погружаясь в «ночь», «туман», «вьюгу», открывал контраст между тенью и светом, придавал слову неуловимую воздушность, озарял стихи светом и его скользящими рефlekсами.

— А по-моему, Блок ближе к искусству мистических цветовых символов и контрастов, характерных для русских иконников, чем к устроителям Салона,— возражал Корегин.

— Ну, не совсем... — не соглашался я.— Его Прекрасная Дама — все-таки «Мадонна» западных мастеров! А не «Одигитрия» Дионисия. И хотя у раннего Блока немало монастырских звонов, бледных иноков, красных лампад, вещей птиц и всяческой болотной чертовщины, по живописи он все-таки ближе к импрессионистам, чем к пылающему плащу Георгия-победоносца.

— Не скажи! — не сдавался Корегин.— Вспомни «Россию», «Опять над полем Куликовым», вспомни «Скифов» — какая в них четкая гамма алого и золотого!..

Спор разгорался.

В возбуждении мы вскакивали, прохаживались вдоль обрыва, снова садились. Трава начинала тяжелеть от росы, и туман поднимался из зарослей, темневших под Гледеном. Там, на отмели, какие-то люди разводили костер — их лица краснели от огня, да и весь костер с этими странными людьми, с их языческой неподвижностью перед огнем, был виденьем, внезапно возникшим и готовым немедленно исчезнуть вновь.

Долгожданное утро оказалось пасмурным — это мы поняли, не вылезая из спальных мешков, но погода превзошла худшие ожидания. Мокрый блеск крыш, цинково-рифленая гладь Сухоны, обложное небо — вот что виднелось сквозь меловые капли. В классе было прохладно, сильнее отдавало застарелой сыростью и пылью.

Позавтракали мы на скорую руку. Виктор, подпоясываясь полотенцем, на ходу дожевывая хлеб, придиричиво осмотрел склянки с химическими растворителями, что стояли на всех подоконниках, пододвинул ближе к свету учительский столик. Кроме черной доски, на

столике лежали вороха ваты. Виктор помедлил, осмотрел и ощупал весь ковчег, с которого была смыта папиросная бумага, и только после этого стал растирать квадрат сантиметров десять на десять. Растирал он его в верхнем правом углу ковчега, поминутно меняя тампоны,—постепенно под ваткой проступила тускло-желтая охра.

Виктор уменьшил квадрат и начал смывать это охристое пятно. Его костистая спина привычно гнулась над столиком, его цепкие пальцы как будто машинально брали тампон, макали его в растворитель и мягкими кругообразными движениями ходили по поверхности ковчега. Лицо было серьезно. Виктор не отвлекался, не поглаживал по привычке заросшую щеку — он весь был в работе. Росла куча отброшенных тампонов — росло и мое нетерпение. Наконец — и это было все-таки совершенно неожиданно — среди темно-охристой поверхности квадрата что-то слабо замерцало, засветилось. Виктор чаще разгибался, отходил, вглядывался в это мерцание. Теперь и мне было видно: в том месте, где он смывал один красочный слой за другим, проглянула зелень, нежная и прозрачная, как травинка, которая вмерзает в глыбу черного льда и не может оттаять до водополя. Зеленое пятно постепенно расширялось — и уже проступило изображение надписи, красное с золотым.

Корегин побледнел, внутренне напрягся: он пытался разобрать полустершиеся титлы и буквы.

— Пятница! — в растерянности он поднял на меня глаза.

Он опять впился в красную с золотым надпись. Потом сел на стул, охватил голову руками и так сидел довольно долго. Вскочил. Заорал:

— Пятница! Параскева Пятница!

Тут Виктор стал вылигивать худыми ногами в обе стороны и кричать какую-то восторженную чушь.

Да и я не мог прийти в себя от мысли, что тогда на чердаке Ивана Григорьевича мы обрели легендарную Параскеву.

...Шел конец марта.

Возле двери, обитой черным дерматином, я долго топал ногами, стряхивая мокрый снег, и лишь потом нажал кнопку звонка. Открыл дверь Корегин.

Он несколько не удивился моему приезду, как будто расстались мы с ним не полгода назад, а только вчера.

— Давай проходи, проходи... — сказал он, легонько похлопывая меня по спине и пропуская вперед.

Из прихожей, в которой я оставил пальто и дорожный чемодан, мы прошли в комнату; здесь все было, как и летом, перед нашим отъездом, — немного безалаберно и ярко-ало.

Этот алый свет струился от новых, неоконченных картин самого художника, от плащей воинов и головных покрывал богородиц на иконах, от расписных прялок, от тахты, придвинутой к стене и покрытой темно-красной с черными полосами тканью.

Жена Виктора — милая художавая женщина в очках — поздоровалась с тем провинциальным радушием, которое, увы, теперь встретишь не часто. Я знал, она немедленно уйдет на кухню собирать чай для неожиданного гостя.

Мы присели на тахту. Поглаживая левой рукой висок, Виктор обрадованно смотрел на меня, пока я рассказывал столичные новости.

— Ну, где она! — сказал я, не выдержав.

И Виктор, как будто он давно ожидал этого возгласа, сорвался с тахты, скрылся в темной кладовке. Но вынес оттуда не икону, а новгородский восьмиугольный крест, найденный, как пояснил мне художник, прямо на пашне вблизи опожского переката. Потом стал расставлять дивные тотемские прялки, потом выскользнул на кухню узнать, скоро ли будет чай.

— Не томи! — крикнул я ему вслед. И Корегин смиловился: наконец-то он втащил в комнату тяжелую доску, держа ее двумя руками. Это была Параскева Пятница из Бросачихи!

Трудно передать, с каким жадным интересом вглядывался я в древнюю живопись, — ведь мне пришлось уехать сразу же после расчистки первых букв иконы. Для меня, привыкшего к темной поверхности, не забывшего ни вздутых пузырей, ни пятен птичьего помета, ни пыли на обратной стороне, увиденное явилось подлинным откровением.

Это было дивное диво!

Пятница стояла в фас с распростертыми руками, своей позой напоминая Великую Панагею, Оранту, при-

писываемую кисти первого русского живописца, таинственного Алимпия Печерского.

Киноварный мафорий — головное покрывало — горел столь ярко, что, пожалуй, затмевал собою и расписные прялки, и плащи древнерусских воинов, и картины самого художника. Этот мафорий, распахнутый на груди, изукрашен был золотистой каймой и убран крупными жемчугами. Фон иконы — светло-зеленый, точнее, прозрачно-зеленый — очевидно гармонировал с дорогим и красочным одеянием Параскевы.

Древний живописец развертывал композицию не вглубь, а ввысь, он подчинял изображение плоскости доски, смело располагал всей плоскостью, заставлял поднимать взор к лицу Параскевы, которое было одухотворенным, строгим и простым. Удлиненный овал лица, плотно сжатые губы, темно-карие зрачки, усталые подглазья — все говорило о том, что художественная трактовка здесь слилась с живописной: лаконизм, красочность, строгость... Да, это была изумительная икона «северного письма».

— Какой век? — спросил я, заставив себя отвлечься от созерцания Параскевы.

— Нет, только не четырнадцатый, — задумчиво ответил Корегин. — Ты обрати внимание на киноварь мафория: на нем заложены четкие и тонкие линии складок, складки бегут сверху вниз, а все-таки возвращают взгляд к лицу Параскевы. Эти линейные приемы были присущи мастерам шестнадцатого века, но никак не более ранним эпохам. Посмотри: тогда иконники любили сочные блики, а здесь же все лирично, изысканно и, что греха таить, суховато... Однако, — словно спохватившись, добавил Виктор, — работа прекрасная: ей в наше время и цены нет.

— И что же дальше? — спросил я, поняв только одно: найденная Параскева Пятница вовсе не та Пятница, о которой мечтал художник.

— «Невозможное будет возможным...» — грустно улыбаясь, ответил Виктор и принялся накрывать обеденный стол: из кухни шла жена. Начиналось вечернее чаепитие.



**ЛИРИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ**

ДИОНИСИЙ

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ

Мне надоело слышать одни и те же вопросы, которые задавались с нескрываемым удивлением и даже раздражением:

— Ты был в Ферапонтовом монастыре? Ты видел фрески Дионисия? Как?! Ты до сих пор не удосужился побывать на берегах Бородаевского озера?!

И далее следовало все то, что положено в таких случаях выслушивать от друзей, заинтересованных в том, чтобы ты приобщился к их удивлению и восторгу, чтобы ты стал таким же, как и они, поклонником несравненных росписей несравненного старца Дионисия.

Все это мне положительно надоело, а больше всего мне надоели собственные проволочки, ссылки на неотложные дела, неоконченные рукописи и недочитанные книги, лежащие на столе, на всю ту гонку и спешку, которая с утра захватывает тебя и не дает ни оглянуться, ни опомниться до полуночи.

Короче говоря, однажды на «Дзержинской» я взял билет в кассе Аэрофлота и улетел, не ответив на телефонный звонок, задребезжавший в тот момент, когда я, надев пальто, взялся за ручку чемодана. Я просто выскочил за дверь, бегом сбежал с шестого этажа и через час сел в почтово-пассажирский самолет на Быковском аэродроме. Мне здорово повезло, потому что в тот же день от причалов Череповецкого речного порта стоял теплоход на Кириллов.

Что я действительно приближаюсь к Ферапонтову, что скоро мне удастся повидать фрески Дионисия, я понял лишь в автобусе, который, как рыбацкий баркас, бросало с боку на бок — это автобус петлял по старинной проселочной дороге Кириллов — Каргополь.

Стояла середина мая, но день выдался холодный, ветреный, и в окно, забитое фанерой, сильно дуло. Я судорожно держался за поручни кресла, не рискуя их выпустить, даже когда автобус выбегал на ровную дорогу.

«Не на этих ли ухабах мотало возок со старцем Дионисием?» — позабавила меня внезапная догадка. Но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее становилась погода; и когда наконец автобус прибыл в Ферапонтово, и я увидел на взгорке надвратную церквушку с полуразрушенной оградой монастыря, меня охватила такая беспросветная тоска, что я подумал: а стоило ли мне срываться с места, лететь сломя голову за тридевять земель, чтобы полюбоваться тем запустеньем, которого хватает и в иных памятных местах Подмосковья.

Поселился я у бабки Любавы в закутке, оклеенном старыми номерами областной газеты «Красный Север» и освещенном керосиновой лампой. До утра нечего было и думать идти в монастырь. Но я все-таки миновал водосброс у Бородаевского озера, поднялся на взгорок, оглядел со всех сторон ограду монастыря, каменный храм Рождества богородицы, вернулся к главным, так называемым святым воротам и от нечего делать стал разглядывать росписи на охлупшей, отставшей кое-где штукатурке. Росписи меня огорчили, — они были выполнены рукой ремесленника и, конечно, никакой художественной ценности не представляли: провинциальный реализм провинциального богомаза, как и в большинстве церквей начала века.

Поутру я недолго распивал чай у бабки Любавы в избушке, вросшей в обочину по-осеннему раскисшей дороги, разбитой к тому же тракторами и грузовыми автомашинами. Я снова миновал водосброс, снова поднялся к ограде монастыря.

За ночь что-то неуловимо переменялось то ли в моем настроении, то ли в облике архитектурного заповедника: теперь кое-где виднелись следы реставрационных работ, приметно краснела свежая кирпичная кладка, лежали бумажные мешки с цементом, груды песка.

Строители явно не спешили, как и вообще не шибко торопятся при реставрации памятников древности. А пока мне открылся крохотный монастырский дворик перед Рождество-богородицким собором. Дуплистые тополя и березы придавали ему вид уютный, а точнее укромный, как бывают укромны старинные аллеи и запущенные парки где-нибудь возле бывших барских усадеб.

Хмурый, неразговорчивый смотритель по просьбе моей и еще двух экскурсантов, по-видимому москвичей, отомкнул тяжелый замок на кованых дверях собора, и я ступил на истертые плиты лестницы, ведущей к главному входу. Над входом находилась тесовая галерея, и поэтому там было сухо и чисто, как в домовитых деревенских избах. В то самое мгновение, когда я подымался по лестнице, яркий солнечный квадрат окна упал на выскобленный деревянный пол галереи,— стало так светло, что засветилась каждая ворсинка на полу, надраенном дресвою. Дресвой трут хозяйки полы, чтобы они были чище и обиходнее,—таков обычай в северном крае. Эта чистота и свежесть создавали предпраздничное настроение, и я невольно перевел дыхание, пытаюсь одолеть непонятный для меня приступ радости, вернее предчувствия радости, которое, по-моему, волнует сильнее, чем сама радость.

Не могу сейчас точно передать первые мысли и первые чувства, возникшие у меня при взгляде на фрески Дионисия. В глубине сознания я сразу понял: это что-то такое, что встречается раз в жизни. Понял я и другое: основой духовности великого художника, как и всех русских людей, был культ богородицы, культ девы Марии. Однако плохо зная акафист деве Марии, который и послужил сюжетной основой росписей, все внимание я, конечно, обращал на краски, на технику живописца. Здесь у меня не было сомнений: изумительное, подлинно возрожденческое произведение искусства было передо мной! На фресках главного входа преобладали нежно-голубые и горячие, золотисто-охристые цвета,—они-то и создавали ту приподнятость, особую возбужденность, которую я испытал, подымаясь по лестнице и выходя на деревянный пол галереи. Причем голубой, вернее, небесно-голубой цвет был как бы слегка выгоревший, тронутый пылью столетий, прошумевших за стенами собора. Нет, это не была пыль в по-

вседневном, обычном понимании, это была пыль веков, приметная седина времени,— в этой седине таилось для меня особое обаяние фресок.

В самом соборе от кирпичного пола до купола — все было расписано рукою Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия, а также их иконной дружиной. Испытанное мною возбуждение не улеглось и теперь, когда я стал разглядывать четырехъярусные «письма» церкви. Фрески как будто светились изнутри. Фигуры праведников и святых, непомерно удлинённые, а поэтому изысканные, невесомые, парили в голубом пространстве. Но особенным изяществом отличались женские фигуры. Их позы были исполнены врожденной грации, их движения были медлительны и неторопливы. Стоявшие недалеко от меня москвичи, притихшие, зачарованные, шепотом, невольным шепотом, потому что в церкви мы были одни, обменивались друг с другом редкими словами.

И всю неделю, которую я провел в Ферапонтово, каждое утро, как на службу, я приходил в собор, садился на широкую скамью перед росписью главного входа или сразу же проходил в собор и никогда не уставал смотреть на эту спокойную, умиротворенную, как бы сказали в старину, многовещанную поэзию стенного письма. Постепенно фрески размыкались на отдельные картины жанровых сценок, диких животных, — в одном без труда я узнал северного медведя. Мне стали понятны и библейские притчи, если не все, то многие: ведь художник в них изобразил вечные радости и горести людей, иных он не знал, иных он, земной человек, не ведал...

От этих сцен веяло на меня беспредельным миролюбием и такой же беспредельной душевной добротой и щедростью живописца. Своим великим талантом он утешал всех, кто изнемогал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, сир, кто терял веру в людскую справедливость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, он вселял в них надежду, что есть, должна быть иная, лучшая жизнь, иной, лучший, очищенный от скверны и страха, от крови и злобы мир. Поэтому его стенные росписи звучали чудным многоголосием, согласным хором для прихожан, которые лежали распростертыми ниц перед иконостасом или теснились под этими сводами.

Для нас же, людей новой эпохи, его мастерство, его прекрасное искусство остается свидетельством неизбывной жажды человека жить в мире и согласии, творить, доверяя повелениям своего сердца и разума, и чувства, и вдохновения.

Настал день отъезда. В последний раз я пришел в собор и только тут, на софите маленькой дверцы, выходящей на север, заметил полустершуюся церковнославянскую вязь. Как я ни бился, мне не удалось разобрать эти письма. И только в Москве, в «Истории русского искусства» В. Н. Лазарева, я прочитал их полностью. «В лето 7008 (1500) месяца августа в 6 день на Преображение господа нашего Иисуса бысть подписывати церковь, а кончена на 2 лето месяца сентября в 8 день на Рождество пресвятыя владычицы нашей богородицы Марии при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси и великом князе Василе Ивановиче всея Руси и архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий-иконник со своими чады. О владыко Христе всех царю избави их господи мук вечных».

Я привел эту надпись полностью, потому что старинной тяжеловесностью она, как ничто другое, передает стиль эпохи, в которую творил великий художник. Эта надпись в дальнейшем сыграет немалую роль в судьбе художественного наследия Дионисия.

...Древние живописцы не имели обыкновения подписывать фрески и иконы,— тем загадочнее причины, по которым Дионисий решил оставить потомкам свое имя. Да и вообще, как он, жалованный государев иконник, попал в лесные дебри, в безлюдные «белозерские страны». Предположениям и домыслам несть числа. Уже тогда, в Ферапонтово, у меня смутно возникла своя догадка. Однако эта догадка хоть в малой степени должна была опираться на факты, на свидетельства современников, на летописные источники,— а вот их-то у меня под руками и не было. Впоследствии пришлось по крупицам собирать редкие упоминания о Дионисии в летописных сводах, в житиях церковных иерархов, в искусствоведческих работах. Но все это было потом. А сейчас я хотел бы рассказать, как благодаря этой надписи в Рождественском соборе Дионисий был открыт вторично.

За четыре долгих столетия потомки забыли имя Дионисия. Забыли настолько основательно, что даже

И. Бриллиантов, оставивший историю Ферапонтова монастыря, изданную к пятисотлетию со дня основания обители (1398—1898), спрашивал в связи с предположительной датой строительства Рождественского собора: «Упомянутый здесь Дионисий-иконник не тот ли знаменитый в свое время иконописец Дионисий, которому в 1482 году заказывал писать иконы архиепископ ростовский Вассиан?»

Однако вопрос был оставлен без ответа. Бриллиантов больше не возвращался к нему, считая, вероятно, свое предположение бездоказательным.

Незадолго до первой мировой войны В. Т. Георгиевский, знаток русской старины и иконографии, предпринял путешествие по северным губерниям. В глухом углу Новгородского края, в полузабытом, полуразрушенном Ферапонтовом монастыре, ему посчастливилось найти древнюю роспись. С первого взгляда фрески поразили его силой художественного мышления, необычным колоритом, изяществом и решительностью рисунка. Еще больше удивился Георгиевский, когда на стене собора обнаружил не что иное, как имя самого Дионисия. Сомнений быть не могло: эти фрески принадлежали кисти сподвижника знаменитого Аристотеля Фиоравенти, строителя московского Кремля, Успенского и Благовещенского соборов, в которых сам Дионисий, а после его смерти сыновья Феодосий и Владимир расписывали стены.

В 1911 году в Петербурге вышла солидная монография «Фрески Ферапонтова монастыря» В. Т. Георгиевского, в которой описывалась история открытия этой жемчужины древнерусской живописи и были приведены репродукции. Так, Дионисий, называемый летописцами «мудрым», «пресловущим паче всех (то есть более всех других знаменитым) в таковом деле», «изящным и хитрым в русской земле иконописцем, паче же рещи живописцем», через четыре столетия стал вновь известен художественной общественности России.

Как же случилось, что стенная роспись Дионисия и его сотоварищей сохранилась в первозданной свежести и красоте? За четыре века немало сменилось поколений, отпылало пожаров, отгремело войн, рухнуло, исчезло с лица земли зданий! Почему же фрески в Ферапонтовом монастыре ни разу не стирались,

не срубались топорами, не переписывались заново, как в большинстве древних соборов и храмов? Ответ на этот вопрос может быть только один — это счастливая случайность, почти чудо, как сказал Георгиевский.

Наивно думать, что монастырская братия сохранила фрески Дионисия лишь потому, что они принадлежали кисти великого художника. Скорее всего, братия ничего не знала ни о Дионисии, ни о его творениях.

Дело обстояло, на мой взгляд, гораздо проще: в северных лесах, вдали от торговых путей и дорог, затерялся этот небольшой монастырь. В 1798 году он был закрыт вообще, и Рождество-богородицкий собор, расписанный иконной артелью Дионисия, превратился в простую приходскую церковь. Бедность прихода, его заброшенность, его удаленность от промышленных центров — вот что спасло это выдающееся произведение древнерусской творческой мысли.

Слава Дионисия, младшего современника Андрея Рублева, постепенно стала возвращаться к нему. Первооткрыватель Дионисиевых росписей В. Т. Георгиевский назвал художника «великим колористом». И это действительно так. Секрет солнечных, медвяно-золотистых, нежно-зеленоватых, лазурных красок был утерян после смерти великого мастера. Ни разу в русской настенной живописи не заструились, не засверкали с такой интенсивностью, с такой силой природные краски, как под гениальной рукой Дионисия. А ведь все эти краски были найдены на берегах Бородаевского озера. До ста пятидесяти оттенков охры различают знатоки в его фресках. Разноцветные камни, рассыпанные по берегам Бородавы и других озер, дали Дионисию это поразительное богатство колеров и оттенков. Синий фон, прославивший ферапонтовские росписи, под рукой других стенописцев стал со временем мутнеть, превращаться в бутылочный, свинцово-зеленый цвет. В дальнейшем, в XVIII веке, цветовая гамма стенных росписей многих соборов приобрела вообще груборемесленный, лубочный характер.

Что же касается изобразительного мастерства Дионисия, то здесь можно привести немало свидетельств наших крупнейших исследователей, художников, работников картинных галерей и музеев.

Первым о гениальности Дионисия в новый послереволюционный период сказал писатель Иван Евдокимов, и сказал об этом без обиняков, в полный голос. «Ферапонтовская роспись — гордость нашего искусства», — писал он в монографии «Север в истории русского искусства» (1921). Эта монография и по сей день является уникальным исследованием северного зодчества и северной архитектуры. Иван Евдокимов по праву сравнил архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря, и в первую очередь фрески Дионисия, с самым лучшим произведением итальянского Возрождения — с Сикстинской капеллой. Позднее научный сотрудник Третьяковской галереи В. И. Антонова в своем исследовании справедливо отмечала: «...В наше время Дионисий, вслед за Андреем Рублевым, должен быть оценен как художник, творчество которого имеет всемирное значение». Н. М. Чернышев в книге «Искусство фрески в Древней Руси» пишет, что, по его мнению, западный портал, главный вход собора, «является произведением огромной художественной ценности». Наконец, в марте 1969 года «Правда» поместила статью С. С. Подъяпольского, в которой о Дионисиевых росписях говорилось как о «настоящем чуде искусства».

Я не вхожу в тонкости искусствоведческих споров, — они есть, они ведутся с неослабевающей силой, а просто хочу напомнить один немаловажный факт: из двух великих художников древности широкая публика знает имя Андрея Рублева, но почти, или точнее — почти ничего не слышала о Дионисии.

После поездки в Ферапонтово по давнишней привычке я засел в Ленинку — библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и, работая над архивными материалами, попутно, скорее для себя, чем для публикации, стал заносить в черновые тетради выписки, в которых говорилось о непреходящем значении творчества Дионисия в наши дни. Я отнюдь не думал воспользоваться этими выписками, наивно полагая, что существо вопроса ясно без дополнительных пояснений. Но я ошибался и в дальнейшем понял, что без цитат и веских свидетельств крупнейших авторитетов мне не обойтись. Сама «севернаяпись», сама иконопись и фресковая живопись, сохранившаяся в соборах, по-прежнему вызывает у иных ревнителей атеистического воспитания

молодежи если не чувство неприязни, то, во всяком случае, чувство неодобрения и недоумения. Библейские и мифологические сюжеты для западноевропейских художников давным-давно принято считать естественным и закономерным этапом в духовном развитии всего человечества. Что же касается наших национальных святынь, образцов нашей национальной живописи, то здесь и инерция и догматизм действуют с прежней силой.

Безусловно, что поэтика древнерусского художника Дионисия складывалась под непосредственным воздействием мифов и легенд, бытовавших среди всего православного славянства. Однако у Дионисия следует видеть и другие, в частности, народные истоки художественного мастерства. К концу XV века русские люди предстали пред миром как духовно и нравственно единая нация. Русь не только оградила Запад от многовекового натиска восточных орд, но и сохранила собственную «душу живу», сберегла бесценный художественный дар, жажду строить, созидать, творить. Веками русские выпевали себя в песнях, выплакивали в плачах, высказывали в преданиях,— это хорошо известно хотя бы из трудов собирателей фольклора. Но русские с неменьшей силой выражали себя и в деревянном зодчестве, в вышивке, ткачестве, резьбе по кости и бересте, наконец, в живописи,— в росписи предметов домашнего обихода, в книжной миниатюре, иконографии. Именно так,— в иконографии. На русском Севере иконопись долгими столетиями была и оставалась подлинно народным искусством: тысячи и тысячи безымянных мастеров по северным деревням, посадам, монастырям писали лики угодников и святых. Этим наше древнерусское искусство отличается от искусства средневекового Запада, не говоря уж об искусстве Возрождения, имеющем четко выраженный индивидуализированный характер. Русские мастера неизбежно обращались к библейским сюжетам, к Ветхому и Новому заветам, к христианской символике, ибо модель мира в их сознании и воображении строилась, с одной стороны, по памятникам словесности, большей частью религиозного содержания, а с другой — по народным представлениям и верованиям, имеющим многие дохристианские, языческие черты.

Вот почему художественное восприятие этих симво-

лов и сюжетов было глубоко самобытным, эмоциональным. непосредственным,— самоучки-иконники запечатлевали в иконах, в росписи прялок и туесов, в книжных заставках и буквицах и чистую радость, и горечь бытия, красочно высказывали свою сильную, здоровую, крестьянскую натуру.

Творчество Дионисия — одна из вершин многослойной художественной культуры, созданной русским народом. Дионисию и его иконной дружине довелось в живописи выразить зрелое национальное самосознание русских людей, впитать в себя, а затем и поднять на высокий художественный уровень опыт деревенских богомазов, иконописных дел мастеров.

Теперь же, оглядываясь на прошлое, различая в глубине веков такие могучие вершины, как Дионисий, мы учимся прозревать даль грядущего, учимся смотреть во все стороны света с чувством собственного достоинства и внутренней правоты. И, наоборот, отвергая прошлое, проявляя привычную нетерпимость и подозрительность ко всему «слишком старому», — равно как и ко всему «слишком новому», — мы обрекаем себя на духовную нищету.

УТЕШЕНИЕ ДИОНИСИЯ

Крик монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету — и тогда с небес начинало скупно сочиться утреннее солнце. Было похоже оно на яичный желток, растертый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в заозерье — кромка леса, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они у поварни, у трапезной, у монашеских желий и вели к широкой лестнице Рождество-богородицкого собора.

Собор стоял на взмостье, окруженный с трех сторон галереями. С главного входа еще не сняли леса;

сквозь горбыли, сколоченные крест-накрест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и славна, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано Ферапонтовой братии. Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и угодно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на взгорке между двух озер, одно — Бородаевское, другое — Паское. Озера — рыбные. Леса — грибные. Сенокосные угодья — обильные. Потому-то и трезвонили бойко колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

...Дионисий, угрюмо насупившись, шел к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжелых от бессонницы век. Дионисий все прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота, и не было сил отбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нем сердце, — страх смерти напал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны точила его, как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтанье. Нет и не было смысла в его дерзновенных трудах и лишениях.

Встал Дионисий, измаянный лихоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озерных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к косогору, по рыбацким ладьям, вразнобой пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы мокры, спутаны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный кованый крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни келби, ни малой каморы, ночевал где придется: на монастырском подворье, иное под окнами келий, а иное на голой земле у собора, — радел

о славе мученика и провидца. Прежний игумен благословил монаха на подвиг юродства, и с тех пор приводил он в трепет лесную округу. Баяли все: ферапонтовский Галактион, дескать, блажен во юродстве, наделен даром разума исступленного, провидец он, страстотерпец. И сторонились юрода, остерегались задеть его словом, обидеть его ненароком. Страшный был по всему человек.

Среди монахов шел шепоток, будто не без его, Галактионовых, козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, запылало все, затрещало, огонь перекинулся на ветхие кельи, в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иоасаф. Сановитый и мудрый, сведущий в книжном письме был Иоасаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозерские страны, отягченный великокняжеским гневом. Галактион, словно приبلудный пес, слонялся вокруг Иоасафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены часами. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знамением, бросился в дверь, забитую дымом. Вынес из пламени, поставил к ногам Иоасафа укладку, окованную серебром да красной медью. С тех пор и пошла за юродивым слава, как за прохожим верная тень. На ту большую казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим старанием,— камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской же артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною вязью, узором из бусынок, выпуклою — обронной — плетницей.

Дабы придать благолепие церкви, отписал Иоасаф грамотку на Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия, известного в русской земле живописца. Старый мастер на уговоры не поддавался. Однако в зиму 1500 года неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновьями — Владимиром да Феодосием, да левкащиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Галактион, пригнув косматую голову, стоял возле узкой тропинки. Посинелый рот кривился в привычной ухмылке.

— Калабан, чалабан в predisподню угадал,— зачастил он, косноязыча, кланяясь Дионисию в пояс. Живописец хотел миновать его, но юродивый сыпал словами, словно каленым горохом.

— За смехотство, высмехотство в predisподню угадал.— И, сверкнув глазами зло, затаенно, хрипло добавил: — Худ ты, иконник, стал. Помрешь, видно, скоро...

— Каждому по делам его,— нехотя отвечал Дионисий. А юродивый, распаляясь все больше, дерзко шагнул на тропинку, замахал, как мельница, рванными рукавами.

— Иконник, иконник, сатанинский угодник. Ты почто пожаловал в нашу обитель? Ты почто смешал божество с мирскою толпою? Ты святителей пишешь длинных, как жерди. Еретик ты! В адском пламени будешь гореть! Стенописаньям твоим осыпаться, как перхоти с шелудивого пса!

Галактион сжал кулачища, повалился ничком на тропу. Жаждал он исступленьем своим унижить пришельца, обласканного, как гласила молва, отшельником Иоасафом и даже великим князем московским. Лютая зависть сжигала Галактиона: был ненавистен ему величавый мирянин, превзошедший во славе его, стратотерпца.

Дионисий, неловко подавшись вперед, стоял перед иноком, бившимся в черной падучей. Сухим, настороженным блеском были полны его очи. Не однажды слышал почтенный мастер подобные речи,— и не тут, не в дебрях лесных, а на дворе у великого князя, в Москве. Знай об этом юродивый, раздуло б его от гордыни, как раздувает утопленника в пруду.

— Встань, монасе,— тихо просил Дионисий.— Понапрасну семена злочестия сеешь: тебе не дано проникнуть в тайны стенного письма, в неизреченные наши заботы. Встань и иди,— повторил он суровой и строже.

Острые лезвия глаз Галактиона стали меркнуть, тускнеть. Но напоследок те лезвия полоснули по ясным глазам стенописца, и только тогда, обмякнув, поднялся юродивый с влажной земли и, шатаясь, как с зелья хмельного, побрел в дальний угол подворья.

Заложив тонкие пальцы за опояску, хмуро смотрел ему вслед Дионисий. Нет, неспроста лжеюрод затеял раденье. Горазд на выдумки был этот монах, ой как горазд. «Святости нету в ваших трудах!»—вопил он монахам еще до пожара. Да и теперь повторял он слова не свои, а чужие. Знал Дионисий: невежество зло порождает, а злобе вкупе с бесчинством нет и не будет предела. Ведь кому же иному, как не кликуше, благословенья искать у пастырей здешних. Ах, да что сей темный и бешеный инок! Даже князь церкви, его покровитель — игумен волоколамский, бился в падучей, когда прослышал о смуте в новгородской земле. «Хулящих царя небесного наипаче царя земного — казням лютым предать, в заточенье сгноить!»—кричал он, входя в исступленье. Мнил волоколамский игумен: дойдут его речи до князя Ивана, прозвучат малиновым звоном в кремлевских хоромах, возвестят Ивану о страже надежном, о прочном и честном его щите. «Семена благомысленной одержимости, поиски ереси дадут,—вздыхнул Дионисий,—на Руси немалые всходы. Запылают смоляные клетки с еретиками. В землю заживо станут закапывать вольнодумцев. Неужели и роспись стенную топорами ссекут? Неужели его, Дионисия, труд пропадет от бесчинства, от злобы? Добро б от татарских мечей, а то от скребков неразумных монахов, наученных, науськанных таким же блаженным, как юрод Галактион». Провел по глазам Дионисий, как будто снимая липкую паутину, пошел угнетенно к южной ограде, где на левкасном дворе стояли крестьянские дроги.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаною мукой, лен в тяжелых жгутях. Московский пособник по имени Еремей придирчиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса,— а им покрывают стены соборов под краску,—потребна белая, мягкая, пышная, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — мешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрылись лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лен вычесать, изрубить его мелко-мелко, добавить коры еловой,— да все смешать,— вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены, наматывай левкас, гладь его ручною лопаткой, грунтовой стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо: краски померкнут, могут осыпаться враз, отшелушиться.

Поучал Еремей мужиков-тугодумов, как готовить левкас, мямл взыскательно известь в ладонях. Крепок дуб множеством корения, а художество крепко заботой и тщаньем людским. Тут, брат, любые проклятья бесильны, тут, брат, надейся вернее всего на себя.

— Добрый ныне левкас,— сказал Еремей,— вытирая ладонь о порты. Отличался левкащик добродушием, добродностью и голоса густотой.

— Феодосий,— как из бочки гудел он,— «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет.

Дионисий вместе с Еремеем осмотрел, как холопы в рваных сермягах лопатят левкас, как несут в берестяных кошелях к паперти собора. Левкащик, чуть поотстав, шел за главой иконописной артели.

— Леса-то с главного входа пора бы убрать,— сказал Дионисий. Еремей охотно кивнул в ответ загорелой плешью.

...Из-за высоких помостов, чанов с водой, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен, в соборе было грязно и тесно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог. Этот щегольской сапог, у которого нос — шило, а пята — востра, ввел во гнев Дионисия.

— Доська,— укоризненно бросил он сыну,— кая нужда тебе здесь выражаться. Ты хоть по забудням-то не красуйся, как девица.

— Пустое, отче,— усмехнувшись, ответил Феодосий.— От своего рукоделья пищу и прочие потребности себе приобретаем. Сам знаешь, тем рукодельем живем и питаемся.

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были мелкие, иконописные, но ощущалась в каждом движении твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда. Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить содеянное было уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом принялся за ризы, коруны, за все царское убранство. Феодосий сошел на помост и с истовостью, неприметной в нем прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жженая, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся на богоматери вишневым цветком мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то заученное, единообразное. Зато выше меры старался он, выписывая праздничный царский наряд.

Дионисий долго следил за художеством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному загривку, по его плечам, обтянутым холщовым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия, многого может достичь в благолепном письме. Кто иной, как не отец, изрядно известный повсюду, мог оценить эту строгую верность древнему византийскому уставу и его, Дионисия, навыку. Медлительные, казалось бы, непомерно вытянутые тела царей и святителей были полны величья. Они вели сокровенные беседы с жестом предстояния либо погружались в тихое раздумье.

Дионисий присел на холщовое сиденье и по-прежнему взыскательно оглядывал стенную роспись. Не только теперь, но давно он примечал: пышным и вычурным становится Феодосиево письмо. В парчовых одеяниях да корунах, унизанных жемчугами, теряется сын как живописец. Столь прельстительное для него убранство губит в нем силу взыскующую, духовную. Губит линию — емкую, сильную, единственно верную линию большого мастера.

Будь его, Дионисия, воля, в одном ли убранстве,

в медлительной ли важности беседующих он стал бы искать себя? Под хитонами да парчовыми одеждами он вымыслил бы тела красивые, сильные, ловкие.

Но вспылчив норов у сына и не терпит он ни в чем прекословья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, вобрав в ладонь бороду, сидел неподвижно, даже безучастно, и все-таки многое примечал из-под приопущенных тяжелых век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородаевского озера. Они студили клей для лазори, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как неслышно мелькали они под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньшей его сын стал для них главой дружины, что быть вскорости Феодосию жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир. Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно бы заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшего брата за их сговорчивость да податливость на Иоасафовы увещеванья. А бранился Володюха лихо. Да и как было ему не браниться, ведь ни денег, ни почестей не огребут они в Ферапонтовой обители. «И какого беса,— прости мя грешного,— думал он,— было бросать княжеский двор, коль скоро знатные муролы — фряжские каменно-строительных дел мастера — строят в Москве церкви чудна вельми и светлостью, и звонностью, и высотой. А тут, в тонях-болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни чернокнижником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих, как в открытой книге. И потому, что в Володюхиных потайных укоризнах было немало верного, еще более ссутулится он на холщовом сиденье. Колоколом гудело сердце в груди. Свинцовой тягой наливались ноги. «Помрешь ты скоро, иконник, помрешь», — хрипел в памяти Галактионов голос. И дабы стряхнуть с себя наважденье,

развеять хоть малую толику тяжких печалей, медленно поднялся Дионисий и тихо вышел из храма.

Едва почитаемый мастер скрылся под сводами, как Феодосия поманил поварской служка. Тот нехотя оставил помост, спустился вниз по лестнице. Отведя иконника в темный угол собора, служка торопливым шепотом поведал ему, как изрыгал Галактион зловердные словеса, как грозил отцу адовым пламенем, поносил всячески артельную стенопись.

У Феодосия заиграли желваки под литыми плечами скул, по шее пошли красные пятна. Он рывком сорвал с себя балахон, опрометью бросился вон из собора.

Крупно шагая по двору, раздув гневливо ноздри, Феодосий без толку обежал монастырские постройки. Злоба и страх душили его. От невежества Галактионова бысть в людях молва великая и смятение,— та молва покатится, полетит подметными письмами ко двору князя Ивана Васильевича, к престолу святительскому. До Иосифа Волоцкого, несравненного учителя, многогорделивого друга, дойдет та молва. В безумных дерзновениях да ересь обвинит Москва богомазов, и не видать, ему, Феодосию, ни почестей великокняжеских, ни благословения митрополитова. Нет обороны от лжи, нет запоров от навета: поди разберись, так ли писаны лики угодников в отдаленном монастыре.

Отец, зараженный смиренномудрием пустыни Сорской, брани да тяжа, как яда смертного, обегает. Ему ли устоять против врагов своих? Ему ли развеять на-праслину?

Феодосий вновь обошел постройки, пока наконец не догадался заглянуть в сушильню. Сильно рванув отводок, он ослеп от полумрака, царившего в сарае. Тяжелое дыхание его наполнило сушильню. У стены, завешанной сетями, на монастырских мережках спал ничком Галактион.

Остроносый сапог с силой вонзился в ребра юродивого. Тот застонал от боли. Не давая Галактиону опомниться, Феодосий схватил его за грудки и поволок на волю.

— Ты... собачья кровь,— свистел он сквозь зубы.— Ты утром чтось плел? Скоморошьи пляски возле святого дела устраивал? Язык поганый распускал?..

Грязное Галактионово рубище треснуло, поползло с плеч. Сверкнули бельма закатившихся глаз, искоробился заросший дремучей волосней рот. Иконник еще раз встряхнул юродивого, потом брезгливо толкнул его, как рогожный куль, на землю. «Что взять со пса смердящего,— зло оборвал он себя.— Язык ему, рабу нечестивому, вырвать. В яме творильной утопить...»

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иоасафа.

Знатный старец удалился в Ферапонтов монастырь, алкуя тишины, одиночества и покоя. Однако не обрел он здесь ни благочинной отрады, ни очищения духа от мирских забот и соблазнов.

Архиепископ новгородский Геннадий искал в Ферапонтовой обители сподвижников, слал Иоасафу послания, требовал созыва собора, на котором положен был бы предел смущенью умов. Открылась Геннадию в новгородской земле ересь великая и потребен ему был собор церковных иерархов, дабы «еретиков казнити, жечи да вешати».

Не в престарелом Иоасафе, а в молодом Иосифе Волоцком нашел Геннадий опору. Однако к голосу бывшего ростовского святителя прислушивались московские князья духовные. Позабыв прежнюю немилость, прислушивались и князья мирские.

Когда Феодосий вошел в келью, старец дрожащей рукою перелистывал чье-то житие. Иконник припал к руке старца, вкратце изложил заботу.

— Пойдем, сын мой, в храм,— смиренно ответил ему Иоасаф.— Пусть не томит тебя дух гневливый: в умной молитве да сопребывании обрящем утешение.

Феодосий помог старцу накинуть на плечи куколь — темную, грубой шерсти одежину. Подал посох и расторопно открыл перед ним дверь.

Шли они к собору медленно, беседу вели тихую, незаметную. Иоасаф часто останавливался, дабы передохнуть, а остановившись, несказанно сокрушался. Дескать, дрогнула вера на святой Руси и отступили многие от православья. Ереси плодятся повсюду, вольномыслие, как никогда, процветает. А все потому, что мужи духовные из печаловников земли русской превратились в государевых потаковников. Воли своей не имеют. Права позабыли. Сам первый Иосиф Волоцкий отступил от небесного,

а пришел к земному. Вместо дел монастырских за государево дело живот готов положить. Стяжательством обуян Волоколамский игумен. Было бы жить чернецам по пустыням да кормиться рукоделием своим,— меньше было бы на Руси сомнений, меньше было бы кружащихся ради стяжанья. А то отписал ему прошлым летом Иосиф, мол, ныне и в домех, и на путех, и на торжищах иноки да мирские людишки все сомневаются, все о вере пытаются.

Замкнулся от подобных речей ярый иосифлянин Феодосий, словно в рот воды набрал. Внимал речам старца невежливо, неохотно. Ведал иконник: отцу Дионисию пришлось бы по сердцу поучения Нила Сорского,— вот с чьего голоса поет затворник Иоасаф. Ему, отцу Дионисию, от нестяжателей — честь да хвала. А Феодосию путь править с сильными, дело делать с разумными. И еретиков жечь да казнить надобно, коли скоро ереси веру колеблют. Задумали, вишь, иконам не молиться, в церкви не ходить. А Феодосию — по папертям побираться? С каликами переходжими в голос выть? Не бывать ересям на Руси! Зловерье новгородское железом каленым выжигать надобно, а не молитвами еретиков милостивить.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее заверещали монастырские галки.

Иоасаф, поддерживаемый под локоть иконником, вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичом нелевкашенные своды и подпружные арки. Но ясен был чудесный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шли письма: по нижнему ряду платы с дивными медальонами. Затем изображения церковных соборов и лики святых. Выше — акафист во славу девы Марии; по сводам да по лютернам — евангелические главы.

— Лепота! — еле слышно выдохнул Иоасаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разъяснять ему многомудрую хитрость стенового письма. Напирал иконник особо на «Вселенские соборы». Да и в акафисте деве Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление богородицы славил писцы-иконники доброго пастыря Иисуса Христа. Поднаторелый

в книжности Феодосий говорил живо, складно, велеречиво.

— Лепота! — только и вздохнул в ответ Иоасаф, утомившийся от речей Феодосиевых.

...На совет к преподобному Иоасафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галактион, сникший, припрятавший под космы огоньки росомашьих глаз. Совет вскоре порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать какой есть в монастыре народ. И должен при всем том честном народе держать покаяние Галактион. Да так, чтобы на сердце впавшего в скорбь Дионисия, как разумели святые отцы, пролился свет благодатный. Ежели Галактион тому совету не внемлет, держать его в яме на железной цепи до скончания века.

По полудни во втором часу ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озерами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьем и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На паперть, к главному входу, с которого мастеровые сняли леса, взошли преподобный Иоасаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володьюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие! — торжественно начал игумен. — Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в богоспасаемом храме. Ведомо нам: инок Галактион в речах и думах нечестивых своих покаяться хочет...

Но Галактион в разорванном, спущенном с плеч рубище стоял неподвижно.

И вдруг он запрокинул назад голову. Из-под бороды его заострился волосатый кадык. В горле что-то забулькало, заклокотало. Ноги стали дрожать, подгибаться: Галактион, не склоняя головы, медленно подымая руки вверх, грохнулся на колени. В голос запричитал какой-то чернец. Из ощеренного, с пенными краями рта Галактиона рвалась хрипая невнятица.

Феодосий холодно посмотрел на блаженного, повернулся и спокойно ушел в собор.

Колеистый проселок, ведущий к Цыпиной горе, обветрил, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравеневшей обочиной, иногда он переходил на проселок, где посуше. Мягкие татарские сапоги его забрызгались грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батошкой в лад неторопливому шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, развеивали полы ряски, морщили воду в колеях, пока чистое небо не заблестело по всей дороге — и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из бревен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у проселка. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые камни, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженным-перехоженным проселком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка-Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студеные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озер, глядит, не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречет он? Путь его жизненный краток, но им же он и течет. Не дым ли да пепел житие его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает душа его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтению? Да истина открылась ему: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие».

Тюкает батошкой по утоптанной тропке. Пришаркивая, идет Дионисий к Ильинскому погосту. Но как ни высоко, как ни жестко встают в душе его волны унынья — не может не видеть Дионисий божеской и земной благодати, разлитой окрест.

...Березовые рощицы выбежали к проселку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостои, с мокрыми, боровито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они то падали, то взмывали в небесную высь, словно кто-то поддегивал их паутинкой. Густой, сладостный дух шел от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто опуска-

ет его телесная немощь, тверже тюкает батожок по земле. В такие тополя любил он забираться отроком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополевой смолки. Бежит босоногий отрок за скорморохами, свистит, надув щеки, в свисток. То-то было радости. То-то было веселья.

Тюкает батожок по земле, которую от монастыря к монастырю, от посада к посаду всю исходил Дионисий. На глаза ему попалась крупная, едва не в ладонь ромашка: солнышко, расцветшее у придорожного камня. Дивны дела твои, господи, дивны красоты твои, матушка-Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Порасписывал стены соборов охрой желтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как ее лепестки. Ныне осыпалась голова снежной заметью: не стряхнуть, не вычесать из поредевшей гривы. А тогда сплетала ему Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишенок, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка-Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешенный на корье сосновом, пил твое парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых холопов в азиях да женок их в холстинковых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка-Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливают море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва — народ ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Попоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит, как жар, в светлом убранстве сам государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское — атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами

унизаны. Смуглолиц, темноволос князь и высок ростом. Посему горбится он в платне царском. Блистает гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлевских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские, заволоцкие, вятские, пермские... И все ныне единая Русь!

Ликованье в народе поднялось. Не московский удельный князь, а государь над всеми государями земли русской Москве — народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблистели на глазах благодатные слезы. Вскрылила его сила народная, вскричал он вместе с толпами: «Слава пресвятой богородице — заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неближней дороги. Спустился в овраг, поросший черемухой, испил ключевой водицы, осыпанной черемуховым снежком. Потом утерся полой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на батожке, оперся подбородком, задумался.

Сколько он ни помнил себя — с великим жаром душевным писал богородицу. Едва, бывало, слышит величавый глас: «Радуйся чудо чудес Одигитрие-владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь богоматери девы Марии: «Поющий твоё рождество хвалим тя все, яко одушевленный храм».

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквям и посадам. Молились ей, слышав частый ливень копыт татарской конницы, увидев дымы, паляемые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с тыщею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Одигитрия, заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопения высказать по-своему, иконным письмом, незамутненными, чистыми красками. Лазорь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своем ремесле. Не-

мало вымыслил деисусов со праздники и пророки.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм Рождества богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть, и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться такому диву. В лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения. Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымем, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик богородицы, повредило кузень — дорогой серебряный оклад. Ропот пошел по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди; беспокойно жилось им в русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силой своею взял Киев, много там пакостей учинил, многих в полон увел и с женами их, и с детьми. Невозможно было Москве — народу жить без вознесенской святыни. Тогда стали искать наилучшего иконника, который смог бы на той же доске в том же образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал молодой иконник. А когда налил на ладонь олифы да протер той теплой олифой письмо — ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия еще большим почетом при княжеском дворе, при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родах».

Сам Иосиф Волоцкий, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: лестились сделать вклад в монастырь светлыми образами письма Дионисия. Но всех более ласкал живописца государь Иван Васильевич Третий. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в безвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разумению. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как лист. В одночасье занемог он неутолимой скорбью. Невесел был Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: князедворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно, с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, князь Василий Васильевич,—мучим был злобой и надменной гордыней сын Иван.

Стал уставать Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных Ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой светозарной славой дышали росписи и богомазные лики. Где должно было Дионисию с разумом пользоваться художеством, дабы продлить государю милости промысла,—он же толпы мирские упоенно писал. Великий князь встревожился. «Да стоит ли писать живых и мертвых на святых иконах молящих,—пытал он у духовника Василия.—Пишут же теперь и цари, и князья, и святители, а допережь всего пишут народы, которые живы суть». Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше были иконники — холуяне, коих немало привезла с собой грекия Софья Фоминишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иоасафа. Сулил Иоасаф забвение всех скорбей в лесах Ферапонтовых. Хвалил непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами. Так-таки тяжело было пускаться Дионисию в неведомый предел, и долго бы он еще раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий.

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники,—убеждал он отца.—Та земля Заволоцкая была пятиной великого Новгорода, зараженного ныне зловерьем. Самый край государства московского теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной думы. В Заволоцкой земле, вблизи от Ферапонтова монастыря, находилась некая заветная

пустынь. Возмечтал Дионисий у великого Старца той пустыни умягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием. Возмечтал он победовать Старцу на жестокосердие московских властителей. Выискивают те власти-тели крамолу да смуту, как волки степные, по торговым рядам, по монашеским кельям, по народным гульбищам. Людям, на язык вольным, умом смущенным, в Новеграде колпаки берестяные на головы надели и те колпаки на головах сожгли, а других в темницы бросили, а другим навечно кляпами рты забили.

Был Дионисий от роду незлобив, мягкосерден. Всю жизнь он бежал насилия над ближним, страшился крови, пролитой единоверцами. Ни поносить, ни укорять не хотел почтенный иконник, а только искал справедливости и благолепия в мире.

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берез были для мирских людей маловходны, одолеваемый горестными печальми Дионисий тронулся в путь в сопровождении левкасчика Еремея.

Снег в ту весну долго не таял. Лежал он смятый, серый, похожий на худо постиранный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошною травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги зывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья, иное летели книзу, иное по ступицы завязали в болотной жиже. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на разметанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет афонскому Старцу, найдет ли в его речах утешенье, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце.

Еремей меж тем очнулся от дремы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь, — дроги резче стали встряхивать седоков. Заструился мелкий березняк, потом ельник — реже, реже — дроги выскочили на болотистую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы по топкому бере-

гу речки. Лед вздулся, посинел, пошел глинистыми потоками и полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солнцегреве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкасчиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчанье. В груди грязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалалась в ржавые клочья, смертные тени легли на щеки. Дышал он хрипло, тягуче. Иссиня-бледные губы прилепились к белым зубам.

Сердобольный левкасчик торопко сбегал к подводе, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиться монаху. Тот припал к ковшу, прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело...

Дионисий с левкасчиком враз оглянулись. Перед ними насупленной тучей высился Старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свивалась косицами, стекала к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжелый дубовый батог.

— Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продлить. Вот я вам и вещаю: бесполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне здешней.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погруженный в смирение, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же еще человек,— голос Дионисия был смиренен, но тверд. Тайная горечь метнулась из глаз, притененных тяжелыми веками.

— Что сие человек? — откликнулся резко отшельник. — Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножия горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнетом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд,— столь же резко ответил ему Дионисий. — Даже в зловонном тряпье он питает надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчанье отшельник, повернул-

ся узкой спиной к скорбному ложу и пошел от прищельцев к часовне.

Так-то с афонским Старцем повстречался отец Дионисий, так-то вступил с ним в беседу, мечтая найти утешенье. Зло обличал его Старец, поил отравой, пахнувшей тленом. Поносил за смятенность ума, за земную сердечную боль.

«Мудрствуешь о высоком,— наставлял он сурово,— а блаженство отверг, предавшись мирским ремеслам. Жалеешь убогих и сирых, оскорблений не терпишь, поносишь духовную власть предержащих, не чтешь пастырей, коим открылось всеобщее предназначенье,— много мнишь о себе, славы ищешь земной, а не вечной!»

Что еще говорил ему Старец, Дионисий не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне затворник мнил, что ключи от напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст указующий тычет в него, в живописца, как в несмышлениша, как в греховное, неспособное к разумению дитя.

Ах, как тягостно, как невозможно мучительно было тогда живописцу. Круги багряные вспыхнули перед глазами, забесновались черные мухи, сердце сжалось, дыханье стеснилось в груди. Упованье его рушилось, словно занос над обрывом, увлекая в паденье его, Дионисия, разум и волю. В глаза, в самый зрачок был воткнут старческий перст. Желтый перст все заострялся, тончал, как коготь хищной птицы, и казалось, вот-вот вырвет очи, зальет лицо сукровицей и слезами, погрузит в кромешную, вечную тьму. И здесь, под безликим и плоским небом, под смрадною мешковиной будет лежать не безвестный монах, а сам Дионисий, лежать, погруженный в тупое молчанье, в безысходную боль.

На обратной дороге из пустыни древней приметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило ветром: как видно, лесной понизовый пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя еще зелела верхушка, был черен и пуст, словно короб, в темных подпалинах ствол.

Вот таким опаленным, выжженным, опустошенным

ощущал себя Дионисий после встречи со Старцем. Гулко было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий людей, бежал живописной работы, но повсюду он нес пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону, да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, размял занемевшие ноги, вышел на проселок, снова затюкал своим батожком. Теперь уж недалеко до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышенье, и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпиным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше этого озера вроде бы и не видывал. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли березы, да темные ели, да высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы. Его чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию, что из глуби вод вздымается еще одно дивное строение, которое колеблется на воде легким платом, течет к другому берегу, рвется отраженными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берез, снял камилавку, вытер вспотевший, с большими пролысинами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчелы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освеженная озерной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудреме закрывать глаза.

Дионисий бездумно шурился на ослепительно сиявшую гладь озера, наслаждаясь давно ожидаемой радостью тишины и покоя.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долбленка. В лодке сидел послушник, орудовавший кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который

только молчаливо улыбнулся в ответ: любил живописец послушника за открытый, веселый нрав, за ясный ум и понятливость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Зимой иконники безвыходно сидят по избам поселян, по монашеским кельям, пишут иконостасы для соборов, ждут красного лета, чтобы вновь приступить к стенной росписи. Так и Дионисий жил затворником на Ильинском погосте, писал иконы для вологодских, двинских, белозерских монастырей. Но и в летнюю пору искал он на Цыпином озере душевной отрады, утешенья в мудром молчании. Олеха-послушник привык к неторопливому старцу, помогал ему растирать краски, левкасить липовые доски, следил, чтоб не прохудилась у иконника обутель и одежда.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подоткнув ряску, выбросил из челна верши, выкидал прямо в траву окуней и плотвичек, подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ушицу? Вкусна ушица из сладкого окунья...

Дионисий, будто не слыша, по-прежнему шурился на солнце, перевалившись за полдень, идущее к заходу. От солнечного тепла морщины на лбу его разгладились. Лицо обмякло, подобрело. С полузакрытыми глазами был Дионисий благостен, как библейский старец, но стоило ему вскинуть веки, как в глубоко запавших глазницах начинали поблескивать молнии. Они озаряли лицо тревожным светом, искушающей, пытливой мыслью. Прежде чем ответить, Дионисий долго смотрел на вопрошавшего, словно пытал его тайной, пронзительной до дрожи мыслью, ведомой одному живописцу, и, только встретив взгляд, отвечал.

— Добро, мой сын, добро,— будто очнувшись, промолвил Дионисий.— Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролевкашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом...

Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой зимы не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой яркой потребности писать. Хотелось ему немедленно взять в руки тоненькую, как

стебелинку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком.

Запыхавшийся Олеха расстелил холстинку, развел в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головенкой — березовым угольком — Дионисий нанес знамение — первую прорись: лик под мафорием, тонкую шею, кисти рук. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушел разводить костерок, чистить окуней и плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дионисий писал деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас серебряный тон, потом высветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно поило округу золотиносной пылью, крыло сосны кованной медью, молодые березки — слабою желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головокружения — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать лепкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды, выщекотал соловей. Из глубины заозерного бора, сквозь скользящие волны вечернего света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало треньканье, звеньканье, попискивание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озеро, блестящее слюдой, было окольцовано тем многоголым гомоном птиц: перед заходом всякая тварь славila день, проведенный в трудах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошел Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного образа.

Нежен и сладостен был лик девы Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами. Уголки рта, писанного черленью, теплили душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в ее голубых очах. Очи жили, — в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия? — просто-

душно спросил послушник, когда насладился невиданным зрелищем.

Прищурился мастер, разглядывая творенье сердца и великого живописного дара, словно откуда-то из дальней дали.

— Нет, Ориница,— коротко молвил в ответ.

И вздохнул. И подумал: как и младшего сына, однако совсем по-иному, одолело его мирское письмо. Мало божественного в новом лике, а посему никто, кроме Олехи-послушника, не будет видеть писанный в жару и душевном ознобе образ Ориницы.

Не знал того послушник: в неведение возмечтал он, как затеплится свеча перед иконой, как в жаркой молитве он забудет тревожнения прелестного и мимотекущего света сего. Ах, Олексей, Олексей, не мечтай, взгляни еще раз, запечатлей в простодушном сердце своем Ориницу и утешься.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озерной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изреченных содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов своих праведных будешь иметь ты печали многие, но в тех же трудах найдешь великое утешение».

В багряном огне заката, под сенью дуплистых берез, хлебал Дионисий с послушником Олехой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ушица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от нее по рукам и ногам, и не было сил встать с приозерного луга, пойти в сторожку, которая до притоки была забита душистым сенцом. На том молодом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилось ему Ориница в ромашковом поле-вом венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щек не высохли слезы. Лежал он в сторожке, не открывая глаз, боясь вспугнуть отсветы сновидений. Потом встал, надел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Оле-

хой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Ферапонтову обитель.

На севере летние ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет вечерней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В том нежном розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на проселок, попрыгает, попьет, сладко прижмутив глазок, из чаши придорожной мать-и-мачехи и вспорхнет с тонким писком. Так было и в ту белозарную ночь.

Высоко и прохладно встало над Дионисием небо. Шел он опоро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещево. За Лещевым, в низке, где вода подступила к самой обочине, от берега отошла рыбацья лодка. На невозмутимой глади она оставляла долгие мерные круги. Гребец, налегавший на весла, сказал вполголоса напарнику: «Спел бы ты, Федюха, отвальную?..» Тот, сидя спиной к Дионисию, что-то ответил. Гребец рассмеялся и снова налег на весла. Лодка терялась, таяла на глазах, как вдруг над неподвижной водой, отражающей звезды, и дальний синеющий бор, и светозарное небо, полилось, заплескалось:

Ах, плавала лебедушка по морюшку,
Плазала белая по синему,
Ах, да, плававши она, лебедушка, воскликнула
Песню лебединую последнюю...

Защемило сердце у Дионисия от молодого чистого голоса холопа, от его протяжного зова, всколыхнувшего дрему рассвета. Вот и лодка скрылась в озерной дали, а голос певца все еще растекался над водной ширью. Дионисий постоял, долгим взором, будто прощаясь, оглядел земные просторы и стал подыматься в гору к воротам монастыря.

Когда он вошел в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены чуть порозовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней

голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чем думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомнения и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Перед престолом сына богоматери смиренно молилась за род людской, за всех страждущих и скорбящих. Ниже, по правую и левую руку, в росписях были представлены «Рождество богородицы» и «Ласканье младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаменном свитке писал имена вступающих в храм. А по самому низу развевались два белых платка с крупными медальонами посредине.

Какой радостью, миролюбием и кротким согласьем веяло от «Рождества богородицы» и «Ласканья младенца»! Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало ее. Служанка в зеленом хитоне подавала Анне питье в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна с высокой прической, в розовой накидке говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, тепла ли вода. Ее подружка держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьей, за палатым письмом с портиками и колонками голубело такое высокое, такое чистое небо, что отблески его, казалось, падали на кирпичи галереи.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственным войнам князей, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: — Так ли жить надо, люди? Отвечал он: — Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте рождение младенца с любовью, любите друг друга, как Анну любил Иаким, как любит вас всех дева Мария.

Восходил Дионисий, озаренный лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел,

как звучит его стенопись в Рождество-богородицком храме. Вошел старый иконник под гулкие своды. Вошел и закрыл на мгновение глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцанье мечей окружили иконника. Но, заглушая шорохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся, чудо чудес, Одигитрие-владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы все так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к седалищам, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Лик богоматери, повторенный множество раз, был спокоен. Не ласканье, не умиление являл он — одну величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли в дорожных одеяниях, в рубищах, в легких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взывались на крутые горки кони волхвов. Прорастали болотные травы. Рыкали дикокоштные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазоревою многовещанную вязь, в которой все время тревожно, настойчиво звучал вишневый мафорий девы Марии и отдаленно витала Галактионова тень.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял с утра, расписывая «Николу» в дьяконнике.

— Феодосий,— позвал он сына.— Как кончим роспись собора — на софите северной дверцы крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм... — подумал, потом пояснил: — И кем...

Феодосий не скрыл удивления:

— Для чего, отец, сие дело?..

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие,— ответил ему Дионисий, пошел к стремянке заканчивать поясного «Николу», остановился.— Дабы не были их сужденья вне истины.

МЫЗА ЛАВОЛА

Не было слышно ни птичьего писка, ни человеческого голоса. Сквозь кустарник, прикрывавший меня сверху, струилось осеннее солнце. Узкая лодочка ивового листа, покружившись, мягко упала на воду, боком-боком поплыла в сторону залива, и я долго следил за ее беспечным, легким скольжением. Потом из туго оттопыренного кармана достал портянки, развернул их, пошаркал коричневые ступни друг о друга и, склонившись к воде, стал полоскать.

Расслабляющее чувство покоя и лени охватило меня, когда я прилег на затравеневший песок. Закрыв глаза локтем левой руки, правой перебирал песчинки, то сгребая их в грудь, то прихлопывая ладонью...

— Лед, а не вода, товарищ младший лейтенант!

Я приподнялся на локтях и, щурясь от солнца, долго приходил в себя. Только что подо мной был деревянный настил — в щели сонно плескалась речная волна. Высоко в небе, над светлыми куполами собора, кружились стрижи. Взвизгивали и хохотали девчата — мальчишки будто ненароком норовили столкнуть их в воду. Я даже почувствовал вкус слюнки, застывшей в уголке рта, и сладкое, дремотное томление в молодом, обласканном ветром и солнцем теле.

Наконец я сел, крепко потер лицо руками и потянулся за папиросами.

Жабчиков — мой связной, широкогрудый и призе-

мистый солдат, развешивал на кустах мокрые гимнастерки.

— Мин, говорили, натыкано...

— Да нет... Я смотрел — не видел.

Говорить со сна не хотелось, и я, уставившись на слоистый дымок папиросы, потирал забнувшие ноги, отголосками переживая виденное во сне.

...В то лето мы часто встречались на мостках лодочной станции. Хорошо было, не отжав трусы, не обсохнув как следует, забраться в старинный, заброшенный собор, где полустершиеся письма и лики богов окружали нас холодным безмолвием. А потом снова сбегать к длинным, дощатым мосткам купалки и, отмахав саженками до плотов, которые медленно тянулись за буксиром, лечь на теплые, шероховатые бревна и следить, как скользит, меняется, отступает назад набережная родного города. В лад с этим медленным скольжением причалов, лодок, церквей с тусклыми куполами, старых дворянских особняков можно было повторять особенно полюбившиеся в то лето стихи: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный...»

Мне стало грустно внезапной, беспричинной грустью, в которой я не знал, кого и винить: себя, или воспоминания, или эти стихи... Одиссей возвратился... Возвратился...

Жабчиков присел рядом со мной к валуну, вытянул ногу, пошарил в кармане, затем, перевалившись на бок, залез в другой карман, достал алюминиевый портсигар, кресало, трут, газетку, потертую на сгибах, и, разложив все свое хозяйство на песке, неторопливо, но ловко лизнул край газетки, прикурил, глубоко затянулся:

— Младший лейтенант, а как насчет песен? — Связой заинтересованно подождал, потом продолжил: — Вот я дак и-и-их как люблю. — И тут же заперебирал в воздухе короткими пальцами, затилиликал, забавной скороговоркой зачастил:

Эх, тень-тень-тень,
Выше города плетень...

Я чувствовал, что надо бы остановить связного...

Но в обесцвеченной, выгоревшей дали родился и, нарастая, стал стремительно приближаться к нам протяжный гул. На другой стороне залива бойко зачастили зенитки. Небо быстро пятналось комками разрывов, которые, лохматясь и тая, стекали в сторону моря.

Внезапно кто-то с силой рванул блеклый коленкор небосвода. Еще и еще раз. Мы с Жабчиковым вскочили на ноги. За стремительной каруселью воздушного боя было трудно уследить: от слепящего солнца, от напряжения черные мухи плыли кругами. Только по ожесточенной перестрелке, по суживающемуся до пронзительного воя гулу моторов мы оба понимали, что там, в небесной и недавно такой беспечной вышине, идет схватка не на жизнь, а на смерть.

Едва приметная струйка дыма за одним самолетом стала распускаться в черный, безобразно клубящийся хвост. Раздался взрыв — самолет упал на другой берег залива. И под этой жирной полосой, перечеркнувшей небо, в этом затихающем треске пулеметов и реве моторов сразу же вспыхнул белый купол парашюта. Его медленно сносило к морю. У меня заглохло сердце: я скорее почувствовал, чем понял разумом, как беспомощен сейчас летчик, раскачивающийся над мертвенной чашей залива.

Черная тень чиркнула по берегу: самолет с белосиними кругами на крыльях разворачивался для атаки. «Что он делает, что он делает, гад?!» «Мессершмитт» дал длинную очередь — белый одуванчик пыхнул, свил-ся жгутом — черная точка навсегда скрылась в колючесверкающей дали залива.

Волглая гимнастерка никак не лезла на плечи. Я спешил, натягивая ее, торопливо запихивал погоны в карманы галифе, охватывал себя ремнем.

— Молодой летун-то был... Вишь, как его срезали.

Жабчиков стоял рядом, уже одетый по форме.

— Да замолчи ты! — оборвал я связного и, хватаясь за кустарник, начал подыматься по береговому откосу. Из-за ближней высоты ударили гаубицы. Возле устья канала разгоралась ожесточенная перестрелка. По частой и беспорядочной стрельбе можно было понять, что не мы одни, затаившись, следили за исходом

воздушного боя. Все побережье, изрытое траншеями, заваленное валунами, увенчанное зелеными шапками сосен, видело, как «мессмершмитт» в упор расстрелял летчика, выбросившегося с парашютом.

Запахавшись, мы вышли на тропу, перевалили через высотку и спустились к рокадной дороге. Кусты на обочинах были тяжелы от пыли. Таким же густым слоем пыли устилалось дно придорожных канав. Иногда там взбухал бугор, желтел лошадиный оскал: из канав тошнотно пахло смертью. Навстречу нам стали попадаться кучки солдат, идущих вольным строем. Протарахтела, обгоняя нас, походная кухня: малиновый жар сыпался из подтопка. В некоторых местах скалы, нависшие над дорогой, были иссечены осколками, и тогда из канав особенно сильно тянуло тленом.

На пологих склонах среди гранитных глыб и молодых сосенок стояли повозки с задранными вверх оглоблями, зачехленные пушки, самоходки, затянутые брезентом. Свежим распилом посвечивали накаты блиндажей. Между ними сновали солдаты с котелками. Связисты на длинных рогатинах подымали нити проводов, цепляли их за сучья подлеска. Девушка в военной форме полоскала в тазу белье. Какой-то лысый здоровяк мылся рядом из рукомойника, прибитого к стволу сосны.

В этом огромном таборе, не видимом ни с моря, ни с воздуха, война стала привычным бытом. Даже брусника среди валунов была истоптана и обобрана.

Жабчиков молча следовал за мною, больше не вступая в разговоры, размышляя о том, что техники понагнали не иначе как перед наступлением и что на ужин повар будет опять душить сушеной картошкой. Он даже расстроился, вспомнив эту картошку, похожую на серую бумагу, небрежно брошенную поваром на дно котелка.

Еще издали мы слышали глухие, как по пустым бочкам, удары колотушек: саперы конопатили лодки. Потом донеслось мерное вжиканье пил, потом потянуло чадом батальонной кухни и еще чем-то непередаваемо обжитым, чем всегда отличаются стоянки людей среди смолистых запахов сосны и сухого дурмана сена.

Все эти приметы, звуки, запахи мирного человеческого жилья волновали меня каждый раз, когда я подходил к своей саперной части. Они напоминали мне то,

что я любил с детства, — просмоленные лодки перед пунтой, костер на берегу, свежий ветерок, обдувающий грудь. Они рассеивали мои прежние представления о людях войны, о самой войне.

А война была не сравнимой ни с чем. Но она была жизнью, она была наполнена житейскими делами и заботами. И в этом главном своем ощущении я был, пожалуй, прав. Но я не знал, что жизнь на фронте идет рывками: то уплотняется до мгновений, то растягивается на неопределенно долгий срок. И все-таки неизменным, сопутствующим каждому твоему движению, каждому твоему дыханию было и оставалось одно — чувство ожидания, бесконечное, томительное, неотступное ожидание чего-то такого, что ты заранее не знаешь и знать не можешь, что существует вне тебя, вне твоей воли, но существует реально. И ты обязан был ждать это что-то, ты должен был уметь ждать и ты ничем не должен был высказывать своего нетерпения, своего недовольства.

Бывалые солдаты умели если не заглушить, то хотя бы притупить это неотвязное чувство. В свободную минуту они спали про запас, мастерили всякую хозяйственную мелочь — наборные мундштуки, портсигары, ножи, зажигалки, подолгу протирали и смазывали оружие, пересчитывали патроны, укладывали нехитрый солдатский скарб в вещмешки — по-фронтовому «сидоры», да и вообще постоянно были при деле. А я не умел ждать, не умел распоряжаться временем, не умел занимать руки, поэтому, когда оставался наедине сам с собою, чаще, чем обычно, вспоминал родной город, не понимая, что же происходит со мною...

Всего три месяца тому назад я перемахнул через борт фронтовой полуторки и прыгнул на пыльную обочину, — так началась моя фронтовая одиссея. За обочинной громоздились потрескавшиеся замшелые валуны. Многие из них были подрывы, края лазов и траншей засыпаны пожухлой хвоей, позеленевшими автоматными гильзами. Редкая сквозная тень сосен падала на эти камни, кое-где хранившие отметины минометных осколков. Высоко синело июньское небо. Я пошел вдоль обочины — и сразу же наткнулся на солдатскую могилу. Сосновый столбик истекал янтарной смолой, — капли длинно тянулись по столбу, поблескивая в лучах солн-

ца. Жестяная звездочка была в пятнах ржавчины. Песок на могиле осел. Я постоял у безымянного холмика и беспечно зашагал дальше, навстречу глухому, немолчному гулу передовой... Однако прежде чем попасть в батальон, я еще две недели проторчал в дачном поселке, где были сосредоточены вспомогательные службы дивизии, где находился санбат и наш офицерский резерв. Прямо со школьной скамьи попал я в военно-инженерное училище и теперь больше всего боялся, что война закончится без меня. Вот почему резерв был покинут с легким сердцем: наконец-то меня откомандировали в отдельную саперную часть, расположенную на берегу залива. Труднее было расставаться с дачным поселком, в котором — пусть изредка, пусть мельком — я мог видеть Асю.

На вновь прибывшего лейтенанта с новенькой кирзовой кобурой и кирзовой сумкой на боку, в которой хранились письма матери да лежала зубная щетка, в батальоне никто не обратил внимания. Я сидел возле штабного блиндажа, дожидаясь кого-нибудь из начальства. Если что и останавливало проходивших мимо офицеров, так это брезентовые сапоги — в летнюю пору они ценились среди фронтовиков. Знали бы они, что не только скромные подъемные, но и пару теплого белья в придачу я отдал за эту обновку...

Наконец меня вызвал начальник штаба батальона капитан Осоцкий. Кадрового военного, каким я себя уже считал, трудно было поразить армейской выправкой. Но Осоцкий, не скрою, поразил меня. Он стоял возле стола, заваленного бумагами, и строго поблескивал стеклами очков. Вежливым тихим голосом расспросил меня об инженерных курсах, о выпускных баллах, наконец, о родных.

— Значит, отец погиб и вы остались с матерью одни? — подытожил он наш разговор. Помолчал, прикинул что-то про себя и предложил мне для начала познакомиться с жизнью батальона. Это означало, что взвода я все-таки не получу, а буду прикомандирован к штабу для особо важных поручений. Осоцкий так и подчеркнул: для особо важных. Раза два меня действительно посылали в штаб дивизии с пакетами. Остальное время я был предоставлен самому себе.

...В батальоне шла подготовка к переправе. Солдат обрadowала эта мастеровая работа: война забывалась

в легком постукивании конопаток, пении пил, протяжном шорохе рубанков. И все-таки никакая другая саперная работа — ни строительство мостов, ни рубка блиндажей, ни сооружение фронтовых лежневок — так не бредила душу, как эта подготовка к переправе.

Когда залив застывал в сверкающем покое, — самый дальний островок как бы невесомо повисал над водой: он приковывал ненасытный взгляд, он словно бы обещал желанный мир и долгий отдых.

А рядом плоскодонки, баркасы, шитики по-рыбачьи, мирно белели в ивняке. Выше по берегу были разбросаны обрезки досок. Из желтой пены стружек вздымались ребра лодок. Что ни говори, а самый веселый труд — стягивать звонкие, посвечивающие смолкой доски или, оседлав на августовском солнцегреве новенькую лодку, поколачивать по днищу колотушкой!

Больше всего на нашей батальонной «верфи» я любил бывать с сержантом из старослужащих — Николаем Ивановичем. Его так все и звали — Николай Иванович, и никак по-иному. Вот он берет рубанок, и рубанок, как влитой, ложится в ладонь. Вот он, поигрывая топором, сдвинув на седой затылок пилотку, вытесывает два ладных веслица. Вот он хмурится, увидев брошенное долото, садится на камень и правит долото напильником. Даже в вечерние часы, когда берег пустел, Николай Иванович все еще покуривал вблизи от лодок, а потом брал рубанок и застругивал скамейку, небрежно заструганную соседом. Его сутулые плечи, его седой стриженный затылок привычно склонялись над лодкой до глухой темноты.

Хорошо было мне в батальоне. Правда, вынужденное ничегонеделанье раздражало солдат, а опека капитана Осоцкого вызывала усмешки среди офицеров.

Но молодость брала свое. Поужинав сушеной картошкой, я шел на развилку дорог. Вечер опускался на побережье. Воздух постепенно густел, он как будто стекал в ямины, поросшие кустами, застывал там сине и туманно. И только стволы сосен на вершинах бараньих лбов горели медно-красным огнем. Так было и в тот закатный час, когда волнуешься неизвестно почему, когда ждешь от наступивших сумерек чего-то необыкновенного.

Боязнь, что именно сегодня, именно сейчас я не попытаю, не изведу то, что мог бы испытать и изведать

там, в родном городке, когда в парках шуршит сухая листва, когда у калиток подолгу белеют девичьи платья, — эта боязнь упустить невосполнимое, потерять неизведанное толкала меня, вела, словно в забытии, к дачному поселку, где я надеялся встретить знакомых офицеров из резерва и, может быть, увидеть Асю.

Пройдя развилку, я остановился. Прислушался. Сердце билось четко и гулко. Но не удары сердца, а глухие ответные удары настигали меня. Вначале я слабо различал их, но теперь в тишине безлюдной дороги мне померещились мерные удары барабана. Только оттуда, из дачного поселка, могло доноситься это редкое: «Бум-бум-бум». Я надбавил шаг. Ветер засвистел в ушах. Щеки оведали попеременно то холодные, то теплые струи воздуха. Теперь уже отчетливо слышались глухой стук барабана и звонкие всплески труб.

В укромной долине, которую наискосок пересекало шоссе, забелели стандартные домики дачного поселка. Ближе, ближе, — вот и лошади у коновязей, санитарные машины, фуры, штабеля ящиков, прикрытых ветками смородины, срубленной у подножия штабелей. Сомнений не было — где-то здесь, в дачном поселке, играл духовой оркестр. Да и не что-нибудь играл, а фокстрот «Рио-Рита». Танцы! Эта догадка подхлестнула меня. Не разбирая дороги, продираясь сквозь смородинник, шагая прямо по грядкам клубники, я вышел на задворки поселка и остановился перед брезентом санпропускника. Брезентовый санпропускник чем-то напоминал цирк шапито, был длинным, просторным, со многими опорами, поддерживающими провисающий полог.

У входа стоял часовой, но, буркнув невнятное слово, я нырнул под его руку и сразу же затерялся в толпе. Лампы-молнии, самодельные светильники из зенитных снарядов освещали головы танцующих. В тесноте кружились, топтались на месте, покачивались пары. Приметно мелькали форменные береты девушек. Я выбрался из людской толчи и стал напряженно оглядываться вокруг. Музыка так и подмывала меня пуститься в круг, но вдоль стен с каменным и трудно сдерживаемым безразличием на лицах стояли одни сержанты и старшины из хозвзводов.

Оркестр умолк. Обмахиваясь платками, невнятно, по-шмелиному гудя, толпа растекалась к брезентовым стенкам.

— В честь чего веселье?— развязно, как и подобает бывалому фронтовику, спросил я у стоящего рядом сержанта.

— Вечер отдыха, товарищ младший лейтенант. В честь вручения правительственных наград, — казенно отозвался тот.

«Вечер отдыха, а, каково! И где — на самой передовой?!» — а сам выискиваю глазами, судорожно ловлю хотя бы ненароком брошенную улыбку, чтобы с первыми звуками оркестра замешаться в таком душном, таком славном, таком непозабываемом многолюдье танцующих. Мне повезло, удивительно повезло: война как будто нарочно возвращала меня к тому лету, когда после купалки, в прозрачных ранних сумерках, мы собирались на танцплощадке... И вот теперь на что я надеялся, но в чем не признался бы даже самому себе, сбывалось: только у Аси была эта пушистая, летящая прядь волос, только она могла так испытующе смотреть на меня.

— Вальс, — крикнули из оркестра. И я, поймав взглядом ее согласие, первым решительно пересек площадку и, склонив голову, пригласил Асю к танцу. От волнения у меня перехватило дыхание. Фонари расплылись в тусклые, оранжевые пятна. Сердце подступило к горлу и билось редкими толчками. Протяжный звон в ушах все нарастал, наливал мышцы чугуновой тяжестью.

— Давно не танцевал, — еле вымолвил я в оправдание, но голос был хриплым, чужим до неузнаваемости.

В глазах, вскинутых на меня, светилось откровенное удивление. Потом удивление сменила догадка. Потом в глубине зрачков заискрились лукавые смешинки. Эти светящиеся точки приблизились к моему лицу, застыли прямо передо мной, заслонили собою все, и я почувствовал, как отступает сердце от горла, как бесследно исчезает чугуновая тяжесть в ногах. Носки брезентовых сапог начинают четко шаркать по дощатому полу: раз-два-три, раз-два-три.

...Нескончаемой пестрой лентой неслись, нет, мчались теперь за этими двумя точками медные трубы оркестра, огни фонарей, стены палатки, людские лица, снова трубы оркестрантов и снова фонари, висевшие по углам. Время остановилось. Мир стерло, снесло этим стремительным вихрем, и только две звезды сверкали неподвижно в хаосе, летящем вокруг меня. Они томительно и длинно всасывали мой взгляд, и не было, казалось,

такой силы на свете, которая бы отрывала меня от них.

Оркестр сыграл последние такты вальса, но мы не слышали оркестра и лишь тогда, когда площадка стала пустеть, поняли, что одни продолжаем кружиться вокруг столбов, поддерживающих полог. Спohватившись, мы бросились в дальний угол палатки, но рук не расцепили и глаз друг от друга не отвели. Слова, которыми мы пытались обменяться, были торопливыми, случайными. Гораздо важнее было другое, то, что было раньше, тот удар нервного тока, который мы испытали одновременно, когда наши пальцы переплелись. Мы и по губам читали совсем иное, не то, что эти губы говорили, по взглядам узнавали нечто большее, чем могли сказать друг другу среди непрерывного брожения танцующих, не знавших, куда себя деть в десятиминутный перерыв.

Разомлевшие от жары оркестранты нестройно начали аргентинское танго, мы, не сговариваясь, быстро вышли на середину площадки и снова ощутили, как подхватила нас волна затаенной радости, сблизила наши глаза, наши губы, смешала наше дыхание.

— Теперь мы будем видеться чаще, — приподымаясь на цыпочки, прошептала она. — Завтра я буду на канале.

— Где?

— У мызы Лаволы...

— Я тоже попрошусь туда, к полковым саперам, — ответил я шепотом, потому что сказанное шепотом, как и все в этот вечер, роднило нас.

В благодарность она порывисто прижалась ко мне и тут же отпрянула, растерянная, смущенная этим неожиданным порывом. Медленно раскачиваясь в чадной полумгле, стиснутые со всех сторон жаркими спинами и плечами, мы были удивительно одиноки в этой тесноте и счастливы от одиночества.

...Оглушительный треск ударил в уши. Одну стену вздуло пузырем, сорвало с кольев и набросило на солдат, стоявших возле нее. Фонари, мигая, заплясали под пологом. Растерянно смолк оркестр, и только валторна сиротливо и жалко пыталась закончить партию.

— Артналет! Всем в укрытие! — нашелся кто-то в наступившей тьме, но и без команды плотный ком че-

ловеческих тел быстро рассыпался. В первый момент мы инстинктивно отпрянули друг от друга, но тут же, схватившись за руки, бросились под брезент санпропускника.

Над головой — медленное железное шелестенье. Земля внезапно с грохотом осела, расступилась, толкнула в грудь и лишь после этого раскололась до самого чрева. Пронзительно заржала лошадь. Впереди что-то затрещало.

— Не туда! — крикнула она отчаянно. — Он бьет с перелетом. — И резко дернула меня за руку.

Перепрыгивая через рытвины, с ходу врезаясь в колючий мрак, цепляясь за жесткую гриву склона, мы бежали — выше, выше — к спасительной гряде валунов. Снова небо вспорол неторопливый шелест, и снова тяжело ахнула земля. Черное крыло камня накрыло нас, мы повалились вниз, в пахнущую сенной трухой и хвоей темноту траншеи.

Если осторожно повернуть голову и скосить глаза, то можно увидеть краешек неба. Засыпанное звездной пылью, оно неподвижно и немо. Секунда, другая... Небо оживает. В нем зарождается движение: шелестя, обгоняя друг друга, тяжелые снаряды пролетают среди звезд. Еще немного, и ты разглядишь их, скользящих с вкрадчивым шорохом по небосводу. Этот шорох тебе знаком, он похож на шорох ночной листвы там, в садах твоей юности. Другого ты не слышал, и ты не можешь поверить, будто этот шелест несет смерть. Ах, как огромно ночное небо! Как бесконечно далеко оно от тебя!

От грузных ударов земля осыпается в щель. Сколько все это длится? Минута? Другая? Вечность? Разрывы доносятся глуше, откуда-то с самого берега залива. «Тум-тум-тум», — пауза: тяжелый снаряд ударил в воду.

Звезды перестали шевелиться, земля содрогается от ударов. Артобстрел прекратился внезапно, как и начался. И тогда ты замечаешь, что сердце твое бьется не одно, что в лад ему упруго отвечает другое. И тогда ты начинаешь различать не только запах хвои и сенной трухи, но и неясный запах ее волос. От щекотного прикосновения легкой прядки к виску тебе душно. Надо поскорее выбраться отсюда, скорее спуститься вниз, в

долину. Но невозможно повернуться в жестком каменном мешке. Твоя грудь прижата к мягкому, податливому теплу ее гимнастерки. Твоя рука прижата к ее бедру. Сердце томительно падает. Ее мучительный шепот стихает в неловком поцелуе.

...Неистовый, безнадежный крик лошади выплеснулся из низины. Раненная насмерть, она все еще билась у коновязи. Сухо стукнул пистолетный выстрел.

— Мирзоев? — голос в тишине слышался особенно внятно. — Мирзоев! Освежуй с утра. Зря добру пропадать нечего...

Раздвигая руками колющее мелкоколесье, огибая валуны, мы медленно спускались в поселок. Едкий угар до сих пор не выветрился из низины. Дым плавал слоями, сквозь которые смутно желтело пламя в конце поселка.

— Мне надо идти, — тихо и грустно сказала Ася, передохнула, протянула было руку, но потом обхватила меня за шею и долго и слепо припадала шершавыми губами к переносью, ко лбу, к глазам, а я стоял бесчувственный, потрясенный всем случившимся, но более всего этим расставанием, в которое не хотел да и не мог поверить. Вся она, ладная, легкая, родная, была необходима мне.

Срывающимся от волнения голосом я заговорил:

— Подожди. Хочешь, я почитаю тебе стихи. Я знаю красивые стихи. Вот послушай: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно...»

Но передо мной белела стена. И даже поскрипывания ее сапог по гравию не было слышно.

События этого вечера были так непохожи на все, пережитое мною раньше, что, возвращаясь к себе в батальон, я содрогался от глухих ударов барабана, преследовавших меня всю дорогу, и, вперемижку с ними, от оглушительного треска близких разрывов. Казалось, дорога вздрагивала равномерно и тяжело, и я больно спотыкался о камни, разбрызганные по дороге, вслепую обходил свежие воронки.

У развилки, где я должен был повернуть в часть, шоссе загородила колонна автомашин. Задние борта

были откинута, с площадок кузовов свешивались длинные стволы лодок. Они белели и сильно раскачивались, когда машины, замедлив ход, переваливали через рывины. Колонна шла к каналу. Едва не бегом я одолел остаток дороги, а когда подошел к землянке первой роты, от наката мне навстречу отделился человек.

— Товарищ младший лейтенант, — узнал я голос Жабчикова. — За вами два раза из штаба батальона посылали.

— Идем! — коротко бросил я и, придерживая кобур, рысцей двинулся к штабу.

В штабном блиндаже у самого входа, вытянув ноги вперед, сидел телефонист с привязанной поверх пилотки трубкой. Входящие в блиндаж запинаясь за него, чертыхались в сердцах, а он безучастно и монотонно твердил позывные. Я протиснулся к столу, возле которого стоял капитан Осоцкий, и, покраснев так, что даже в скупом свете «молнии», висевшей над столом, было заметно, доложил о прибытии. Капитан прервал разговор, изучающе посмотрел на меня, спросил строго:

— У вас есть карта-трехверстка?..

Я промямлил в ответ, что карты мне не давали, поскольку я, что я...

— Тогда смотрите и запоминайте...

На столе лежала тщательно вычерченная на кальке схема побережья. Я сразу увидел и приморский город, штурмом взятый в июле, и Асин дачный поселок, и шоссе, и развилку, и рассыпанные по заливу острова, и устье канала, в котором ближе к правому берегу стояла точка и было обведено «Мыза Лавола».

— Да, товарищ капитан. Понял, товарищ капитан. Есть, товарищ капитан. Так точно, товарищ капитан. Справлюсь, товарищ капитан. Разрешите приступить к выполнению боевого задания?..

А у самого сердце екает от бешеного восторга. Рука вскинута резко и чуть-чуть небрежно, как учил курсантов взводный Петренко. Поворот налево — кру-угом. Так, хорошо, не покачнулся, как штык стою. И-и...

Но капитан остановил меня.

— Прошу вас, — сказал он, раскуривая от одной папиросы другую, — только, пожалуйста, — он сделал заметное ударение на этом «пожалуйста», да еще повторил его, — пожалуйста, не пропадите.

Офицеры, стоявшие кругом, заулыбались.

— Разыскивать вас будет некогда. В восемь утра — переправа.

Я козырнул без прежней лихости и, запнувшись, как все, за ноги телефониста, выскочил из блиндажа.

Дивизия готовилась к утренней переправе. Часть наплавных средств, говоря уставным языком, было решено сосредоточить возле крохотного островка с полуразрушенной усадьбой, называемой по-местному мыза Лавола. Этот островок в июле был с ходу занят пехотным батальоном капитана Седунова, и за него вот уже полтора месяца шли ожесточенные бои. Островок прикрывал восточный берег залива и позволял в прибрежных кустах сосредоточиваться штурмовым группам. Пользуясь темнотой, следовало перегнать на остров два десятка лодок, чтобы батальон Седунова принял участие в переправе. С попутной машиной я должен был выехать на канал.

Захлопнулась дверца кабины. Под рукой шофера заурчал стартер. Мы осторожно двинулись к шоссе. Возле развилки машина как будто присела, напряглась, затем враз одолела небольшой ров — сзади тяжело качнулись и грохнули днища лодок. Полотно дороги, едва различимое в ночи, зарябило, заструилось, потекло под радиатор. Мы набирали скорость.

Передовая, еще недавно слабо мерцавшая впереди нас, теперь охватывала полнеба. Ее желтоватые отсветы подымались выше и выше, достигали плотных облаков, залегших вдоль горизонта. И чем сильнее желтело это зарево, тем сильнее трясло и качало машину. Сквозь протяжный вой мотора, скрип кабины, грохот лодок в кузове явственно можно было расслышать какой-то непривычный рокот. Этот рокот перекрывал все, он не стихал ни на одно мгновение, он, казалось, длился целую вечность и будет длиться всегда. Куда ни глянешь, — будто по всему горизонту медленно вращаются гигантские жернова, время от времени выбрасывая вверх ослепительные гроздьи ракет.

Так вот она какая, мыза Лавола!.. Я был настолько захвачен этим грозным, этим тревожным заревом, что позабыл думать о том, что меня самого ждало вскоре.

Радиатор машины стал уходить вниз. Шофер резко притормозил. Темные куши деревьев набежали на нас, погрузили машину в темноту, наглухо закрыли линию горизонта. Еще некоторое время мы двигались по тряской лежневке, рывками подаваясь вперед. Потом встали. Я соскочил на землю, осматриваясь, озираясь, думая, кого позвать для разгрузки машины. Но тут из тьмы выступили зыбкие фигуры солдат. Несколько бойцов ловко вскарабкались в кузов, другие подошли к задним колесам. Они принимали лодки на руки, опускали их на плечи и, тяжело согнувшись, исчезали в темноте.

— Кто здесь из штаба батальона? — хрипловатый голос комбата послышался откуда-то из-под скалы.

— Я, товарищ майор!

— Подойди сюда!

Под тяжелым надбровьем скалы стоял наш саперный комбат с группой офицеров. Он пожужжал электрической мигалкой, мельком осветил мое лицо, погоня, узнал меня, потом сказал:

— Добро! Пойдешь вот с ним. — Луч фонаря скользнул по плащ-палатке щуплого офицера, командира первой саперной роты.

— Федосимов! Проводишь младшего лейтенанта к каналу и объяснишь боевую задачу.

Считая на этом разговор оконченным, комбат снова отвернулся к офицерам. Мне не оставалось ничего другого, как козырнуть и последовать за комроты. Когда я уходил с дороги, то услышал шум еще одной автомашины, подходившей к лежневке.

Тропка, по которой мы шли, сразу же запружинила под ногами, а потом зачавкала протяжно и смачно. Я с трудом вырывал сапоги из холодной трясины, но Федосимов шел споро — тропа ему была хорошо знакома, и я старался не отстать от его плащ-палатки, бившейся по кустам. Вскоре мы стали обгонять солдат, несших на плечах лодки. Их хриплое, со свистом, дыхание, их острый запах пота, смолы, дегтя — все это обдало нас и осталось позади. Федосимов, ни разу не оглянувшись, шуршал плащ-палаткой все время впереди меня. Мы шли не меньше часа, но лесная темень не расступалась и залива не было видно. Однако я уже понимал, что

теперь это недалеко, совсем рядом. При полном безветрии лес ожил: после длинной очереди из-за канала он наполнился неясным дуновением; над головой у меня что-то протяжно и сладко чмокнуло — к ногам упала мохнатая ветка сосны. Я даже не пригнулся, и не потому, что не испытывал страха, а просто не понял, что ветку сбила разрывная пуля.

Теперь Федосимов не шел в полный рост, а перебегал от камня к камню. Я последовал его примеру. Внезапно он исчез. Сколько я ни вглядывался в чашу, не мог высмотреть его. Внутри у меня похолодело. «Началось!» — только и подумал я.

— Младший лейтенант, а младший лейтенант... Где же вы? — шепот доносился снизу. — Прыгайте, здесь траншея.

Действительно, через несколько шагов я сполз в неглубокий ровик и, задевая за выступы камней, стал петлять по траншее, которая кончилась довольно большой ямой. Там сидели солдаты в ватниках и плащ-палатках. Я узнал только Николая Ивановича и Жабчикова. Федосимов шепотом переговаривался с ними. «Идем!» — кивнул он мне, и мы снова выползли из ямы. Впереди, играя и зыбко посвечивая при каждой вспышке ракеты, текла к нашему берегу маслянисто-черная вода. Это начинался залив.

— Смотри! — дыхнул мне на ухо Федосимов. — Там мыза Лавола! — Я отчаянно вглядывался в темноту, но ничего, кроме суеты зайчиков на воде, не видел. Замедленно падали и падали ракеты. Они не нарушали тягостной немоты ночи и не оживляли вида залива. При их стремительном взлете выступы скал, вершины деревьев, прибрежный кустарник — все застывало в каком-то мертвенном оцепенении. И только когда ракета рассыпалась в огненный порошок, вновь доносился дробный перестук автоматов, вновь у нас над головами чмокали пули.

— Ты что, оглох, что ли? — раздраженно зашипел Федосимов. — Видишь сосну? Где?.. Да вон, торчит... Так. Теперь видишь. Держись все время на нее — ты будешь выходить правее острова. Зачем, зачем?.. Чтob не сносило в море. Гребь потише. За остров не высовывайся, увидят — кормить тебе рыб... Ты пойдешь первым. За тобой Жабчиков, а Николай Иванович, ну, его-то ты знаешь — сержант Харитонов — из старослужащих, он

пойдет последним. На мызе нас ждут. Вместе с пехотой перетащишь лодки на другую сторону острова. Там канал — метров сорок. Остальное обмозгуешь с комбатом Седуновым. У него есть связь.

— А как же лодки? — наконец-то нашелся я. — Ну, в смысле, как мы их будем переплавлять?

— Ах, ты об этом. Лодки вяжут солдаты. У них за старшего сержант Харитонов. У него, брат, нынче не меньше как сотая переправа... Ну, бывай здоров, — бросил на прощанье Федосимов. И юркий, как ящерица, соскользнул с камня, на котором мы лежали, а затем, прошуршав хвоей, скрылся в траншее.

Я прошел метров двадцать по берегу и в чистой заводи увидел саперов, которые связывали лодки по три в ряд. Одну лодку оставляли свободной для загребного. Плоты, составленные из десантных лодок, мы и должны были перегнать к Лаволе.

Руки привычно легли на весла. Я оглянулся, поймал взглядом вершину сосны, сделал первый гребок. Николай Иванович и Уметалиев, молчаливый, высокий даргинец, оба по пояс в воде, удерживали плот у берега, но, заметив, что я гребу, подтолкнули его вслед за лодкой. Задробила о борта темная зыбь. Над островом по-прежнему часто взлетали ракеты. При каждом взлете я пригибал голову к коленям и так сидел довольно долго. Вскоре, повернувшись, я понял, что сухая вершина не только не приближается ко мне, но как бы уплывает от меня влево и скоро уже совсем скроется за островком. Тогда я набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и греб до тех пор, пока выдох со свистом и храпом не вырвался из груди. Вода под веслами время от времени светилась. В такие минуты лодка летела вперед, чуть касаясь воды, легко и послушно отзываясь на каждый взмах весла. Но, едва ракета сгорала, едва темнота смыкалась над заливом, этот сладкий самообман пропадал: нестерпимо медленно двигался я к Лаволе.

«Надо смотреть перед собой, уставить в днище лодки и не замечать ничего другого», — уговаривал я себя и в самом деле вскоре стал грести ровнее, спокойнее, лучше.

«Лю-ю-бит. Лю-ю-бит», — ожили и запели уключи-

ны. Что за черт?! В каких глубинах души, неведомых мне самому, таилось это слово, которого я ни разу в жизни не произнес вслух? Почему сейчас, когда я должен был позабыть обо всем на свете, когда для меня не существовало прошлого, не могло существовать и будущего, а была только ночь да связка лодок за кормой, — это слово родилось, заполнило меня целиком, воскресило прикосновение шершавых губ, долго припадавших к моим губам?

«Лю-ю-бит», — протяжно поскрипывали уключины. И под это слово я все резче откидывался к носу лодки, все глубже погружал весла в воду. В какой-то момент можно было заметить, что от нашего берега отделилась одна связка лодок, потом другая... Значит, Жабчиков уже выгребался в залив. Следующая очередь Николая Ивановича.

Днище проскрежетало о камни; плот, подхваченный волной, подплыл и сильно ткнулся в корму лодки.

— Сапер, что ли?

— Сапер, сапер, — ответил я и, схватившись за широкую ладонь, протянутую мне, соскочил на берег.

— Всю жизнь человек повторяет сны детства, все повторяет — даже любви! — рассказчик замолк и, не дождавшись возражения, продолжал тихим, задышающимся голосом: — Жил я как-то на даче у бабушки. По Казанской дороге, верстах в сорока от Москвы.

...Пряжка полевой сумки вдавилась мне в щеку, левый бок застыл на цементном полу, но спину согревала спина Жабчикова, который посапывал у меня за плечом, и я лежал, стиснутый спящими, и слушал этот вкрадчивый, с легкими придыханиями голос. Поднять голову, посмотреть, кто говорит, просто разомкнуть веки, саднившие так, словно в глаза насыпали махорки, было выше моих сил. И я слушал: голос то нарастал, звучал внятно и четко, то пропадал в сумятице сновидений.

— Вода в реке светлая, невесомая. А глубина — брось пятак, и он долго, колыхаясь и покачиваясь, будет мерцать в зеленоватой мгле. Вот и догадались мои товарищи бросить меня в воду, чтобы, значит, научился я плавать сам по себе...

Со мной тоже было такое: расступилась и сомкнулась прозрачная гладь, ударила вода в нос, в горло, в легкие, закувыркалось солнце — наступил конец света... Голос исчезает. Разум меркнет. Меня стремительно несет на бетонные опоры моста, я хочу крикнуть, но крика нет, а только широко раскрытый рот — и ощущение ужаса... Но мост остается где-то сбоку, а мое плоское тело покачивается на медленной волне. По отмели, залитой солнцем, идет Ася, идет, не замечая меня, наклонив голову набок, словно прислушивается к чему-то, и светлая прядь ее волос колышется возле моего лица...

Опять звучит задыхающийся голос, опять острая резь под веками возвращает сознание.

— Забавным им показалось, как бил лапами этот кутенок, этот бабушкин любимец... А я лежу на берегу, и слезы ненависти стекают у меня по вискам.

Снова затмение в сознании. Снова вырастают передо мной бетонные быки моста — вода ревет под ними глухо и яростно...

— В волосах бант диковинной бабочкой, на щеках персиковый пушок, точь-в-точь как на картине Серова... В общем был я в нее давно и безнадежно влюблен. Подошла она ко мне, обняла за шею — вот так, обнявшись, мы и пошли. Пошли, замирая от этой первой близости, от этой еще неосознанной любви... А васильки-то кругом, васильки. А рожь-то волнами ходит. А небо-то белое: не бывало в моей жизни такого белого неба. Босые ноги шлепают по дороге — пыль между пальцами фонтанчиками взлетает; от радости, нет, от чистого неземного восторга голова кругом идет...

— Богато, видно, у тебя жила бабка?

— Какое там богато — была у бабушки пенсия да кое-что от деда осталось...

— Эх, Мартемьяныч, мало ты, брат, хлысты на лесоповале таскал!..

Я вновь проваливаюсь в глубокую бездну сна. Через меня переступают, задевают чем-то острым, сознание на миг возвращается ко мне, но я тут же засыпаю, не меняя позы, не смея протянуть занемевшие ноги. И все-таки сквозь сон я продолжаю слышать снижающийся до шороха разговор:

— Ты думаешь, нам все так обойдется. Нет, друг ты мой, война долго будет сказываться.

В ответ рассудительно и веско, удивительно похоже на голос Николая Ивановича, прозвучало:

— Да что и говорить. Ненависть, она такая. У нее — дна нету...

...Кружится, кружится на замерзшей реке елка, нарядная, присыпанная снежком. Вся в блестящих бусах, в разноцветных огнях. А вокруг елки каруселью летит поток конькобежцев. В этой веселой неразберихе мне весело и вольготно, вот только ноги сильно мерзнут.

Я поджимаю их под себя, пытаюсь чем-нибудь прикрыть — и слышу, как Седунов дует в трубку:

— Так я говорю: перебьют их... Что? Приказ есть приказ, но у него на прямой наводке... Что?.. На прямой наводке, говорю... А, черт! — Седунов еще раз дунул в трубку, потом в сердцах бросил ее телефонисту: — На! Вызовут в другой раз — окликнешь.

Только сейчас мне удалось разодрать веки, свинцово набрякшие от усталости. Я повернулся на спину, посмотрел прямо вверх. В круге, отброшенном фонарем на потолок, змеились крупные трещины. Проржавевшую арматуру, провисавшую сбоку от круга, кое-где подпирали бревна. Нет, не прочны, не надежны были эти низкие своды подвала. И все-таки подвал был забит спящими. Иные сидели, обхватив руками колени, иные привалились к бревнам, поддерживающим потолок, большинство же лежало вповалку, волнистой грядой.

Вокзальную маету, с храпом, сонным бормотанием, стонами, нелепостью поз смертельно уставших и разом уснувших людей, напоминала мне теперь мыза Лавола. В ее подвальное помещение я забился ночью, когда пригнал к острову десантные лодки.

Было душно, пахло скопищем невымытых тел, застоявшимся махорочным дымом.

— Не спишь?

Я узнал Седунова. Длинная его фигура уходила под потолок, и голова в оранжевом круге была, как у библейского праведника, — в нимбе.

— Пойдем, коли не спишь. Потолкуем на холодке.

Переступив через руку спящего солдата, откинутую ладонью вверх, я стал пробираться к выходу.

Поднял рваный брезент, вышел на двор мызы. Возле неровно отесанных валунов, служивших основанием

усады, меня ждал капитан Седунов. В шинели, накинутой на плечи, он покуривал в рукав гимнастерки. Докурив. Придавил окуроч. Под каблучком остро заскрипело битое стекло.

— И когда, проклятая, кончится, — он длнно выругался. — Сколькo себя помню — все битое стекло под ногами скрипит. Словно и не по земле ходим...

Потом положил на плечо руку и сказал, передохнув:

— Вот что, младший! С рассветом берешь командование штурмовой группой. Лодки делу не помогут. Да и мало их на батальон. Будем наводить штурмовой мостик. Он у меня еще с июля остался. Тогда мы сунулись, да обожглись: треть батальона оставили в канале. Теперь приказ твоего комбата — тебе идти первым. Твои саперы за тобой... А сейчас на месте взглянем, как и что.

Мы обогнули решетчатое строение, судя по всему теплицу, и прыгнули в узкий ход сообщения. Мыза Лавола осталась у нас за спиной. Одна стена ее вздулась, вырвалась из-под стропил, напоминая ребра парусника, выброшенного на берег. Черепичная крыша провалилась. Труба торчала из этого провала, как сломанная мачта...

Куши деревьев скрывали канал, но поверх деревьев по-прежнему взлетали и гасли разноцветные ракеты. Сейчас они взлетали так близко, что слышно было, как с шипением взмывала огненная струя и хлопала вверху со звуком новогодней хлопушки. При этих хлопках мы с Седуновым затаились в пулеметном гнезде: внизу плескалась вода. Едва новая ракета распускала огненный хвост, как ее свет выхватывал противоположный берег канала, облицованный гранитными глыбами. Кроме этих глыб да серебристо-мертвенной глазури кустарника, больше ничего невозможно было рассмотреть.

Здесь же, в пулеметном гнезде, мы шепотом обсудили подробности переправы. От высокого гранитного банкета, над которым были вырыты окопы и пулеметные гнезда, остров плавно стекал к усадьбе. Это-то и позволяло нам скрытно готовиться к стремительному броску через канал.

Вместе с солдатами из пехотного батальона Жабчиков и Николай Иванович подтащили к окопам звенья штурмового мостика и начали сочленять их в длинную, подвижную цепь.

Жабчиков усердствовал: проверяя стыки звеньев, он зло ругал пехотинцев, вертел толстыми бедрами, суетился, под конец не выдержал и вытянулся передо мной во весь приземистый рост.

— Товарищ младший лейтенант, разрешите доложить, — по-уставному длинно, а поэтому непривычно обратился он ко мне. — Как мы в заводи лодки плотили, так заметил я штабеля досок...

— И что?

— Так я бы их сюда — вы разрешите...

Жабчиков понимал, что надо было ему как-то изловчиться, как-то сделать так, чтобы сегодняшней ночью быть подальше от гранитного провала, зиявшего мрачной чернотой. А уж там-то...

Страдая от его заискивающего тона, от отведенных в сторону виноватых глаз, я впервые спокойно и твердо сказал:

— Нет, Жабчиков. Нас, саперов, всего трое. Вы должны оставаться здесь.

— Уж больно разбиты мостки-то, — оправдываясь, начал было связной, но, не закончив и не дождавшись разрешения идти, двинулся обратно к мостику.

Было еще совсем темно, но близость рассвета угадывалась в туманце, который наполнял воздух мельчайшей пылью, пропитывал шинели и солдатские телогрейки.

Реже и реже взмывали вверх ракеты — теперь они светились неярко и падали, окруженные радужным венцом.

От промозглой сырости, а скорее — от нервного напряжения меня сильно знобило. Когда я вконец изнемог от этого озноба, от этой пронизывающей сырости, в траншее показались квадратные плечи Седунова.

— Идем в подвал. Перекурим. Здесь торчат — шальную пулю ловить... Она, пуля-дура, летит без глаз. — И дружески двинул меня в плечо.

Соблазн был, конечно, велик — перестрелка на канале уже смолкала и только глухое урчание передовой доносилось справа от нас. Что-то огромное, неведомое, слепое никак не могло уговориться. Прислушиваясь к этому предрассветному утробному гулу, я и последовал за комбатом к мызе Лаволе.

...Как отрадно было нырнуть под брезентовый пол и снова очутиться в сонной духоте подвала! Все так же храпели солдаты, лежавшие на полу, но в углу стояли новые носилки с раненым, укрытым по грудь шинелью. Его круглая, распухшая от бинтов голова была в свежих пятнах крови. Раненый метался, и маленькая санитарка, пригорюнившись, сидела возле него. В дальнем углу, у дощатого столика, было довольно-таки свободно. Я присел на скамью, пододвинул к себе котелок: из него торчала алюминиевая ложка; нехотя пожевал холодную картошку. Задумался. Надо было ждать и ждать. Надо было запастись терпением и сидеть, изнемогая от сонной одури, от стонов раненого, от храпа дюжего армейца, раскинувшегося возле меня. Под ногами валялись истоптанные бумаги. Эти бумаги белели по всему полу, и только в одном месте какой-то солдат пристроил их вместо изголовья. Я подошел к нему и осторожно, чтобы не потревожить спящего, выдернул первые попавшиеся листы. Это был иллюстрированный журнал с четким витиеватым шрифтом. Крупная фотография бросилась мне в глаза. Молодцеватый егерь сидел на камне, подбоченясь, положив ногу на ногу. Он самодовольно улыбался в объектив. Его ладно пошитая форма, лакированная портупея, сапоги с твердыми, надраенными до блеска голенищами — все истощало сияние этого молодого самодовольства. А перед ним стоял наш пленный солдатик, один вид которого возбуждал и сострадание, и презрение, и гнев. Был этот бедняга в пилотке, повернутой поперек головы, в шинели без хлястика. На его изможденном лице блуждала вишневая улыбка. Пленный протягивал к егерю руки, торчавшие из обтрепанных рукавов шинели. В руках у пленного был котелок, такой же, как у меня на столе... И вот этот солдатский алюминиевый котелок больше всего поразил мое воображение. Он придавал фотографии неоспоримую достоверность. Снова я впился глазами в егеря, в знаки его отличия, в пилотку на белесых волосах... Тут-то мне и открылась одна простая истина. Пыхнул одувачик парашюта и скрутился тонким жгутом. Пронзительно заржала лошадь... Стукнул пистолетный выстрел... И так же лениво, не меняя позы, сгерь, улыбавшийся в объектив, вот сейчас достанет из кобуры тяжелый «вальтер» и пристрелит этого пленного, качающегося перед ним от истощения и голода...

Без особого интереса я перелистал журнал дальше. Фотографии седых генералов сменялись фотографиями дипломатов в визитках и полосатых брюках, полубоженные кинозвезды — солдатскими снимками, рекламы мыла и зубной пасты — длинными списками убитых с крестиками и датами смерти... Я про себя отметил числа этих дат и забросил журнал подальше.

Постепенно в подвале то там, то здесь стали подыматься всклокоченные головы. Послышался затяжной кашель. Подвал ожил. Под полог поминутно ныряли солдаты — выбегали во двор и, поеживаясь, возвращались обратно. Жабчиков и Николай Иванович теперь сидели возле меня. Связной старательно хрустел ржаным сухарем. Старший сержант искоса поглядывал на него, туго перематывая обмотки. В нарастающем гуле голосов, в бряцании оружия, в мягком постукивании котелков о зачехленные лопатки и противогазы не было бодрости, которая всегда отличает подъем в воинских частях. Нечеловеческая усталость не прошла за ночь, сон не освежил пехотинцев.

В проломе — одновременно с резко откинутым брезентом — выросли квадратные плечи Седунова:

— Саперы! — довольно громко крикнул он. — На выход!

Плотный, сырой туман ударил в лицо, едва я вышел на волю.

— Нет, младший, что ни говори, а родился ты, видно, в сорочке. — Седунов подхватил полы шинели, как обычно накинутой на плечи, и, кинув в сторону канала, весело пояснил: — Туманище-то, а?! Ни черта не видать!

Вдоль ходов сообщений и траншей набрякла влагой, обвисла листва маскировки. Дальше все плавало в молочной мгле. Пустынно, бело, дико было теперь на острове. Спеша вслед за Седуновым, я еще раз оглянулся: потрепанная налетами мыза Лавола плыла к неведомым берегам. Угол провалившейся крыши, словно косой парус, — все, что осталось от ее оснастки... И все-таки мыза плыла и плыла в эту туманную, неразличимую для меня даль.

Подробности, невольно оседавшие в памяти, помогали мне ослабить туго натянутую струну ожидания. Но все-таки чувство опасности сжимало желудок, настораживало зрение, слух.

Когда в знакомом пулеметном гнезде мы остановились, чтобы передохнуть и прийти в себя, передо мной встала сосенка, не замеченная мною прежде. Ствол ее был наполовину засыпан землей, верхушка перебита осколком снаряда. Хвоя успела пожелтеть, верхушка висела на одной кожице: она могла в один миг упасть на дно окопа.

Пехота постепенно заполняла траншеи, ходы сообщений, стрелковые ячейки. Солдаты сидели на корточках. Лица их были напряжены и бледны, оружие прислонено к стенкам окопов или поставлено между колен. Кое-кто, склонив голову, покуривал в рукав шинели.

— Передай по цепи: кто курит — пристрелю!.. — отрывисто бросил Седунов. Он посуровел, посерьезнел. Выбритые до синевы щеки ввалились, белки глаз пожелтели от усталости и напряжения. Достав из нагрудного кармана часы, он глухо пробормотал: — Через десять минут артподготовка.

...Прошелестела первая мина теперь уже с нашей, с восточной стороны и с треском разорвалась на другой стороне канала.

— Началось, мать твою! — азартно выругался комбат, блестя желтыми белками, плотнее припадая к брустверу пулеметного гнезда.

В тумане стали часто взбухать, лопаться огненные шары. Они то откатывались в глубь берега, то гроздьями начинали рваться у воды. В этой молочно-багровой круговерти не было слышно, как противник открыл ответный огонь. Белый столб взметнулся в канале. «Фыр-фыр-фыр-дзи-и-инь... Фыр-фыр-дзи-инь», — мины фыркали, падая на гранитные глыбы, разбиваясь со звоном, как разбиваются вдребезги тарелки, брошенные на пол. Короткие багровые вспышки заплесали по острову, вздыбили столбы на воде, метнулись на мызу и снова сфонтанировали в канале.

— Из ротных садит, сволота, — просвистел сквозь зубы Седунов. — Нервничает... Переправу ждет.

Но я не слышал его слов: меня опалило нестерпимым жаром, — с запозданием я сполз на дно окопа. А когда посмотрел назад, то увидел, что сидевший, как

и все, на корточках Николай Иванович клонится вперед, теряет равновесие. Перевалившись через спину Жабчикова, лежавшего ничком, я попытался подхватить его, но старик уж ткнулся головой в дно окопа. Трясущимися, непослушными руками я стал поднимать голову сапера — пальцы заскользили по липкой сырой массе. И все-таки я приподнял голову и тут же отпрянул назад: кроваво-красная рана зияла ниже лба, белые косточки торчали из этого кровоточившего месива.

Внутри у меня что-то оборвалось, колючий ком дурноты встал в горле...

— Зубы, зубы разожми, дьявол!

Горлышко фляги больно надавило на подбородок. Я сделал несколько глотков, поперхнулся, закашлялся — водка опалила гортань, хлынула через нос.

— Еще отпей! — Седунов властно сунул флягу, и я, через силу глотнув из нее, окончательно пришел в себя. Рукавом ватника обтер лицо, глубоко вздохнул. В ушах стоял неумолчный стон. Виски сдавило жгутом. Ноги, вытянутые вдоль окопа, одеревенели. Я пошарил ладонями вокруг себя, отыскивая, на что бы можно было опереться, приподняться. Посмотрел назад: Николай Иванович, сгорбившись, лежал рядом. Ватник его засыпало ржавой хвоей. Возле головы расплылось кровавое пятно.

Седунов, проследив за моим взглядом, невесело усмехнулся:

— Ну, сапер, готовься. Теперь ты пойдешь!

Наша передовая молчала — с другого берега канала доносились отдельные автоматные очереди. Седунов передал по цепи приказ: «Взять штурмовой мостик на руки! Приготовиться к переправе!»

Солдаты, неуклюже горбятся, на четвереньках стали выползать из окопов и ячеек.

— Шест, где у тебя шест? — в бешенстве зашипел Седунов.

Откуда-то сзади мне просунули тонкий шест.

— Пошел!

Длинная, гнущаяся цепь штурмового мостика стала сокращаться, пульсировать и стремительно подалась вперед.

Успех штурма решали считанные секунды.

— Пошел!

Держась за веревочную петлю мостика, я перекинул

ся через бруствер и спешно, ногами вперед, стал сползать по гранитному откосу. Каблуки сапог иногда попадали в щели между квадратными глыбами, иногда в выбоины от мин — это помогло мне сохранить равновесие, не скатиться к воде, которая, как живая, шевелилась рядом.

Воду вспенил новый взрыв мины... Пошел! Пошел! Я вскочил на мостик и стал шестом, словно веслом, буравить воду, отгребаясь от берега изо всех сил. Глаза мои ослепли. Сердца не было слышно. Одно желание жило во мне: удержаться, не упасть, не прыгнуть в эту неверную, в эту спасительную бездну.

А мостик усилиями множества людей, которых я не знал и которые меня не знали, сильно подавался вперед, рассекая поплаватками воду, неостановимо приближая ко мне противоположный берег.

...Жгучая ледяная вода накрыла меня с головой. В водовороте закружились оба берега канала, небо, вершины сосен, желтеющий кустарник... Я сразу же вынырнул, отплевываясь, отфыркиваясь, недоуменно оглянулся. Обдирая в кровь ладони, цепляясь за бетонные швы, я выбрался на берег и, напрягая остатки сил, теряя самообладание, стал тянуть за веревочную петлю штурмовой мостик — все выше к стальной, заржавевшей скобе, которую успел заметить. Но мостик был неподвижен, и я повалился пластом, уронив голову на мокрые доски.

Неправдоподобная тишина оглушала меня. Но еще неправдоподобнее был писк синицы, который явственно различался в прибрежных кустах. Безразличие и отчаяние охватили меня...

Да, теперь я был готов ко всему, даже к тому, что самодовольный егерь, щуря белесые ресницы, свесится с бруствера окопа и всадит в упор автоматную очередь в раскинувшееся на мостках беспомощное тело. Спиной, плечами, затылком я ждал эту струю свинца...

Не знаю, не помню, сколько длилось мучительное ожидание, но синица звонко потренькивала в кустах, и тишина не прерывалась ни выстрелом, ни взрывом. Поспешный топот сапог наконец-то настиг меня.

— Младший лейтенант? Младший лейтенант? — Жабчиков тянул меня за ремень. — Вы не убиты, а, младший лейтенант?

Я подобрал ноги и, опираясь на кисти рук, встал на колени.

— Приказано вертаться! Вертаться приказано! — захлебываясь от восторга, непонятного мне, крикнул Жабчиков и зачастил по настилу обратно. словно пружина подбросила меня. Запузырилась на брезентовых сапогах вода, намокшая телогрейка стесняла движения, но я делал огромные прыжки по настилу: Лавола была совсем рядом.

Цепь штурмового мостика, провисая над приплеском, плавно подымалась по гранитному откосу. С ходу я влетел в пулеметное гнездо, резко присел, задохнулся от бега. Чья-то рука накинула на спину теплую еще шинель.

— А что, младший, холодна вода в капале?.. — глаза Седунова сияли радостью встречи. Присев на корточки передо мной, он все чему-то посмеивался, все подмаргивал мне, все похлопывал прутиком по голенищу.

— Вставай-вставай... Нечего шею-то гнуть! — сказал он, подымаясь и поправляя кобуру пистолета на длинных ремнях.

— Что случилось? — выдохнул я наконец.

— Что случилось? — с видимым удовольствием переспросил он. — Что случилось?.. — Капитан выждал, обвел глазами бруствер, гранитный откос, сосны, выступавшие из кустарника на том, на противоположном берегу... — А то случилось — пардону сосед запросил!.. — Он явно обрадовался своей находке: — Ах ты, мать честная, — пардону запросил, воевать отказался!.. — И расхотелся, обнажив крепкие зубы.

...Мы высунулись из окна по пояс: туман рассеялся, но дымка смягчала лесные дали — они были голубоваты, и от них веяло таким покоем, что оба мы замерли, пораженные этой далью. Под тяжестью наших тел на дно посыпались мелкие камешки — их падение в долгой тишине было кощунственно громким: оно отрезвило нас, заставило прыгнуть обратно в укрытие. Седунов вновь стал комбатом, я — младшим офицером, приданным ему для переправы. Спокойно, гораздо спокойнее, чем прежде, он разъяснил мне, что ситуация в об-

щем-то неясная: то ли заключено перемирие, то ли еще черт-те что случилось в верхах... Но только в восемь ноль-ноль (опять мои ходики ушли вперед) был получен приказ немедленно прекратить огонь. И — быть в полной боевой готовности, чтобы по первому знаку снова начать штурм канала.

— Кстати, ты закрепил штурмовой мостик? — привычным командирским тоном спросил Седунов. — Нет?.. — И недовольно протянул: — Разз-зява...

Потупившись, я передал ему шинель с вшитыми капитанскими погонами и пошел по ходам сообщений искать своего связного.

Над брустверами окопов приподымались и исчезали каски пехотинцев. Вразброс по острову чернели просмоленные лодки, замаскированные сосняком. Казалось, секунда, другая — взлетят вверх сигнальные ракеты, солдаты подымут на плечи штурмовой мостик, густо облепят лодки, волоком двинут их к каналу, чтобы, спустив на воду, стреляя на ходу, отчаянно выгребая веслами и досками, ринуться вперед. И все во имя одной цели — вцепиться в противоположный берег, окопаться там хотя бы у кромки воды... А затем бросок за броском вон до того камня, до той воронки, до того замшелого пня; ползком, бегом, скорым шагом все глубже и глубже вклиниваться в молчаливый, враждебный лес.

По одному, по два, ротой, батальоном, дивизией, армией — вал за валом, нарастая, перепрыгивая через завалы и трупы, через ручьи и стволы деревьев, идти, выходить, прорываться на линию железной дороги, которая пересекала леса до самой иностранной столицы.

Среди многих чувств, желаний, стремлений было одно, едва ли не самое затаенное, выношенное в сердцах, — пора кончать, пора кончать эту музыку, называемую войной. А раз так — рывком вперед. Вперед, если даже глаза ослепит вспышка автомата, вперед — в смертной ненависти, в немоте последнего крика на шаг, на ступню вперед — и падай, раскинув руки, скорчившись на бегу, как будто зажав в животе горсть свинца, брызнувшего из засады.

Далеко в сторону, ударившись о камень, отлетит твоя каска, голова зароется в мягкий мох, и земля в последний раз обдаст тебя родным до стога запахом лесной прели.

Но безмолвен канал. Безмолвна мыза Лавола. Ост-

ров безмолвен и тих. Только из окопов и ходов сообщений начинают гуще виться махорочные дымки, — это сквозь трещины земной коры пробивается огонь раскаленной лавы. И тогда показалось, что вся каменная, поросшая лесами, первозданно сумрачная земля — это дно черного кратера, растрескавшегося окопами и рвами, готового ежеминутно вспучиться, захлестнуть горизонт, который уступами уходил к серому небу.

Но безмолвен канал и безлико небо. Затишье перед боем начинает перерастать во что-то небывалое, непри-
вычное, новое, во что-то такое, что и словом обозначить боязно, как будто на слово наложен запрет и стоит произнести его, как земля взбунтует буграми, взлетит с треском, выбросит в поднебесье разваливающиеся па-
лету лесные бугры и опадет вниз кровавой пеной. Но безмолвна земля и безмолвно сентябрьское небо. И солнце, неяркое осеннее солнце, прогревало эту безмолвную твердь, это белесое небо, оно одно поило воз-
дух светонесным успокоительным теплом.

...Из подвала Лаволы санитары выносили носилки с ранеными. Они обогнули теплицу и пошли, не сгибаясь, в полный рост, минуя сеть траншей и ходов сообщений, растягиваясь по тропинке, сбегавшей к берегу и заросшей за лето зеленой травой.

У берега санитаров поджидали понтонеры. Они бережно приняли носилки на руки, устали их рядами на железные понтоны и стали на виду у всех переплывать залив. Спокойствие переправы, скорбной и прекрасной в своей скорби, в непоказном благородстве, больше всего, пожалуй, убеждало нас, что в мире что-то переменялось, что наступило иное, новое исчисление времени.

Между островом и нашим берегом все чаще сновали лодки. За прибрежным кустарником отчетливее гудели моторы автомашин. Солдаты, уже не скрываясь, ходили вдоль окопов, окликали земляков, садились на бруствер, курили, шурились на слабом солнцегреве, положив автоматы на колени.

И чудо: из высоченной трубы мызы потянулся дымок. Витой струйкой он восходил прямо к небесам и был таким мирным, уютным, что весь пейзаж сразу переменился — рваные дыры провалившейся крыши не зияли

с прежней откровенностью, извивы траншей припрятались в пожелтевшей траве.

Возле теплицы догадливые армейцы копали мелкую розоватую картошку, мыли ее в котелках и сразу же скрывались в дверном проеме под брезентовый полог. Там они варили эту картошку на большой кухонной плите.

Жабчикова я нашел у разведчиков штадива. Они выделялись среди пехотинцев, среди всех этих ватников, плащ-палаток, шинелей, затертых глиной, прожженных кострами, продырявленных осколками и пулями. Маск-халаты разведчиков, их ленивые позы, длинные ножи, легкие трофейные автоматы, небрежно брошенные рядом,— все возбуждало во мне чувство неприязни и одновременно невольной зависти.

А Жабчиков, еще более, чем всегда, круглолицый, раскрасневшийся от поднесенного спирта, рассказывал какую-то длинную историю. Разведчики, полулежа на обвальной траве, снисходительно слушали его.

— Гляжу: вытаскивает он из кармана бутылъ. Вот, говорит, понюхай. Нюхнул я, а из горлышка, как из нефтелавки... Да это же чистая денатура?! Ты бы еще олифы принес. А он обиделся. Много ты понимаешь; мы, говорит, эту денатуру через противогаз очистим — как слеза будет.

— А скажу я вам,— говорил Жабчиков, все более воодушевляясь,— что работал я тогда в деповском клубе. И был у нас уголок Осоавиахима: ну, схемы там разные, головки распиленных снарядов, пробирки — в общем, мура. Еще висела там банка с резиновой маской. Поди, с первой мировой войны... Я про эту банку сразу смекнул. Взял плоскогубцы — чик-чик и противогаз этот в газетку. Маску по горлу ножичком — готово! Лей, говорю, все содержимое, пусть очищается. А из банки — ни капли. Постукай, говорю, посильнее: может, заело... Он постукал, а нижняя решеточка взяла да и отвалилась. Ну, и полезла из банки всякая требуха: уголь, опилки, вата синяя-пресиняя, все насквозь денатурой пропахло. Говорю я Сашке: «Ты этой силой ватой наших девах угощать будешь?.. Только ты, туды-т-вою, сам ее вначале попробуй!..»

— А девчата?

— А девки что? Пришли, чаю попили, под патефон потанцевали. Хорошо было...

Разведчики, не дослушав, как по команде, разом вскочили — по ходам сообщений шло дивизионное начальство. Последним я увидел нашего саперного комбата: фуражка оттопыривала уши, козырек скрывал глаза жидкой бирюзы. Он гремел плащом вслед за плечистым дивинженером.

— Здравствуйте, товарищ майор! — кинулся было к нему, но комбат досадливо отмахнулся от меня, мол, потом, сейчас некогда, и затрусил за инженером дальше.

Совещались они в крайнем пулеметном гнезде. И снова солдаты сторонились, пропуская начальство, и снова плыла над бруствером огромная фуражка с оттопыренными ушами. Недоумение и обида полоснули меня по сердцу. Но локоть тут же стиснуло дружеское пожатие. Я обернулся: передо мной стоял капитан Осоцкий. Из-за толстых стекол чернели, словно вишни, его глаза.

— Какова ваша первая переправа, младший лейтенант? — к вискам побежали морщинки, хотя капитан не улыбался, а только дружелюбно и весело смотрел на меня.

— Все ничего... Вот Николай Иванович...

— Мы в батальоне знаем об этом. Хороший был солдат... Да что поделаешь — война! — просто и тихо, а поэтому как-то особенно значительно сказал Осоцкий и, протянув руку на прощание, другим тоном добавил: — На Карельском мы, кажется, отвоевались. Не скажу, надолго ли, но отвоевались...

Я крепко стиснул ладонь капитана и спустился вместе с ним к причалу, который успели оборудовать солдаты на берегу Лаволы. Откуда-то с середины залива он обернулся еще раз и помахал мне пилоткой.

...Мог ли я подумать, что это была последняя наша встреча с капитаном. Оказалось, ночью, пока я спал, капитан Осоцкий смертельно поссорился с нашим комбатом: речь шла о переправе. Комбат настаивал, чтобы мы навели штурмовой мостик, Осоцкий не видел в нем пужды. Не только мостик, кричал он комбату, вся затея с переправой вряд ли необходима.

Эти слова и решили судьбу капитана — его перевели

в «полкачи», в полковые инженеры, а позднее, под Сандомпром, он сгорел в самоходке, когда «катюши» сыграли по своему же танковому десанту, потерявшему связь с дивизией и вырвавшемуся далеко вперед.

Все это было потом, а сейчас понтон медленно удалялся от нас, сливаясь с желтой кипенью кустарника, и только подтянутая фигура капитана Осоцкого четко вырисовывалась на корме.

Гранитные глыбы, подлесок, сосны — все до мельчайших подробностей отражалось в зеркальной воде канала. Но лесистый берег и берег отраженный не походили друг на друга: один был тяжел, другой — легкий, текуч. Зеленые вершины сосен, упавших на воду, непрерывно колебались. Волны, приходившие из залива, пробегали по отражению, и тогда берег, тот, что был на воде, морщился, колыхался и, казалось, рвался на продольные полосы.

Замысловатой игрой воды, зелени, света я не уставал любоваться давно. Расстелив ватник на камне, торчавшем возле пулеметного гнезда, я пристально смотрел на воду, на небо, на канал, снова на воду и удивлялся: как зыбок отраженный мир, как он текуч, неуловим, прекрасен. Что-то подобное я думал и о себе: сохранить бы это не изведенное прежде неуловимое чувство, сохранить, сберечь, как-то запомнить, чтобы позднее, когда придется снова что-то мучительно ожидать, я мог бы омыть себя волной этих отрадных воспоминаний.

Нет, все во мне было немо, и оставалось только завидовать тем, кто мог сказать о себе хотя бы такое: «Корабль, натрудивший в морях полотно...» Натрудивший... значит, проплывший моря, значит, побывавший во многих странах...

— Смотри, *они!* — прервал мои размышления капитан Седунов. Облокотившись на бруствер пулеметного гнезда, он рассматривал откос в бинокль.

Неявные фигурки людей выступили из подлеска и как будто в нерешительности замерли справа от нас.

— Позвольте мне бинокль, — обратился я к капитану. Но в этот момент наш мостик тихо дрогнул, стронулся с места — его оторвало от берега и медленно стало заворачивать в сторону залива.

— Говорил тебе, заякори!— отложив бинокль, недовольно заворчал Седунов.— Перемирие перемирием, а ты должен быть на той стороне. Там твое место. Понял? Живо в лодку!— резко скомандовал он.

Я окликнул Жабчикова, спавшего в окне под обломанной сосной, и бегом бросился к причалу. В две пары весел мы обогнули остров, подцепили мостик и с трудом стали выгребаться против течения. По ту и по другую сторону канала выросли группы солдат. Безмолвно они следили за нами.

Наконец мы кое-как выгребли к старому месту, подтянули мостик, примотали веревкой к скобе, до которой я никак не мог дотянуться раньше. Оставив Жабчикова возле скобы, я разом разогнулся. И первое, что поразило меня, были лица финнов,— какие-то все одинаковые от усталости, грязных потеков, щетины на подбородках.

Серовато-синие грубошерстные кителя егерей были расстегнуты — из-под них виднелось грязное белье. Брюки, заправленные в кожаные краги, пузырями вздувались на коленях, и почти у всех ботинки, брюки, кителя были измазаны глиной, а у иных на локтях, на коленях продраны и кое-как заштопаны солдатской иглой. Нет, не щеголеватые, надменные шюцкоры с обложки журнала, а окопная солдатня толпилась передо мною, и это открытие потрясло меня.

Фишны были без оружия. Их пустые руки неловко висели по швам. Я перебегал глазами с одного лица на другое и все силился найти в себе то чувство, которое жгло меня в подвале Лаволы,— и не находил его. Под пристальными взглядами солдат я испытывал теперь совсем иное — чувство неловкости, досады на самого себя. Моя гимнастерка торчала из-под ватника, словно из-под бабьей жацевейки. Растоптанные, с разводящими от воды и соли сапоги уже не нравились мне самому. Чтобы скрыть неловкость, я солидно тронул кирзовую кобуру и приосанился для вида, небрежно выставив вперед ногу. Потом, не зная, чем занять себя, полез за папиросами. Была у меня пачка «Беломора», и когда я достал ее, несколько заскорузлых рук неуверенно протянулось ко мне. Я охотно разорвал верх пачки — она сразу опустела. Кто-то услужливо чиркнул зажигалкой, и мы безмолвно и сладко затянулись папиросным дымком.

Наконец пожилой егерь, щербато улыбаясь, показал на наш остров:

— Мыза Лавола, о! — И не то чтобы одобрительно, но понимающе протянул еще раз: — О-о-о!

Я понял его восклицание, понял и то, что он не сумел досказать: мол, ты откуда, с мызы Лавола или же случайно оказался здесь.

— Да, да! — ответил я с оттенком гордости и для верности повторил по-немецки.

Пожилой финн обрадовался, быстро-быстро заговорил, но моих знаний немецкого языка, увы, хватило ненадолго.

— Ich habe sagen... — начал путаться я в переводе, но в это время на острове глухо ударил взрыв. Все вздрогнули, отпрянули друг от друга. Финны смешались, но не отступили ни на шаг. Стиснув зубы, я стоял прямо против них, не решаясь оглянуться назад.

— Товарищ младший лейтенант. — Жабчиков вынырнул из-за плеча. — Это кто-то из наших на mine подорвался.

И хотя егеря тоже поняли причину взрыва, замешательство не проходило. Наоборот, дружелюбные улыбки сгасли на худощавых, голубоватых лицах, и незримая стена отчуждения, недоверия, страха опустилась между нами. Потоптавшись на месте, загасив окурки папирос, солдаты быстро вскарабкались по склону и растворились в прибрежных кустах, как будто их никогда и не бывало.

В лодку натекла вода, и Жабчиков, навалившись на борт, вычерпывал ее котелком, который прихватил вместе с вещмешком и автоматом.

У поплавков штурмового мостика медленно кружилась лесная труха — желтые листья, ветви, хвощики, осиновая щепка. Все это постепенно всасывалось под настил и уносилось течением дальше. Мягко стукнулась и остановилась смутная, темная масса. Жабчиков бросил вычерпывать воду. Нет, не корягу, не обрубок бревна — к мостику прибило чей-то труп. Жабчиков встал, подгрел веслом тело утопленника. Сазонтов! — догадка поразила и одновременно ужаснула его. Да, это был Сазонтов, его закадычный товарищ, с которым они воевали от самой Нарвы. Сазонтова еще с той, с летней переправы считали без вести пропавшим, а оно видишь все как получилось...

Вдвоем мы вытащили тело из воды, взвалили в лодку и тихо поплыли к Лаволе. Жабчиков сидел на корме, я — на веслах. Где-то посередине залива он, содрогнувшись от холода мертвого тела, оторвал внутренний карман гимнастерки, достал сверток, подал его мне. Я бросил весла — в свертке, разбухшем от воды, аккуратно перехваченном резинкой, была пачка слипшихся писем и алая книжница. Я развернул ее. Это был партбилет сапера Сазонтова. Нижний край партбилета неровно оборвал осколок, карточка отлипла и отвалилась, но заглавная строка «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)» четко выделялась каждой буквой. Я перевязал сверток резинкой, вложил его в нагрудный карман своей гимнастерки. Карман быстро промок, но сердце мое билось под этой алой книжницей, под этой пачкой писем, хранивших беду и радость человека, которого я не знал, но к смерти которого невозможно было привыкнуть.

Мы догреблись до причала и здесь же, у самого прилеса, похоронили сапера Сазонтова. Жабчиков уложил края могилы красными черепицами. Я вырезал из жести звездочку, прибил ее к сосне, химическим карандашом написав фамлию, звание сапера и дату смерти: 1944 год.

— Тебя к телефону! — сказал мне капитан Седунов. Его губы хотели, но никак не могли сдержать хитрой улыбки, которая змеялась по темному, с коричневыми подглазьями лицу. Я поспешно вырвал трубку у телефониста: тот растерянно оглядывал полутьму подвала, пустынного и поэтому особенно захламленного днем.

— Родной мой, — я онемел от неожиданной радости. — Родной мой — ты жив? Я столько пережила за эту ночь! Столько пережила! Я думала: тебя принесут на посылках в санбат... Я боялась этого, хотела этого... чтобы быть с тобою рядом, чтобы спасти тебя... Я так... — Шорохи и разряды усилились, голос походил на иголочку. Эта иголочка истончалась, истончалась и оборвалась совсем.

Напрасно я тряс трубку, дул в нес — ничего, кроме пронзительного свиста, не было слышно. Телефонист полусонно смотрел на мои старания, не изъясняя особой охоты помочь мне. Голова гудела. Она враз рас-

пыхла от пронзительного свиста, который в памяти моей все равно не мог заглушить Асин голос. Помехи лишили голос теплоты, они придавали ему какой-то металлический привкус, но даже таким я готов был слушать его вновь и вновь.

Аппарат зазуммерил. Телефонист взял трубку и снова, уже осмысленно, передал трубку мне. Жадно я схватился за нагретую ладонью телефониста дужку, припал ухом к мембране.

— Алло,— хриловатый голос майора, командира нашего саперного батальона, окатил меня холодной водой.— Это младший лейтенант? Да? Ты что, рас-скис-ляй, на острове сидишь?

Трубка хрипела, билась, рвалась из руки. На моем лице, надо думать, было написано такое выражение, что полусонный телефонист не удержался и прыснул.

— Забирай связного и немедленно являйся в штаб батальона. Ты слышал?— хрипела трубка.— С завтрашнего дня начнем разминировать поля. Что мостик?.. Без тебя обойдутся. Чтоб через час быть в батальоне. Все. Выполняй.

Голос смолк. Я подержал трубку, приложил мембрану к уху, но в ней не было слышно даже привычных шорохов и писков.

— На тебя нынче спрос,— беспечно заметил капитан Седунов, сидевший у стола в накинутом на плечи кителе. У него была привычка что-нибудь накидывать на плечи — он любил чувствовать плечи и руки свободными.

— Приказано явиться в штаб батальона,— упавшим голосом сказал я.

— Что такое?

— Комбат трибуналом грозит. Говорит, я на острове ошиваюсь.

Седунов присвистнул:

— Тю-ю-ю. Дурак этот твой комбат,— вот что я скажу. Пошли ты его знаешь куда? — узкие губы Седунова дрогнули в дружелюбной улыбке.— Ночью бы он здесь пошивался, так нет, тебя послал. А впрочем,— Седунов потрянул головой,— коль приказано — надо топать, сапер. И не поминай, как говорят, Лаволу лихом.

Он встал, скинул китель на стол, шагнул ко мне и стиснул меня в объятиях. Его иссиня выбритая щека коснулась моей щеки. Капитан двинул по привычке в

плечо, пронзительно и остро посмотрел карими, глубоко залегшими глазами, добавил:

— В случае чего, просись ко мне в батальон. Знаешь пословицу: дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Я дам взвод разведки. Из тебя, темнота курсапская, толк выйдет.

Лодка мягко прошуршала днищем по мелководью и встала в той самой заводи, откуда мы начинали путь на Лаволу. Берег все еще был истоптан солдатскими сапогами, изрезан киями лодок, засорен обрывками телефонных проводов. Но смотрел я на заводь, на следы наших поспешных ночных сборов уже другими глазами, воспринимал другими чувствами, словно время и пространство сделали меня другим человеком, изменили меня с тех самых пор, как я отчалил от берега, освещенного всплеском ракет. Да и шли мы с Жабчиковым теперь по-иному, врхом траншеи, легко перешагивая с одной стороны на другую, изредка прихватывая горсть красной брусники. Гроздь ее выбивались из-под комьев земли, из-под ржавых, расщепленных болванок мин, мерцали под обугленными, поваленными стволами сосенок, они сопровождали нас долго, настойчиво, пока наконец мы не вышли на лежневку и не стали подыматься в гору.

Вершина горы была камениста, и только сухие пучки травы торчали возле валунов, которые повсюду составляли бугристые спины. Глаза заслезились от ветра, от простора, впервые так вольно открывшегося нам. Белая кромка прибоя опоясывала побережье. Выпуклая, тусклая гладь Финского залива сливалась с грядой облаков, тяжело клубившихся на горизонте.

Мы решили передохнуть в заветрии, под большим валуном.

Жабчиков разложил на коленях свое хозяйство и теперь, оторвав край газетки, старательно крутил «козью ножку». Я пошарил в карманах, достал пачку «Беломира». Она была пуста. Улыбнувшись, заглянув для верности еще раз, я надул пачку, как мальчишки надувают пустые кульки, и весело хлопнул ею.

Жабчиков вздрогнул, осуждающе посмотрел на меня, потом, догадавшись, не без замешательства протя-

нул мне алюминиевый портсигар, набитый махоркой, и газетку.

Прежде чем оторвать край, я скользнул глазами по тексту:

«...В ночь на четвертое сентября...»

— Постой, откуда у тебя эта газета?

— Как откуда?— обиделся Жабчиков.— Она чистая. Мне ее на острове разведчики дали.

Я стал разворачивать сложенный во много раз лист. Он затрепыхал под ветром, но я крепко удерживал его. Середина была вырвана и, кроме начальной строки, мне удалось прочитать всего несколько фраз:

«...приняла выдвинутое Советским правительством условие... о прекращении военных действий на всем участке расположения... войск с 8 часов утра 4 сентября».

Значит, ночью, когда я выгребался к Лаволе... Эта мысль поразила меня. Значит, заранее все было предreshено, как предreshали судьбу Одиссея олимпийские боги?.. Значит, великие мира сего, как и его, меня не щадили?..

Ветер, задувавший с моря, сильно рванул газетный лист, поднял его высоко и понес над каменистыми склонами, над шапками сосен, над сетью траншей и ходов сообщений. Я проследил за его колеблющимся полетом, опустил взгляд и снова, как на рельефной карте, увидел остров Лаволу: причал, усадьбу, теплицу, кущи деревьев, слюдяное сияние канала — все, что за эту бесконечно долгую ночь было передовой линией фронта.

Но в наступающих сумерках мыза Лавола уже не казалась мне, как прежде, мифическим кораблем — это был полуразрушенный дом, который, как и все на канале, надо было восстанавливать, поднимать стропила, латать крышу, обшивать досками стены, чтобы дымок — он по-прежнему вился из кирпичной трубы — звал к себе и рыбака, и грибника, и просто прохожего человека, заплутавшего в здешних лесах.

Для Лаволы война кончилась. Для меня она только что начиналась.

ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ

Я не знал, что наш поезд «Москва — Прага», в котором были варшавские вагоны, прибудет на этот, как мне вначале показалось, пригородный вокзал. Но это была Варшава, правда, Варшава-Гданьская, где обычно останавливаются все поезда, следующие через Варшаву транзитом. Еще на вагонных ступеньках, поеживаясь от холода и подымая воротник плаща, я пытался разглядеть среди встречающих Леонарда. Его можно было бы узнать и у соседних вагонов, и даже среди толпы. Но тщетно — Леонарда нигде не было. Простояв минут десять на быстро опустевшей и продуваемой осенними ветрами платформе, я подхватил дорожный чемодан и пошел к стеклянному зданию вокзала, где надеялся найти телефон-автомат. Вдоль платформы, выглядывая из-за металлической сетки, шли крохотные огородные домики с такими же крохотными террасками, покрашенными в зеленый, желтый и синий цвет. И это придавало платформе сельский вид, хотя высотное здание интуристовской гостиницы говорило о другом, о том, что Варшава — вот она, всего в сотне метров от меня. В зале ожидания меня вновь постигла неудача: автомат не сработал даже после второй монеты. Теперь надо было менять бумажные деньги, искать другой автомат, снова дозваниваться до общества — одним словом, канитель. Правда, эта знакомая московская история с телефоном-автоматом даже развеселила меня: с первых же шагов я почувствовал, что я у своих, и теперь уже ничуть не сомневался, что обязатель-

но найду Леонарда... В пристанционной закусочной, где в густом табачном дыму стояли у стоек и сидели на скамьях люди, третья монета наконец-то сработала. А минут через пятнадцать из бежевого польского «фната» уже вываливался возбужденный и громкоголосый Леонард. Он тискал меня и вертел в разные стороны и говорил с такой искренней радостью, за которую ему все можно было простить. Оказывается, он высчитал местное время, а поезд прибыл по московскому — в 9.30. И-и, холера, — он был уже готов ехать, как раздался мой телефонный звонок. Теперь надо пристегнуть ремни. В Варшаве с этим строго. И слушать и запоминать. Конференция будет проходить в один день. Уже в двенадцать — открытие. Нет, не здесь, не в Варшаве, а в Доме конференций, это километров двадцать пять отсюда. Успеем ли? Успеем! Там мне отведен номер, покой — по-польски... Вот и все.

— Смотри: мы почти вырвались. Мы вже на позамястном, — Леонард поправился, — на пригородном шоссе...

Действительно, шоссе под колесами «фната» перестало петлять, оно как бы вытягивалось, вырывалось вперед в сторону ближнего соснового бора, рассекало его надвое, взбегало на следующий холм и подступало к волнистой линии горизонта, на которую, как сказано поэтом, конечно, нельзя наступить.

Новенький «фнат» Леонард вел с той профессиональной небрежностью, которая была свойственна ему во всем, за что бы он ни брался, к чему бы ни прикасались его руки. Такова была его натура, бывшего слесаря, офицера связи Первой польской армии, журналиста, заядлого охотника — да мало ли что можно было бы сказать о Леонарде, который умел делать все и всюду успевать, несмотря на видимую телесную громоздкость.

По гравийной отворотке мы въехали в старинный парк. И сразу же в перспективе забелело здание. Я заметил только, что выстроено оно в стиле шляхетской усадьбы или в знаменитом стиле дворэк. Крыша, крытая гонтом, крылечко с небольшой колоннадой, фонарь-многограннык на углу и декоративные кусты вдоль стен — уютно, живописно, изящно. Нас уже ждали. Не понимаю когда, но Леонард сумел дозвониться сюда из Варшавы...

...Конференция прошла успешно... Правда, бурных аплодисментов я не дождался, но, судя по всему, слушали меня с интересом и не были разочарованы ни темой реферата, ни самим лектором — референтом.

А в полуподвале уже накрывались столы для банкета, уже сходились участники встречи, многие со своими, как мне показалось, моложавыми женами. Уже член правления общества, лысый, с нафабранными седыми усами человек, кричал мне через стол: «Я есть старый капрал. Я был на этой, нет, на той, пан Лектор, стороне тем разом, когда буденновцы шли до Варшавы. Но под Мехувом я был уже с этой, так, с радецкой стороны...»

Слитный гул голосов, позвякивание посуды, женский неосознанно-возбужденный смех — все заглушало голос моего нового знакомого... Правда, через какое-то время он продолжал вопрошать через стол: «Пан Лектор бывал в Варшаве?.. Так. И в Кракове? В войну бывал?.. Леонард, где ты есть, Леонард? Наш пан Лектор освобождал Краков. Ты это знаешь? Ты уже думал об этом, ты думал, чтобы завтра делегация ехала в Краков? То есть добже, что ты так думал, Леонард...»

Было далеко за полночь, когда одним из последних Леонард пошел к своей машине. И я вышел вместе с ним. Леонард включил зажигание: в свете задних подфарников за клубился ярко-рубиновый дымок. И все-таки мы никак не могли расстаться с ним, пока я не хлопнул по верху машины и тем самым не дал понять, что пора ехать. Под шинами закрипел гравий. «Фиат» на повороте еще раз мигнул алым глазком и скрылся.

...Чувство душевной расслабленности тотчас же овладело мною. Я давно не испытывал этого чувства, и странно, что здесь, в этом старинном польском фольварке, под этим высоким звездным пологом, запорошенным пылью Млечного Пути, в этой чуткой тишине, прерываемой брехом собак, оно пришло ко мне и властно предъявило на меня свои права. Как все-таки непосильна бывает обремененность бесконечной заботой! Как редко посещает нас чувство покоя и раскрепощения от житейской суеты сует.

В особняке свет был погашен, слабо освещалась одна прихожая, да горел на углу фонарь-многогранник. Я пошел на этот свет фонаря и очутился на парковой аллее, сплошь усыпанной листьями. Шел и ощущал, как намокают верха ботинок, как озноб сотрясает меня, пошел, вперив глаза в темноту, особенно густую в конце аллеи. Конец аллеи — конец пути, заранее решил я. И когда, казалось, тьма стала абсолютной и ничего нельзя было рассмотреть, я остановился. И вот здесь-то вдруг стали вырисовываться кущи деревьев, острый шпиль костела, крыши других домов. И все — словно на полотнах Яна Станиславского, которого так любил Нестеров, — все это не столь виделось, сколько угадывалось, узнавалось, начинало пахнуть мокрой и прелой листвой, мерцать первой изморозью, покалывать иглами мироздания. И я подсознательно догадывался, что свои полотна Ян Станиславский писал в такие минуты душевного покоя и озарения, которые я только что пережил. И писал он их, чтобы другим людям, обремененным заботой, измученным неотступной тревогой, тьма, застилавшая глаза, никогда не казалась непроницаемо-темной.

Проснувшись поутру, я испытывал не то чтобы целительное умиротворение, пережитое вчера, но пребывал в некоем трезвом и умудренном опыте прожитой жизни состоянии, которое подсказывало мне, что все будет хорошо. Так оно и оказалось на самом деле.

Внизу, в полуподвальном зале, где теперь было опрятно, пустынно, тихо, мне предстоял завтрак вместе с пани Женей, как по-русски она называла себя. И хотя в ее облике, в ее кукольном личике, в мелкой седой завивке было что-то от пожилой француженки, мне нравилось ее называть именно так: «пани Женья».

И снова — до прихода машины из города — я совершал одинокую прогулку по аллеям, где стволы старинных вязов были покрыты зеленой тиной, а ветви образовывали сплошной покров над головой. Как и прежде, я отвлеченно размышлял о стилевых особенностях дворцовой архитектуры, которая безусловно восходит к народным гуральским постройкам в Закопане, и, задумавшись, долго стоял возле розария. А потом очнулся, посмотрел на эти клумбы и содрогнулся: на зеленых

стеблях с зелеными, мясистыми листьями никли бутоны роз. Куда бы я ни смотрел, повсюду были эти черные, черные бутоны роз. Нет, искусство садовода здесь было ни при чем: их сожгли заморозки, ранние в этом году.

Наконец-то за мной пришла машина, такой же, как у Леонарда, польский «фиат»... Пани Янина Ковальская, приехавшая вместе с шофером Кшижсто и пристально глядевшая на меня сквозь большие круглые очки, деловым тоном сказала: по решению правления общества она и шофер Кшижсто будут сопровождать меня в поездке по стране. И первый пункт нашей поездки — Краков!

...Снег летит прямо в лицо, как мирнады белых пуль. И сразу же тает, стекая за распахнутый ворот гимнастерки. Когда кто-нибудь из нас снимает ушанку — парвалит от ее мокрой подкладки и таких же мокрых волос. Как и ушанка, под мышками и под поясом намочило армейское белье и даже ватник, поверх которого надет белый маскхалат. Мешает этот маскхалат, путается между ног, давит на плечи, но содрать его, словно шкуру, нельзя, хотя мы и идем во втором эшелоне. Мы — это двенадцать саперов-разведчиков, все, что осталось от взвода на нашем долгом пути, который и привел нас на эти овеваемые поземкой, сливающиеся с таким же мутным и мглистым небом просторы Мехувской Выжины.

Зимняя дорога прихотливо вьется под нами и ведет к белым крышам и темным зарослям садов какого-то польского села, а может, и городка — это надо посмотреть по карте... Я останавливаюсь, открываю полевую сумку, смахиваю с бровей пот и смотрю сквозь желтоватую слюду планшетки. Солдаты за моей спиной тоже останавливаются, закуривают, иные, привалившись заплечными вещмешками к осыпям снега, сидят на обочинах дороги. «Смотри, — узнаю я голос младшего сержанта Жмыхова, из ярославских, — паны, вишь, хлеб не успели убрать. Так в снопах и присыпало снегом...»

Все начинают смотреть в ту сторону, куда смотрит сержант. Я тоже отрываюсь от планшетки. Однако мутная снежная белизна от напряжения пошла желтыми пятнами. Наконец, как и другие, я вижу эти полужанесенные снегом снопы, что лежат на склонах Вы-

жины. «Нет, ребята,—неохотно возражает пожилой солдат Панематкин, пришедший к нам из госпиталя.— Это не снопы... Это пластуны из девятой пластунской. До госпиталя мы в соседях были...» Солдаты настороженно молчат: что скажет еще Панематкин? Но тот, предварив недоуменные вопросы, поясняет: «Башлыки-то из-под снега, смотрите, краснеют... Как шли по полю цепью, так цепью их и покосили. Во-о-он с той колокольни...»

Мне и раньше доводилось бывать в знаменитых готических соборах. И раньше меня глубоко изумляло таинство цветных витражей, когда из золотисто-янтарных, изумрудных, рубиновых стеклянных сот, отгороженных друг от друга свинцовой опайкой, без пышного освещения, без всякой иллюминации, даже в самый сумрачный день, возникало нечто странное, впечатляющее.

И все-таки витражи в костеле францисканцев были совсем иными. Мне не терпелось пойти в этот костел, и я побывал в нем в тот же самый вечер, когда мы приехали в Краков и когда нанесли визит вежливости в местное отделение общества, поскольку пани Янина, функционер общества знаний, должна была знакомиться с работой местных отделений на всем пути нашего следования.

Не скрою: меня поразили витражные композиции больше того, чем я смел или надеялся ожидать. Ведь они принадлежали Станиславу Выспяньскому. И первое, что изумило меня, это — волнообразные и растительные мотивы, от которых на меня пахнуло свежей озерной водой и цветущей луговиной. Велика была сила искусства: я видел то, что хотел сам видеть и что внушал мне художник. Выспяньский с детских лет любил цветы своей милой родины: и алые розы, и белые лилии, и ромашки, и колокольчики, и даже листья чертополоха... И все они были занесены в его ученические блокноты, которые со временем составили уникальный «Гербарий»: оттуда-то он черпал сюжеты для своих орнаментов и витражных композиций. Правда, все это я знал и раньше из искусствоведческих книг и сочинений. Знал, что для Выспяньского искусство — всемогуще, если оно отражает самосознание народа, если оно поощряет человека к духовному подвигу, благород-

ству, справедливости, любви. Не случайно главной идеей этого великого художника была как будто бы и странная, но и глубоко художественная, я бы сказал поэтическая идея: все польские земли, разрозненные и обездоленные в начале нового века, соединить красотой, как бы оплести их гирляндами дивных цветов, как бы околдовать чистейшей радостью искусства. «Вот это будет искусство!» — восклицал он, работая над витражами. Не потому ли в центре полихромий Выспяньский поместил Созидателя, который, провозгласив «Да будет!», восходит в языках пламени, как восходит солнце над безбрежной пучиной вод. А гирлянды грациозных, фантастически прекрасных цветов возникают в витражных композициях, окаймляя образы святого Франциска и святой Соломии, патронов местного прихода, и являются овеществленной красотой, которую я ощущал каждой нервной клеткой...

По программе, выработанной краковским отделением общества, мы должны были отужинать в знаменитом кафе «Яма Михаликова», где сохранился интерьер начала века и многие рисунки, наброски, дружеские шаржи художников сецессиона — художников «Краковских мастерских». Однако в кафе было чадно, шумно, многолюдно. Мы едва нашли свободный столик и, разместившись за ним, терпеливо стали ожидать официанта. «Для чего пап Лектор такой невеселый?» — спросила меня Ковальская, чтобы как-то скоротать время. В знак удивления я пожал плечами. Да и что я мог ответить нашей серьезной и строгой керуничке, нашей руководительнице, если я и сам не мог разобраться в том тревожном и сложном чувстве, которое охватило меня при выходе из францисканского костела. Ведь перед только что увиденным и пережитым я не был ни в чем виноват, как не был виноват перед другими бесценными витражами и фресками других художников... Но чувство неясной вины мучило и не покидало меня. Подумать только: лишь случайность спасла их, та самая случайность, которая на войне — закон.

Командарм 59-й односложно отвечал на приветствия и вопросы в переходах охотничьего замка, принадлежавшего какому-то польскому магнату, а ныне пере-

полненному военным людом, опутанному проводами, заваленному старинной мебелью и армейским имуществом. Поскольку новость, о которой он мечтал, но даже не надеялся услышать, была такова, что заставила его без промедления выехать к себе на командный пункт. Там, среди заснеженных холмов и сосновых боров Малопольской Выжины, там, на подступах к городкам, украшенным костелами и фигурами святых, на окраинах деревень, отгороженных от полей крестьянскими постройками, виднелись редкие цепи атакующих войск, по зимнему бездорожью тянулись колонны пехоты и военной техники, там шло наступление, начавшееся с Сандомирского плацдарма.

И вот теперь его армия заняла нависающее положение над Краковом. Из Верховной Ставки в штаб фронта тотчас же поступила директива: войскам левого крыла овладеть древней столицей Польши. А левое крыло фронта — это его, Командарма дивизии и корпуса, его массивный удар под Мехувом, его выход к Олькушу и Песковой Скале.

Вот почему так срочно он был вызван в охотничий замок, где размещался штаб фронта, вот почему он и гнал сейчас «виллис», оставляя далеко позади охрану, к своему КП. В беседе с маршалом Коневым ему была поставлена стратегическая задача: усилить темпы наступления, обойти Краков с северо-запада и не позднее 20 января штурмом овладеть городом. Командарм 59-й в этом приказе усматривал некую историческую закономерность или историческую справедливость, что ли, ибо ровно год назад его солдаты и офицеры штурмом овладели Господином Великим Новгородом, летописной столицей северной Руси. Его танкисты, первыми ворвавшись в Новгородский кремль, увидели страшную картину: сожженные дотла дома, ободранные купола святой Софии и странно и жутко торчавшие из снега руки и головы древнерусских святителей и князей: солдаты из немецких зондеркоманд уже подготовили к отправке в Германию на уничтожение, на переплавку гениальный памятник Микешина «Тысячелетие России». А сейчас, где-то за снегами и туманами Малопольской Выжины, такие же немецкие зондеркоманды уже грузили в эшелоны сокровища Вавеля, минировали подземелья королевского замка, прорубали бойницы в стенах готических соборов.

Однако в штабе фронта Командарм 59-й получил строгое предупреждение, чтобы тяжелой артиллерии не применять, помощи бомбардировочной авиации не запрашивать, огнеметов не использовать, а надеяться на героизм солдат и молниеносность наступления в целом. А поэтому ни минуты задержки!..

Я нажимаю на створки — окно с разбитыми стеклами распаивается настежь. Сметаю осколки с подоконника, выглядываю наружу, вижу зимнее солнце, которое — сквозь клубы дыма и пара — источает ярко-алое холодное сияние. На войне обычно не видишь солнца, а здесь оно стынет сразу же за уступами черепичных крыш.

Двенадцать человек саперов-разведчиков расположились в этой полупустой комнате, брошенной жильцами квартиры: кто присел вдоль стен на корточки, кто повалил громоздкий шкаф и спит на нем, закинув спящий в изголовье.

Внезапно в комнату влетает боец, молодой, розовощекий, в ушанке, сбитой на затылок. Это связной комбата. По-мальчишески восторженно он кричит: «Кончай ночевать — выходи строиться!» Увидев меня и немало не смутившись, поясняет: «Саперам разведвзвода отбыть в распоряжение штаба танковой бригады. Взять взрывчатку, детонаторы, бикфордов шнур. И — быстро!»

...Хрустит под сапогами битое стекло. Слышнее становится автоматная перестрелка. Отчетливее шорох пролетающих над головой мин. Меняются какие-то дворы, брандмауэры с облупившейся известкой, сорванные с петель двери. Возле одной из таких дверей — часовой. И сразу же возникает фигура капитана-танкиста. Он в черной кирзе с ног до головы. Непривычно видеть широкие штанины комбинезона с напуском на сапоги. Лицо в копоти. Взгляд хмурый и скользящий.

«Пошли, что ли, лейтенант!»

Мы вновь проходим задние дворы и узкие средневековые улочки, забитые техникой. Чего здесь только нет: студебеккеры с брезентовыми верхами, механические мастерские, цистерны с горючим, штабные машины,

двуколки с поднятыми вверх оглоблями. И только танков не заметно: они там, впереди нас.

«Постоим здесь, покурим... — танкист достает карту, сверяет с моею. Поясняет: — Вот здесь, в приходском костеле, засели фаустники из охранного полка «Остлянд». Час назад лучший в бригаде экипаж сожгли. Комбриг места себе не находит, злой как черт, а приказ отменить не может: артиллерию не применять! Приказ строжайший — самого Конева. Да ты посмотри — полюбуйся».

В конце узкого, как щель, переулка в самом деле виден католический крест. Это и есть приходский костел. Древность. Готика. Командир охранного полка «Остлянд» знал, где опорный пункт обороны устраивать. Стены у этой готики, наверно, больше метра, да еще контрфорсы, да еще подвалы... В общем, задача простая: подобраться и подорвать пристройку костела. Как это по-ихнему — пресвитерий... Что же, ясно? Значит, действуй, лейтенант!

Самое трудное не в том, самое трудное — выбрать себе еще двух человек... Солдаты переминаются с ноги на ногу, торопливо докуривают сигарки, ввинчивая их в снег. За дни тяжелого зимнего наступления я будто впервые вижу своих саперов. Одеты они — каждый на свой манер: кто в маскхалате, порванном и сером от золы, кто в ватнике, перехваченном ремнем, а трое — в новеньких зеленых шинелях. Эти только что прибыли из резерва. Я даже фамилии их не успел запомнить. И у всех — бесконечно усталый вид. Спрашивать, кто пойдет со мной, бесполезно. Но я все-таки спрашиваю. Наступает тягостное молчание. В душе-то я понимаю своих солдат: слишком тяжела война и слишком каждодневна случайность быть убитым. Не до героизма. Войну надо кончать, это — главное... Лихорадочно перебираю фамилии: у Жабчикова три девчонки, как они будут без отца?.. Помкомвзвода Ивана следует оставить вместо себя. Панематкин только что из госпиталя... Басистый... Юсупов... Ага, Катышев!.. Приземистый солдат делает шаг вперед. И еще один из вновь прибывших (фамилия не сразу вспомнилась), Ивков, Ивков его фамилия — солдат с открытым, умным лицом, — вышел и сказал просто: «Я пойду с тобой, лейтенант!»

Помкомвзвода Иван, партизанивший два года под Ельней, снаряжает нашу штурмовую группу. Он ловко вяжет толковые шашки на длинной доске, нарезает бикфордов шнур, вставляет концы в детонаторы и обжимает плоскогубцами. Артист, да и только! Ивков подымает двадцатипятикилограммовый заряд и кладет, примеряясь, на плечо. Катышев набивает сидор запасными шашками. Я прячу запалы в планшет. Все готово? Пошли!..

Мы идем по брусчатке, огибая груды щебня, перепрыгивая через завалы. Улица, как ущелье, полна дыма и скользящих багрово-красных отсветов. Еще за квартал можно услышать гудение огня... Теперь мы идем мимо этого горящего здания. Из проемов вырываются огненные языки. Они взвивают вверх сгоревшие листы бумаги, которые, как черные птицы, медленно кружатся в воздухе, затем рассыпаются и падают на брусчатку, на щебень, на редких убитых черным снежком... Черный снегопад!.. От Сандомира, во всех городах и селениях, которые мы брали с бою, идет и идет этот черный снегопад.

Взглянув походя на карту, я понял: приходский костел должен быть совсем рядом, в конце улицы... Решение созревает мгновенно: иду один! Ведь я должен быть справедливым, значит, должен первым ставить свою жизнь на карту, на эту случайную карту судьбы... Быть справедливым по отношению к своим солдатам — значит первым рисковать, первым быть убитым. Другой справедливости для младшего офицера здесь, на войне, нет. Ну, а со мной — как и всякий смертный, я почему-то был уверен в этом — ничего не случится. Потом, в последний момент, все-таки сказал Ивкову: «Если что — ну, понимаешь? — пойдешь вторым, после меня...»

В переулке мгла сгущается все сильнее, теперь дома теряют очертания, тонут, отступают в тень, кажутся декорацией. И только сухой треск автоматных очередей, простегивающих улочку, возвращает меня к действительности.

Прижимаясь спиной к стене, продвигаюсь вперед, потом бегу, потом падаю и снова бегу. Пули рикошетят о брусчатку: высверки заметны впереди меня. Ничего не поделаешь — надо ползти по-пластунски, хотя бы до

сожженного танка, который взрывом развернуло поперек улицы. Но ползти, да еще подтаскивать на шнуре взрывчатку,— трудно. Поминутно откидывая пистолет, который сползает под живот, обливаясь потом, ругаясь сквозь зубы, я какие-то мгновения ползу, но не выдерживаю, вскакиваю, гложу, слепну и лишь инстинктивно угадываю впереди себя броневую громаду. Возле нее можно и передохнуть. Сильно пахнет мазутом, копотью, едким толом и еще непонятно чем... Краем глаза замечаю груды тряпья: оттуда и потянуло паленой кирзой и человеческим мясом. Догадываюсь — один из членов экипажа. И все-таки удобнее позиции для последнего броска нет. Выглядываю из-за танкового трака: вот он, костел, прямо передо мной! Внезапно из бойницы высывается дуло ручного пулемета. И странно: я не слышу звуков — вижу одно смертельно пульсирующее пламя, совсем как в немом кино... Пулеметчик бьет прицельно вдоль улочки по перебегающим пехотинцам. И, как-то сразу же обмякнув, я ощущаю во рту вкус махорки: опасная, расслабляющая волю мысль. Надо действовать... А впереди, раскинув крестом руки, словно распятый на краковской мостовой, лежит второй танкист...

Спичка выстреливает в кулаке, шипит бикфордов шнур, рывок — я не бегу, а медленно плыву туда же, все к той же бойнице, где мерцают багровые вспышки и где встают стеной ненавистные мне камни костела. Сознание отключается. Памяти нет. Нет и тяжелого грохота взрыва: он сотрясает мостовую, обрушивает многовековую кладку и хоронит под руинами немецкий гарнизон. Есть лишь закоптелая броня танка, засыпанная камнями, обломками черепиц, янтарно-рубиновыми осколками витражей. Есть лишь сапер Ивков, который с трудом отрывает меня от танка, есть лишь тяжелый топот солдатских сапог: «Вперед, мать вашу, вперед, братья славяне!»

Проснулся я внезапно, как от толчка, и понял, что больше не засну. Снизу, из городского колодца, доносился монотонный гул мотора, может быть, вентилятора в ресторанной кухне. Мне почему-то всегда попадались гостиничные номера с окнами, выходящими во внутренний двор. И я находил в этом даже какие-то преиму-

щества, поскольку вдали от дома становился свидетелем чужой, повседневной жизни,— яркой и будничной. Если жил я в таком номере весной, то первые лучи солнца скатывались с черепичных крыш и щекали мне веки, набрякшие от переутомления и малого сна. По подоконнику ходили голуби, раздвигая оранжевые зобы и что-то ворчливо втолковывая друг другу. «Марышка!» — летело снизу вверх. И этот звонкий женский голос будоражил и бодрил и все-таки позволял еще помедлить, еще насладиться отблесками сна. Если в таком гостиничном номере я жил осенью, то включенный вентилятор позволял мне угадывать приближающийся рассвет. И тоже были еще какие-то мгновения, которые позволяли ощутить всю прелесть и весь уют этого старомодного гостиничного номера с одеялом-перинкой, обволакивающим тело, фаянсовым умывальником и завтраком в гостиничном кафе. Столь же неизменным был барочный интерьер гостиниц, поскольку в каждом углу торчал позолоченный амурчик, на стенах были развешены огромные зеркала, а между этажами ходили громоздкие лифты, красное дерево и медные поручни которых мне почему-то напоминали каюты-люкс колесных пароходов.

И все-таки я совершенно не понимал людей, очарованных техническим и бытовым ретро. Еще по дороге в Краков мы разговорились об этом всеобщем увлечении с пани Яниной. И последствия нашего разговора я почувствовал вечером, когда совсем неожиданно она предложила мне побывать в молодежном джаз-клубе: тогда это еще только-только входило в моду, а пани Янина хотела показать мне все достопримечательности города. Предложение мне показалось заманчивым.

Джаз-клуб помещался в полуподвале. Прямо с улицы, заполненной дневным привычным шумом, несколько ступенек вниз — и мы оказались в комнате под сводами. Тусклый свет лампочек, свисавших с потолка, и густые слои табачного дыма не позволяли разобраться, что к чему. Но из этого дыма и полумрака к нам довольно скоро вынырнул светлородый юноша в золотых очках и потертых джинсах, указал место на скамейке, идущей вдоль стены и похожей на садовую, получил плату за вход, принес несколько бутылок пива, тарелку

с бутербродами и оставил нас в покое на весь вечер. После того как я попривык к рассеянному и какому-то банному — из-за табачного дыма — свету, можно было удовлетворить свое любопытство. Все в этой комнате под сводами возвращало к началу века — к первым нью-орлеанским джаз-бандам, первым автомобилям, первым синематографам. Вне какого-либо порядка на стенах были развешаны групповые фотографии: мужчины в котелках и при нафабранных, кайзеровских усах, дамы — в шляпах колесом и кружевных накидках. На столбе, подпиравшем свод, была прибита граммофонная труба и автомобильный рожок с резиновой грушей. А на скамейках вдоль стен, за крохотными столиками, сидели джинсовые девушки, каждая сама по себе, каждая в одиночку, и непрерывно курили. Мимо них взад-вперед ходил какой-то парень: бумажная роза демонстративно продернута под погончик его желтой рубашки. Но главным здесь был не интерьер и не этот парень, главными здесь были синкопированные звуки пианино, резкие вскрики трубы и почти ритуальная дробь барабана.

Из-за столба, поддерживающего подвальный свод, я не видел джазистов, но их сложная музыкальная фраза тянулась до бесконечности и как бы завораживала, обезличивала, обезволивила тебя этими синкопами... Поскольку в зале никто не разговаривал друг с другом, хотя по приветственным кивкам можно было заметить, что многие знакомы, мы с пани Яниной как-то произвольно разговорились. Вернее, пани Янина захотела рассеять мое недоумение по поводу бумажных роз и желтых кофт, как известно, уже вошедших в мировую литературу. Она говорила неожиданно долго, говорила, глядя прямо мне в глаза сквозь круглые — в светлой металлической оправе — очки, казавшиеся ей великоватыми. Значение каждой, только что произнесенной фразы она подчеркивала этим пристальным взглядом, что, не скрою, раздражало меня и заставляло скорее угадывать ее мнение, чем до конца понимать смысл слов. А мысли пани Янины были таковы, что каждая победа человеческого разума несет в себе и зерно поражения... Это общая посылка. Но конкретно: молодые завсегда-таи джаз-клуба, которых мы видим здесь, не хотят деклараций, не хотят риторики, они хотят самоценной свободы. Вот почему в мире научно-технического дик-

тата, в мире, в котором ощущается кризис моральных и эстетических абсолютов, классическая гармония должна быть отброшена — здесь важно найти и выразить текучесть, неподконтрольность бытия...

«Нет, пани Янина,— с горячностью возразил я Ковальской.— Эти ребята идут по-внешнему... Их внелогичность — это, по существу, тоска по привычной логике, но — по логике, освященной вызовом, модой, подражанием. Художники сецессиона тоже были внелогичными, они тоже стремились запечатлеть текучесть бытия. Они яростно нападали на эклектику — на ее статичность, респектабельность, рационализм! А как они высмеивали господство пышно-царственных, парчово-бархатных одеяний и геройских поз! Но при всем при том искусство было для них евангелием народным. Они ощущали его стихийную мощь. Они не случайно любили сравнивать себя со взметнувшейся океанской волной... «Мы гребни вставшей волны», — сказал за всех Валерий Брюсов».

Пани Янина пристально вперила в меня немигающие и сильно увеличенные стеклами очков глаза и сказала безо всякой связи с предыдущим, но только в соответствии с логикой собственных рассуждений: «Вы, россияне, за все ищете правду-справедливость... А я, — в этот миг она вызывающе сверкнула стеклами очков, — я — за правду-истину!»

«Прошу простить меня, пани Янина, прошу простить, — вконец раздосадованный, сказал я. — Но в русском слове «справедливость» есть корень «вед», что аналогично: ведать, знать, постигать истину... Быть справедливым — это и быть сведущим, знающим и, что особенно важно, — истинным! Утверждая свою, как вы сказали, правду-справедливость, мы пол-Европы освободили от неволи и возродили к новой жизни... Помогите, утверждать правду-справедливость можно, должно, жертвуя собой, а правду-истину можно утверждать и для себя, эгоистично, келейно...»

«О-о-о! — засмеялась Ковальская. — Я вижу пана в привычной пани роли. Для того поддаюсь и перед вашей, пан Лектор, правдой, и перед вашим желанием быть истинным и для себя, и для всех».

Утром, когда я вошел в ресторанный зал, у пани Янины было совсем другое настроение. Да и я не ис-

пытывал охоты продолжать вчерашний разговор. К тому же традиционно сервированный стол настраивал на разговор дружелюбный, ни к чему не обязывающий. На белоснежной скатерти, которая, казалось, еще хранила тепло уюта, розовела и сочно поблескивала шинка — тонко нарезанная ветчина. В стеклянных вазочках лежали слегка отпотевшие кусочки масла. Краснел клубничный джем. В сливочнике были свежие густые сливки. Седой — с бакенбардами — официант, вымуштрованный долгой службой, спокойно разливал нам дымившийся ароматный кофе.

В конце этого долгого завтрака пани Янина как бы между прочим сказала, что из правления общества получена телефонограмма. Суть ее заключается в следующем: пана Лектора убедительно просят выступить перед студентами-славистами в Высшей педагогической школе в Ополе. Согласен ли пан Лектор? Ведь он, кажется, там воевал, и ему, как полагает пани Янина, будет небезразлично побывать в тех местах...

Дальняя дорога всегда действовала на меня возбуждающе, она всегда, в конце концов, вызывала порыв к самоуглублению, может быть, самопознанию. Ибо здесь проявляется закон, по которому стремительные перемещения в пространстве, свойственные XX веку, определяют столь же стремительные перепады во времени, как во времени астрономическом, так и в личном времени — времени души человеческой. А частицы этого времени сочетаются весьма прихотливо, словно в калейдоскопе. Иначе говоря, не всегда эти частицы подвластны нашему разуму, но всегда они подвластны нашему дорожному бытию.

Пожалуй, только в дальней дороге человек и начинает понимать, что все прежние чувственные впечатления — это мезоны его личного, его собственного времени и что сохраняются они так долго, как долго живет человек. Такая память сердца, увековеченная в русской поэзии Батюшковым, и есть история души человеческой. Эта история и мгновенна и длительна, она и социальна и личностна, но она не позволяет расслаиваться личности, развиваться дихотомии...

Я припал виском к стенке и как будто слился с машиной, которая пролетала по этим безмолвным равнинам Ополя и одновременно где-то там, в дебрях мироздания.

Коротко вскрикнул и опал грохот встречного автофургона. Я запоздало взглянул в стекло дверцы: на фоне неба сходились, скрещивались, расходились линии телеграфных проводов. Как линии человеческих судеб...

Чтобы вернуть рабочее состояние, я стал думать о Леонарде, припоминать его крупную и необычайно подвижную фигуру, его громкий голос, который я помнил хорошо, поскольку мы часто переговаривались с ним по телефону.

Последний раз в Москву он мне звонил весной, да, весной, в день тридцатилетия Победы. Тридцать лет нашей встрече под Мехувом, нашей дружбе на расстоянии, вопреки расстоянию, вопреки времени и пространству. Тридцать лет! Это все-таки немало. Это что-нибудь да значит в отношениях людей... Потом как-то незаметно я перешел к тезисам своего выступления в Ополье, впрочем, нет, не к тезисам, а к тому, что было их предысторией... Интересно: через наших «мирискусников» я стал постигать реальные ценности русского средневековья, живопись Рублева и Дионисия, яркий колорит новгородских писем... Наверно, произошло это потому, что сами художники «Мира искусств» вдохновлялись древнерусской живописью и архитектурой, черпали оттуда образы, учились видеть чистый цвет, всемерно расширять искусство круга художественных радостей, как прозорливо сказал Грабарь.

Благословенное Абрамцево — это еще не все... Нет, есть еще неуловимая кривизна линий и приземистость древних северных церквей, запечатленная чуткой кистью Рериха, есть еще нижегородские купола и колокольни Лентулова, которые раскачиваются от стога, звона и гула прошедших веков, есть еще молитвенное безмолвие сельских часовен, что выглядывают из нестеровских перелесков...

Наши «мирискусники» в терминах польской критики — художники сецессиона, ибо в венском салоне Независимых, в венском «Сецессиионе» молодые польские живописцы выставляли свои полотна. А у нас даже та-

кого названия нет: художники модерна — не пришло, творцы рубежной эпохи — академически сухо, живописцы нового направления — невнятно... А ведь у всех у них есть нечто общее, есть поразительная гармония формы и света, есть линия — текучая, замысловатая, непрерывная, напоминающая то стебли лилий, то рассыпанные по изголовью волосы девы, то пену, оставленную штормовой волной на песке... И еще есть забота о красоте, которая обесценивает любую иерархию сюжетов, забота о красоте, о впечатлении... И то, что для Рериха значил Псков, для Лентулова — Нижний Новгород, для Нестерова — Троице-Сергиевский посад, то для польских братьев по сецессиону значил один Краков. Он был для них меккой искусства. Их родиной и чужбиной. О, если бы мне еще раз довелось побывать в Кракове!..

Впрочем, размышляя подобным образом, я ощутил, как наш «фиат», мелко-мелко задробив по брусчатке, въезжает в какие-то незнакомые мне городские кварталы. В стеклах шли чередой дома, являя собой смешение стилей и эпох, — и ренессанса, и позднего барокко, и сецессиона, а значит, и смешение башенок, куполов, мансард, прилепившихся к карнизам, балконов с ажурными оградами и окон всевозможной величины. На первых этажах домов зеркально сверкали витрины, манили броской и праздничной пестротой реклам, вывесок, товаров, останавливали прохожих... «Фиат» проезжал мимо них, однако в другие стеклянные двери входили другие прохожие, и все это деловое оживление силезского городка, оказавшегося на нашем пути, я рассматривал и с любопытством, и одновременно с внутренним отчуждением, словно космонавт, вернувшийся из долгого-долгого полета и знавший, что на родной планете, по законам относительности, уже прошли века...

Но вот с балкона одного из домов свисает белая перина. И тут же я проваливаюсь в бездну личного времени. И снова вижу эту улицу, но теперь она тонет в промозглом туманце: с полузасыпанными снегом крышами и карнизами балконов, она совершенно пустынна. Тем фантастичнее ее вид: из каждого окна и с каждого балкона — по всей нескончаемой длине — свисают белые полотнища, эти знаки торопливой и безоговорочной капитуляции. Ничто не колеблет их, не сотрясает в глу-

бинах моей души. Они висят мертвенно и неподвижно. А между тем прохожие выходят из стеклянных дверей магазинов, останавливаются у витрин, разговаривают между собою. Женщины катят в колясках, как в маленьких тачках, детей, легковые машины припарковываются к тротуарам, и с тяжким грохотом навстречу несутся дизельные грузовики.

«Фиат» вильнул в какой-то переулок. Встал. По мнению пани Янины, здесь, в центре Силезии, мне было положено вспоминать: ведь для этого и предпринималась наша поездка. Иначе говоря, я мог пройти по ближайшим улицам, пока Ковальская пребудет какое-то время в местном отделении общества.

Что ж, хорошо! Вываливаюсь из машины и глубоко вдыхаю прохладный осенний воздух, от которого слегка першит в горле: каменноугольный дым и осенняя изморось образовали городской смог. И все-таки мне доставляет немалое удовольствие зайти в ближайший скверик, пройти по асфальтовой дорожке, к которой приклеились, как переводные картинки, желтые листья, пройти, чтобы вскоре услышать возглас Кшижсто, чтобы снова повалиться на заднее сиденье машины. «Фиат» тут же рванул с места, и мы мгновенно оказались на окраине городка.

— Пойми: мне надо говорить и говорить — говорить, чтобы уйти от одиночества, от дороги, от войны, чтобы быть самим собой,— и не в приливе нетрезвой откровенности. Нет!.. Мне нужны слова и слова, лавины слов, чтобы высказать, выкричать себя, чтобы на лавину событий, вынесших меня на порог этого доброго дома, на окраину этого польского городка, я мог бы ответить лавиной слов. Иначе — задохнусь. Иначе они хлынут горлом — и убьют. Нет, Яцек, я не поэт... Просто русский офицер, как это, по-вашему, подпоручник... Просто офицер, подпоручник великой армии маршала Конева. И, кроме войны, еще ничего не знаю. Я только люблю поэзию. И музыку... Яцек, возьми аккордеон, возьми этот трофейный «Хохнер»... Как ты играешь! Ты заставляешь меня забывать, что это музыка, потому что твоя игра — больше, чем музыка, потому что это боль и радость твоей открытой для всех души... Знаю, знаю, мне Зося сказала, почему ты, Яцек, так хорошо разу-

меешь по-русски... Ты был в Шталаге-VIII, ты был в Освенциме, тебя русские освободили... Солдаты Конева освободили... Так вспомни, Яцек, вот-вот, конечно, эту... В ней, как и в жизни, есть все — и чужое небо, и древние соборы, и скорбные распятия на развилках дорог... Еще есть журавли, которые весной пролетят на родину высоко-высоко. Только надежды-то не у всех сбываются. Мало ли по обочинам сосновых столбиков остается? По столбику стекает свежая смола... Ты говоришь, Зося, это — мати божьей слезки. Пусть будет так, Зося. А может, это России горькие слезы?.. Ведь когда оглянешься, посмотришь туда, назад, на эти слезки янтарные, на эти звезды фанерные... они все идут и идут через сылущие снега, через лесные дебри, через выжженные деревни — к сердцу России, к тем невиским, волховским, волжским берегам... Разумею, Яцек, вшистка разумею: ты не играешь, ты дышишь воздухом свободы. Как это здорово сказано: воздух свободы! Счастье свободы. Свобода словно море — состояние счастья и тревоги, надежды и беспокойства... Вот послушай: на рассвете, когда проходили мы через Флорианские ворота и когда на ратуше был поднят красный флаг, я видел, что такое свобода... На баррикаде, у подножия которой еще валялись убитые немцы, какой-то человек в шапке с наушниками, в суконном пиджаке пел и размахивал флагом... Как Павел Власов из романа Горького «Мать»!.. Не знаешь такого? А мы в школе проходили...

Ты спрашиваешь, где я учился? Где мой дом? Там — в России. В некотором царстве, в некотором государстве... Вот пройдешь рыночную площадь, затем подворотню... Не понимаешь? Ну, городские крепостные ворота, и ступишь на высокое крыльцо. А возле самой парадной двери — окно. Под луной огнем переливается — в морозных узорах. И свет горит-горит, не гаснет... Потому что неизвестно, когда я в него постучусь легонько, вот так: тук-тук... И мама сразу встрепет, она чуткая у меня, мама. Шубейку на плечи накинёт, выскочит в холодный коридор... А здесь мины. Завалы. Горящие города... И снег — снег летит черной метелью.

Жабчиков! У тебя в сидоре еще одна бутылка трофейного. Доставай!.. Я тебе приказываю! Ну, хорошо, хорошо... Ты только службу помни. Карбидки не гасить. Автоматы на боевом взводе. Понятно? Ну, хорошо, молодец, ну и хороший ты мой...

Яцек между тем собирается уходить. Мы с Зосей выходим его провожать на крыльцо. Глаза не могут привыкнуть к густой темноте. Лишь разгоряченным лицом ощущаешь полет снежинок, которые крутятся, выются, исчезают в безднах январской ночи. Как мы с тобой, Яцек, думаю я. Ты откуда такой взялся? А вот взялся, появился, возник... За крышами домов, за костелом, за полями, которые угадываются в ночной мгле, разгорается багровое зарево. Это немцы, отступая, жгут польские деревни. А Яцек, беспечно закинув аккордеон за плечо, уже весь в снежном пламени, которое подхватывает и уносит его в неизвестность.

Мы остаемся вдвоем с Зосей. Губы у Зоси теплы и податливы, да и вся она обволакивает меня теплотой и лаской. Я распахиваю шинель, прижимаю ее к себе, слышу ее прерывистое дыхание, что-то шепчу ей про нас, про снежинки, про мироздание... Слабея, Зося повторяет: «Почекай, Владю-ю, почекай...»

Дальняя дорога в автомашине определяет и уют, и ритм, и микропространство странствующих людей. Так было и с нами. В салоне мы физически ощущали реальность и незыблемость нашего существования. А то, что было за его пределами,— воспринималось как нечто ирреальное. И это нечто заливало нас ливневыми потоками, слепило волнами света, угрожающе сигнало, как будто навстречу нам двигались океанские суда.

«Вечный дом твой — в дороге», — промолвлено было давным-давно, а мне все казалось — кем-то из нас.

...Так мы проезжали силезские и опольские земли. И пани Янина, полуобернувшись ко мне, рассказывала о принципах застройки опольских деревень, называемых в архитектуре цепной застройкой. Действительно, иногда думалось, что мы едем одной бесконечной деревней, в которой время от времени встречались костелы с медно-зелеными куполами, кладбища с обилием белых каменных крестов и небольшие рыночные площади, на которых непременно стояли две-три пароконные подводы. Принцип цепной застройки был принят в опольской земле еще до Магдебургского права, то есть до правления последних Пястов. И столь же древней была каменная

кладка домов и подсобных помещений: деревянный каркас крестьяне заполняли камнем или кирпичом, а затем окрашивали этот каркас в белый цвет. Вот почему на торцах построек возникала сложная и нарядная крестовина. Ведь я и раньше видел эту белую крестовину, а вот не задумывался, откуда и почему она.

Кшижсто тоже вступил в разговор, правда, стал рассказывать совсем о другом, о своем приятеле, который приезжает с советскими туристами из Бреста в Варшаву и которого Кшижсто вместо «мой друг» упорно называл «моя подруга»... Я не поправлял его, и пани Янина, встретившись со мной глазами, впервые за всю поездку улыбнулась.

Машина бежала вперед и вперед, хотя окрестность в стеклах задней двери как будто поворачивалась на своей оси. И также поворачивались на дальнем плане деревни и городки, которые возникли, по словам Янины, еще во времена Болеслава Храброго, собирателя западных, истинно польских земель. Одновременно я прислушивался к частой дробе колес, когда мы проезжали по брусчатке, и, по исторической аналогии, думал, что дорога эта, наверно, восходит ко временам еще более древним, чем достославные времена Болеслава Храброго, воспетого Выспяньским в образе рыцаря-мужика. Ведь только самые древние дороги мира вымощены этими ровными квадратами камней, этой тщательно обтесанной брусчаткой, только на них роняют соцветья и листья эти дуплистые, узловатые, вековые ветлы.

Вот почему по мере того, как медленно разворачивалась окрестность за стеклами «фиата», так же медленно оживало мое личное время. Но память сердца теперь не подчинялась мне. Она стала резко отбрасывать меня вспять, освещать прошлое блицами, высвечивать его с нестерпимой резкостью.

...Наш «фиат» промчался мимо одинокого крестьянского двора с пристройками... Мне показалось, что и сейчас стерня там припорошена снежком, что черное дерево с гроздьями черных птиц торчит возле самой ограды, что курчавится инеем близкий сосновый бор. Здесь наш взвод рубил колья для проволочных заграждений. Здесь... Но усадьба мелькнула, и я запоздало вспомнил,

что крыша жилого дома была четырехскатной, с длинной, по всему гребню, трубой...

Нет, я еще не мог признаться самому себе в ту пору, что память сердца подчинена собственным законам, что в ней есть и существует лишь то, что возможно, вероятно. И я еще не догадывался, что мои сомнения, ожидания, разочарования, надежды, связанные с дорогой,— это свидетельство того, что прошлое не ушло безвозвратно, что оно — моя живая плоть. И что, наконец, напрасно я надеялся перед отъездом замкнуться в многоцветной радужной раковине красоты, а прошлое отчеркнуть линией сецессиона. Нет, пусть душа изнемогает в борениях, совсем как у Пастернака: «С кем протекли его боренья?.. С самим собой, с самим собой».

...А в глубине того самого закурчавившегося инеем сосняка, где мы рубили колья, прозвучала длинная автоматная очередь. Мы с помкомзвода Иваном разом отпрянули от костра. Солдаты стали торопливо стаскивать из-за спины винтовки... И в это самое мгновение в наш круг вбежала косуля. Ее передние тонкие ножки подломились, она тихо встала перед нами на колени. И медленно повалилась на бок. Бархатисто-белый живот еще дышал, еще был теплым, когда под ним расплывалась дымная кровавая лужица. Мы подошли поближе: глаза уже помертвели, и розовый язычок застыл в оскале.

Кшижсто был весь поглощен дорогой. Пани Янина подремывала на переднем сиденье. И я мог отдаваться своему напряженному поиску прошлого сколько душе угодно. Возбужденная мысль сопрягала часы и годы, искала новых примет и неопровержимых доказательств того, что все это было, и было все это именно здесь. Но мчавшийся по шоссе «фиат» не давал возможности перепроверить или опровергнуть догадку. Время и пространство по своим необратимым законам не возвращалось. Истина оставалась неподтвержденной.

Вдруг интуитивно я понял: сейчас все разрешится и встанет на свои места. Там, впереди, должна быть насыпь автострады, идущей параллельно нашей дороге, а затем пересекающей ее. Непередаваемое волнение охватило меня — сейчас, сейчас... Кшижсто вписывает машину в плавный вираж — и сразу же рядом с нами побежала насыпь; наверху зачастили белые столбы ограждения. Я откинулся на спинку заднего сиденья. Закрыв глаза. Автострада уже оставалась в стороне, вместо нее теперь шел скучный кустарник. И я целиком предался этому новому для себя, двойному восприятию своей сегодняшней дорожной жизни, параллельно бегущей той.

Мы лежим в ровике и смотрим вперед: пехотинцы один по одному короткими перебежками подбираются к заснеженной насыпи, по которой метет поземка пулеметного огня. Кто первый?.. Есть и такие: вон карабкаются по насыпи, хватаются за прошлогоднюю траву... Но тело налито свинцовой тяжестью, нет силы, нет мочи, нет воли, которая бы оторвала тебя от земли.

«За мной!» Вскидываю и, подхватив офицерскую ушанку, которой по молодости лет и гордился и дорожил, бегу что есть духу. От встречного морозного ветра лицо заливают слезами, дыхание перехватывает и в горле гулко отдается ток крови. На самой насыпи словно подул чем-то под ноги... Но я съезжаю на спине по другому склону. Голос осип. Еле слышен. «Иван! — спрашиваю. — Все ли?» — «Да вроде бы все...» — отвечает помкомвзвода. И тут же Ивков поправляет его: «Одного из наших, ну, из пополнения...» — «Ты точно это видел?» — «Точно!..»

«За мной!» Мы бежим вдоль насыпи, чтобы вместе с пехотой выйти из-под сильного артиллерийского обстрела, которым немец отсекает атакующие цепи от вторых эшелонов. «А как же тот, на насыпи-то?» — «За мной!» И новый, долгий, сотрясающий душу смертным ознобом вой... Где-то впереди, на краю вселенной, испятнанной кратерами воронок, еще дымящейся янтарно-желтоватым дымком, пляшут в глазах крыши фольварка. По трескотне автоматов и глухим ударам гранат догадываюсь: там идет рукопашная. «За мной!» Надо поспевать за пехотой. «За мной!» Возле фольварка, под

снежными заносами и осыпями воронок, раскиданы немецкие минные поля. «За мной!..» Это не тактические учения в Подмоскowie, это война. И нет на этой войне ничего от той войны, о которой ты думал за учебной партой... Да и была ли она, эта парта?.. Или только этот тяжелый бег по снежному полю и дыхание, которого не хватает на пулеметном ветру...

Очнулся я от голоса Кшижсто: «Пани керувничка, а тен автобан ниц сбудован германцем». Я взглянул в стекла и с удивлением увидел: насыпь еще одной автострады бежит параллельно нашей дороге и пересекает ее.

Поздним вечером в полуоткрытую фрамугу гостиничного номера в Ополе было слышно, как из водосточка по железу гулко барабанит вода. Затяжной дождь угадывался по этому бесконечному плеску да еще по мокрому шуму проходивших внизу легковых машин. Если подойти к окну и отдернуть штору, то сквозь залитые водой стекла будут плавиться неоновые огни двух главных улиц Ополя.

Я так и заснул, отдернув штору и прислушиваясь к равномерному шуму дождя. И снилось мне озеро — вода у самых ног, беспокойная, блескучая, живая... Под легчайшим движением воздуха она как будто течет мимо меня, течет неостановимо, в одном и том же направлении. И хотя я понимаю, что вода плещется на одном месте, все равно рассветное, розовато-фиолетовое, врубелевское свечение воды, текущей куда-то, побеждает мой дневной жизненный опыт. Я жадно дышу вольным озерным простором, нет, не дышу — впитываю, всасываю, вбираю всей человеческой сущностью...

Казалось бы, давно можно было привыкнуть к этому сладкому почмокиванию воды возле ног, к этим замшелым валунам, к наростам магмы, которая там, в глубинах земли, еще кипит и сбивается в клочья пены, а здесь застывает замысловатыми узорами на камнях-валунах. Казалось бы, можно было забыть голубые мхи в лесах, желтоватые гривы черемух, свесившихся над заливом, ко всему этому, казалось бы, можно было привыкнуть и все напроць забыть! Но вот ударил соловей —

и заскользил его звонкий удар по рассветной воде. Прислушавшись, две кукушки стали перекликаться через залив. И своим кукованием разбудили утреннее солнце. Оно все разгоралось, и вместе с ним разгорался неподвижный залив, над которым перелетало с одного берега на другой гулкое кукование двух летописных зигзиц, двух кукушек.

Рассветное небо. Рассветная вода. И медленно идущие — в косую линейку — волны от одинокой моторки. Здесь все поет о первозданности мира. Твоего мира. Твоей родины. Твоего Заволочья. И ты изнемогаешь от затаенной, стеснительной, невыразимой любви к этой своей озерной родине, о которой тебе всегда будут напоминать твои фронтовые и дорожные сны.

Наконец-то миновали длинные серые заборы, за которыми белел металлическими баками, поблескивал стеклами корпусов, свистел клубами пара гигантский азотно-химический комбинат. Местность открылась по обе стороны шоссе: изредка возвышались сосны с серой корой и ржавой хвоей; отдаленные друг от друга стояли аккуратные новенькие коттеджи. Дорога сделала следующий рывок — и побежали строения, ограды, дома с черепичной кровлей и крестовиной на торцах. «Старо Козле», — успелось прочесть по-польски. И вновь, как при свете прожекторного луча, вспыхнули зрительные образы... Но известно: мысль влечет к тому, что доказуемо, образ — к тому, что вероятно. Я же изнемогал от вероятности образов, которые преследовали меня всю дорогу и которые, по-моему, не могли бы понять ни пани Янина, ни шофер Кшижсто.

Дождь, недавно накрапывавший крупными каплями, припустил как следует. По бетонным плитам, расчерченным на многогранники, потекли широкие ручьи — на них мгновенно возникали и лопались пузыри... Машина встала возле квартала стандартных — серо-зольной штукатурки — домов. Пани Янина вопросительно обернулась ко мне. Что-то неотчетливо припоминалось мне, будто бы это и был тот самый квартал домов немецкого инженерно-технического персонала, в котором мы готовились к переправе. Но под пристальным — сквозь очки — взором пани Ковальской я стал путаться в догадках и предположениях.

Однако пани Ковальская была в тот день настроена весьма решительно. И когда дождь начал стихать, под ее требовательным взглядом я пошел вдоль этих геометрически четких зданий, по этим мокрым геометрически четким многогранникам бетона, пошел, чувствуя, что вместо прежней неловкости — ну как же так я ничего не смог запомнить! — постепенно в душе моей выпадал горький осадок стыда, словно я подвелили даже обманул этих таких хороших людей, желавших мне лишь добра и полного внутреннего удовлетворения.

Может быть, этот осадок был мнимым, может, он образовался потому, что я слишком замкнулся, предался воспоминаниям, власть которых недоучел, — не знаю, не знаю... Но ведь эта моя отрешенность могла быть истолкована и по-другому, понята как некая гордыня, как пренебрежение сегодняшним днем... Короче, я все больше запутывался в неясных и сложных взаимоотношениях с членами экипажа, и то, что видел теперь, почти не занимало моего внимания. А видел я немного. Две школьницы, в сильно расклешенных брюках и поролоновых курточках, со смехом пробежали мимо меня, остановившись возле киоска «Рух». За киоском улица кончалась...

Когда я вновь подошел к машине, то понял, что вконец разочаровал и пани Янину, и даже веселого малюго Кшижсто: мне не удалось узнать окрестность и показать им, где происходил бой... Однако пани Янина решительно, как и прежде, предложила мне отыскать нашу переправу, — ее-то я должен был запомнить. Янина открыто мечтала сделать возле этой исторической переправы самый лучший — фирменный! — фотоснимок. Так, по молчаливому согласию, мы переехали через мост в город Козле, где я уже совершенно ничего не мог вспомнить и узнать, и, все сильнее сгорая от стыда и неловкого своего положения, теперь надеялся на случай, чтобы как-то что-то такое предпринять или поправить.

Проехавшись по улочкам городка, еще сохранившего зелень, мы снова повернули на старый, восточный берег Одры и по дороге, черной от мазута и каменноугольной пыли, выехали к береговому мысу. Из-за скопления катеров, буксиров, плашкоутов я догадался, что мы попали в район речного порта. И вот что странно: сейчас я сам пошел вперед, толкаемый не только непреклонной

волей пани Янины, но и собственным желанием найти то, что безусловно бы мне сказало: здесь была наша переправа, которую мы держали до середины марта.

Однако и теперь я не мог высмотреть ни одной достоверной приметы для воспоминаний,— все как будто похоже, но с уверенностью сказать не могу... На противоположном — что удивительно! — таком близком теперь берегу обозначились два-три строения, но они это или не они — я не мог решить даже про себя.

И все-таки надо было идти вперед, идти по этому длинному узкому мысу. И я пошел, прокладывая рыхлый след в густой, багряно-ржавой траве.

Возле прибрежного куста, ветки которого обдали меня брызгами и листиками, похожими на желтые чешуйки, начал спускаться к воде. Потом наклонился, чтобы зачерпнуть горсть воды правой ладонью,— и раздумал: вода текла в радужных пятнах мазута и со дна ее подымалась какая-то зелень, дурная по запаху... Однако именно эта расцвеченная мазутом, эта зеленая по виду Одра вдруг — в силу чувственного контраста — заставила меня очнуться, оглянуться и пристально посмотреть на противоположный — западный — берег, который возле самого уреза воды оказался совсем другим: он стал удаляться от меня, а прежде узкая полоска воды — расти, шириться, покрываться зыбью от разрывов артснарядов и мин.

Сколько же, боже ты мой, в этой радужной от мазута и вспененной воде захлебнулось нашего брата! Сколько всплыло позднее в одних гимнастерках, в ватниках, в сером шинельном сукне. Нет, я никогда не сделаю того, что сделал хемингуэевский полковник Кантуэлл на берегу итальянской речки Пьяве, и не скажу, что война это всего-навсего дерьмо, железо, деньги... Нет, для меня война осталась правдой-справедливостью... Такой, как для всех нас, живых и мертвых...

Невольно я отломил ветку от прибрежной ветлы, низко наклонившейся над одерской переправой. А потом порешил: пусть она поедет со мной на родину. Положу ее там на черный могильный гранит солдатской матери — моей матери, моей мамы.

Снежные, свистящие, вспененные валы катятся над всей Верхней Силезией. Звезд не видать. Авиация без-

действует. И лишь огненные вспышки артналетов кромсают ночную мглу. Валы добегают до судетских предгорий и там затихают в лесных урочищах.

Вал за валом накатываются колонны наступающих войск, входят в узкие горловины городских улиц, бурлят на рыночных площадях и широко разливаются по полям, где пехота идет неровными цепями и где танки и самоходки вязнут в ночных заносах, подрываются на минах, горят жарко, чадно.

Неразличима смена снежных валов, бегущих друг за другом, неразличима и смена наступающих колонн, которым поставлена одна цель, одна задача: достичь Одера и переплеснуть, где можно, гребень наступающих войск на другой — на западный — берег.

Мнут солдатские ботинки снег на дороге. Позвякивают котелки о приклады. Вьется над рядами сигаретный и махорочный дымок. Колонны, вопреки уставным положениям, растянулись неимоверно: сколько на обочины ни выбегаешь, не видать ни начала, ни конца.

По правой стороне дороги движется армейская техника. Завьюживают снежок штабные «виллисы». С завистью смотришь вдогонку: у тебя от усталости гудом гудят ноги, сохнет во рту и перед глазами — на бесконечно белом — плывут черные точки. А дорога властно приковывает взгляд, гнетет, гнет, клонит в дрему...

Вот и сейчас взвод шагает мимо лесной поляны: из пушистого снега, наметенного за ночь, торчит нога в шерстяном носке, подальше — горб серо-зеленой офицерской шинели, а возле самой дороги — вскинутая, застывшая рука: на запястье — металлический браслет часов. Какой-то солдатик в шинели, подпоясанной брезентовым ремнем ниже хлястика, встрепенул, выскочил из колонны, но сразу же увяз по пояс в снегу, выбрался на дорогу и, смешно оттянув бабий зад, поспешил догонять своих... Вот в канаву свален черный немецкий «оппель»: на обочине разбросаны чемоданы и баулы — поземка выдувает из них какие-то бумаги, немецкие рейхсмарки, фотографии... Они застревают в колесах, перемешиваются солдатскими ногами со снегом и остаются далеко позади.

С приходом ночной темноты — без костров и походных кухонь — валишься на лапник, нарубленный и прикрытый плащ-палаткой. Но еще какое-то мгновение качнешься на снежных волнах, неразличимо сменяющих

друг друга, как неразличимо сменяют друг друга дни и ночи этой многотрудной жизни на марше.

В ночь на 31 января Командарм 59-й доложил в штаб фронта, что его войска в районе города Старо-Козле и Гливицкого канала вышли к Одре и предприняли во многих местах попытку форсировать водную преграду.

...Память сердца — память зрительная. И сила зрительных впечатлений, мне кажется, имеет большую власть над душой человека, чем сила доводов и рассудка. Не потому ли Константин Батюшков и воскликнул: «О, память сердца! ты сильнее рассудка памяти печальной...» Конечно, не только потому, но еще и потому, что сердце — чувствует, мысль — убеждает, сердце — верит, мысль — анализирует и отрицает.

Отправляясь с лекциями в Краков, а затем и в Ополе, я, честно говоря, не думал предаваться фронтовым воспоминаниям, ибо другое мечталось мне: познать искусство польского сецессиона, повидать его шедевры в подлинниках, насладиться красотой, которая открывает в человеке все остальное. Но сотворение мира шло не только на прекрасных витражах Станислава Выспяньского... Сотворение мира из хаоса и инобытия войны шло на тех же древних краковских плитах, что еще хранили отзвук легких шагов живописца и гром тяжелого солдатского бега.

Да, впечатляющими по красоте и свободе линий оказались полихромии Выспяньского... Но незабываемым на целую жизнь был душевный порыв солдат, которые несли долгожданную свободу другим. А искусство, свободное по своей сути, может быть воспринято полно и сильно лишь человеком свободным... Стало быть, солдаты с красными звездами на ушанках возвращали к новой жизни не только народы, но и лучшие их творения кисти, резца, офортной иглы.

Вот почему память сердца тем легче и тем сильнее овладевала мною, чем чаще я представлял себя там или на том месте, воскрешал все, что было или могло

бы быть со мною. И с каждым часом, проведенным в дороге, я испытывал все большее давление пространства и времени, которые, заполняя меня, становились из прошлого — настоящим, из настоящего — будущим.

Оттепель началась еще днем: внезапно повалил крупными хлопьями снег и заштриховал всю окрестность. В этом густом снегопаде мы скрытно — без единого выстрела — подошли к Одеру, спустились на лед, определили подъездные пути, места для аппарелей. А глазное, убедились, что лед слабый, с промоинами, особенно опасными для артиллеристов, что надо его усиливать, прокладывать деревянные щиты на прогонах.

Однако к вечеру снег прошел, и с неба стала сеяться мелкая снежная пыльца, которая на лету превращалась в изморось. Стемнело раньше обычного, и нас это не могло не радовать, как и прибытие грузовых автомашин с подручными материалами — бревнами, досками, горбылями. А с неба по-прежнему сеялась пыльца, которая при порывах ветра взвихривалась, больно покалывала лицо — оно сразу становилось мокрым. Теперь при вспышках осветительных ракет, изредка бросаемых пехотой, колеи подвод и стежки следов, четко впечатавшихся в снег, поблескивали талой водою. Вода унизывала каждую ветку, отбивала четкую капель под обрывом.

Но для нас это потепление становилось сущим бедствием. За первые два часа работы у саперов все намокло — сапоги, ватные брюки, телогрейки, все как-то огрузло, заставляло ловить пересохшими губами пыльцу, отвесно падавшую с неба.

А тьма сгущалась, и лишь на фоне темного берега белела снегом гладь реки да различались фигурки саперов, которые спешили за ночь соорудить деревянный настил. Вразнобой стучали топоры, взвизгивали пилы, слышались голоса, и думалось, что в этом снежно-дождевом мраке один навык помогал мастерам безошибочно згонять в доску дюймовый гвоздь, в бревно — железную скобу.

Но перед рассветом стихло, и небо как бы повторило заснеженную землю: застыли черные заносы туч, перестал падать снежок, и даже капель смолкла в предчувствии неведомых самой природе перемен.

Колеи щитовой дороги лежали теперь на льду от берега до берега, одним концом уткнувшись в пологий спуск, который шел от фольварка к реке. Его остроко-
нечная крыша и крыши других строений четко выделя-
лись на небосклоне. Фольварк еще днем заняла рота
пехотного полка, и теперь солдаты оборудовали вокруг
него огневые точки.

По всему, надо было ждать начальства, и оно не
замедлило явиться. По колеям щитовой дороги двига-
лась легковая машина — «виллис» дивизионного инже-
нера Козырева.

«А-а-а, это ты!..— сказал он вместо приветствия.—
Так вот от самой Нарвы и топаешь?» — «Так вот и то-
паю, товарищ полковник»,— сдержанно ответил я.—
«Ну-ну! А я вот все на машине... Даже сюда на маши-
не приехал». Я улыбнулся: понял намек дивинжа,
который конечно же рисковал, направляя «виллис»
по недавно сколоченному настилу. Однако и ему нуж-
но было убедиться в пригодности переправы для бо-
лее крупных операций. Вместе с двумя другими стар-
шими офицерами мы поднялись к фольварку, за кото-
рым до самого горизонта шли изрытые воронками и
окопами заснеженные поля. Потом вместе спустились к
Одеру и еще раз прошли по настилу. «Все, как в учеб-
нике по мостостроению!..— Козырева не покидало хоро-
шее настроение.— Но трос все-таки натяни, лейте-
нант!» — «Для чего, товарищ полковник?» — «Мало ли
что...— неопределенно сказал Козырев и заключил на-
ставительно и строго: — А переправу держи, сколько мо-
жешь!»

Светлевшее небо прочертила последняя осветитель-
ная ракета с дымным хвостом. От фольварка разда-
лась автоматная очередь: начинался еще один день
войны.

Саперы собрались в задней комнате жилого дома.
От фуфаяк так и валил пар. Слоился густой табачный
дым. Пахло потом, портянками, мокрым шинельным
сукном. Бойцы переобувались, перематывали обмотки и
ругали старшину Маслова, прозванного едко: Масло-
в-рот. «Вон, говорили они, пехоте в термосах суп уже
принесли. Горячий. А наш Масло-в-рот его, где он?...»
Кое-кто из пехотинцев поделился с саперами густой

вермишелевой похлебкой — и ложки дружно забрякали о стенки котелков.

Запыхавшийся младший лейтенант заскочил в комнату: ему было приказано позвать меня к ротному командиру. Встретили там шумно.

Ротный — капитан в меховом офицерском жилете и фетровых белых бурках, сшитых ротным сапожником, — все хлопал ладонью по скамье рядом с собой и все приговаривал: «Садись, сапер, — гостем будешь, ставь вина — хозяин будешь!»

Судя по всему, был он уже, как говорится, на взводе, и его широкое, заросшее едва ли не до глаз рыжей щетиной лицо лоснилось от радушия. Приговаривая, он мигнул младшему лейтенанту, и тот, нагнувшись, выдвинул из-под стола суповой бачок. «Вина ставить не нада... — Ротный зачерпнул из бачка алюминиевую кружку и, сильно стукнув кружкой по столу, заключил: — Пей даровое, лейтенант!»

Я принял кружку, поискал было глазами, чем бы запить, но воды на столе не оказалось; стол был завален буханками армейского хлеба, заставлен банками с колбасным фаршем, шпинатом, зеленым горошком — все искромсано ножом, с торчащими из банок алюминиевыми ложками. Но воды так и не было нигде. Выдохнув всей грудью, я осторожно поднес кружку к губам. Сидевшие рядом офицеры рассмеялись: мол, у нас этого добра — цистерна на железнодорожных путях. Пей, сапер, не стесняйся.

Спирт-сырец, дымный, суховатый, отдающий самогонкой, опалил гортань, разлил тепло по телу, ударил в голову. Кто-то подал мне ломоть свежего армейского хлеба, намазанный колбасным фаршем. Я закусил. Потянулся за сигаретами.

Но ротный, не дав опомниться, хлопнул меня по спине: «Пойдем!» И мы прошли ряд комнат, заполненных солдатами, ящиками с патронами, катушками с телефонными проводами и еще бог весть каким необходимым на войне и для войны ротным имуществом.

Стали спускаться в подвал, по-польски — в пивницу... Капитан светил немецким фонариком — жужжалкой. Неверный желтый свет скользнул по цементному полу, по грудам картошки, кое-где подтекшей, и вдруг

в дальнем углу выхватил существо, закутавшееся в отрепья. При нашем появлении оно стало торопливо стаскивать их с себя. «Из перемещенных...— угрюмо сказал ротный.— Вишь, как ее отделали?..» А когда поднялись к дневному свету, уже трезвея, пояснил: «Одного из них поймали... Здесь, в фольварке, поймали. Совсем, шкура, успел переодеться в цивильное. А сапоги-то, сапоги-то—раструбом. Немецкие, солдатские сапоги!» Последние слова ротный выкрикнул, приблизив ко мне рыжебородое лицо. «Ну, мы его и...» — он выразительно повел рукой, обозначая очередь автомата.

Мокрое шоссе зеркально отсвечивало перед нами, подымаясь все выше от взгорья к взгорью, а поэтому казалось, что от горизонта — в обратной перспективе — сбегала к нам асфальтовая река. Она сбегала плавными волнами: встречные автомашины на самых отдаленных гребнях несли по ней отраженные огни. И чем ближе к нам, тем длиннее были эти отраженные полосы света. Вот они добегают до нас, ярко вспыхивают — и исчезают вместе с машиной.

«Кшижсто, почему нам сигналят?»

Кшижсто услужливо обернулся ко мне с зажигалкой... «Нет, я не хочу курить...»

Навстречу стремительно приближается автофургон, окутанный облаком дождевой пыли, с ослепительно сверкнувшими фарами. «Кшижсто, сигнал... Почему подают сигнал?» — «Не вем, товажишь...» Кшижсто хитрит, он идет с превышением скорости, и встречные шоферы сигналят ему об опасности: на такой скорости «фиат» мог пойти юзом и развернуться поперек дороги.

«Сколько вам лет, Кшижсто?» — «Два-на-десять два». — «В ваши годы я был такой же дурной...»

Кшижсто смеется, слегка сбавляя скорость.

«Лейтенант! — связной трясет меня за плечо. — Вода прибывает!..» — «Не может быть... Ты что-то путаешь...» А сам нащупываю в кармане трофейный металлический портсигар, закуриваю, щелкаю крышкой... И этот сухой щелчок, как выстрел, сразу же отгоняет сон.

В офицерской комнате еще темно: похрапывает за занавеской ротный, по-детски тихо опит младший лейтенант.

Мы выходим. За дверью — неуловимый миг рассве-

та, когда все синеет: и лица, и стены, и снег, который стал даже каким-то фиолетово-синим, а не просто расцветным синим снегом.

Мы спускаемся к берегу, где возле лебедки, натянувшей стальной трос, в окопчике дежурят два сапера: Ивков и Сарапов.

«Не понимаю, в чем дело, товарищ лейтенант.— Ивков как старший показывает на Одер.— Вроде бы половодье в верховьях?..»

Суживаясь, но и разливаясь все шире и шире, мчались потоки воды. И по тому, как в них повсеместно возникали пенные застрugi и водовороты, можно было догадаться о скорости течения, о напоре этих потоков.

«Подыми взвод!» — бросаю я связному. А сам, как и солдаты, с недоумением и скрытой тревогой смотрю, что вода уже слилась воедино, что она с шумом перепадает через дощатый настил.

За моей спиной распоряжается помкомвзвода Иван, сразу же оценивший обстановку: саперы подтаскивают к воде бревна, длинные доски, горбыли.

...Фыр-фыр-фыр... Это первая мина ударяет в мерзлую землю и разбивается со звоном медной тарелки... Началось, что ли?

«Всем — в укрытие!» Сам вскакиваю в окопчик, где кроме меня припали к стенке Ивков и Сарапов. А перед глазами — все та же вспененная, жадная до скорости, широко разливающаяся между берегами река. «Может, и половодье... Может, и половодье... — стучит молоточком в висках. — Нет! Это шлюзы... Это немцы... Это шлюзы...»

Додумывать некогда... Мощным напором вода прогибает настил, разрывает его, кувыркает щиты и в высоком клокочущем перепаде вместе с обломками льда уносит вниз по течению...

«Все! — мелькает отрешенно. — Переправа накрылась!»

И в подтверждение не мысли, но какого-то внутреннего, осмысленного, доведенного до предела напряжения вижу, что тяжелый снаряд вспахал воду в десятке метров от нас. Вот это началось по-настоящему...

От фольварка доносится хлопанье наших «сорокапятков». Где-то из-под сарая стучает ротный миномет. Но автоматной и ружейной стрельбы пока не слышать. А дают жизни, гады, ох дают...

Провисший стальной трос буравит реку, свивающуюся в отдельные пряди... Надо подтянуть трос, немедленно подтянуть! Трос — это связь, это паром, это новая переправа... Давай, ребята, давай, живо к лебедке!.. Сарапов, вывалившись из окопчика, тут же припал грудью и щекой к истоптанной сапогами земле. Тяну его, пинаю в бок, стреляю в воздух... Ах, чтоб тебя: контузия страхом... А рядом с Ивковым ко второй рукоятке лебедки уже встает подоспевший помкомвзвода Иван. И-и-х! Этот звук без длительности, он замер в одной точке: значит, рвануло рядом.

И тогда из-за поворота надвинулось что-то громоздкое, горящее, стелющееся по воде черный дым. Ближе... Ближе... Узнаю: железный плашкоут. Он забит ранеными. А немцы все больше усиливают огонь. Сквозь разрывы снарядов и клочья черного дыма видно: кто-то прыгает в воду. За ним — второй... Третий... И словно туго натянутая струна, лопается трос, — его растрепанный конец, спружинив, падает на берег. Плашкоут разворачивает на стремнине, и он скрывается за береговым откосом.

Прижимаясь виском к мягкой обивке салона и по-прежнему ощущая скорость «фиата», которая пронизывала меня насквозь, я медленно погрузился в какую-то странную дрему. И сразу же почувствовал под ногами истертые плиты внутреннего дворика Вавельского замка, увидел самопроизвольно распахнувшиеся двери в парадных залах, где поблескивали навощенные мозаичные полы, сверкали медью старинные канделябры и возникали знаменитые фламандские шпалеры, которые еще больше увеличивали без того огромное пространство дворцовых зал. А повествовали они все о том же — о человеческом добре и зле. Чувство преклонения перед этой вечной красотой заполняло меня...

«Еще раз этот самый «пантер» лапой по фольварку вдарит — и всем нам капец! — ротный с досадой потер рыжеватую щетину на подбородке. Затем резко спросил: — Что молчишь, лейтенант?» — «Да днем идти ту-

да бесполезно. Асфальт под мины долбить надо... Перестреляют». — «А в сумерках?.. В сумерках он как раз из лесу выходит?» — «В сумерках, пожалуй, можно... Пожалуй, можно в сумерках рискнуть...»

В сумерках Ивков и Панематкин, нагруженные немецкими противотанковыми минами, ныряют в воронки, появляются и снова исчезают в бесконечном артиллерийском и траншейном рытье, заваленном убитыми, засыпанном глыбами мерзлой земли. На плечи им падает редкий снежок. На земле воцаряется какая-то странная, деревенская тишина, кажется, что можно услышать их хриплое дыхание и глухие удары мерзлых комков, срывающихся из-под солдатских ботинок.

Вот они огибают колы колючей проволоки, через которую перекинулся спиной немецкий автоматчик, — он так и лежит с широко раскрытым, как будто орущим ртом. Вот они заходят за исковерканную взрывом «сорокапятку», вот уже совсем пропадают из глаз...

«Ивков вернулся!» — эта новость застала меня в комнате ротного, вернее — в углу этой бывшей комнаты, еще не развороченном артснарядом и прикрытом от снега плащ-палаткой. Двое суток минуло с тех пор, как саперы ушли на боевое задание — подрывать немецкое тяжелое самоходное орудие. И я был вынужден отправить донесение в Альт-Козель, что среди убитых и раненых у меня значилось двое пропавших без вести. Теперь перед особистами надо отчитываться. И вдруг новость — Ивков вернулся!..

Сапер сидит на ящике из-под мин, сгорбившись, опустив кисти рук между колен. Он без шапки. Полы зеленой шинели оборваны, грудь заляпана грязью. Ивков, как обычно, не встрепенулся, не встал, чтобы приветствовать офицера. Нет, он продолжал сидеть все в той же усталой, угрюмо-безразличной позе.

Делать нечего: переворачиваю кресло и сажусь напротив него, положив ладони на спинку и опираясь на них подбородком.

«Рассказывай, Ивков!»

...Они лежали в склепе. И все их существо — все, что было в них и было ими,—превратилось в слух. Только в слух!.. Ибо там, над головами, ходила их смерть. Грохот дизельного мотора, казалось, разрывал барабанные перепонки, лязганье гусениц и скрежет железа о камни вдавливали тела в цементный пол, которого они не видели и не могли видеть, но холод которого ощущали пронзительно, до дрожи.

Они не могли определить ни времени, ни пространства, не знали, как давно они лежали на этом полу, залитом зловонной жидкостью. Они не видели друг друга, а лишь чувствовали близость по дыханию... Беда стряслась неожиданно и как бы сама собой. Возле шоссе они попали под прицельный пулеметный огонь и, чтобы выйти из-под огня, бросились в сторону... И вот теперь, избитые, окровавленные, лежат в крошечной тьме. А над головами мотор работает на малых оборотах, затем ревет в полную силу, хотя броневая гора по-прежнему остается на месте.

«Вроде как бы дымком пахнет? — в голосе Панематкина послышалась скрытая тревога.— А-а-а! Ироды! — закричал, уже не сдерживаясь, Панематкин.— Они нас газом травят. Выхлопным газом травят, как крыс...»

Действительно, тьма пахла удушливым газом грохочущих дизелей «пантеры».

«Ивков! Братец! Ивков! — взвыл, задыхаясь, Панематкин.— Режь полу шинели... Скорее режь. Намочи сукно. И дыши. Может, выживешь. Может, увидишь белый свет...» Больше говорит Панематкин не мог: он зашелся в удушливом кашле...

...Ивков замолчал, опустив голову. И только сейчас я увидел, что его стриженные волосы как будто покрылись свинцовой пылью. За одну ночь поседел Ивков. Да и во всем его облике, в хриловатом голосе, в тусклом взгляде было что-то стариковское, усталое, безнадёжное.

Нет, он не считал себя виноватым в том, что случилось с ними. Не считал он себя и потерянным или пропавшим. Но теперь его душа была отравлена злобой и ненавистью тех, кто, оказывается, на четвертом году войны не изведal ни сострадания, ни сочувствия, ни простой способности видеть в нем человека. Уж лучше бы их расстреляли у груды битого кирпича. Было бы

это как-то по-солдатски честно, по-человечески... Так нет, их травили газом, словно крыс...

«Рядовой Ивков, встать!» — резко скомандовал я, вскакивая сам и торопливо прерывая этот хриплый — про себя — шепот. Я чувствовал: еще мгновение — и солдат забьется в судорогах. И это — тот самый Ивков, холодное самообладание которого не раз меня удивляло и восхищало.

«Лейтенант, не дай убить в себе человека!» — простонал Ивков, бессильно сползая с ящика на колени...

Пани Янина подала знак шоферу, и возле собора, разрушенного в дни войны при бомбежке и недавно полностью восстановленного, мы сделали краткую остановку. По внушительным размерам и по сходству с каменным кораблем этот собор, конечно, производил сильное впечатление. А когда пани Янина открыла тяжелую дверь и мы оказались внутри базилики, то ощущение значительности еще более усилилось. Не только мои глаза — казалось, все существо втягивалось в это уходящее ввысь пространство. Оно было подчеркнуто краснокирпичными сводами, освещено янтарными витражами и утяжелено длинными рядами скамеек, на которых можно было различить молящихся женщин. Интерьер базилики не имел украшений графитто или барочно-скульптурной пышности, к которой невольно привыкаешь за время поездки. Нет, в этом суровом торжестве камня, в этой мощи обнаженной краснокирпичной массы, подпиравшей свода, ощущалась гармония, которая имеет и эстетический, и этический смысл. Истинная красота — редка, а красота такой вот суровой и строгой громады кирпича, расчлененной белыми поясами и ячеями кладки, тем более... Безусловно, мои переживания имели ценностную окраску, в то время как пани Янина в посещении соборов и в знакомстве с такими вот памятниками архитектуры признавала лишь познавательный смысл. Она и здесь обращала мое внимание на древние горельефы и памятные доски и не без гордости подчеркивала, что этот кафедральный собор был основан Болеславом Храбрым и лишь позднее перестроен в готическом сти-

ле. Ибо после смерти последнего опольского князя из рода Пястов — Яна Доброго земли древнего славянского племени слежан попали под власть Габсбургов и были отторгнуты от Польши на четыре с лишним века. Эту историческую несправедливость — об этом хорошо знает пан Лектор — исправили после второй мировой войны.

Конечно, я с глубоким интересом рассматривал и древние горельефы, и памятные доски, и какие-то простые стеклянные банки с увядшими цветами возле скульптуры Пенкнэй Мадонны. Да и сама эта мадонна, не нарумяненная, не украшенная позолотой в духе многих других католических изваяний, а суровая и скорбная, явилась мне такой, какой я видел ее однажды. А может быть, мне почудилось, что я ее видел... Не знаю, хотя в ее левой руке, судорожно стиснувшей платок, — в этом извечном жесте скорбящей женщины, — было что-то глубоко памятное мне.

Но что это?.. Первая токката органиста?.. Или бомбовый удар?.. Почему зазмеились трещины на краснокирпичных сводах? И почему так медленно идет вдоль стены пани Янина?.. Все звуковое пространство заполняется одним пронзительным свистом. Это немецкая «рама» привела сюда «мессершмитты». Взрыв! Но почему так хорально-торжественна и величава наступившая тишина? Лишь где-то сыплются со стен цветные хрусталики витражей. И снова обвал космической мощи сотрясает основы этой текучей, этой органной архитектуры. Нет больше сил выдерживать напряжение: здесь рушится вселенная, а в средоточии ее вновь и вновь возникает готика непрерывных и мощных звуков!

Когда с пани Яниной мы вышли из холодной и темной базилики, прямо в лицо ударило закатное солнце, которое ослепило на миг и сразу же вернуло мне дневное сознание. Между тем асфальтированная дорожка повела нас к стоянке легковых автомашин, где, правда, не было ни одной машины и где только наш оранжевый «фиат» стоял рядом с летним павильоном. Сквозь запыленные стеклянные стены виднелись столы, закрытые газетами, заставленные перевернутыми вверх ножками стульями. Не сезон!.. Так почему же

вдруг затосковало сердце о России, почему оно зашлось болью о молодости и той далекой фронтовой весне?

Эти объезды и обходы прямо по пашне, подымавшейся вверх и там обозначающей линию горизонта, стали самой дорогой, поскольку дорога, как и вся эта вспаханная осенью земля, затекла глинисто-ржавой жижей. Ничего не скажешь: досталось пашне, вновь перепаханной гусеницами тракторов, самоходных установок, колесами пушек и автомашин, ободьями подвод, — всей военной силой, приведенной приказом в стремительное наступление. Но более всего это месиво на западном берегу Одера замесило неисчислимое множество солдатских ног. Ибо не одна эта дорога, а все пути-дороги, ведущие на запад, покрытые асфальтом, утрамбованные гравием, ухоженные, обсаженные черешнями, не могли вместить весеннего половодья советских войск, хлынувших со всех плацдармов и предмостных укреплений.

Под лучами колюче-мартовского солнца вспухшая, как опара, пашня сейчас испещрена повозками тыловых частей, автобусами медсанбатов, колоннами военнопленных, бредущих на восток. Пашня клубится парком, она дышит, как много и хорошо поработавший человек. Но для нас эта пашня началась с другого, со старого узловатого вяза, судорожно раскинувшего ветви-руки и словно пытавшегося задержать приход тепла и весны. Для нас эта пашня началась с внезапной бомбежки — «мессершмитты» ходили каруселью друг за другом, а потом падали в пике для бомбовых ударов... Поле содрогалось, стонало от тяжких взрывов, а люди молча погружались в ржавую жижу и молча умирали, как вот сейчас умирает Григорий Лесняк... После бомбежки мы нашли его брошенным навзничь взрывной волной. Кто-то поспешно развернул плащ-палатку, и вот так, на плащ-палатке, мы волочим его волоком к сухому бутру, к подножию лесного великана. А Григорий лишь облизывает сухие губы и смотрит на нас, медленно серея с лица. Помкомвзвода Иван пытается восстановить ему дыхание, сводит и разводит руки, потом поворачивает Лесняка на бок: за ушной раковинкой слабо кровоточит ранка. Только и всего. Иван расстегивает

вает ватник Лесняка, припадает к сердцу и, подымаясь, стаскивает ушанку с головы. Здесь же, возле одинокого вяза, мы и зарыли сапера-разведчика Григория Лесняка... Ни надписи, ни столбика со звездой — ничего... Да и что найдешь в этом безбрежном море, где дымятся остатки взорванных автомашин и, утопая, бьется в конвульсиях обозная лошадь.

Нет, не так мы мечтали начать наступление! Всего два дня назад нас сменила на одерской переправе тыловая инженерно-саперная часть. И вот за два дня — вторая потеря. Первая — Юсупов. Он подорвался на mine. Теперь Григорий Лесняк. Помнится, когда он получил фаустпатрон еще там, на переправе, перед немецкой атакой, повертел его в руках и, облизнув губы, сказал: «И что за таку головешку немец придумал?...» Смешно так сказал и очень похоже... М-да-а... А его и в санбат везти не пришлось.

Грязища... Конца и края не видать. Хорошо, что я в солдатских ботинках, а вместо обмоток кожаные краги: сапоги бы здесь запросто засосало... А в ботинках — дело проверенное. Проверено еще моим отцом, который носил, наверно, такие же в ту, в гражданскую...

Вот так мы и бредем по пашне, поглядываем на небо, которое сияет прежней праздничной голубизной, и в конце концов набредаем на штабеля никеля.

В этих штабелях — велосипеды, сплошное сияние рулей, ободьев, спиц... Бери любой! Но пехота, идущая впереди, не зря побросала трофейную технику. Охота ли тащить на себе через разгулявшееся море грязи хотя бы и самый лучший дорожный велосипед? Нет, пехота дело знает туго: хватит еще впереди этого никелевого сверкания!

Невдалеке от перевернутой взрывом подводы лежит труп: жижей заплыло лицо убитого, и лишь ноги, обутое в белые бурки, торчат из вспучившейся земли. Сердце мое упало: бурки! Мне показалось, я узнал эти бурки... Но шагом, братцы, шагом, как в той солдатской походной песне, грузным шагом проходит взвод, сгибаясь под тяжестью оружия, шанцевого инструмента и взрывчатки в заплечных мешках.

...Почему я раньше не замечал этого?.. Словно в строю, шли серые гранитные обелиски, ряд за рядом и квадрат за квадратом, увенчанные армейской звездой, званием, именем павшего. И только на этой безмолвной перекличке не было слышно голосов тех, чьи имена так и остались неизвестными... Теперь уже — навсегда.

Ряд за рядом и квадрат за квадратом: «Советский офицер». «Лейтенант Советской Армии. 16.2.1945». «Старший лейтенант. 16.2.1945». «Младший лейтенант. 4.5.1945».

Похрустывает под ногами щебенка... Из-за кладбищенской ограды, где у ворот застыла «тридцатьчетверка», доносится глухой и отдаленный, как шум прибоя, шум города. А здесь тишина. Она не нарушается ничем: ряд за рядом и квадрат за квадратом... Отговорили. Отпели. Откричали. Теперь безмолвны. И комок подкатывает к горлу — не передохнуть: ведь и я мог бы, вот так мог бы, как эти младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты всех родов войск. Странно: не скажу, чтобы мне было жалко себя того, девятнадцатилетнего. Но лишь с какой-то острой, болезненной ясностью осенило: тяжело лежать им здесь, далеко от Родины, и так безвестно, и так одиноко. Тяжко!.

Пани Янина в накинутом на голову монашеском капюшоне плаща, казалось, сразу ссутулилась и постарела: ведь и у нее — свои безымянные, свои павшие под Ленином, Мехуном, Краковом, Варшавой. Ряд за рядом и квадрат за квадратом.

Возле ворот, поближе к «тридцатьчетверке», на сером гранитном обелиске лежала одинокая роза — черная роза Ополя.

Все глубже и глубже забирал наш «фиат» в Бардские горы. И все круче змеилась дорога по склонам гор, которые в эти последние дни октября были по-настоящему красивы. И живописны. Сквозь золотистое руно леса с подпалинами темных хвойных пород выступали базальтовые столбы, высвечивали каменные

террасы, далеко виднелись скалистые вершины. Вот на таком живописном склоне, в зарослях горного бука и граба, проплыл мимо нас Отмуховский замок, известный, как сказала пани Янина, крытой каменной лестницей, по которой в замок вводили рыцарских лошадей. Значит, совсем рядом город Клодзко, а за ним Орлицкие горы и на границе с Чехословакией — знаменитые Моравские ворота.

Поворот, еще поворот — и вниз, в долине реки Ныса Клодзская, — город Клодзко, которому, пани Янина здесь со значением тронула дужку очков, по официально летоисчислению скоро исполнится тысяча лет. С незабываемым волнением я посмотрел вниз. Все так и есть: чешуя черепичных крыш, узость средневековых улочек, изгиб реки с каменным мостом, украшенным статуями святых, да еще, пожалуй, фигурные купола старинного, в стиле барокко, собора — вот облик города, в котором я даже не мечтал побывать вновь. А довелось!.. И довелось вновь взглянуть на уютную горную долину, которую, вероятно, невозможно представить себе без городка Клодзко с крепостью времен Фридриха II. Мощные башни, казематы, подземелья неповрежденными выстояли два столетия. Даже войска Наполеона не могли взять этой твердыни, которая утверждала прусское господство в самом сердце Европы. Но в конце минувшей войны крепость пала, как падает иструхший изнутри, сломленный бурей лесной великан.

Все новые и новые вспышки воспоминаний сделали зримыми мгновения, которые мне довелось пережить именно здесь, в долине реки Нысы Клодзской! Тогда войска вливались в лесистую и сумрачную долину, оглашая горные склоны грохотом танковых дизелей, ревом мощных моторов, ржанием лошадей, впряженных в трофейные фазтоны и армейские фуры, а главное — звуками аккордеонов, поблескивавших перламутром, переборами своих родных российских гармошек. Ах, какое это было время! Пело все войско, растянувшееся на десятки километров. И в каждом взводе — свой запевала и своя любимая песня. Вот тогда-то, восседая на танковой броне, на облучке помещичьего фазтона, на обозной двужолке, многие из нас с невольным об-

легчением смотрели на эти горные откосы, на эти стены и бастионы, которые вырисовывались на фоне майского неба. А небо — такой безмятежной, такой солнечной голубизны, что и оторваться от него невозможно...

Все как тогда! И в город Клодзко — не въезжаешь, а сразу же оказываешься на одной из его старинных улочек или площадей: так стремителен спуск с перевала. Вот только что был на лесной дороге, а машина уже объезжает угол дома с вычурной башенкой пли статую католического святого на площади. В этих крохотных улочках могли разобраться лишь наши фронтовые шоферы да всезнающий Кшижсто, который и притормозил «фиат» у местного отделения общества. Пани Янина, извинившись, ушла обговаривать какие-то дела. А мы с Кшижсто, потягиваясь, покуривая, разглядывали улочку и редких прохожих, странно медленно проходивших мимо нас. Ибо мы еще жили дорожной скоростью, дорожной отрешенностью, которая вообще-то свойственна людям, долго пребывающим в пути. Но этот городок располагал к себе: здесь было уже по-южному солнечно и тепло. И нам не хотелось нарушать этого солнечного, этого медлительного течения жизни громким смехом или ироническими репликами, которыми обычно обмениваются между собою люди дороги.

Добавлю, меня вообще не покидало ощущение счастья, которым я был переполнен с того самого последнего перевала, с которого нам открылась долина Нысы Клодзской. Оно выросло из глубин моей души, оно как бы озарило эти многовековые камни и эту затейливую кладку в стиле позднего ренессанса.

Здесь, в Клодзко, вторая мировая война уходила в прошлое. Здесь она истаивала, здесь она крошилась в мелкое крошево. И здесь восходило святое солнце победы. Оно восходило вон из-за тех Злотых и Бардских гор, которые и сейчас виднелись на горизонте.

А с наступлением майской, такой чуткой, такой отзывчивой темноты гребни этих гор озаарились невиданным еще от века фейерверком: мы палили из всех видов огнестрельного оружия, палили, радуясь и торжествуя, как многим из нас уже не пришлось в жиз-

ни ни радоваться, ни торжествовать. И быть безмерно счастливым тоже!..

Однако что-то давно нет пани Янины?.. А вот и она. Мы едем обедать в лучший клодзский ресторан «Чардаш». В ресторане можно будет как-то отметить наше прибытие сюда, на границу с Чехословакией. Однако — пани Янина здесь сделала многозначительную паузу — для пана Лектора есть некий сюрприз. «Найпершь нисподянка, потом будимешь свентовать», — добавила она по-польски, чтобы скрыть внутреннее торжество.

Мы поднялись на второй этаж трехэтажного дома, втиснутого в ряд различно окрашенных и разностильных домов, которые и составляли одну из клодзских улиц.

Дверь открыл Генрих Вадкевич, хозяин квартиры, осанистый старик лет восьмидесяти. Его седые, с пролысинами, волосы были гладко зачесаны назад, под мясистым носом — пятнышко усов, по давней, забытой ныне моде.

Едва мы поздоровались и представились друг другу — переводила пани Ковальская, — как выяснилось, что старик Вадкевич хорошо говорит по-русски. В молодости ему пришлось работать и в Петербурге, и в Твери, и в Вильно, и в других городах бывшей Российской империи.

«Товажишь Вадкевич, — вставила наша керувничка, — ветеран международного рабочего движения. Он имеет у нас очень большой авторитет».

Генрих Вадкевич сокрушенно покачал головой: «Нет, нет!.. Надо сказать попросту: один старый, старый партиец. — И, улыбнувшись, добавил: — Мой отец сказал мне: хочешь, Генрих, человеком быть — изучи три языка и имей одни хорошие рабочие руки. Я так и сделал: и языки спознал, и этими руками проработал шесть-на-десять лет».

Тогда-то, в начале века, поступив на работу в Вильненскую типографию, Вадкевич возмечтал овладеть искусством гравера. Конечно, было трудно, но он настойчиво учился у старых печатников репродуцировать художественный материал. И для этого должен был познать все графические средства, уметь пользоваться

любой техникой — будь это литография, ксилография, цинкография, сухая игла или акватинта. Тогда-то он и подружился с Фердинандом Рущицом, известным художником сецессиона, директором Вильненской художественной школы. Вот в чем заключался сюрприз пани Ковальской. Ибо у Генриха Вадкевича имелись редчайшие репродукции с картин почти всех художников сецессиона.

После традиционного для клодзского гостеприимства вопроса: «Вам чаю или кофе?» — Генрих Вадкевич извлек из шкафа первую большую папку, развязал тщательно завязанные тесемки и стал передавать нам листы шероховатой бумаги. Уже в этих первых его жестах я ощутил художественную натуру: Вадкевич тянулся к офорту, который, однако, прежде чем передать нам, осматривал, словно желал вновь убедиться, что этот вариант — наилучший.

Разговор в основном вели мы с Вадкевичем, а наша керувничка брала листы после нас и, как я заметил, всматривалась в них с тем пристальным и вроде бы подозрительным вниманием, с которым она глядела и на людей.

Вот репродукция рисунка Станислава Выспяньского «Собор в Кракове», говорил старик Вадкевич... А вот, вероятно, ему же принадлежащий подлинник. И на стол, покрытый домотканой скатертью, он бережно положил пожелтевший от времени офорт: порыв ветра срывает с ветлы последние листья. И они, взвиваясь, превращаются в стаю черных зловещих птиц. Странная, мучительно-болезненная фантазия — она позднее долго преследовала меня.

В других папках были собраны другие художники: так я увидел Аксантовича, Бознанскую, Вичулковского, Мальчевского и конечно же Яна Станиславского, которого Михаил Нестеров по-дружески называл Иваном Антоновичем, горячо любил и создал, кстати сказать, его превосходный портрет.

Однако полнее всего у старика Вадкевича был представлен Фердинанд Рущиц.

В Рущице не было той милой славянской меланхолии, которой Нестеров восхищался в пейзажах Яна Станиславского. Напротив, мазок Рущица резок, энергичен, экспрессивен, а пейзаж пронизан тревожным чувством и настроением. Вот его «Водяная

мельница зимой»: ну чем не классический пейзаж кого-нибудь из барбизонцев?! Однако в омуте вода зловеща, как она может быть зловещей у одного Рушица.

Вот дождь, который немилосердно сечет странников, вот черная грозовая туча, которая через мгновение рассеет эту сельскую благодать. И с последними словами Вадкевич извлек из папки офорт «Старый дом». На репродукции царил, казалось бы, золотой век: цветущие кусты сирени, ветлы с чуть трепещущей листвой, белые — и такие патриархальные, такие дворцовые — ставни на окнах старого дома. Однако с правой стороны уже закрывало небеса грозовое облако, уже медленно и неумолимо оно надвигалось на нас, и уже казалось, что гром и молния вот-вот сотрясут до основания это деревенское затишье. Вот почему в пейзажах Рушица, как и других художников сецессиона, зритель, который осаждал новые художественные салоны, бисировал на галерках в новых театрах, воздвигал баррикады пятого года, узнавал, принимал и приветствовал собственную жизнь.

Тут старик Вадкевич надолго замолчал. А затем, пригладив рукой и без того тщательно зачесанные назад волосы, как будто совсем потерял нас из виду.

«Конечно, — вздохнул он, — картины художников, все существо которых заключено в мгновенном блике, в прозрачной дымке и светотени, превращать в листы черно-белых репродукций — варварство! Но многим другим хочется понять этих удивительных мастеров, ибо сетчатка их глаз различала в солнечном луче все цвета радуги. Как это сделать?.. Вероятно, надо свою жизнь измерить их жизнью, свою высоту — их духовной высотой, свою жажду красоты — их неутолимой жаждой совершенства. А теперь — смотрите!»

Не знаю, как пани Янина, но я лично был поражен новым офортом Рушица, выполненным в технике многослойной акватинты. Эта репродукция была невелика по размерам, но значительна по силе впечатления. Сразу же мне бросился в глаза стальной блеск волн, которые захлестывали гибнущее судно. На этих вздымающихся и разом падающих массах воды вспыхивали отблески пожара. Казалось, стихия огня и стихия воды, прежде непримиримые, теперь объединились, чтобы погубить горящее, терпящее бедствие судно.

Но в мгновении, напряженном до предела, было нечто обнадеживающее. И это раскрывалось в названии картины: «Не тонет!» «Не тонет!» — голос самого художника, который в революционном пятом году написал картину. «Не тонет!» — это судьба его родины, его Польши. «Не тонет!» — это и моя судьба, моя январская переправа, когда мимо проносился горящий плашкоут и скрывался среди взрывов, среди клокочущих волн.

...Умопомрачительный ночной пробег по маршруту Клодзко — Краков мне запомнился на всю жизнь. Шоссе слегка подмораживало, однако Кшижсто вел машину на предельной скорости, и мы понимали, что в любой миг можем стать грудой исковерканного металла.

Ах, Кшижсто! С какой делегацией ты гоняешь сейчас свой оранжевый «фиат»?.. Где пытаешься выскочить из-за борта грузовика, чтобы обогнать его на закрытом повороте? Да пусть оберегает тебя польское ГАИ и твой покровитель — святой Кшижсто, собор которого ты мечтал посетить всю дорогу.

Конечно, теперь-то я понимаю и Кшижсто. Ведь каждому из нас хотелось поскорее попасть в Краков, где в старой-престарой гостинице особенно уютными были и старомодные кровати с одеялом-периной, и настенные зеркала, и даже громоздкие лифты, ползущие с одного этажа на другой. Там и меня ждал телефонный звонок Леонарда, который, как всегда, бодрым голосом сказал бы мне, что билет уже закомпостирован и что через сутки я буду в Москве.

Кшижсто включает музыку — слышится старая-престарая польская песенка «Хербата зимова», песенка о зимних сумерках, о домашнем чаепитии, об уюте, который создает надежда и любовь.

А через несколько часов мы будем в Кракове... Как разумом понять это? И какую жизнь мне считать настоящей: ту, фронтовую, пережитую в сознании, или эту, реальную, перевернувшую все прежние понятия времени и пространства?.. Разумеется, я сознаю, что скорость — идол XX века, что техника — его кумир. Но

почему у этого кумира губы измазаны кровью?.. Как вот сейчас, когда впереди нас, в свете зажженных фар, внезапно мелькнуло что-то... интуитивно мы догадались: заяц! И тут же — глухой удар о днище машины. «Бедняга!» — только и сказал сочувственно Кшижсто. А мы с пани Яниной промолчали, ибо были поражены этой мгновенной, этой роковой для лесного звереныша встречей с «фиатом» — мечтой современной молодежи.

Между тем под колеса машины набегали и набегали новые километры пути, и в эти километры укладывались часы, дни, недели наших бесконечно долгих и тяжелых зимних переходов... А мое сегодняшнее бытие показалось столь не похожим на все пережитое тогда, что я мучительно искал слово, которое бы примирило это прошлое с этим настоящим. И это слово нашлось: многовариантность! Слово — спасение, слово — закон! Однако если этот закон выходит за пределы современной физики и становится всеобъемлющим законом, то можно спросить: а была ли в таком случае война?.. А может, ее вообще могло не быть, вообще не существовать в XX веке?

Популярная музыка ласкала, убаюкивала, уводила меня в сторону от этих проклятых вопросов. А стихи — нет, стихи звали следовать за звездой. Ведь сказано древними: «Вечный дом твой — в дороге». Значит, жизнь — это дорога!.. Путь! Стезя!..

Хорошо, что там, в Клодзко, подтвердился мой догадки: наш путь, по которому мы шли зимой сорок пятого года и по которому так стремительно пролетали еще вчера, — путь через Люблин, Краков, Катовицы, Сосновицы, Ополе, Старо Козле, Клодзко и, наконец, через Моравские ворота — это очень и очень древний путь. Он такой же древний, как путь «из варяг в греки», а может быть, еще древнее. Он уже существовал в те времена, когда с берегов Варяжского моря ходили на юг — в греки, на восток — в болгары, на юго-запад — в чехи и моравы. И уже тогда он имел свое название — Янтарный путь!.. По древнейшим славянским повериям, янтарь — камень здоровья, силы, красоты. Всякому, кто приобретал его себе, он даровал бесконечно долгую, бесконечно прекрасную жизнь. Вот и везли из Копорья, Юрьева, Новгорода Великого, из всей прекрасной Руси, о которой вздыхали французские менестрели и ученые итальянские монахи, вез-

ли этот солнечный камень — в страны латинские, в страны италийские. А с запада исстари проходили по этому пути римские легионеры, тянулись огромные повозки, крытые шкурами, воинственных кельтов, двигались в пышном окружении слуг воины-крестоносцы... Возникали и рушились цивилизации, побеждали и терпели поражения полководцы, но этот путь между народами — Янтарный путь — продолжал быть и существовать.

...В ветровом стекле вздрагивала яркая северо-восточная звезда. И тут я понял: словно свет этой звезды, здесь, в древнем Ополе, сквозь меня только что прошли тысячелетия истории. Да, именно так: тысячелетия прошли сквозь меня, как проходят сквозь все живое звездные лучи, рождающиеся в глубинах мироздания. Мне уже не быть другим: мир для меня как история. Ведь я прошел путем, которым и до меня в древности проходили целые народы. И творил историю в новейшие времена, возвещал ее новый день — день победы! Я ехал Янтарным путем в пароконной армейской повозке, меня забрасывали сиренью самые красивые девушки Европы... Ибо вечный дом мой — в дороге: не только кровавые слезы текли по моему лицу; нет, я смахивал и слезы счастья перед красотой только что завоеванной победы.

Впереди на полнеба засияло электрическое зарево. Это и был Краков!.. Кшижсто сразу же сбавил ход.

ЭТИ БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ

Угарная дымка стояла над Тикшей, и неподвижное солнце надолго останавливало взгляд: его красноватое, как от свечи, пламя, лишенное летнего блеска, вызывало смутное беспокойство. Это же беспокойство порождало небо, которое с утра было тихим, безоблачным, вроде бы туманным, но без утренней освежающей синевы. В угарной дали кущи деревьев возвышались какими-то странными куполами,— казалось, там находился большой город с прохладными соборами, парками, площадями... Однако к полудню все начинало тонуть в светоносном мареве, звенящем мошкаррой, и от этих видений не оставалось следа.

А марево густело, раскалялось; на закате оно сильнее пахло дымом лесных пожаров, охватывавших Тикшу с северо-востока.

Изредка в блеклом небе раздавался приглушенный рокот мотора, смутно скользил гидросамолет с непомерно вытянутыми и, как думалось с земли, тяжелыми поплавками: это пожарники искали для посадки лесное озеро. Неожиданно зависал над Тикшей и почтовый вертолет. С аэродромной делянки, наспех выровненной бульдозерами, подымались ржавые облака пыли,— они взбухали, бутрились и медленно стекали в сторону леса. При виде этих ржавых облаков, оседавших за лесом, через делянку торопливо шагал молоденький почтальон Ванюша. Иногда к нему присоединялся на-

чальник сейсмопункта Долинский и кто-нибудь из рабочих. Пока лопасти описывали последние, вяло замиравшие круги, люди терпеливо стояли на краю аэродрома.

Но вот лепестки винта обвисали, дверца кабины откидывалась и на песок спрыгивал летчик, молодой и бледный после долгого перелета. Долинский отходил в сторону, о чем-то напористо расспрашивал летчика, а Ванюша привычно доставал с заднего сиденья посылки, бумажные мешки и, наконец, пачку писем, которую рабочие здесь же пускали по рукам.

Погрузив в вертолет поселковую почту, подхватив посылки, они шли впереди Ванюши, а тот, спотыкаясь на ходу, ухитрялся прочитывать адреса оставшихся писем. Где-то под Коношей парнишку ждала многочисленная деревенская родня, и теперь он с каждым рейсом получал поклоны, наказы, увещевания.

Дорога с аэродромной делянки проходила мимо просторного сруба: бригада сезонников рубила поселковый клуб. Один из них — Ромка Бахов, — взглянув вниз, крикнул почтальону:

— Эй, министр, портки потеряешь!

Ванюша недоуменно посмотрел на плотников, машинально, локтями обеих рук, подпернул брюки: на срубе засмеялись, а Ванюша, ускоряя шаг, обидчиво проговорил:

— Завидки берут, рыжий идол...

Нет, Бахов не завидовал почтальону, но его раздражал этот вислогубый парень, который, возвращаясь с аэродрома, каждый раз заплетался возле сруба. Сам плотник писем ни от кого не получал, — повестки из милиции приходилось, а вот письма... «Ах ты, раззява...» — начал было закипать Бахов, но его внимание привлекла пассажирка, которая шла поодаль от других. Она поставила чемодан на обочину дороги, растирая занемевшую от тяжести кисть руки. Роману запомнилась ее косынка, ловко повязанная под подбородком, ее лепкая поступь, когда она, слегка отклонившись в сторону чемодана, шла по знойной поселковой улице.

Роман Бахов, прозванный среди сезонников Ромка-Бич, попал в Тикшу недавно, и попал сюда не совсем по своей воле.

Вдвоем с бывалым Квасковым они кое-как добрались до Междуреченской, там — на последние деньги — наняли лодку-долбленку и неделю плыли вверх по течению. Ночами не спали из-за мошки, исхудали, оборвались, пока перед ними не заблестели цистерны с горючим. Это был склад Тикшинского пункта сейсморазведки. За цистернами — на повороте — сверкнули окна барачков, зазеленели вагончики-балки. За балками — по береговому откосу, — дощатые скворечники, поленицы дров, изгороди, сколоченные из горбылей: хозяйственно и домовито жили люди в этом поселке.

Лодка скользнула днищем по песчаной отмели. Роман, опираясь руками о тонкие борта, выскочил на берег. Прямо перед ним торчал шест. На шесте — фанерка; текст смыло дождями, но все-таки можно было прочитать: «Лес — народное достояние. Берегите лес от пожара».

Ромка, прогнувшись назад сколько можно, сказал вроде бы серьезно:

— Хорошо, дядя, будем беречь!

Затем оглянулся на Кваскова, который все еще сидел в лодке, весело заключил:

— Начнем, Квасок, по новой!..

И с силой потянул лодку на себя.

Солнце источало алое дымчатое сияние, било в глаза, хотя смотреть на него можно было не прищуриваясь, не заслоняясь ладонью. В закатном огне бревна сруба поблескивали рубинами смолки, а руки и лица плотников были особенно черны от загара. Один по одному они спускались вниз, к отмели, мылись, утирались подолами маек, устало, с ленцой подымались в гору. Но возле поселкового магазинчика задерживали шаг, закуривали, долго топтались на крыльце и все-таки входили в магазин оживленной и шумной ватагой.

Роман обычно верховодил и сам заказывал все, что считал нужным. Зажав между пальцами горлышки бутылок, — брали яблочное вино: другого не было, — они шли к старым тракторным саням: здесь, над заводью, было светло и просторно. Вправо тарахтел дви-

жок и помаргивали первые огни поселка. Влево простирался редкий осинник.

Деревянной рукояткой ножа Ромка сбивал сургуч, срывал жестяные закрывашки, выстраивал бутылки на санном брус. На том же брус он и располагался, твердо упираясь подошвами сапог в подорожник. Рукава обтрепанного черного свитера были закатаны по локоть. Руки — в ссадинах и ожогах — ловки и сильны. Напротив на коленях, как сидят мужики в санях, сидел Квасков. Третьим в их команде был Олег Дыня. На все приготовления он смотрел с восхищением, как на какую-то новую для себя игру. Еще бы! Он впервые живет в тайге, и с ним настоящие бичи делают вино и закусь.

Тарахтенье движка временами как будто пропадало, и тогда отчетливее доносились выкрики: «А теперь киевского, крученого подай!» Там, в поселке, сейсморазведчики играли в волейбол. А здесь, на обрыве, мошкara густо облепила спины и шеи сезонников. Однако на мошкору никто не обращал внимания: Ромка разливал вино по стаканам.

— Ну, вздрогнули! — только и сказал он. Залпом выпил, поставил стакан на брус, но закусывать не стал. По давнишней привычке подождал, пока вино не отзовется в голове легким звоном. Правда, сегодня вино медленно забирало Ромку, и он повторил, не чокнувшись с Квасковым.

— А что, ханы, — начал Роман Бахов, откинувшись после второго стакана на санный брус. — Где осталось такое приволье, как в Тикше? Или везде человек на человеке сидит, везде, чтоб ни-ни-ни, чтоб по струнке, по ранжиру, и только таким манером до исключительной черты...

— Какой, какой черты? — переспросил захмелевший Олег Дыня. Роман досадливо перебил его:

— Ты, выюноша, подожди. Ты лучше послушай голос самой дикой природы...

Встал с саней и размашисто шагнул к обрыву.

— Вот она, во-о-о-ля! — Ромка выкрикнул это с таким внезапным торжеством и воодушевлением, что Квасков, намеревавшийся было отхлебнуть от стакана, так и остался сидеть на запятках.

— Оля-оля-оля... — возвратилось из тайги и опять ушло в таежные дебри.

— Здоров ты гоготать,— укоризненно выговорил Квасков, едва Ромка вернулся к саням.

Они выпили. И снова Бахов подождал, пока выпитое звоном и теплом не отзовется во всем теле.

Он долго вслушивался в себя, и поэтому слова Кваскова доходили до него как бы сквозь воду, с трудом.

...Не та Тикша... И раздолье не то... Конечно, не то... Жизнь — вращение. И Кваску лучше об этом знать,— он здесь бывал. Тогда, говорит, красота была... В любом капкане — лесцы. На любом болоте...

— Как ты их назвал?

— Стерхи...

Ага, стерхи... Нигде, говорит, таких не встретишь. И даже не услышишь. А вот он, Ромка, слышал, мальчишкой слышал... Сами — белые-белые, а головки — красные... И глаза янтарем сверкают.

— Ну, а ты бывал на гнездовьях?

Квасков, по-ямщицки сидя на запятках, продолжал держать стакан в правой руке, поставив ладонь левой под донышко.

Бывал, говорит, как же, бывал... Думал и живым оттуда не выбраться. Котки залиты водой: оступись, ухнул по пояс — и прощай, бедолага. А холод — еле вербушки распустились. Только журавлям нипочем. Они — тварь осторожная. На самых глухих заводах любовь свою крутят.

При этих воспоминаниях лицо Кваскова, сморщенное, как печеное яблоко, разгладилось, вроде бы даже помолодело. Олег Дыня от удивления поднял брови. Роман лениво полулежал на саях. Но и по его позе и молчанию можно было догадаться, что он слушает Кваскова.

Жених, видишь ли, клювом круг намечает. К представлению готовится, журавлиху зовет, а та появится в сторонке, скромненько появится, стеснительно, встанет и замрет. Стерх подпрыгнет раз — попробует, хорошо ли. Журавлиха затокует: хорошо, мол, хорошо... И — пошло-поехало: журавль крылья вскинет, клюв вытянет, присядет, подпрыгнет... А журавлиха — не шелохнется: характер выдерживает... Только и она пошла — и подпрыгивать, и крыльями взмахивать, и такие коленца выкидывать, что одна умора.

Квасков осушил остатки, осторожно поставил ста-

кан на подорожник рядом с собой. Подумал, неожиданно заключил:

— А теперь никакой такой твари не скраться от человеческого недреманного ока.

При этих словах Ромка живо поднялся с саней, посмотрел на собеседников. Глаза его обволакивала хмельная пелена.

— Око — что! Оно в душу не глядит, ему обличье подавай, поведение...

— Верно, верно, Роман Филиппович... — слишком охотно засоглашался Квасков. — Одна баба в душу-то и заглянет.

При этих словах Квасков прижмурил глаз, как будто намекая на что-то, известное им двоим.

— Сука! — Роман с силой всадил нож в санный брус. — Запомни до гроба: об этом деле разговору между нами нет!.. Понял? И — поехали дальше.

— Мне что?! Мне хоть по волку, хоть на волка, — согласился Квасков. Он смекал: на брусѣ оставалась еще бутылка вина.

...Поутру из вагончика-балка по всей улице разнеслось:

— Таиска, воды принеси!..

Тая выскочила из вагончика, прихватила эмалированные ведра, стоявшие в пристройке, и направилась к цистерне, которую ежедневно привозили в поселок. Из реки воду для питья не брали: опасались дизентерии; она появилась в Тикше от небывалой засухи и жары.

Пышно взбитая дорожная пыль лежала на проезжей части. Словно в детстве, в эту горячую пыль приятно было ступать и оставлять от жед рубчатые следы. Тая, позвякивая дужками ведер, с удовольствием шлепая по пыли, подошла к цистерне. Из крана сильно била струя воды. Человек в черном свитере мотал головой, фыркал, ловил вытянутыми губами брызги и сладостно постанывал. По каким-то неуловимым признакам Тая угадала в нем сезонника, которого видела на пристройке. Его мокрые волосы, отливавшие темной медью, упали на лицо. Однако, почувствовав близость чужого, человек завинтил вентиль, быстро распрямылся, одновременно он откинул назад волосы: по лицу текла во-

да, в зеленоватых глазах тайлось скрытое облегчение. Тая обеими руками попыталась открутить вентиль, но не осилила его и беспомощно оглянулась на человека.

— Давай помогу,— без особой охоты сказал бич и наполнил оба ведра с краями. Поставил ведра возле себя и продолжал выжидающе смотреть на Тая, которая пребывала в каком-то странном замешательстве. От этого ее смуглое лицо покрылось легким румянцем. Тая начинала сердиться. А бич протер низом свитера лицо и довольно равнодушно спросил:

— Вы со вчерашним рейсом?..

— Да... А что?

— Нет, ничего... Сильно горит?

— Где? — Тая сделала запинку.— Внутри?..

Черный свитер помедлил,— он не сразу сообразил, в чем смысл сказанного. А когда сообразил, то ответил с усмешкой и особым значением:

— Внутри со вчерашнего — сильно!.. А в тайге?

— В тайге — тоже сильно... — И, переменяв тон, Тая попросила обидчиво: — Может, вы отдадите мне ведра?

Черный свитер опять усмехнулся, но уже мягче, добрее. Его забавляла наивная дерзость и обидчивость пассажирки. Ничего не ответив, он легко подхватил ведра.

— Пойдем. Я провожу.

И опять Тая в растерянности уступила ему, но уступила против воли,— за всю дорогу она не проронила ни слова.

Когда возле вагончика-балка черный свитер поставил ведра и собрался было уходить, в дверях появилась Тайна тетка.

— Это каков-таков к тебе, Таиска, пристал?.. Это каков-таков жених выискался?..

Тетка была несдержанна в словах, громкоголоса. Работала она в поселковой столовой и не раз видела Ромку с его командой. Она испытывала к ним нескрываемое презрение, а ведь сама поскиталась по Северу, повидала разных видов... Но сознание, что она не какая такая, а честная разведенка,— это сознание заставляло ее считать сезонников пустейшими, не стоящими доброго слова людьми.

Покрасневшие от бессонницы, похмельные глаза Ромки смотрели на мир хмуро. Обида, нанесенная ему,

была столь неожиданной, очевидной, что он едва нашелся что сказать:

— Зачем же сразу — такой-сякой?..

Повернулся и, загребая сапогами пыль, вышел на поселковую улицу.

Избушка, которую облюбовал для себя Ромка Бахов, была достопримечательностью Тикши — ее первой поставили на берегу таежной реки, и ночевал в ней всякий приезжий люд: лесоустроители, геологи, связисты... Но когда Ромка решил в ней поселиться, выглядела она хуже вороньего гнезда. Надо было срочно проводить ремонт, и Бахов провел его: побелил стены, залатал крышу, водрузил на место железную трубу. Затем, по обычаю сибирских поселенцев, сложил во дворе печурку с плитой и вьюшками. Летом на таких удобнее греть чай, варить уху... Но печка оставалась нетопленной.

В густеющих сумерках Бахов лежал, закинув руки за голову и стиснув зубы. Он думал. О разном думал, но и об одном и том же: как он окликнул почтальона, как заметил на обочине дороги пассажирку... И опять тревожное чувство охватывало его, когда он вспоминал, как поднял голову от крана...

Время от времени Ромка вставал, прохаживался и вновь бросался на нары. Наконец не выдержал, хлопнул дверью и направился к волейбольной площадке; оттуда доносились крики, удары мяча, свисток судьи. Роман встал поодаль: стоял, смотрел и, как бы между прочим, отмечал, что местные парни играют не слишком-то ловко: перекидывают мяч, теряют его, дают свечи... Пассажирки на волейбольной площадке не было. Теперь оставалось одно — пройти поселковую улицу и заглянуть к вагончикам-балкам на обрыве: улица была пустынной. Правда, перед вагончиками хлопотали женщины, шумели ребятишки... Но дворики быстро пустели, жизнь перемещалась в балки, где один по одному зажигался электрический свет.

А Тая между тем сидела на приступке своего вагончика-балка, охватив колени руками. Она вроде бы даже не удивилась, когда в сумерках слышались чьи-то шаги, и она узнала в прохожем, приближавшемся к ней, черный свитер. Бахов же с запоздалым со-

жалением подумал, что надо бы было немного выпить, ну, граммов сто, не больше... От скрытого волнения голос его был каким-то неуверенным, не свойственным ему: он это сразу почувствовал, едва спросил:

— Пойдем, что ли, побазарим?..

Спросил и понял: никогда не говорил он такие дешевые слова, не говорил, а вот выговорил...

Таисия подняла голову. Она не слышала, наверно, вопроса, смотря поверх Ромки, поверх крыш поселка, причем смотрела она искоса, и поэтому синеватые белки ее глаз были особенно велики.

— Пойдем...— начал неуверенно Ромка.

Тая покачала головой.

— Нет, не пойду,— она еще раз искоса посмотрела на него.— Ты — страшный... И пьяный часто бываешь.

— Разве я страшный?! А ты знаешь мою жизнь? Ты о ней спросила?..

Распалаясь все больше, он подошел к приступку с намерением сесть возле Таисии. Но в его словах опять-таки было что-то несвойственное ему, Ромке... Тая легко поднялась и скрылась в вагончике.

Все жарче становились дни в Тикше. Удушливее вечера. Мелкие звезды, словно белый песок, рассыпались ночами по белесому небу: так белеют отмели на пустынном ночном берегу. И тревога не покидала жителей поселка, проникала в вагончики-балки и бараки, проникала в контору, где находилась комната радиста и где в эту летнюю пору перекладывали печи. Такая недавно сложенная печь просыхала в комнате радиста, она курилась легким парком. Поодаль от печи, на канцелярском столе, была установлена рация. К столу ровно в девять подошел начальник сейсмопункта Долинский. Вместе с ним в комнату набился разный поселковый народ.

— Секунда, Секунда, Секунда,— твердил Долинский.— Я — Третий, я — Третий... Кто слышит, помогите связаться с Секундой.

В ответ раздавался треск разрядов да писк морзянки.

Наконец Секунда ответила.

— Секунда,— голос Долинского окреп, потерял монотонность,— пожар угрожает складам горючего. Вы-

шлите вертолет МИ-4. Вышлите вертолет. Всех людей организую на тушение пожара.

Последнюю фразу он повторил множество раз.

— Всех людей... Людей... Организую... Пожара...

Долинскому, конечно, было досадно отрывать рабочих от дела, еще досаднее было заваливать квартальный план, но другого выхода у него не оставалось. Правда, пожарники мощными взрывами создавали заслоны на огнеопасных направлениях, но, вероятно, по перемычкам, которые не могли сразу же перекопать, огонь распространялся на новых площадях.

Новость о десанте заставила парней навалиться на плечи друг другу, ловить каждое слово, сказанное Долинским и Секундой. Начальник недовольно оглядывался на них, но разговор с базой прервать не мог. Его мучила боль в суставах,— в любую погоду он ходил в меховой авиационной куртке,— ему было душно от раскалившейся печи, от людской скученности, но Долинский был опытным инженером и знал, что его парни должны слышать переговоры с базой от начала до конца. Только в таком случае склады с горючим будут спасены. Вообще же и сейсморазведчики и рабочие-сезонники не то чтобы боялись главного инженера, они уважали его; все, что он делал сам или приказывал другим, было разумно и очевидно для любого...

В конце концов Долинский договорился, что вертолет пришлют завтра во второй половине дня.

Полдневное солнце припекало с прежней силой, хотя неуловимое сквожение в горячем и парном воздухе оповещало все живое, что близится осень. А значит, близится прохлада, отлет птиц, утренние туманы по низинам. Но еще неотвратимее, чем осень, приближалась к Тикше беда: из-за леса на фоне кучевых белых облаков подымались другие, серые облака. О них-то и думалось каждому из собравшихся на аэродромной полянке.

...С минуты на минуту ждали вертолет. Ромка Бахов, привыкший ко всевозможным передрягам, по своей воле вызвался лететь на пожар. Он пришел на аэродром вместе с Квасковым и сразу же заметил Долинского, меховой жилет которого мелькал среди людей.

Но велико же было удивление Романа, когда в одной из таких групп он увидел и Таю. Она была одета в синюю штормовку, голову повязала все той же цветастой косынкой. Ромка подошел именно к этой группе, и, как оказалось, вовремя. Долинский разбивал людей на партии по два, по три человека.

— Таисия,— неожиданно обратился он к пассажирке.— А ты с кем?

Тая, с вызовом взглянув на Романа, быстро ответила:

— С ним!

Роман от неожиданности сглотнул слюну, внутренние напрягся. Остальные заинтересованно посмотрели в его сторону. Но в этот момент послышался стрекот вертолета, и его оранжевое днище вскоре зависло над головами.

Пилот не выключил двигатель, и в вихрях желтой пыли первые партии десантников,— среди них были Роман с Таей,— гуськом двинулись к кабине.

Тащили тюки, узлы, вещмешки, связки инструментов и издали напоминали муравьев, облепивших оранжевую стрекозу, которая резким стрекотанием взбудоражила эту полдневную тишину.

Последний спасатель неуклюже ввалился в кабину. Командир экипажа еще переспрашивал фамилии рабочих и записывал их в ведомость, а вертолет уже вынырнул из клубов пыли и под его днищем блеснула река: сквозь коричневую воду четко проступали волнообразные отмели. Земные дали на глазах распахивались,— небосвод обретал первозданную синеву и становился все безмернее, все глубже.

Из-за стрекотания винта разговаривать было трудно, поэтому Роман с самого начала припал к круглому окошку. Под колесо вертолета,— настолько близкое, что до него хотелось достать рукой,— медленно подплывали сизые шары деревьев. Эти шары сменялись ржавыми шкурами болот: на них кое-где торчали острые пики сухостоя. Ржавчина болот гуще пятналась блюдечками озер, и солнце старательно перебегало из одного в другое, а потом вновь терялось в шарообразной, сизо-зеленой гущине.

Роман оторвался от оконца, мельком взглянул на Таю. Она сидела неподвижно, уставившись в какую-то одну точку прямо перед собой. Ее отсутствующий взгляд

насторожил Бахова, потому что он никак не мог понять или предугадать мыслей, в которые была погружена Тая. Между тем в кабине сильнее запахло угарным газом. И тут Роман увидел, что из глубины леса вздымаются белые клубы дыма. Они вздымались медленно и лениво, но было что-то непривычное, неестественное, жуткое в этой клубящейся тайге. Дым полосовал ее, как ударами плетей, рассекал на части, вырывался далеко вперед: среди зелени то там, то здесь клубились отдельные деревья.

Вертолет резко накренился: это командир экипажа искал место для посадки. Ниже-ниже — и колесо поплыло уже над верхушками сухостойных елей: их острия нацелились в днище вертолета и, казалось, вот-вот были готовы его распороть.

Но, взревев двигателями, вертолет завис над ржаво-дымчатым кочкарником. Радист открыл люк и, ткнув в Романа и Таисию, показал куда-то вниз. Тая выскочила первой и тут же провалилась в болотный мох. Следом выскочил Бахов. Их хлестануло, погнало в сторону от вертолета под мощной воздушной струей. Кустарник метался, болотные травы стлались пролысинами, а люди, низко согнувшись, спешили вырваться из-под этого грохочущего, вихреобразного круга, очерченного лопастями винта.

Тюк с палаткой, мешок с хлебом, рюкзаки, лопаты, топоры — все передавалось в кабине из рук в руки и сваливалось возле люка.

Пилот добавил газ — вертолет как бы напрягся на мгновение, оторвал глубоко ушедшие в мох колеса и боком-боком пошел в сторону тускло сиявшего солнца. Вот его стрекотание донеслось сквозь дым слабо и немощно, вот оно исчезло совсем. Стало тихо и одиноко. Таисия и Роман стояли далеко друг от друга и смотрели на солнце, в сторону улетавшего вертолета.

С трудом вырывая сапоги из зыбкого охристого мха, они сошлись возле пожитков, взвалили их на плечи и тронулись в путь. Ярko блестела на солнце листва кустарников. Лица и руки горели огнем от укусов мошкaры и комаров, которые звенящим столбом колыхались над головами. Хотелось пить из-за близости воды, смачно и недоступно хлюпавшей под ногами... И мечталось об одном: как можно быстрее выбраться из этого изнуряющего душу и тело редколесья. Еще

какое-то время два человека путались в высокой осоке, а затем вышли к буграм, заваленным истлевшими стволами сосен, хрусткими обломками веток, заалевшими сквозь траву ягодами брусники.

— Нда-а,— раздумчиво протянул Ромка, едва они присели на замшелый ствол, наполовину вросший в землю. Повязанное косынкой, раскрасневшееся лицо Таи было сплошь в бугорках укусов.

— Давай посмотрим в рюкзаке репудин?

Но Тая встала и, глядя, впервые глядя прямо и долго в его зеленоватые глаза, спросила:

— Пойдем?..— И, не дожидаясь ответа, пошла первой. На спине у нее был выгоревший, выдавший виды рюкзачок, в руках — закоптелое ведро. Однако как и в поселке, она шла легко и непринужденно. Да и во всем ее облике, во всей ладной фигурке было ощущение какой-то свободы, какой-то слитности с этими одичавшими во многих веках болотами и лесами, никогда не слышавшими, может быть, человеческого голоса.

Еще час пути с утора на угор — и впереди заблестел березовый выдел. Оба, не сговариваясь, поняли, что здесь они разобьют свой табор.

Старые, суковатые, с потрескавшейся корой березы редко возвышались по склонам гряды. Выше по склону березняк мельчал и сливался с подростом. Но роща старых берез завлекала своей светотенью и сохранившейся даже в эту жару свежестью листвы, — она как будто обещала отдохновение от всех трудов, от всех забот. Место настолько понравилось Роману и Тае, что они тут же взялись устраивать ночлег. Пока Роман вырубал колышки, ставил палатку, делал для себя отдельный навес, Тая спустилась в низинку, где светлела глина пересохшего ручья. Правда, в одном бочате ей удалось набрать ведро воды, мгновенно покрывшейся колкой пленкой ржавчины. И все-таки это была вода! Тая быстренько вскипятила чай, заварила его до черноты, нарезала хлеб... Еще до сумерек им не терпелось побывать в противопожарной зоне.

И вот за вторым или третьим бугром они вышли на выдел, где недавно полыхал низовой пожар.

Насколько хватало глаз — везде чернели прутья, стволы, корни деревьев, вывороченных буреломом и цеплявшихся короткими черными лапами за землю, которую ковром устилал дымчатый пепел, — он взвизывался

на каждом шагу, осыпал обувь, першил в горле... Под стать этому мертвому пеплу повсеместно царила такая же мертвая тишина: даже комариного писка не было слышно. Чтобы не заплутать в этом черном лесу, Роман время от времени делал зарубки: они повсюду забелели на угольных стволах. И Роман, оглядываясь на них, внезапно подумал: так и в жизни,—зарубки остаются, а все прочее — зола. От этой невеселой мысли стало ему тоскливо и одиноко, и даже вид Таи, задевшей ненароком за ветку и подмазавшей себе лихой ус, не смог развеселить его.

Через две сотни метров они слышали протяжный треск и глухое гудение огня... Свежие воронки, образовывавшие длинный ров, отводили огонь в сторону болота, на котором днем приземлился их вертолет.

...Багровое солнце закатилось за вершины деревьев. И сразу же похолодало. По низинкам пластался загустевший ввечеру дым. Тая снимала с ведерка хлопья ржавой пены: макаронные рожки, которые отваривались в ведерке, могли впитать эту ржавь.

Роман изредка подбрасывал в костер полешки дров.

Солнечный и неправдоподобно долгий день заканчивался возле таборного костра в умиротворенном и созерцательном спокойствии, которое всегда возникает в душе человека, долго глядящего на огонь.

— Ты знаешь,— мечтательно обратилась Тая к Бахову, хотя и не назвала его по имени,— а у местных людей есть поверье...

Она, не отрываясь, глядела на пламя, облизывавшее полешки, возводившее из раскаленных углей и мгновенно рушившее огненные постройки.

— Ты знаешь,— повторила она,— люди верят: у огня есть глаза и уши. Ты не смейся... Огонь, он умеет слушать и глядеть. Вот стоит ему проткнуть глаз, как он ослепнет. И погаснет. Или если много-много говорить в лесу, он рассердится, зашипит и тоже погаснет.

— На нас не зашипит,— Роман улыбнулся.— Мы за весь-то день двух слов не сказали.

Он переменял позу, оживился, достал из деревянных ножен финку, покачал ее на пальце и вдруг метнул

в середину костерка. Тая вроде бы шутливо, но и суеверно отпрянула от огня, прикрыв лицо согнутым локтем. А Ромка уже достал финку и вставлял ее обратно в ножны.

— Бич разнесчастный!.. — не на шутку рассердилась Тая. — Вот накличешь беду... — Она снова наклонилась над варевом, помешивая алюминиевой ложкой.

И правда: позднее Тая неловко взялась за дужку, ведро наклонилось, вода с разваренными рожками хлынула через край... Костер зашипел, окутал Тая парком и стал мгновенно гаснуть.

— Вот видишь, вот видишь! — опять рассердилась Тая. Однако ее раздражение и эти сердитые, эти простые семейные слова возымели на Бахова обратное действие: они наполнили его предчувствием такой радости, какой не доводилось ему знать и испытывать никогда в жизни.

Сколько бы позже ни вспоминал Роман Бахов две недели, проведенные на пожаре, он чувствовал, что запомнил все со странной отчетливостью и силой. И это не переставало его удивлять, потому что были у него годы, которые прошли и канули как бы в черный провал. А здесь иное.

Нестерпимый жар, плескавшийся в лицо, болезненные ожоги на плечах, пот, застилавший глаза, струившийся между лопаток, сухая земля, которую надо было кидать и кидать, — все это было на лесных выделах. И было изо дня в день. Как и белый круг солнца, который застыл в небе, словно всевидящее око какого-то языческого существа. Это око постепенно багровело, скатывалось к горизонту и там, в синем дыму, истекало розовой сукровицей.

Только не к опасной и тяжелой работе мысленно возвращался Ромка, — она была привычна ему. И не к этому шаманскому солнцу, а к тому, что случилось с ними двоими, возвращался он постоянно.

И здесь все было важно для Ромки. Вплоть до злополучной осины, что зависла в первый рабочий день. Бахов начал ее подрубать: брызнула белая щепка, дерево содрогнулось от комля до вершины, и оно содрогалось до тех пор, пока топор вонзался в древесину. Но тяжелого шелеста и знакомого удара он не услы-

шал: заново подрубленный ствол воткнулся рядом с пнем.

Бахов попробовал подвдвинуть тяжеленную, в ли-
шаях и наростах, лесину,— она не шевельнулась.
К счастью, Тая не видела его позора: она ушла далеко
вперед. Однако внезапно вынырнула из-под плеча и
встала рядом, упираясь руками в зависшее дерево.

— Отойди, придавит! — вне себя закричал Бахов.

Но Тая, повернув смуглое, покрытое бисеринками
пота лицо, взглянула на него с таким ожесточением,
что Роман решил про себя: будь что будет...

Они стали вместе толкать ствол. Правда, от их
совместных толчков вначале не было никакого проку.
И только сквозь прерывистое дыхание Бахова слыша-
лось: «Вместе давай... вместе...» И точно: равномерно
пружинившая верхушка осины начала едва приметно
сползать с пихтача.

— Держись! — прохрипел Роман, напрягаясь в по-
следнем усилии. Возглас его заглушил протяжный
треск сучьев, гулкий удар ствола о землю.

Тая, вытирая углами косынки лицо, облегченно
улыбнулась...

Нет, не читал Роман Бахов книг, в которых поэты
воспевали мгновение. Но прочитай он когда-нибудь эти
книги, он, не раздумывая, согласился бы с ними. Сей-
час согласился бы, когда не зависшую осину, а непо-
мерную тяжесть обид и озлоблений своротили они
вдвоем с его души. И вот теперь через это мгновение,
прожитое на пожаре, открывалась ему иная, чем пре-
жде, суть бытия: она была в улыбке Таи, озарившей
ее лицо, в огненной работе, она была в величественно-
безмятежных просторах Севера, во всей непомерной
тишине, окружавшей их в березовой роще.

Да, тишина была воистину непомерной, потому что
лишь однажды пророкотал гидросамолет да позднее
послышались отдаленные взрывы: подрывники пре-
граждали путь огню.

И все это время Роман жил как бы на пределе
душевных и физических сил. Он переставал думать
о том, что было и что будет, он суеверно дорожил
каждым мгном, который, растворяясь в других, созда-
вал эти мучительно-прекрасные дни его жизни. От не-

досыпания, от жажды, от перенапряжения он постарел, оброс ржавой бородой с легкой проседью. Тая тоже выглядела усталой, измученной. Она реже улыбалась и все время была как бы настороже сама с собою.

Оба они не понимали, да, пожалуй, и не хотели понимать, откуда берется это неутолимое, это постоянное желание видеть, слышать, осязать друг друга, откуда рождается эта влекущая к сокровенной близости сила, которая, казалось, завладевала их помыслами целиком.

Однажды после работы Роман взял ведро и спустился к ручью. На дне бочажка застыла железистая окись. Роман снял ее днищем, зачерпнул ржаво-коричневой жижицы и тут же выплеснул содержимое на траву. Потом, не говоря Тае ни слова, захрустел по низинке валежником. А часа через полтора вернулся с ведром, полным чистой озерной воды. Тая даже не повернулась в его сторону. Она сидела на пеньке, сгорбившись, заложив руки между колен, стиснув пальцы. Ее молчание, отсутствующий взгляд, направленный в одну точку,— все вызывало в Бахове такое чувство жалости и вины, что он, поставив ведро у потухшего костерка, ушел к себе под навес. И лежал на широком брезентовом чехле спального мешка, и прислушивался к тому, что делалось на поляне, и, не выдержав, вернулся к Тае, которая с сумрачным и молчаливым лицом готовила ужин.

— Нехорошо, однако, Роман.— Тая впервые назвала его по имени.— Тайга кругом,— мало ли что могло случиться...

И, как всегда, искоса посмотрела на него. Глаза ее с синеватыми белками были сумеречны,— в них поблескивали слезы. Она боялась не за себя, она боялась за него, боялась и ждала...

Роман подошел к Тае совсем близко, его горячие ладони легли ей на плечи. Тая стояла, низко опустив голову, а Роман настойчиво поворачивал ее к себе... Пытаясь вырваться, она отпрянула назад, уперлась руками в грудь Романа, а тот медленно, но сильно прижимал ее, и руки Таи слабели, она только отворачивала голову в сторону, пока Роман искал губами ее губы. Он все-таки дотянулся до ее шершавых, крепко сжатых губ и просто прижался к ним... Это длилось мгновение,

ударившее Романа, словно током, что-то дрогнуло и в Тая,—губы ее жадно полуоткрылись...

Уснули только перед рассветом. В пестрой путанице сновидений, которая обволокла Романа, ему на какой-то миг привиделось...

Вот они напрягают усилия, раскачивая лодку городских качелей. Внизу праздничные карнавальные огни... И в лад с каждым взлетом, прижимавшим их друг к другу, Тая одними губами шепчет: «Вместе, вместе давай...» Ближе вспышки цветных огней, ближе ослепительное сверкание фейерверка,— и в болезненно-сладкой истоме изнемогает сердце... Роман просыпается, с трудом раздирает веки, смотрит влево рядом с собой.

Тая в просторном спальном мешке свернулась калачиком, по-детски положила ладошку под правую щеку. Тень от ресниц делает подглазья темнее, да и вся она в этот рассветный час смуглее, чем обычно.

Романа охватывает незнаемая нежность,— он осторожно, чтобы не разбудить Тая, целует ее в эти сомкнутые ресницы и темные подглазья. Но она уже проснулась; она чувствует, что он здесь, что он целует ее, и, выпростав из спального мешка руки, обвивает его за шею, гладит затылок и целует прямо в губы...

Много позднее долетел до них шелест березы, свесившей ветви до самого навеса.

...На другой день, по дороге с пожарища, Тая предложила набрать черники к чаю. На многих выделах росла черника сплошным ковром, даже переходить от кочки к кочке не надо. Но Тая нашла сосновый бор, где ягоды были крупными, а кусты росли отдельно друг от друга. Как-то веселее собирать крупные, словно отпотевшие, черные ягоды с отдельных кустиков. Поначалу они не могли удержаться, чтобы полными горстями не набивать себе рот этой кисловатой сладостью. Вскоре губы и зубы у них посинели, язык пощипывало от кислоты, кончики пальцев окрасились, словно в детстве чернилами.

— Смолы бы надо пожевать,— рассудительно заметил Бахов,— а то будут зубы, как от цинги...

— Ты — старый, тебе и так можно!..

Оба рассмеялись.

— То — старый, то — страшный... Вот до чего дошел, докатился.

— Сказал бы, до чего тебя довели...

— Это уж точно! — добродушно улыбаясь, подтвердил Бахов. Ему надоело собирать чернику, и он стоял, вольно облокотившись о какую-то корягу. Тая присела неподалеку, высыпала ягоды из банки на косынку и теперь очищала их от хвоинок, веточек, листиков, как будто вырезанных из жести, и прочей лесной мелочи.

— А ты знаешь — я ведь не местная,— заговорила о другом Таисия.— В Тикше у меня тетка живет. Ну, ты ее видел. Я к ней приехала. Она, как и отец, с низовьев Оби. А мать у меня русская. Да вот получилось так, что жила я у тетки, и в Усолье жила, и в Моженге... Потом интернат, потом учеба в Ленинграде... Видишь, и рассказывать нечего.

Тая стряхнула с косынки мелкие листики и теперь сидела просто так, отдыхала.

— Я тоже на чужих руках вырос,— глухо отозвался Роман.

— Выходит, мы — залетные птицы?..

— Выходит,— Роман горьковато усмехнулся, вспомнив Междуреченское.— Только залетели сюда по-разному...

— А все-таки залетели. И встретились... А могли бы не встретиться, а, Роман?.. — жалобно протянула Тая.

— Могли бы,— Бахов надеялся, что Тая поймет, что он хотел этим сказать. И она в самом деле догадалась, что больше не надо было об этом говорить, не надо было нарушать ту душевную озаренность, в которой они пребывали все эти дни.

...Порыв ветра, снова порыв,— и шум берез, отчаянно трепещущих листвою, перекрыл плотный, однообразный шум. По туго натянутому пологу палатки забарабанило, мелкая водяная пыльца поплыла вдоль стен, оседая на спящего Романа... Тая на коленках подползла к выходу, откинула брезентовый клапан и воскликнула удивленно:

— Роман, сонь-засынь! Дождик!..

Высунулась еще больше и в радостном самозабвении начала встряхивать рассыпавшимися волосами, вертеть головой и походить на щенка, который, восторженно взвизгивая, отряхивается под дождем.

По слитному равномерному шуму Роман понял, что ненастье — надолго и что на выдел им сегодня не идти.

— Помнишь, я ему глаз проткнул? — подзадоривая, спросил Роман; в спальном мешке было уютно и тепло, особенно уютно и тепло при виде Тайсии, высунувшейся под дождевые струи.

— Нет, фигушки, — забравшись в палатку, возразила Тая. — Это вчера мы много-много говорили... Вот он теперь и шипит. По всей тайге шипит...

Склонив голову набок, она вытирала волосы полотенцем.

— А нам не страшно!

И захохотала, и кинулась тормошить Романа, который неловко и смущенно отбивался от нее.

...Дождь шумел целый день и затих только к вечеру. Крупные дождевые капли, стекавшие с берез, гулко ударяли в брезент палатки.

Да и по всей березовой роще, по выделу, по тайге слышался этот звонкий и дробный перестук, — земля благодарно впитывала последние капли влаги, оживала от неожиданного дара небес, курилась парком, нежилась в лучах неяркого солнца.

Среди этой благодати оставаться в палатке не было никаких сил. Лес заманивал воокрешением к жизни, завлекал молчанием, зачаровывал тайнами, которых нельзя было предугадать и которые, быть может, творились в этих глухих чащобах.

Роман с Тайсией пошли по низинке, не раздумывая, как далеко и зачем они уходят из рощи, пошли, потому что душой и телом чувствовали обновление матери-природы... Они никогда бы не осмелились ее так назвать, хотя подсознательно ощущали себя целиком принадлежащими к этой сотворительнице всего живого и сущего — природе. И повиновались ее законам, и слушались ее повелений.

Ах, как удивительно легко и свободно дышалось после дождя в лесу!

...Походя Тая сорвала кисточку брусники, приладила ее при помощи шпильки и кокетливо подтолкнула Романа. Она знала: к ее черным и гладко причесанным волосам не было лучшего украшения, чем жисть белорозовых ягод. Роман одобрительно кивнул головой, поразившись врожденному вкусу Таи. А она придумала другую забаву: вырывая тонкие стебелины, кидала их, точно стрелы, в сторону Романа. Тот отворачивался, уговаривал, убеждал, грозил кулаком, пока, зацепившись за корни, спиной не повалился в бурьян. Нахохотавшись до слез и вытащив его из бурьяна, Таисия притихла, погрузилась и теперь, покусывая сломанную стебелинку, глядела прямо перед собой.

Незаметно они вышли к озеру, из которого Роман брал воду... Легкий пар поднимался с его поверхности. Призрачными, неуловимо-зыбкими виднелись островки камыша, которыми оно густо зоросло; поваленные, ползатонувшие осины напоминали чудищ, околдованных сном.

Возле ольховых зарослей Тая остановилась; вода, блестящая сквозь клочья пара, камыши, черные спины осин — все притягивало ее взгляд.

И вдруг из-за камышовых зарослей взлетела большая птица: Тая вздрогнула, инстинктивно прижалась к Роману. А птица, спокойно взмахнув белоснежными крыльями, пошла на снижение; она вытянула вперед длинные ноги и приземлилась на мелководье. Тотчас же к ней подлетела другая... Они ходили среди болотных трав... Иногда взлетали и опускались... Иногда пропадали в камышах.

Тая сильнее припала к Роману, который охватил ее за плечи рукой. Так они и стояли, замороженные видом лесного озера.

— Ой, Роман... они такие красивые... — Тая говорила шепотом, хотя до камышовых островов было далеко. — Смотри, смотри, у них клювики красные. И головки... Роман, красные, красные... Как у дятла.

— Молчи... Я знаю... Их стерхами называют. Они парами живут. Далеко друг от друга.

— Как мы с тобой, Роман, да?..

Роман признательно пожал плечи Таи.

— Не вспугни... Молчи... Мне рассказывали... Редкое это счастье...

Оба напрягали зрение, чтобы получше разглядеть диковинных птиц, запомнить их повадки, окраску... Но легкий пар, загустевший над водой, скрадывал подробности, и было лишь видно, как время от времени птицы расправляли огромные белоснежные крылья и лениво обмахивались ими. Потом разом поднялись и, сделав над озером большой круг, полетели в сторону леса... И стоило журавлям скрыться, как колдовское наваждение исчезло: краски неба померкли, земля превратилась в унылую болотистую топь. Смотреть стало не на что. Как будто из души природы, подумала Тая, вынули чудесный заклад и там образовалась темная пустота.

— Пойдем домой,— Тая зябко передернула плечами.— Уже поздно.

Всю дорогу они сожалели, что не удалось им насытиться играми белых журавлей и что никогда, наверно, больше не увидят такого; эти странные птицы живут совсем одни на сотни и сотни километров.

Через два дня прилетел вертолет. Они засуетились, потащили, пригибаясь от вихря, пожитки и наконец ввалились в его пропахшее машинным маслом и краской нутро.

В конце августа в Тикшу пришла плоскодонная баржа-самоходка. Она должна была забрать партию геофизиков, ведущих в тайге полевые работы. На самоходке уплывала в Междуреченское и Тая, чтобы там пересест в самолет. Но партия геофизиков никак не могла собраться, и отъезд откладывался со дня на день. Это затянувшееся прощанье оказалось для обоих мучительным. И хотя Тая, глотая слезы, говорила Роману, что он мог бы поехать вместе с ней, тот хмуро отмалчивался.

Последний день перед отъездом тянулся особенно долго. Роман работал один на ремонте бараков, потому что команда его распалась: Олег Дыня ушел в тайгу, Квасков заболел дизентерией, хотя и лечил себя яблочным вином каждый день. Спецрейсом его вывезли в междуреченскую больницу.

...До конца рабочего дня оставалось часа два, однако Бахов взял удочки и встал на приплеске под трак-

торными санями: на глубине должны были брать подъяски. Ожидания его оправдались,— вскоре поплавок, закинутый в лесную труху, ходившую под обрывом медленными кругами, дрогнул и пошел вниз: брала крупная рыбина. Роман подсек,— и вот за его плечом забился жирный подъязок: узнать было нетрудно по красновато-серебристому брюшку и красным же ободьям глаз. Другие поклевки последовали за первой.

Наловив ведерко рыбы, Роман вернулся к избушке, где его ожидала Тая. Вдвоем они почистили улов и в первый раз растопили печку, сложенную во дворе... Чувство не ясное, не высказанное себе самому, с которым Роман вел кладку этой печурки, сбывалось. Но поздно сбывалось... После ужина они сидели близко друг к другу и безмолвно смотрели на огонь, гудевший за полузакрытой дверцей. Этот же огонь лисьим хвостом вырвался из трубы. И Роману вспомнились те огненные лисички, что пробегали между зелеными лапами елей. Добежав до вершины, они как будто исчезали, но ель, окутавшись густым дымом, вспыхивала и с треском осыпалась горячей золой иголок. Казалось, что в этом треске и пламени метались тени каких-то больших белых птиц... Но хвостатое пламя опадало и оставляло после себя лишь черный обуглившийся ствол.

...Молчание затягивалось, а ведь Роман догадывался, что ему надо было говорить, и говорить много, убежденно, чтобы все объяснить растерянной, обескураженной Тае. Но он медлил, потому что слов у него не было и он не знал, откуда их взять.

Ему помогла, как всегда великодушно и доверчиво, Тая. Она промолвила вслух:

— Совсем, совсем, как на пожаре...

Романа охватил холодок какого-то суеверного страха: ведь они думали об одном и том же.

— Случаем, в тебе не шаманская кровь?

— Есть капля,— загадочно улыбаясь, ответила Тая.— А что?

— Так — ничего. Поехали дальше...

Однако Роману было уже легче говорить, потому что Тая поймет, все поймет...

— Помнишь, на пожаре ты сказку рассказывала? Про огонь?.. А я не поверил. И про стерхов... Знал, да не верил. И ничему-то я тогда не верил...

— А теперь?

— А теперь?.. Видно, есть в них что-то важное для человека, если помнят их люди всю жизнь... Слышал и я такую... Давно слышал, еще когда мальчишкой был. Кабы не он, не Григорий, не жить бы мне... Да это к делу не относится... А дело-то оно... в глубокой старине было, в самой глубокой...

Роман заговорил медленно, нараспев; может, вспомнил голос Григория, а может, непривычно было ему сказки сказывать: другому учила жизнь и на другом языке.

Тая заложила руки между колен. И, чтоб легче было слушать, представила она Романа старым-престарым, ну, как тот баешник Григорий. И голос его зазвучал по-иному, обволол ее, понес по волнам северного сказания. И не знала Таиска: то ли Роман ей рассказывает, то ли сама она что вспоминает...

Земля тогда была каменной, а горы железными; озера глубокими, родники горячими. В ущельях росли тысячелетние ели и пар поднимался до небес. Реки выходили из берегов: вот сколько плескалось в них рыбы. Озера белели несчетными стаями птиц. Но приходила осень. И все сильнее гудел в ущельях северный ветер, все быстрее собирались птицы в отлет. Слетались на побережье и белые журавли. Им тоже настала пора отправляться в дорогу. Да с ближайшей ели слетел к ним глухарь: тоскливо ему в лесу одному оставаться, если все улетают к теплomu морю.

«Куда тебе,— говорят ему журавли,— ты переберешься с ели на ель, потом сидишь, отдыхаешь». Однако глухарь упросил, уговорил гордых птиц.

Соорудили они что-то вроде упряжки, подхватили его с двух сторон — и взвились в поднебесье. Миновали железные горы. Миновали реки с тростниками. Озера с глубокой водой. А впереди горы — все выше, земля — каменистей. И стал тогда глухарь уставать. Да и журавлям тяжело тащить его по заоблачным высям. Снизились они на протоку, сказали: «Оставайся ты, братец, в родном лесу... Перезимуешь, перегорюешь, а весной мы прилетим на озера, к гнездовьям».

Долго сидел глухарь над протокой, смотрел вслед журавлям,— скрылись они за облаками и даже курлы-

курлы не слышать. Только глухарь ничего не может поделаться с собой: плачет и плачет... И горевал он так долго и сильно, что налились у него глаза кровью и стали подглазья красными. Перезимовал он зиму, перегоревал весну, а журавлей нет и нет; видно, улетели они в другие страны...

Не проронившая ни слова, не переменявшая позы, Таисия воскресла из забвения.

— Красивая сказка, Роман... Да не про нас.

— Нет, Тая, про нас... Про меня... Это я раньше, как глухарь, похвалялся: «Ромка-Бич... Ромка-Бич»... Не я бич, а безотцовщина моя — бич. И война...

Тая вздохнула тяжело-тяжело. Открыла дверцу, подбросила полешки в малиновый жар печки. Пристально посмотрела на Бахова.

— Ну, да ладно,— грустно заключил Роман.— Как-нибудь перезиму, перегорю в этой самой Тикше...

В утренней холодноватой голубизне к барже-самходке вышел весь поселок. На железной палубе, среди ящиков, тюков, узлов, приборов, вольно раскинулась партия геофизиков. Таисия сидела возле рубки. Была она в коричневом плаще, в той же пестрой косынке, повязанной наглухо под подбородком. Она сидела положив руки на колени,—и в этой позе, в скромных красных туфельках было что-то по-детски обиженное и виноватое... Тетка, навалившись грудью на поручни трапа, выговаривала ей, но, судя по всему, Тая не слушала тетку, углубившись в свои думы.

От старых тракторных саней, где Роман журил одну папиросу за другой, было хорошо видно и железную палубу, и фигурку Таи, и партию геофизиков, молодых, загорелых, обросших бородами, оживленных перед отъездом. Черная дизельная копоть поднялась над рубкой, позднее донесся стук движка. Но за мгновение до этого Тая внезапно подняла голову вверх. И в этот миг что-то болезненно и остро кольнуло Романа в сердце: высоко в небе, над желтеющим лесом, летели две птицы. Из-за расстояния трудно было их узнать... Только Роману страстно захотелось, чтоб это были стерхи — белые журавли.



ГРАНИ ВЕКОВ

ЛЯПУН И РАЙДА

Сказание о походе новгородцев
в Заволоцкую землю в 1398 году

Как бы ни сроднился человек с отчим краем, как бы он ни привык к нему, переход от топкого, душно звенящего комарами чернолесья к вольному простору, к распахнутому ветру, к чистой воде всегда неожиданен и нов. Ты продираешься в ельнике почти на ощупь, выставив вперед руки, как слепец, ты проваливаешься в ржавую, пузырчатую жижу, ты изнемогаешь от духоты, от усталости, от мысли, что потерялся в лесной чащобе, и вдруг — всегда внезапно — перед тобой начинает светиться вода. Ты вырываешься из душного лесного плена и вступаешь на берег: по синему простору ходят «беляки», дует в лицо свежий ветер, с пронзительным криком вьются чайки. И столь же внезапно охватывает тебя сладкое чувство свободы, внутреннего раскрепощения от темных сил и тревожных предчувствий — ими щедро одарила тебя лесная топь, они ожили в тебе вновь, ожили, вопреки твоей воле и твоему сознанию. Но ты вышел к устью безымянной реки, которая долго петляла по этим глухим суземам и все-таки пробилась к большой воде, как говорят на Севере о полноводных реках и озерах. И вот здесь-то, на берегу, ты начинаешь понимать далекого предка, чья капля крови течет в твоих жилах: он так же шел через эти древние топи, выходил к устьям рек, и его бородатое усталое лицо овеивал низовой ветер, звала за собой речная волна, манила вольным простором, навевала новые думы и новые желанья. В тебе, измученном чер-

нолесьем, отзвуками жила его жажда простора и воли, его страсть к новым землям и еще большей воде, чем та, что открылась твоему взору.

1

Брать Устюг-городок внезапным налетом, изгоном — так порешили новгородские воеводы. В тихое летнее утро одна за другой выбегали лодьи на простор реки. Ватажники гребли враз, сильно откидываясь назад, без всплеска опуская весла в паровитую воду. Сидели они на скамьях по двое, но гребли так, словно это был один человек. А за гребцами ряд в ряд торчали копыя-рогадины, холодно отсвечивали железом шеломы-шишаки.

Корму каждой соймы держал старшой. И не было, я думаю, хитрее кормщика Ивашки Ляпунова во всем стане. Он лежал на корме, откинувшись на локти, прижимая к себе кормило, а левой рукой выверял ход лодьи. Река Сухона в этих местах многоводна, многоструйна, небезопасна для плаванья. Чуть ниже сливается она с рекою Югом и далее уже течет малой Двиной. Две реки сдвинулись, стало быть, в третью и потекли в океан-море, в самую Соловецкую пучину. Да и Устюг-посад зовут Устюгом потому, что стоит он прямым устьем Юга, на левом сухонском берегу. Когда устюжане при виде силы новгородской затворились за тыном, сели в осаду, не могли они уразуметь, что нет у них стен-ряжей, забитых камнями, нет стражи надежной. Выглядел Ляпун мужиков-сермяжников, нацепивших на себя воинскую справу. Висмотрел все их удалство-молодечество. Вот и кривит он губы в злой усмешке, поглядывает на ватажников зорко, ведет сойму прямо к причальному берегу.

Врезались лодьи в берег, замирали враз, а следом за ними шла волна, поднятая гребцами. И волнами кинулись новгородцы на приступ городка. Тащили на плечах осадные лестницы, ставили их стоймя, карабкались вверх. И первым среди осаждающих был Иван Ляпун. Он соскочил на заборало возле Пречистинских ворот, метнул сулицу, как в то время называли короткое копье, в стражника, не мешкая, стал спускаться по узкой лесенке внутрь ограды. Ляпун не оглядывался — он знал: ватага следует за старшим. На бревенчатом настиле остановился и,

боясь заплутать среди хоромин, глянул вверх — там за тесовыми кровлями, за замшелыми скатами виднелись главы Успенского собора. Были крыты главы осиновым лемехом: серебристые, чешуйчатые, они, казалось, плыли в светлом небе. Отчаянный трезвон колоколов, удары клинков, крики, вопли пораженных насмерть людей — ничто не трогало их покоя. Ивашка кинулся к собору. Он грузно бежал по настилу, осторожно поглядывая по сторонам. Из-за угла какой-то избы выскочил устюжанин и бросился наутек. В два прыжка догнал его Ляпун. Устюжанин оглянулся: железная мисюрка с бармицей сползла ему на глаза. Лицо, обросшее русым пушком, было бледно и потно. Ляпун подкинул боевой топор-чекан, который держал в левой руке, ловко перехватил его правой и, вытянувшись всем туловом, ударил клевцом-чеканом по бармице. Страшный удар пришелся по виску. Устюжанин заплелся, пятная кровью подол холщовой рубахи, повалился на мостовую. Ляпун перепрыгнул через падающее тело.

И все-таки он опоздал, да, все-таки он опоздал. Ворота в собор были уже сорваны. Они лежали поперек тропы, ведущей к приделу. Ляпун подскочил к стене, притаился, глянул вовнутрь. В соборе слышались чьи-то голоса. Ивашка узнал их: то были голоса Прокши-водолея и Репёхи — ушкуйников с его лодьи. Ляпун вошел в собор. В соборе сквозь волны дыма он увидел, как те взяли в узлы церковную утварь. На селонь — поповское облачение — со звоном падали сосуды серебряные, диски, кресты наперстные, цепи золотые. Сверху бросали иконки, украшенные окладами, унизанные жемчугами.

Взвалив на спину узел, Репёха бросился на волю, к причальному берегу. Надо было спешить — собор все более наполнялся дымом, все вокруг плыло в синем угаре. Лучи солнца, упавшие наискось из оконного проема, пробили эти синие волны — и тут-то Ляпун с Прокшей-водолеем увидели главную устюженскую святыню — образ Параскевы Пятницы. Не в пример другим был образ велик — один аршин с четвертью, — и стоял он особливо по левую сторону от царских ворот. Из-под убрусов, холщовых полотенец, которыми прихожане убирают чудотворные иконы, в солнечном луче засияла риза чеканной работы. Прокша раскидал убрусы — перед ватажниками загорелись венцы, украшенные жемчугами, дорогими

бурмитскими зернами. Кроваво-красное пламя рубина обожгло Ивашке глаза.

— Ай да полон! — только и молвил Прокша.

Был он ростом невелик, но схватил тяжелую доску обеими руками, словно столешницу, поднял высоко над головой и рысью кинулся вон. Ляпунов, задыхаясь от дыма, слыша нарастающий гул пожара, метнулся следом.

Заградные решетки Пречистинских ворот были взломаны. Порубленная стража лежала вповалку: новгородцы успели снять с убитых доспехи, с иных — стащить сапоги. Сиро торчали желтые ступни ног. Чернели залитые кровью лица. Мимо по одному, по два пробегали ушкунники, сгибаясь под тяжестью нош. Они тащили вороха рухляди, шубы соболя, беличь, козуха, опашни, сорочки, убрusy, сурожские шелка и немецкие сукна. Иные катили бочки с вином, иные волокли пленных на арканах, толкали их, запутанных веревьем, в спину. Добежав до берега, сваливали рухлядь в лодки, отчаливали, роняли добро в воду, гребли вразнобой. Но вот засверкали на солнце дружно вскинутые весла, зарябил ветер речную даль, поползли вверх отпоры — паруса надулись, и лодки-лодья, подхваченные ветром, стремительно побежали вниз по течению.

Причальный берег опустел на глазах.

Ляпун покрикивал на гребцов, которые тщетно пытались сдвинуть с мелководья тяжелую лодку: она была перегружена награбленным добром. Не выдержав, схватил длинный шест, воткнул его в дно, навалился всем телом, но шест, как сухая тростина, переломился, и Ивашка грузно повалился на корму.

Тогда он спрыгнул в воду, уперся плечом в корму.

— Взяли!

Лицо его побагровело от натуги. Черный туман залил глаза. Под ногами запузырилось илистое дно.

— Взяли! — рывкнул старшой. И внезапно, словно оторвавшись от корня, перегруженная сойма заскользила по воде, увлекая за собой Ивашку, которого подхватили и втащили в сойму Прокша с Репёхой.

Сразу же Ляпун схватился за кормовое весло. Репёха потянул за тоньки — отпор пополз вверх. Холстина

хлопнула, развернулась. Наклонившись на правый борт, лодка пошла пенить ослепительно сиявшую гладь Сухоны-реки.

Последнее, что увидали уплывавшие новгородцы, был великий столб дыма: это рухнула кровля Успенского собора.

Забубенное веселье родилось вместе с попутным ветром, который гнал вперед лодью, оставляя за кормой вспененный след. Прокша-водолей скоморошничал, нацепив на кольчугу бабью паневу. Братило бил в бубен. Репёха корчил рожи. Один старшой лениво держал корму, положив грязные, мокрые поршни на солнцегрев, на пеструю кучу рухляди, взятую в устюжском посаде. А когда устали глумиться его лихие содруги, запел он хрипло такую песню:

Уж ты молодость наша, молодецкая,
Уж ты долюшка наша, безотецкая!
Не упомянула ты, молодость, когда прошла.
Не в гульбах прошла да не в прохладах:
Во путях прошла да во дорогах,
Во слезах прошла да во горячих...

И замолкли разом ушкуйники: ощутили они в песне Ляпуна затаенную тревогу за свою судьбу. А ведь знали, что не верил Ивашка ни в сон, ни в чох, ни в змеиный шип, а верил он в одно — в Перунов оберег, который всегда был при нем. Под броней дощатой, под кафтаном стеганым, под рубахой нательной носил Ивашка громовую стрелу, окованную серебром на серебряной же — кольцом — цепке. Та громовая Перунова стрела и была его единым достоянием.

Случилось это в предавнюю пору, когда снег лежал до Яковлева дня, а на осежь побило хлеб, и зимой был голод великий. Люди ели лист, кору березовую, мох, соломку, конину. Падали мертвыми от голода. Трупы валялись на улицах, на подворьях, на торгу, на великом мосту через Волхов. Печаль, беда на всех! А весной, едва сошел снег и растолкало льды на Ильмене, вынесло за Рюриково городище лодку-долбенку. Случаем нашли ее ильменские рыбаки. И был в той лодке-долбенке младенец. Разглядел его старый Кулотка, принял на руки —

понял ильменский ведун, чей это знак, чье предзнаменование. Вот и рос при нем глуздырь, иначе сказать, птенец несмышленый. А старый Кулотка промышлял не столько рыбой, сколько целебными травами и диким медом. Баяли рыбаки промежду собой, будто и в волховании он горазд,— так ли, нет ли, никто въявь молвить не смел. Один малый Ляпун ведал: был Кулотка потай, потайно он поклялся идолам древним, изваянным, издолбленным, вырезом вырезанным.

Весь день сияло в небе солнце. Весь день плескалась под днищем лодки вода. Дед Кулотка в белой холщовой рубахе ниже колен, в поршнях — кожаной обуви — правил веслом. Седая борода его развевалась на ветерке. Солнце вначале стояло над его головой, потом сползло куда-то вбок, потом стало припекать Ивашке плечи и затылок. И когда малому птенцу стало невмочь, лодка проскребла днищем по песку и остановилась. Стих шум озерной воды. Зеленая трава-мурава бросилась путникам под ноги. Развесистые старые ивы редко разошлись по луговине. А за ивами, за луговиной, на угорье высоко-превысоко росла сосновая роща. Вороний грай доносился оттуда: воронье металось между сосен, падало на вершины и вновь взмывало, кружась над рощей черной метелью.

Кулотка споро зашагал к соснам по едва приметной тропинке — за ним вприпрыжку бежал маленький Иванко. Когда они вступили в заросли калины — гроздья алены, как капли крови, — ведун пошел тише. Он не то чтобы сгорбил, но вроде бы стал меньше, как-то сжался, ушел в себя. Ляпун тоже притих, с испугом глядя на заплочный короб Кулотки.

Через несколько шагов кусты калины кончились: там и тут на шестах зажелтели конские черепа, забелели медвежьи и волчьи челюсти. По кустам была развешана ветошь: рубахи, убрusy, мотки пряжи, цветные лоскутки. И стих вороний грай. И пропало солнце. Только синий дым, клубясь, медленно восходил к небесам. Деревянные боги стояли, покосившись, в глухом и тайном безмолвии. А поодаль, посреди круга, отмеченного дымными огнями, высился бог-громовик Перун. Лик его был узок. Крохотные глазки буравили Ивашку, который не смел стронуться с места, оставшись возле кустов калины.

Кулотка домовито достал из заплечного короба деревянные чашки, налил в них прозрачный мед, насыпал пригоршнями жита и медленно, согнувшись едва не до земли, тронулся к священным огням Перуна...

Назад они возвращались на закате. Потемнело вечернее небо. Забелели барашками волны. Кулотка, поглядывая вверх, отчаянно выгребал к берегу, который был невдалеке. Тяжелый громовой раскат расколол небесную твердь. Перун-громовик взмахнул боевым топором, и небо низверглось водами. Громовик возжигал в облаках огонь, он даровал смертным быстролетные, падающие с небесных высей молнии. И молнии били в пучину озерную, били в твердь земную, чтобы, закаменев, стать стрелами Перуна-громовика.

И то, что при вспышках небесной сечи не закричал от страха маленький Ивашка, что счастливо вынесло их лодью на отмель, поразило в ту ночь старого Кулотку. Тогда-то он и одарил приемыша серебряным оберегом — Перуновой громовой стрелой.

Осенью по людскому навету свели старика на Ярославово дворище и сожгли его там, как языческого волхва.

...Гонит сойму ветер-свежак, поскрипывает мачтой, пошвистывает в тоньках веревье, коим корабельщики владеют парусом носовым и средним. Падает с размаху нос лодьи, рубит волны, как топором-чеканом, но из-за кормы, вдоль просмоленных бортов, набегают новые валы, подымают лодью выше и выше, и снова она рубит волну по белому гребню. Держит корму Ивашка Ляпунов, смотрит на бегущие вперед волны. И бегут его думы, догоняя друг друга, долгой-долгой чередой. Резкие крики чаек-вьюш, хлесткие удары волн о борта не могут ни прервать, ни остановить их бега.

В молодости пристал Ивашка к вольным скоморошным стаям, водил медведя-умника с ряженой козой, веселил честной народ. И среди тех смехотворцев-глумотворцев вызнал он немало людей, все богатство которых — гудок,

да рожок, да кленовые гуслица. И бывалоча, пели ему содруги-сотоварищи: «Из-за кустика да девка. Из-за частого да бела. Эх, прялица-кокорлица, эх, девица-краса!» И ярился сверх всякой меры Ляпун, поскольку не ведал он ласки женской, как в малолетстве не ведал он материнской любви.

...Мимо пробегает, шипя вспененным гребнем, новая двинская волна, она вздымает сойму, обдаёт брызгами ватажников. Смотрит Ляпунов на волны, думу думает, вспоминает.

...Подались они как-то из Булгар в Астрахань. Астраханский князек Сальчей заманил их в острог, воровски заманил, обманом, опоил каким-то зельем, порубил всех до единого. И его, Ивашки, пробил бы смертный час, если бы не Перунов оберег. Спал он в сойме. Но грянул гром, и разразилась буря страшная: сорвало сойму причала, вынесло в камышовое гирло. Нашли Ивашку рыбаки, продали персиянам, плывшим в Москву. Бежал Ляпун по дороге. Наг, нищ и сир вернулся он в Новгород. Но повлекла его пуще прежнего вольная воля, и по весне ушел он с охочей ратью добывать славу Великому Новгороду, себе — новый полон и кормление.

И каждый раз, возвращаясь к зиме на берега Волхова, примечал Ляпун, как богатеет его господин: то церковь новая выстроена, то гостиный ряд поставлен, то высоченные — в тридцать венцов — хоромы воздвигнуты. Волхов у моста забит лодьями, шнеками, карбусами; с торговой стороны на Софийскую можно по тем кораблям пройти, как посуху. И речь на тех кораблях слышалась нездешняя: немецкая, фряжская, персидская. И все трудами Ивашки с сотоварищи, все их доблестью ратной, кровью обильной...

Но под Нарвой, когда врубались новгородцы в железный строй немецких латников, довелось ему вызнать бесильную ярость. Если бы не заветный топор-чекан да не серебряный оберег, не выйти бы ему живым из сечи. Грудь в грудь бились они. Броня в броню. Ивашка чуял на лице прерывистое дыхание немецкого воина, видел его зрачки, потемневшие от бешенства и гнева. Без усталости перекидывал Ляпун боевой топор-чекан из правой руки в левую, потому что с рожденья мог кидать битую той и другой рукою, но все не мог свалить с ног железного кнехта.

А когда затрубили рога с той, с немецкой, стороны

и отбежали латники к шатру магистра, увидал Ивашка, сколь жестока была сеча: не бурелом прошелся по лесу — острые мечи повалили воинов гряда за грядой. Попадали друг на друга пешие и конники, залили кровью землю, и нельзя было познать, где порубленный новгородец, где заколотый немецкий копейщик...

Снял боевую рукавицу Ивашка с левой руки, вытер испарину со лба и долго и пристально смотрел на шатер, на стоявшие перед шатром магистра полки немецкого железного воинства.

2

...Соймы ватажников-новгородцев затолкались в устье лесной речки, и веслами нельзя было плыть к Орлецу. Боеводы охочей рати порешили: будет сил да терпенья — переждем непогоду. И тогда за откосом, в затишье, новгородцы раскинули свой стан. Порывы ветра, налетавшие с Двины, пластали огонь по земле, метали искры, мчали клочья дыма вдоль берега, где у костров, у икных лодок, вытащенных на отмель, стояли гребцы. Другие ушли в лес поискать удачи, сбить стрелой-томарой тетерку, собирать ягоды-голубицы.

Ивашка Ляпунов с Прокшей-водолеем остались в сойме. Они играли в кости. Прокше везло — после каждого броска руки его заметно дрожали: не одна чаша золоченая, не один дискос серебряный перекачывал в его короб. И все же Прокша первым заметил боярина Юрия Дмитриевича — тот шел по приплеску, минуя костры, минуя ватажников, прямо к их лодье. Прокша ударил челом, но боярин только повел бровью: Прокша неохотно вылез из лодки.

— Ай, не за полоном ли боярин? — спросил Ляпун, кивнув в сторону Параскевы Пятницы. Унизанная жемчугами и дорогими камнями икона высилась среди рухляди: была она прислонена к борту и хорошо видна посадскому. Но Юрий Дмитриевич все-таки подошел поближе, — вельми чуден был образ.

— Нет, Ляпун, твой полон, ты им и владей, — проговорил наконец боярин.

— Почто, господине, такая немилость?

Юрий Дмитриевич, нахмурился. Он стоял, опираясь на золотое навершие меча, поигрывая пальцами по рукояти.

— Велику силу имеющему и ум велик подобает иметь,— обронил посадский.

— Богатого всяк мнит мудрым,— откликнулся Ляпунов.— Это ли не богатство? — и с вызовом повел рукой над лодкой, заваленной узлами с рухлядью.

— Не то молвил, Ляпун. Твое богатство — до первого кабака.— Пальцы посадского, украшенные перстнями, нетерпеливо выстукивали по рукояти.

— В том деле охочие люди вольны.— не скрывая усмешки, сказал ватажник.

— Ай-яй-яй,— Юрий Дмитриевич покачал головой.— Окаянные речи твои я слышать не слышал. Наши вольности зиждутся на повеленьях Софии... — Юрий Дмитриевич бегло перекрестился.

— Наши вольности и права на крови, боярин,— разъярился Ляпун. Лицо его стало темным, напряженной — пригнутая выя.

Посадский замолчал, испытующе глядя в глаза Ивашке. А помедлив, с угрозой изрек:

— Мутен ум твой, Ляпун, злоязычен язык твой... Да не лаяться шел я к тебе, а с миром, по делу.

Стало ведомо им, новгородским боярам, пояснил Юрий Дмитриевич, будто где-то в верховьях речки скрывается заволоцкая чудь белоглазая. И надобно выведать, где она обитает и где таится. А выведать повелевают ему, Ляпунову, с ватагой, чтоб обсказал он потом все как есть.

— Добро, господине,— охолонув от злобы, ответил Ляпун. И еще повторил: — Добро!

Юрий Дмитриевич повернул от соймы. При порывах ветра, налетавших с Двины, казался он еще меньше, ибо клонил голову, придерживая шапку, убранную дорогим мехом, запахивая полы кафтана, которые раздувал ветер. Но как ни старался боярин сбересть степенность, встречный ветер клонил его ниже: он спотыкался, брел по приплеску едва-едва.

«Лучше ногами спотыкнуться, нежели языком,— припомнил Ивашка, глядя ему вслед.— Уж ты-то языком не спотыкнешься. Нет, воевода, не спотыкнешься».

...В ту ночь ватага Ляпунова ушла к верховьям речки поискать народец, затаившийся в дебрях.

Плыли они и день, и второй, и третий... Речка петляла, бросалась из стороны в сторону, глухо рокотала на пере-

катах, заманивала в синюю глушь. Дика, своенравна была река. То вздымала до поднебесья береговые откосы, то терялась, пропадала среди болотной осоки. Под обрывами она чернела, словно деготь. Но зачерпни в ладонь воды, и прозрачная влага скатится с ладони: пей до дна — ни соринки не найдешь в чистой струе.

День за днем шли новгородцы по той реке, где парусом, где веслами, где шестами. И чем дальше, тем каменистее были перекаты, грознее рев воды, глуше лесные дебри. Ночевали ватажники в сойме. Огня не жгли. Стражу держали надежную. Но однажды в полночь проснулись от страшного шума: вода под берегом клокотала, взлетала вверх, обдавала ватажников тучами брызг. Красная луна стыла над обрывом, который трещал валежником, осыпался комьями глины... Вот с той-то самой поры и прозвали гору Бросачихой: бросала чудь заволоцкая камни и бревна на пришлецов, замыслила погубить их в омуте, черном, как ночной мрак. А многим позднее возникла там деревенька, которая прозвалась, как и гора, Бросачихой.

Огородились новгородцы щитами. Подняли пики-рогатины. Глаз не сомкнули до рассвета. А едва посветлело небо, двинулись снова в путь: крепок наказ воеводы, но покрепче того наказа рука у старшого.

В одном месте стиснули речку берега, сжали ее крутыми откосами. Белая пена медленно крутилась у камней-валунов, поднявших — сколько хватает глаз — мокрые хребтины. Ляпун с Прокшей-водолеем соскочили на камни: надобно было осмотреть, велик ли перекаат. Хватаясь за низкорослые сосенки, нащупывая поршнями опоры, они стали подыматься вверх, к ельнику, стеной стоявшему над обрывом. Одолев подъем, они пошли вдоль обрыва, поглядывая вниз: река шумела глухо и ровно, как рощенье в непогоду. Берег заметно снижался. Ватажники шли след в след, ступая по мягкому мху, прислушиваясь к писку лесных птах, к ворчанью перекаата.

Внезапно Ляпун замедлил шаг, отвел от глаз еловую лапу, замер. Перед ним была солнечная поляна. Сплошным покровом белели ромашки. Гудели шмели. На поваленной ветром березе посреди поляны сидела девка-чудинка. Была она вся в белом одеянии. И такие же белые, почти пепельные волосы ее схватывала красная повязка с височными кольцами. В мочках ушей позванивали подвески с колокольцами. На груди — ряд за рядом — лежа-

ли янтарные ожерелья. Девка манила к себе дитя. Растопырив ручонки, смешно топоча, иное ляпаясь на траву, глуздырь шел к матери.

— Ма-а-а, Райда,— повторял он.

Лесная девка вскочила, подхватила дитя, подкинула его, прижала к груди, закружилась и, счастливо и тихо смеясь, села на поваленную березу и, лаская, снова стала манить к себе сына: она учила его ходить. Качнувшись, тот схватился за головку ромашки, сорвал ее, стиснул в кулачке, потом разжал кулачишко и протянул матери:

— Ма-а... Райда,— лепетал он.

Они гнали ее, как гонят ловцы олениху. Гнали по частоте леса, по дебрию, по березовому рощенью, по топкой болотине. Гнали, уязвленные жаждой полона и яростью.

Утекала Райда от ватажников, изнемогая от страшной ловитвы, утекала, не давалась им в руки, как не дается ловцам олениха, пока не запутывается сама в охотничьи сети.

В некоем месте вскричала Райда — полетел тот человеческий вопль отчаянья и ужаса вдаль, двоясь, троясь в лесной гущине. Через какое-то время ватажники поняли, кому дала знак лесная девка,— они выбежали к жердевой ограде. По всему — за жердями было чудское селище. Они перемахнули через ограду. И вот здесь-то... Как зеницы не выпали у них из глаз, как сердце не оторвалось от корня своего?..

В облаках пыли перед ними оседала земля. Она шевелилась, как живая, она вздымалась буграми, свивалась воронками. Тяжелые камни проваливались вниз, и оттуда — из глубины шевелящейся, живой земли — доносились предсмертные хрипы и стоны: чужь уходила в землю!..

Очнулся Ляпун, когда Прокша-водолей выволол к жердевой ограде Райду. Поймал-таки ватажник лесную девку. Белые одеяния ее были изодраны в клочья, красная повязка сорвана с головы, и волосы, рассыпавшись, захлестнули спину и грудь. Девка царапала мох, хваталась за коренья, билась в судорожном плаче, но Прокша ловко накиннул на горло сыромятную удавку — Райда задохнулась, побледнела, сникла, теряя последние силы. До

хруста завернув ей за спину руки, Прокша той же удавкой стал вязать полонянку.

— Оставь! — хрипло выдохнул Ляпунов. — Оставь девку! — Сгорбившись, почернев от гнева, он двигался к водолею, который, бегло глянув на него, продолжал вязать узлы.

— Девка нынче без роду, без племени... Душу сиротскую — не шалыгу¹ пленишь! — Ивашка зашелся от ярости. Видя такое, Прокша медленно встал с колен и, не спуская глаз с топора-чекана, блеснувшего в руке старшего, попятился к лесу.

— И сам горазд путы-то вязать. Сам лют до плена, — шипел, отступая шаг за шагом, Прокша.

Но Ивашка не слышал его. Наклонившись над Райдой, он полоснул лезвием топора по сыромятным ремням. Затем, не оглядываясь, пошел от чудского селища прочь. Он шел к береговому обрыву, к своей лодье, шел, всей спиной ожидая: вот-вот вонзится ему между лопаток острая сулица Прокши-водолея.

Впереди на перекатах шумела река.

3

На златоверхом тереме великого князя московского сияло солнце. Меж прочих хоромин, крытых тесом, соломой, замшелой дранью, кровли великокняжеского терема слепили глаза — лишь золоченые кресты Архангельского и Успенского собора да церкви Иоанна Листвичника, что высилась на самой вершине Кремлевского холма, могли соперничать с ними.

На Большой кремлевской улице, стиснутой хорами, крыльцами, переходами, амбарами, толпился народ: в людском потоке тархтели подводы, осторожно пробирались всадники, над головами плыли кораба со снедью.

Возле Боровицких ворот, ведущих в Занеглименье, возле Фроловских, Никольских, Константино-Еленинских ворот, ведущих в Великий посад, толчея была еще пуше — кто шел в Кремль, кто проталкивался в Посад на Варварку, кто к торговым рядам, к купеческим лабазам. Крики зазывал, пенье нищих, детский плач — слитный, разногласый гул толпы прорывался в хоромы: по случаю жары слюдяные оконцы были открыты.

¹ Сухое дерево.

И только набережные сени великокняжеского терема не затрагивала уличная суета. Набережные сени спускались к Москве-реке крытыми лестницами с рундуками, с решетчатыми слюдяными оконцами. Сквозь оконца виднелись торговые причалы, паруса и мачты кораблей, наплавной мост в Заречье, Васильевский луг.

Великий князь Василий Дмитриевич похаживал по сеням. Заложив руки за спину, потирая перстень на безымянном пальце правой руки, он подходил к оконцу и подолгу, углубившись в себя, смотрел на Москву-реку. Был он коренаст, широк в кости, белес.

Если бы не златотканое платье, походил бы великий князь на гостинорядца: не было в нем ни отцовской стати, ни дородности, ни густой черноты волоса отца, великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Но ступал князь Василий по половицам вкрадчиво, поворачивался на острых каблуках легко...

Ждал князь Василий митрополита Киприана и, пока ждал, обдумывал, что молвит при встрече со святителем.

Решили новгородцы, что он, князь Василий, примыслил себе земли Заволоцкие и Двинские. А надо бы им знать, что еще прадедом его Иваном Калитой был назначен ему сей путь.

Прадед Калита получил великокняжеский стол за многие злато и серебро, не чинился, ездил на поклон к хану ордынскому, тряс мощной, одаривал агарян дорогими дарами. И прикупил, между прочих дел, Галич да Белозерск, открыл угожья необозримые: меду, воску, соли, рухляди мягкой, серебра закамского там не пересчитать. Вот кто первым примыслил княжеству московскому все Заволочье! Вот кто первым наострил глаз на заволочкую чужь, на неизвестных народцев, что живут за Камнем в Стране Мраков! Все он — Иван Данилович Калита! И примысел сей передал он молодым князьям московским. Дмитрий Иванович Донской в свой черед благословил на старший путь его, князя Василия, наказав другим братьям: «Чтите и слушайте своего брата старшего, князя Василия, вместо меня».

А когда повел отец с братом, князем Владимиром Андреевичем, русское воинство против Мамай, кто помог ему разбить татарские полчища? Русь Северная — князья белозерские, ярославские, ростовские, бояре галичские, костромские, серпуховские, муромские, звени-

городские... Князь белозерский Федор и сын его Иван пали в той великой сече. Ратники галичские полегли там костями.

Вот и помнит князь Василий крепче крепкого наказа отца своего Дмитрия Ивановича Донского: жити всем за один! Вот и примыслил он к Москве волости Муромские и Торусские. Вот и повелел меньшому брату своему Юрию воевать все Заволочье.

...Однако нет и нет владыки Киприана. Живет он в селе Голенищеве меж Воробьевыми горами, любит уединение, премудрость книжную: искателен, хитер да малоречив сербиянин.

Князь Василий подошел к окну. По наплавному мосту проходила, сверкая сбруей и злаченными доспехами, княжеская дружина. Сзади тянули невиданное доселе огнестрельное оружие — тюфяк. На грубо сколоченных колесах помещалось тулово пушки, окованное обручами. Народ расступился перед ратью, загляделся на огнедышащее чудище, перед которым не устоит ни каменная стена крепостная, ни кольчуга железная.

Из внутренних покоев терема наконец-то вышел митрополит Киприан. Вслед за ним служки внесли кресло. С медлительной важностью владыка присел на сидалище, обратил горбоносое худое лицо к великому князю. Его борода стекала на фелонь белыми волнами, брови были густы и черны. Под бровями светились черносмородинные глазки, являвшие ум и быстроту соображения.

— Отче! — обратился к нему князь Василий. — Не добро творит владыка Иоанн с новгородцами: посылает их за Волок. А те дани емлют и людей отчины моей пужают, сольщают к себе, понуждают к верности Софии новгородской. — Князь говорил ровно, однако по тому, как потирал он перстень, было видно, какого труда стоит ему эта ровность голоса. — Вы, святой отец, поставлены миру и любви учить, мне же, князю московскому, имение собирать и возноситься!..

Что мог ответить ему Киприан? Что вздумали новгородцы — посадники, и тысяцкие, и лучшие люди, и черный люд — не ходить в Москву, на суд к митрополиту, а судиться у своих владык? Ни много, ни мало — две недели уговаривал их Киприан разорвать те грамоты,

снять с себя крестное целование. Да что ответили ему вечники: «Целовали мы крест заодно, грамоты пописали и попечатали и души свои заодно запечатали». Уехал Киприан ни с чем. Да в другой раз прибыл он в Новгород вместе с послом патриаршим и снова запросил суда, а новгородцы ему суда не дали. Во всем том гораздо сведущь князь Василий, а гнет свое: надо, вишь, ему прибрать к рукам Заволочье и Двинскую землю, лишить новгородских купцов пушных промыслов, мехов чудских, драгоценных: те меха по городам и весям заморским, по дворам королевским превыше всего ценятся. Могли ли новгородцы, гости торговые, люди хваткие, смириться с утратой Заволочья? Никак не могли! Митрополит вздохнул: от века в сей обширной земле господарят смуты, и по любому навету брат восстает на брата, а сын на отца.

Князь Василий чутьем уловил размышления Киприана.

— Ведомо ли тебе, отец святой,— спросил он, остановившись прянь митрополита,— как ответили новгородцы мне, князю своему, когда я потребовал через посла разорвать мир с немцами? Неведомо, говоришь? Так слушай: «Князь Василий,— ответили мне крамольники.— С тобой у нас мир, с Витовтом — другой, с немцами — третий!» Однако есть у меня известие: склоняет их Витовт поддаться ему, встать под его руку. И быть тогда разору русской земле, гибели княжеству московскому.

Киприан смотрел из-под нависших бровей на князя Василия, который вновь забегал по сеним, смотрел черносморозинными старыми очами и понимал: есть правда в словах князя, да не вся.

Называют ныне новгородцы литовского князя Семена Лугвеня Ольгердовича мужем-опекальником и себя и Господина Великого Новгорода. Да ведь сие не более как противовес на безмене: Москва-то — она все одно перетянет. Рано иль поздно, а перетянет!

Только сейчас разомкнул уста митрополит Киприан:

— Поелико владыка Иоанн благословил охочие рати на разбой в Заволочье, ему и ответ держать перед святой церковью и перед тобой, великим князем московским. И держать ответ он должен честно и грозно.

Вскоре был отправлен в Новгород посол митрополита, стольник Яков Юрьевич Новосилец, чтобы разведать там все добре и без промедления звать в Москву владыку новгородского Иоанна о святительских делах.

4

Веет ветер, задувает с полудня, качает лодью на двинской волне, подбрасывает: плывет к Орлецу Ивашка Ляпунов с сотоварищи. Облака да синь — над ними, леса дремучие — по берегам, а впереди — даль и даль неоглядная, солнечным светом напоенная. Буй-ветерок треплет волосы. Синева обволакивает сладкой дремой, укачивает. И думается ватажникам каждому свое: иному о жнивье, иному о матери, иному о женке, о детях малых, оставленных дома, на Волхове. Но поют они песню совсем о другом, поют, чтобы разогнать тоску-кручину, заглушить лихую печаль.

По морю кораблик
Бежал-таки, бежал.
По кораблю детинушка
Гулял-таки, гулял.
Он в гусельки во звончаты
Играл-таки, играл.
И в море лебедь белую,
Ах, лебедь увидал...

Тут встал на корме старшой, заслонил глаза ладонью, вгляделся в речной поворот: там, за лесом, чернело облако дыма... Кучно клубясь, оно растекалось по небосводу, застило августовскую синь. И чем быстрее бежала лодья, тем больше тускнело солнце. На него смотрели ватажники не щурясь, как не щурясь они смотрели на воду, потерявшую блеск и голубизну.

Орлец горел. День и ночь, снося заборалы, сметая заборальников, били по городу пороки — старинные каменетные орудия. Издали они походили на качели: те же сосновые кряжи с перекладиной. Только выметывали орудия не веселье, не смех, а смерть и горе с отчаяньем. Порочных дел мастера оттягивали длинную слегу, взваливали в ременный карман ядро или горшки с греческим огнем — и пускали сей заряд на город. Заряд летел, рассекая воздух, сметая все на своем пути.

Сыпалось каменье, как дождь, на крепостные стены и внутрь града, где множество людей мертвых валялось на пепелищах, на улицах, у дымных развалин, у дощатых оград.

Со всеми градоёмными хитростями вел осаду воевода Тимофей Юрьевич.

За обрытьем, которым огородили новгородцы свой стан, за деревянными щитами, за турами — плетеными корзинами с песком и камнями, — там, где высились пороки, где без усталости трудились камнемётные мастера, толпились копейщики, прятались лучники, высматривая цель, осыпая стрелами двинян: все ждали приступа — осады. А по Двине-реке, против стен и башен Орлеца, выстроил воевода Тимофей Юрьевич лодейный караван: лодьи стояли борт о борт, впритык друг к другу. И на носу каждой — тяжелые самострелы и камнемётные пращи. День и ночь засылали они на город бронебойные стрелы, закидывали большое и малое каменье. В кольцо зажал Тимофей Юрьевич град, взбунтовавшийся против Господина Великого Новгорода. Был Орлец новгородским поселением, да поважнее того — был ключом к Беломорью, ключом к самояди, к торговле пушным товаром, рыбьим зубом, иначе — драгоценной моржовою костью.

«Давить переметчиков-двинян, — сказал на совете охочей рати воевода Тимофей Юрьевич и стиснул тяжелый кулак. — Чтобы кровь и сукровица из них потекла! Чтобы псам на съеденье достались их трупы!»

И сыпалось на город большое и малое каменье. Свистели несметные тучи стрел, пускаемых из-за укрытия. Но четвертую неделю стойко держали оборону двиняне: уповали на чудо, на подмогу великого князя Василия. Да напрасно они уповали — по всей Двинской земле, по всему Заволочью не было рати, кроме охочей рати новгородской.

Шумели под ветром боры, рокотали на перекатах быстрые реки, шурша, осыпалась переспевшая рожь... Но нигде не слышался цокот московской дружины, не грохотали колеса огнедышащих пушек, не звенели доспехами вое московского князя.

Только, щемя сердце, курлыкали по утрам косяки журавлей да гоготали гуси-гуменники: ведали вольные стаи, собираясь в отлет, — в северских странах близок листвобой, близки наледи и метели.

Рев боевой трубы огласил побережье. Протяжно и гулко повис он в знобком туманце. На тот внезапный глас наострили слух и новгородские ратники и двиняне. Лишь порочных дел мастера в усталом безразличии присаживались к смертоносным билам, утирали лбы да потные лица подолами пестрядинных рубах. Боевая труба проревела и смолкла. И сразу мохноногие кони, на которых восседали бирючи посадника Тимофея Юрьевича, проскакали за обрывье. Всадники приблизились к рубленным стенам Орлеца, стали кричать осажденным. Один из них размахивал над головой пергаменным свитком — то была милостивая грамота двинянам. Бирючи то подъезжали к стенам, то возвращались назад, крича вперебивку, заламывая свои колпаки. На заборах, заваленных бревнами, истыканных стрелами, мелькнули первые шишаки и шеломы: двиняне слушали бирючей. Не дождавшись ответа, всадники круто повернули коней и россыпью помчались к становищу новгородцев.

Сойма Ивашки Ляпунова стояла близ берега, заросшего сонной ольхой. Обтекая сойму, пришептывала вода, слабо подрагивали снасти. Сорока, сорвавшись с ольхи, стрекоча, пролетела над соймой. «К новостям», — подумал Ивашка, как и все не спускавший глаз с двинской крепостицы. Ожиданье обострило зренье, слух, истомило тревогой. Ивашка нетерпеливо сдвинул на затылок войлочный колпак. И тут-то ощутил позади себя ненавидящий взгляд. Он оглянулся. Из рухляди, сваленной возле кормы, блестела окладом плененная им Параскева. Прислонившийся было к иконе Прокша-водолей отпрянул, свесился за корму и начал грабастать горстями воду. Он пил кряхтя, шумно вздыхая. Ляпун досадливо отвернулся от Прокши.

Чуял Ивашка: что-то свершится. И свершилось оно.

Не гром прокатился по Двине и Придвинью — вскричали ватажники славу своим воеводам. А из Воздвиженской башни повалил валом черный народ. Спешили старухи, путаясь в долгополых одеждах; брели, понутив головы, изможденные старики; женки с плачем толкали перед собой ребятишек; молодухи, кричаньем молясь, рвали волосы, голосили.

В том человечьем потоке более всего мелькала рвань домотканых рубах, пестрели заплаты аязмов, торчали

худые треухи, белели паневы. Последними вышли из башни торговые гости в суконных кафтанах, служилые люди. Новгородцы с посвистом, с бранью, с криком оттеснили двинян за обрытье. Там, в многоголовой толпе, рыскали, словно серые волки, бирючи, выискивали зачинщиков смуты.

Первым меч с перевязью сорвали они с воеводы Ивана Никитина. Переметчик-двинянин не шелохнулся, не дрогнул, лишь нахмурил чело в ссадинах, в кровоподтеках. За спиной Ивана тяжело дышал его брат Анфал Никитин, детина рослый, вельми красивый. Он исподлобья смотрел на охочую рать. Едино днище, иначе — на расстоянье единого дня пути, сбежит от новгородцев Анфал, непременно сбежит и еще немало беды учинит.

Возопил некий двинянин, когда навалилась на него стража: «Не дейте мене, братия милая, не дейте!» Он боролся крепко, крича, захлипая, пока не ткнулся ничком, подплыв кровавою лужей. От того сырорезанья трепет охватил двинян. Даже московский наместник Федор Ростовский, из отдаленья взиравший на смерть человека, размашисто перекрестился. Вооруженная челядь окружала своо господина — с той челядью и отбудет наместник Федор Ростовский в Москву, лишенный, однако, конной sprawy, почестей и богатой казны.

А ватажники ловили в Орлеце остатных людишек, добывали по избам, по амбарам, по лавкам купцов полон и кормленье. Пойманных гнали к лодейному каравану — там был воздвигнут помост. Среди служилого люда грозно высился боярин Тимофей Юрьевич и другие начальники новгородского войска. Туда же взобралась и бирючи. Один из них выступил, развернул пергаменный свиток со свинцовой печатью, зычным голосом возвестил: «Посадники новгородские Тимофей Юрьевич, и Юрий Дмитриевич, и сторожевой голова Василий Борисович челобитье у вас, двиняне, принимают, а нелюбе вам отдают...»

Дрогнули ряды побежденных — иные повалились на колени, крестясь, рыдая, иные, кто ранен, остались стоять, подпирая плечом друг друга. Читавший грамоту оглядел побережье, продолжил: «А Ивана Никитина и братьев его Анфала да Герасима да Родивона, кто водил двинскую землю на зло, в железо ковать...»

Кинулись в гущу людей копейщики, потащили изродцев тут же ковать в железные узы.

«...А вам, двиняне, за ваши преступления и вашу вину перед Господином нашим Великим Новгородом платить плен в две тыщи рублей да еще коней три тыщи...»

На пожаре шаяли головешки. Дым пластался по переулкам в безветрии. Птицы висели роями на тополях. А где-то за башнями крепостицы, за лесным морем-океаном шаял такой же тихий закат. Багряные отблески падали на облака, неподвижно стоявшие над головой, на тополя с красными гроздьями птиц.

Ивашка Ляпун проходил по Орлецу последним дозором. Смотрел на пожарище, смотрел на небо, горевшее алым светом. И словно облачная багряница, встававшая от окоема гряда за грядой, подымалась в глубинах души его скрытая прежде тревога. В долгих скитаньях, в трудах, в ратном или хмельном забытии не знал Ивашка этой напасти, не испытывал скрытого беспокойства, в котором все чудился ему привкус вины. Может, то не вина, может, то состраданье, что впервые явилось ему в виде девы лесной — Райды? Может, прельстила ее красота, ее материнство?.. Только все помутилось в Ивашке, все в нем смешалось, словно вошел он в заказанный лес и там убоялся неведомой прежде кары.

Ляпун ускорил шаги. Впереди, у ограды, что-то белело. Заспешила ватага вслед за старшим. Райда?! Волосы расплескались, рассыпались светлой волной по лицу, по руке, откинутой напрочь. Убиенная, словно споткнулась, упала неловко, хотела бы встать, да не смогла и застыла в смертной истоме.

Постоял Ивашкин дозор возле ограды и тронулся дальше в тревожном безлюдье...

Разворачивались лодьи — от плеса до плеса — по вздыбленной ветром Двине, ныряли, как утицы в волны, чертили мачтами небо, хлопали парусиной. Припадали к правому борту копейщики и гребцы, левый — пенил студеные хляби. Разворачивались лодьи, утекали на полдень, и вперегонки с караваном бежали на полдень низкие тучи. Далеко до верховьев Двины, а за верховьями

быть еще малой Двине, быть озерам, рекам, волокам, болотам. Когда-то заплещется в днище старый Онего, да выбежит Волхов, да встанут у Ильменя главы Софии.

А горы твои, Заволочье, — лесисты, дожди — многодневны, трущобы — дики.

Птица устанет махать крылами, зверь, ослабнув, приляжет в суземе, гроза и та истощит свою ярость, но реки твои, Заволочье, будут катить и катить седую волну к Соловецкой пучине.

Качать бы рекам твоим рыбацьи челны, поить лошадей, плескаться у сходней, на коих молодки бьют валками холсты.

Но городки твои пусты. Пашни заброшены. Народ крестьянский иное в бегах, иное в смятенье. Куда ни помотришь, чернеют одни развалы печей: ветры развеяли пепел, ливни смыли золу. Запустенье, разор на все Заволочье!

Кому сосчитать напасти, протори и убытки? Кому обживать эти волости и уделы? Спрос великий с кого?..

Ныряли, как серые ути, лодьи новгородцев в высоких волнах. Уплывали дальше и дальше на полдень. Терялись в забрызганной солнцем дали.

Кутались новгородцы кто в ветошь какую, кто в шубник, кто в купецкий кафтан — по лодье ходит-гуляет лихой сиверок, знобит новгородцев. Бякнет о днище волна, и брызги, как из пращи, взлетают выше голов. Жмутся ватажники в заветрии друг к дружке, речь-беседу негромко ведут.

При тихой погоде вровень с верхушкой мачты плывет и плывет по берегу ельник-березник да чистый сосняк. А ныне ельник то упадет, то взлетит в поднебесье; чем ближе к береговому обрыву, тем хлеще бросает сойму на вспененных гривах: «Смотришь, старшой, али нет?»

А обрывы поди как круты. Тут, по Сухоне, красноглинны они. А по Двине — меловые, словно оледенелые в стужу. В полнолуние, как вызвездит полог небесный, мнится: плывешь достославной Страною Мраков. И там бывали стары мужи-новгородцы. Ходили за самоядь, в Югорское царство, понагляделись всего немало. Вечным снегом покрыта Страна Мраков. Льды в ней вельми велики. А из туч на землю падают звери пушные: белки, песцы, соболя, малые оленицы...

Глядит Ляпунов на откосы, погружается в думы, словно в запечатленный источник, хранимый от всех.

Что и сказать, до поднебесья здесь горы. Высоки не-сказанно. Круты. И всюду закаменевшую твердь изъели вешние воды, источили овраги. Даже при солнечном свете держится в тех оврагах беспросветная тьма. Глухо гудит в них сосняк. Тайно скачут олени.

Да и вся-то река, словно Перуново мольбище деда Кулотки; но здесь огромных, краснорожих богов изваяли дожди и ветра. Наплывают они на сойму то справа, то слева. Пляшут под рев непогоды. Ведут нескончаемый, до помрачения ума, хоровод.

Вон страшилище некое — некий лесной истукан все ближе и ближе. Может, во всем Заволочье главный Перун-громовик. Лик его узок. Чело избородили морщины. Скошенный глаз вонзился в Ивашку. Ино лодью швыряет волна, ино качается старый Перун. Вот-вот упадет. Рухнет в бездну — взлетят выше туч камни и брызги. До Соловецкой пучины добежит волна.

Хочет судьбу свою попытать удалой новгородец: так ли страшен заволоцкий Перун? Довернул он кормило — полетела лодья под самый обрыв. И там, где вспенены яростно воды, где визжат оглашенно стрижи, где над парусом повисла утроба Перуна, там проходит Ивашкина сойма.

— Осатанел ты, Ляпун? — сквозь вой непогоды кричит ему Прокша. Как печеное яблоко, серым от страха стало лицо водолея. — Смерти, что ль, захотел, заклятый вражина?..

Хохочет Ляпун. Бесовский его хохот отдается в расщелинах красной горы.

Смотрят вверх новгородцы: пляшет пляской последней страшилище, брюхом грузно трясет, осыпает каменьем. И молитву уста их шепчут невнятно.

...Ход ровнее у соймы. Лесной крутояр далеко. Держит кормчий корму, строго глядит на ватагу.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой!.. Страшен Перунов обрыв. По сравнению с ним человеке — песчина одна. Но люди богов изваяли себе пострашнее речных великанов.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой! Да не страшны они, а добры к малой песчине. В земном естестве все добро друг к другу — сладок мед диких пчел, доброплодна рябина, солнце, грея речные откосы, ласкает волну. Лучше каменной осыпью быть, спелой рябиной, волною, чем дрожащею тварью: вечность здесь и покой, там — обитель раздора и зла.

Ход ровнее у соймы. Спит на сланях ватага. Только кормщик, насупившись, неотрывно глядит в заветчерешую хмарь.

7

Дождь сечет реку, пузырится в заводах, где кружатся осиновые листы и древесная прель. Шум дождя поглощается грохотом переката. Нескончаемый дождь, нескончаемый сухонский перекат. Сухону-то, видать, потому и называли Сухоней, что за каждым извивом корабельщиков ожидает великая сушь — то песчаная мель, то камень, то лесные завалы. Одним словом, сухая река. А на ватажниках да на пленных двинянах нету нитки сухой. Стоят они в ледяной воде — какие тужатся в ляшках, какие борта кораблей облепили, как мошкара. Тяжелы лодьи, когда их посуху тащат, когда скребут они днищем камень и встречные струи сбивают корабельщиков с ног. До ломоты в костях, до судорог в горле холодна вода на волоках-перекатах. А люди, ватажники и двиняне, каждый день тащат лодьи, засевшие средь валунов. Все едины теперь, все у коварной реки в плену, всех простор и сиянье небес бирюзовых неотступно влечет.

Кричать не могут, дабы подбодрить криком себя, а лучше — протяжным пеньем; только хрипом хрипят. Поминают старых и новых богов. Из сил выбиваются люди. Их одёжа давно превратилась в сырое отрепье. Волдыри от лямок на спинах. Страшные язвы на босых ногах. Лихоманка многих трясет: кому лихоманка губы обмечет, кому в поясницу ударит, а кого жарой распалит. У Ляпуна пол-лодки в лежку лежит. У других — того боле. А отстать в том гибельном месте — значит принять добровольную смерть. По обрывам таится заволоцкая чудь. Русские мужики из сожженных посадов суть свирепы и злы: на рогатину могут поднять ведьмеда, не то что ушкуйника или ослабевшего воя.

Но досадней всего для Ивашки другое. Не лютый

змеёй ползет от ватаги к ватаге, ползет шепоток: дескать, Ивашка Ляпун отпустил лесную девку по имени Райда. И теперь чудские волхвы назвали на войско болезнь — лихоманку. За чужие грехи несподручно платить новгородцам: куда ни пойдет Ивашка — встречает косые взгляды. Добро бы от недругов, а то и от друзей своих.

Знать, оскорбившись за Райду, Прокша греет повсюду тот шепоток. Ведь он увертлив, как гад, что таится от ястреба под трухлявым пнем. И вот подишь ж ты, верят ватажники злыдню и его, Ляпуна, беспричинно клянут. Иное известно Ивашке: пришла к новгородцам Невея — старшая всем знобухам сестра. Сестер у Невеи ни много ни мало — двенадцать, а от тех сестриц-трясовиц с охочую ратью и приключилось все зло.

Хватаясь за мокрый вереск, соскальзывая с обнаженных корней, лез и лез Ляпунов на речной крутояр. Иное он замирал, смотрел в верха: там, на обрыве, росла старая и кривая береза. К той березе-то и подбирался Ляпун, ее-то он и заприметил, когда задумал Кулоткиным волхованьем известить болезнь-ломею.

Едва не ползком одолел он последнюю гриву. Встал над обрывом. Прислушался. Лес был безлюден и тих. Одни дождевые капли стучали по листьям. Так в новгородских коморах стучат златокузнечных дел мастера; рубят они золотые оклады, и сыплется стружка под ноги к ним. И здесь, на обрыве, побросал золотистую опаль в траву златокузнец-листобой. А внизу по всему перека-ту, в белопенных волнах, как будто застывших, лежали лодки-лодья, какие — на левом, какие — на правом боку.

Вразнобой торчали мачты со скатанными парусами. С полунощного берега подступал к перека-ту неведомый лес.

Ляпун наломал березовый веник — от мокрых веток пахло банной истомой. Жадно раздул ноздри Ивашка, вздохнул томительно-сладостный дух. Потом подхватил заветный топор-чекан, всадил его в тело березы. Тем топором и рубил он березовый веник, рубил-рубил, приговаривал: «С ветру пришла, да на ветер ты и поди!»

Заклинал на речном крутояре ватажник Невею и ее двенадцать сестриц-трясовиц. Откуда какая пришла, туда их и гнал: синюю — в реку-студеницу, красную да бурю — в жар колючий, в котел кипучий, зеленую да жел-

тую — в темные леса, в густые вереса, на осенние болота.

Седатый мужик, матерой материк, был он в тот час обличем страшен — по длинным власам, по густой бороде стекали капли дождя. Сухо блестели глаза: по всему, вселялась в него самого листопадная хворь-лихоманка.

— Поди ты, Невея, в темные леса, в густые вереса, на гнилые болота!

Ивашка очнулся: глубокое небо покачивалось над ним. Крупная зыбь пошлепывала о днище. Поскрипывал средний. От туго натянутого паруса падала на старшего легкая тень. Прямо Ивашки держал корму сменщик его — Репёха. Густобровое, прокаленное стужей и ветром лицо Репёхи было спокойно. Заприметив, что старшой очнулся, сменщик легонько кивнул головой и снова уставился в незримую для Ляпуна гряду облаков.

Ивашка скосил глаза и понял: он лежит за мачтой на сланях, укрытый шубником и кожухами.

Ивашка устал. Изнутри его разжигало адское пламя. Губы спеклись. Дыхание было редким и трудным.

А когда Ляпунов разомкнул тяжелые, словно свинцом налитые, веки — белоснежно громоздились над ним небесные горы: их же верха не мог Ивашка дозреть, оли взора не мог оторвать от дивного дива. Горы рушились в полном молчанье, обдавали Ивашку прохладой — он вдыхал эту свежесть, упивался падением снежных вершин.

Вот они обернулись лодьей — лодья паруса раздувает, плывет безбрежною синью. Вот они заимели невиданный образ — светозарно сияя, тот образ спускался все ниже и ниже: одеянья по небу развеяв, златые власы распустив, шла к Ивашке прекрасная дева. «Яко снег лицо у нее, а уста яко маковый цвет, — подумал ватажник. — Яко чаши, вельми велики ея очи». В них пре-страшно смотреть Ляпуноу.

— Райда! — хочет он крикнуть, но голос пропал.

Машет Райда красным платком, полыхает платок, кровью людской обогранный, тьмой застилает Ивашке глаза.

Боевым топором замахнулся Ляпун на платок. Но Райда коснулась тем платком топора-чекана — и с перешибленным топорщиком он выпал из рук новгородца.

Золотой, отягченный монетами пояс снимает Ляпун,

подает его Райде. Та взмахнула платком — и алой кровью намок пояс-кошель.

— Я не Райда! — гремит, отдаваясь в небесных чертогах, голос облачной девы. — Я — Берегиня!

Одеянья упали. Грудь обнажилась: из могучих сосцов брызжет теплое млеко. Пересохшими в жажде губами ловит брызги Ивашка, и рдеет в глазах его эта кровавая мгла.

...Вечерело. За ельник садилось багровое солнце. На приколе близ вербы стояла недвижно лодья. Из-за вербы тянуло горьковатым дымком от костра, наваристой свежей ухой. И тот дымок, дух ушицы, треск поленьев, ватажников смех — все вливалось в Ивашку благодатные силы. Репёха, присев к изголовью, поил занемогшего друга горячим брусничным отваром. Были мокры от пота поседевшие крупно виски Ляпуна. И вспомнил он враз скоморошью запевку: «Из-за кустика да девка. Из-за частого да бела...» И понял, что не забыть ему этой негаданной встречи с Райдой, как не забыть ему плачущей плачем земли в той чудской, в заволоцкой чашобе.

8

Владычный наместник Яков Юрьевич Новосилец подгонял жеребца, ёкавшего селезенкой. Сзади, гремя броней, неотступно скакала стража. Едва проехали мимо лепного храма Спаса, что стоит на Волотове с посадом, — и вот он сам, Господин Новеград и святая София. По Торговой стороне пробирались с немалой досадой. Узкие улицы запружены народом — ни пешим пройти, ни с конем проскакать. Как котел на огне, кипит торговище. Сурожане торгуют шелковой тканью — ткани цветасты, как луга по весне. Немцы — те продают ганзейские сукна: для однорядок купецких сукна куда как добры. Ряды не осмотришь, купцов не упомнишь. Ряд жалашный — висят кренделя. Ряд рыбный — в лубяных коробах на полпуда сиги. Бронный ряд — топоры, мечи, шеломы, дощатые брони, кольчуги и прочая ратная справа. В толпе не поймешь, кто глазеет, кто мошною трясет, кто татьбой промышляет себе пропитанье: всякий дело знает свое.

Переступают, храпят усталые кони. Новосилец в

сердцах клянет новгородцев, жеребцом теснит ротозеев, ременной плетью грозит.

Вроде стало полегче: слева храм Параскевы, покровительницы торговли на всей Руси, Ярославов двор, гридница с колоколом-вечевиком. Для бояр, золотых поясов, нету лучшего места: здесь, на вече, их власть, здесь им судьбы решать новгородских земель и пятин. Деревянные мостовые чисты, обиходны. Новгородки неспешно идут вдоль бревенчатых частоколов; за частоколами — избы, подворья, хоромы старшин купецких, бояр. Терема — высоки, окошки — малы, незаметны, ну, а крыльца — куда ни посмотришь, в пребогатой резьбе. Ударяют копытами кони в дощатый настил великого моста. Волхов солнцем слепит.

На Софийской — башни кремля. Кострами зовут новгородцы дозорные башни, и воистину башни взметнулись к небу, словно костры. Но превыше тех башен — свинцовые главы святой Софии. Повелением архиепископа Иоанна были заново крыты свинцом соборные главы. И сияет теперь София над кровлями и кострами — чуден храм новгородский и чудно убранство его.

Встретил владыка московского гостя с великой честью. Вышел из покоев далече, проводил во владычную комнату, там усадил на кресло с бархатным седалищем и изголовьем. Беседовал долго, любезно. Сетовал Иоанн на оскуденье новгородской земли, на печаль и тугу сограждан. Шайки ватажников, лиходеев, холопов смуту творят в новгородской земле и в самом Новеграде, лучшим людям грозят разорением, злобствуют на бояр, на боярских детей. Пусть уходят они по весне в Заволочье, на Каму, на Вятку и во славу святой Софии принимают смерть от стрелы басурманской, от отточенных копий иных агарян. Знает, дескать, он, Новосилец, посол владыки московского Киприана, как при пожаре летят головни через Волхов. Загорится Торговая сторона, быть беде на Софийской; на Славне огонь полыхает, ушаты с водою готовит Людин конец. До Москвы белокаменной верст поменьше от Новеграда, чем от Вологда али от Вятки. А в Москве-то, дескать, своих лиходеев вдоволь, ей, Москве-то, в соседях голодников не занимать?

Ай, не так-то прост новгородских владыка. Вроде бы простое обличье имея, он лукавым умом обладал, был в ученье горазд. Из безвестных игуменов Спасо-Хутын-

ского монастыря достиг высокого сана: других презрядней оказался в мирских, каждодневных трудах.

Дал понять Новосилец, что в речах Иоанна немалая истина есть. Да прогрешений его перед князем московским той немалой истиной-правдой не искупить. Иоанн отпустил новгородцев на разбой, благословил всенародно охочую рать. Он ответствовать должен перед Москвою, а не хитрые сети плести за спиною московских князей.

Посол Новосилец в раздумье покручивал бровь, облокотившись правой рукой на колено. Давно понял он: надо звать немедленно в Москву для святительских дел Иоанна! Ах, нелепый, горький удел разумного мужа: видеть, как в усобицах исстрадалась земля, и не знать, чем помочь. Но покуда ему, Новосильцу, достанет ума и сноровки, он препятствовать будет злодейству, он заслужит в потомках благодарную память. Русским быть заодно — благо в этом Руси и, стало быть, благо его, Новосильца!

9

На вольный простор, на стрежень быстрого Волхова вылетали лодьи заволоцкого каравана. Тесно им было в протоке, именуемой Жилотугом: здесь исстари тужили жилы новгородцы и иноземные гости, ведя бечевой корабли. Жилотуг оброс ветлами — желтая опаль плавала в тихой воде.

Шли новгородцы прямь солнца, было оно неярким, тихо-медвяным. И так же медвяно, как в сеновале, пахивало сенцом с прибрежных лугов. Нет, не сенцом, а землей новгородской, ни с чем не сравнимой, пахло в том Жилотуге — и веселило сердца. Расширялось устье протоки, ветер с Ильменя развернул паруса. По Волхову, встречу каравану, бежали лодьи, дощаники, карбуса. Корабельщики, встав на корме, кричали ватажникам, махали руками. Белые стены Юрьева монастыря, а далее — сосновая роща Перыня, а далее — слюдяная озерная гладь — все осталось теперь позади. Солнце било косыми лучами в туго звеневшие паруса. Чудилось буйным сынам новгородским: не соймы бегут по реке, а сам Господин Великий Новгород приближается к ним, растет на глазах, выходит навстречу охочей рати. Высокие стены и башни кремля — Глухая, Дворцовая, Спасская,

Пречистинская надвратная башня — становились все выше и выше. Справа бежал Славенский конец: рыбацьи лачуги, огороды, Варяжская божница, амбары ганзейских купцов. Слева — Людин конец. А впереди на ряжах вздыбился великий мост через Волхов. И не было места на нем от народного множества. Прямо Пречистинской башни — съезд на мост. Там встречать лодейную стаю вышел весь священный собор. Облачившись в священные ризы, со всем своим клиросом стоял впереди Иоанн, новгородский владыка, а за ним — черноризцы, посадники, уличанские старосты, лепшие люди. Звонили в колокола. У западных врат Николо-Дворищенского собора бухал сам вечевик — главный колокол, ведомый в отдаленнейших странах.

Но иные лодьи отставали от стаи, брали правее, к торговым причалам: там, на дощатых мостках, толпилось немало простого люду. Матери стары утирали слезы, женки, встречая мужей, по обычаю их лобызали в уста, малые дети, отроки, отроковицы бросались в объятия усталых, но безмерно счастливых воев.

Лодья Ляпунова пристала к краю причала. И как ни бранился, ни лютовал водолей, Ивашка оставил его за старшего: в лодье короба для хранения кольчуг, ратная справа, полон заволоцкий — надобно все уберечь от татбы.

Однако едва Ивашка с Репёхой и прочей ватагой исчезли в водовороте людском, Прокша тут же утек через мост. Он пробился к самому клиросу, застыл в ожиданье: от берега шли к Пречистинской башне воеводы охочей рати, бирючи, изветники и старшие. Шли они в дощатых бронях, в тяжелых кольчугах, шли, победно сверкая очами. Воевода Тимофей Юрьевич, надменный, грузный, как старый бугай, выступал всех поперед. За ним поспешал, спотыкаясь, Юрий Дмитриевич — как всегда, смиренный и постный обличьем.

А у самой реки из лодок ватажники выносили хворых собратьев. Выводили они на берег и закованных в узы двинских полонян. Печальные, с побледневшими лицами, с почерневшими телесами стояли пленники невеликой толпой. Устюжские женки, словно инокини, закутались в черные покрывала. Отроковицы меж ними застыли в горючих слезах.

Помрачнел Иоанн, владыка и пастырь лихих новгородцев. Препростое обличье его стало скорбно, а желтые глазки — угрюмы и злы. Как ни дивно было народу, самим воеводам, глазевшему с умилением на чин торжественной встречи Прокше, однако владыка нелюбезно благословил охочую рать. Надменный обличьем, прошел он мимо начальников рати на берег и там с любовью и тщанием осенил крестом полонян.

— Где лодья злохулителя Ляпуна? — внезапно изрек, обратясь к воеводам, архиепископ.

Посадник Тимофей Юрьевич в рассуждение ума был мало доволен, иначе сказать, недогадлив. Он смотрел на друзей своих, смятенный умом. Те молчали в ответ.

Тут-то выскочил Прокша, кинулся в ноги к святителю Иоанну, доложил все, что ведал, чему он послухом был.

А позднее во владычных покоях, призвав воевод и посадских, архиепископ, отец Иоанн, распалившись, кидал и кидал им худые слова:

— Почто навели вы праведный гнев и отмщенье на весь Новеград, на себя и на нас? Почто устюжан, изморенных голодом и стужей, в лодьях сюда привезли?.. Почто разорили городишко Орлец?.. О, безумия и скверного дерзновения вашего край!

Зашелся во гневе почтенный старец. И, видя такое, Юрий Дмитриевич, хитрый, как лис, перед синклитом отвечивал речь, не споткнувшись на слове ни разу:

— Согрешили, владыко, согрешили мы. Истинно это! Да по неведенью, по слепоумию нашему грех. Ныне смиренно припадаем к стопам твоим, отче, молим оставить нам согрешения наши, позволить вину искупить.

Отец Иоанн сразу сник, умиленный в душе покаянною речью преславного воеводы. Да повелел он, однако же, всем крест целовать и дать обет нерушимый: новый, еще лучший собор поставить во Устьюзеграде.

Порешили бояре: «Быть по сему!» — и были отпущены с миром.

Только Юрий Дмитриевич как бы подзадержался в покоях. Помытуя о некоем наказе, что дал он Ивашке, посадский обеспокоен был гневом владыки.

— Сей Ивашка Ляпун, — шептал, задыхаясь, посадский, — злохулитель — да что там! — потай. Он осквернил себя тайным грехом с лесной ведуньей, с Райдой. И вопил, обеспамятовав, нечто такое, что и вымолвить страшно: мол, права и вольности наши — все на крови!..

А паутрие в старом кружале, что приткнулось к церкви Федора Стратилата, гудели пазойливо мухи. Было душно и пахло недобре. Там, в кружале, на малой вечерне, ох, и лихо благовестили ушкуйники вместе с Ивашкой в малые чары, в полведришка пивиска звонили, пропивали под гусли заволоцкий полон: «По морю кораблик бежал-таки, бежал. По кораблю детинушка гулял-таки, гулял...»

Спал Ивашка на лавке, под хмельную, кудлатую голову сунув армяк. Голова к голове спал на той же лавке Репёха, верный его побрательник. Он похрапывал, улыбался во сне, бормотал.

С треском вышибив дверь, вломилась в корчму владычная стража: был для этих ловцов в той заводи тихой презнатный улов. Стол со снедью, с братинами, с глиняными горшками отлетел в дальний угол — по коморе рассыпались черепки.

Навалились владычники на Ляпуна, подхватили под белые руки — тот с похмелья очнуться не мог, а очнувшись, рванулся, раскидал поначалу челядь, да челядь сильнее: рубаха Ивашки в цветном узорчье с плеч сползла, окрасилась кровью. Сам Ивашка, словно блаженный, мотал головою, глухо мычал. Из корчмы потащили его на волю. Там держа обапол, с двух сторон, разгоняя народ непотребною бранью, повели Ляпунова к великому мосту.

Возле храма святой Параскевы ватажник люто рванулся — он увидел бояр, золотых поясов, стоявших кружком в отдаленье: Тимофей Юрьевич, среди прочих высокий, грузный, телом обильный, рядом с ним низкорослый и обличем постный Юрий Дмитриевич да Василий Сионец, сторожевой голова.

Воеводы охочей рати мельком глянули на Ляпуна, отвернулись: занимала их больше беседа о пользе душевной, о тщетности славы земной.

А изветники и владычные вои заломили до хруста руки смутьяну, связали холщовым убрусом и, голову долу клоня, поволокли к великому мосту. Позади ключом кипела толпа.

Волхов, высветленный, словно топор-чекан, сиял за колоколом-вечевиком. Крестьянские дроги тарахтели по

мосту навстречу Иоанновой страже. Сзади, как прежде, теснили ратных людей уличане.

— Псы! Отриньте! — хрипел, выпрямляясь, Ляпун. Он рвался, тянулся всем туловом и, глядя поверх железных шоломов, глядя туда, в многолюдье сограждан, кричал: — Люди! Слушайте, люди! Неправду чинят!..

Но владычные вои осадили смутяна, волоком потащили мимо крестьянских коней. Жилы, как веревье, проступили на шее Ивашки, губы, разбитые в кровь, запеклись, в глазах метались черные стаи.

В той круговерти людской чьи-то жадные пальцы схватились за цепку, рванули Перунов оберег — Ляпунов задохнулся, обмяк. А когда пришел в себя от удушья, серебряный оберег был уже сорван.

Затуманенными болью и гневом очами смотрел Ивашка на Волхов: вдали мелькали вольные паруса, да были те паруса впрямь солнца черны. Он глубоко вдохнул ильменский ветер-свежак, и прознобила его предсмертная нелюдская тоска. А лодки скользили по светлой воде, оставляя искрившийся, долго не меркнувший след. Завлекали они в блаженные страны, где живут человеки в согласье, где не слышно меж ними кровавых раздоров и войн...

Вдоль настила, у самого среза, лежали тяжелые плахи — плотники перебирали настил да ушли, не окончив работы. Загустела, как туча, толпа на великом мосту, и сосновая плаха сорвалась, полетела в мутные воды. Люди ахнули: не ушкуйника ль сбросила стража? И тогда-то охочий копейщик, прорвавшийся к воям, подхватил тяжелую доску и ударил Ивашку по седатым кудрям. Повалился Ивашка вслед за плахой и, как олово, канул в стремнинах речных. Уличане смотрели в тревожные бездны: в том месте, куда без всплеска упало тело Ивашки, плясали отблески солнца, иначе сказать, блистаницы.

Они как будто вязались в огненные письма.

ПИТОМЕЦ МУЗ

I

После окончания пансиона Триполи шестнадцатилетний Константин Батюшков стал жить в семье Михаила Никитича Муравьева, дальнего родственника по отцу. Отец поэта, Николай Львович, крайне редко покидал родовое имение в Даниловском, бывал в Петербурге наездами и поэтому просил бывшего однополчанина и друга способствовать устройству судьбы сына Константина. И тот охотно откликнулся на эту просьбу. В семье Муравьевых молодой Батюшков был окружен вниманием, заботой и неустанными попечениями как Михаила Никитича, так и его жены Екатерины Федоровны. Писатель-историограф Михаил Муравьев дал направление умственному развитию своего племянника, поощрял его литературные наклонности, привил вкус к древнегреческим и древнеримским поэтам. Сам он любил «читать древних авторов в подлиннике, и особенно греческих историков, ему от детства любезных», — как несколько лет спустя вспоминал о нем поэт. Именно в этом гостеприимном доме Батюшков увлекся переводами Горация и Тибулла, оставшихся его любимыми авторами до конца жизни. Тогда же он стал пробовать силы в поэзии, имел возможность, как и в другом родственном доме — доме Олениных, — познакомиться со многими петербургскими литераторами. В скором времени Михаил Никитич определил Батюшкова в канцелярию по Московскому университету, где его сослуживцами оказались молодые поэты Нико-

лай Пнин, Николай Радищев, Дмитрий Языков, а с 1803 года и Николай Гнедич. Служба письмоводителем менее всего увлекала Батюшкова: она не приносила ему удовлетворения, ибо все его помыслы были сосредоточены на служении музам, на занятиях поэзией. За канцелярским столом вместо деловых бумаг и прошений он нередко писал стихотворные послания друзьям или переводил с латыни, чем вызывал негодование начальства. И только высокое покровительство Михаила Никитича Муравьева спасало молодого поэта от серьезных неприятностей по службе.

И вот новость. 17 сентября 1806 года из Парижа выступила лейб-гвардия и артиллерия. Каждому всаднику было дано по четыре подковы и по одной ивняком обвитой фляге: значило это, что переход будет большим и утомительным. И пока газеты гадали, какие планы вынашивал в двухнедельном затворничестве великий консул Бонапарте, на правом берегу Рейна не осталось ни одной не реквизированной французами обывательской подвод.

По многочисленным немецким землям, маркграфствам, курфюрствам и герцогствам растекались корпуса наполеоновской армии. Не успели отцокать копыта конницы Мюрата по сельским дорогам Саксонии и королевской Пруссии, стихнуть скрипы армейских обозов, смолкнуть песни пьяных драгун по придорожным гастхаузам, а местные крестьяне, редко стоявшие по обочинам у своих заваленных снопами подвод, стереть с лица каменное, тягостное раздумье, как уже запестрели на дубовых дверях костелов короткие приказы консульских властей:

«Всем судебным местам в городах и селениях сим объявляется, чтобы рассеявшиеся солдаты прусской и саксонской армии были задержаны и доставлены в Гильдеснейм, Гамельн или Ганновер, смотря по тому, которые из сих мест будут ближе.

Ганновер, октября 20 дня, 1806 года».

Разгром Пруссии был полным и бесповоротным. Поражение армии Гогенлоэ под Иеной, гибель юного герцога Брауншвейгского, спешившего на соединение с Гогенлоэ и разгромленного в двух десятках верст от Иены, бегство тысяч солдат, бросивших артиллерию, обозы, провиантские запасы, сдача могучих крепостей после од-

ного-двух выстрелов из вестовой мортиры — все внесло немалое смятение в умы особ, посвященных в тайны кабинетов и политических салонов.

...Война неудержимо приближалась к границам России. И хотя многим был памятен аустерлицкий лед, раскрошенный французскими ядрами, политый кровью русских солдат, стало очевидно, что Россия превратилась в единственного действующего на этой войне.

Грозные события последних недель привели в немалое возбуждение дворянских юношей в обеих столицах. Волновали они и завсегдатаев портерных, кухмистерских, рестораций, где в табачном дыму до хрипоты спорили таможенные чиновники, немецкие мастера часовых и ювелирных дел и прочих, охочий до политики люд.

Не так много дней прошло с разгрома Гогенлоэ под Иеной, как новое известие взбудоражило Северную Пальмиру — Наполеон в сопровождении маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжественно въехал в Берлин. Думалось, и в Петербурге вот-вот услышится гром пушек Наполеона.

В ночь на 30 ноября 1806 года Александр I подписал манифест «...Очевидная опасность, если, от чего боже сохрани! ворвется неприятель где-либо в пределы империи, принуждают нас прибегнуть к сильнейшим способам для отвращения оной, составив повсеместно временные ополчения или милицию».

Это была неслыханная мера!..

Известие о создании губернского земского войска или милиции быстро распространилось по стране. Вскоре были опубликованы новые указы и новые положения, в которых предлагалось губернским обществам, именитым гражданам и купцам вооружить шестьсот тысяч ополченцев, одеть их в кафтаны, но бород и усов не брить.

В те напряженные дни Константин Батюшков определяется в канцелярию генерала Татищева, который был назначен начальником милиционного войска. Не канцелярские обязанности прельщали его, — радовала возможность отправиться в поход в Восточную Пруссию вместе с русскими войсками. Такая возможность в самом ближайшем времени представилась... В феврале 1807 года имя Константина Батюшкова было подтверждено Александром I. Он назначался сотенным начальником Петербургского милиционного батальона и должен был

в спешном порядке сопровождать ратников к месту боевых действий.

*17 февраля 1807 года, Даниловское.
Николаю Львовичу Батюшкову.*

«Любезный папенька! Я получил последнее письмо ваше, которым вы уведомляете меня, что нездоровы. Ах, столь сия весть для меня ужасна тем более, что я должен буду теперь вас еще огорчить». — Батюшков отложил перо, взял щипцы, снял нагар со свечи, подумал и мелким, торопливым почерком продолжил: «Припадаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело частное без твоего позволения... Но что гомить вас! Лучше объявить все. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы проводить их до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что вы не найдете ничего предосудительного в сим предприятии... Я сам на сие вызвался и надеюсь, что государь вознаградит (если сделаюсь того достоин) печаль и горесть вашу возлиянием к вам щедрот своих... Надеюсь, что и без меня Михаил Никитич сделает все возможное, чтобы возратить вам спокойствие и утешить последние дни жизни вашей.

Пишите ко мне, родитель мой, и дайте мне свое благословение, без которого я жить не могу.

Послушный сын Ваш *Константин Батюшков*».

К концу апреля русская армия под командованием генерала Беннигсена собралась возле Гейльсберга, немецкого городка, расположенного в двадцати милях к югу от Кенигсберга и Фриш-Гафского залива.

Чертой боевых действий армии стала речка Алле, протекавшая возле Гейльсберга и других весьма похожих на него городков — Гутштадта, Бартенштейна, Шипенбейля, Фридлянда, Велау... Городки следовали один за другим и находились то на левом, как Гейльсберг, то на правом, как Бартенштейн, берегах реки Алле.

Всю ночь с 28 на 29 мая войска готовились к решающей битве.

Свет полной луны проник под полог шатра... Укрытый косматой буркой до подбородка, Батюшков лежал неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел на лик

Селены, которая заливала шатер светлым сиянием, серебрила ворсинки бурки, бросала в углы резкие тени. Не спалось! И чем пристальнее Константин всматривался в лик Селены, чем таинственнее был мрак ночного неба, тем глубже было ощущение покоя, которого он не испытывал, может быть, со дня отъезда из Даниловского. Этот покой постепенно заполнял его существо, кружил голову и неузнаваемо преображал ночной мир. Батюшков видел и понимал, что свет, падающий в шатер, льется с гейльсбергских высот и в то же время был светом, льющимся в раскрытые окна старой отцовской усадьбы... Робко щелкнул и замолк соловей... Росистой свежестью потянуло от сирени...

Батюшков очнулся от странной грезы. Если бы не ровное дыхание офицеров, спавших рядом, он не смог бы уяснить себе, в каком временном и пространственном измерении он только что пребывал. Недобрым предзнаменованием показалось Батюшкову это разведение его сущности, хотя именно Даниловское он мечтал увидеть во сне, если бы довелось — даже на полчаса — смежить веки.

Не спалось!.. Батюшков осторожно поднялся и вышел из палатки. Под луной, стоявшей в зените, серебристо светились окрестности Гейльсберга. Самого городка отсюда не было видно, и только развалины старинного замка да — правее — городская ратуша обозначали Гейльсберг в древесных кущах. Далеко впереди, за убегающими волнами лугов и пажитей, за островками сосновых рощ, кое-где подымавшихся на холмах, переливалась россыпь рубиновых огней. Казалось, их свечение охватывало всю землю от края до края. Там — французы. И мерцающая россыпь — огонь их бивуаков и сторожевых постов.

Батюшков рассматривал эти мерцавшие огни, пока не услышал за спиной отчетливый цокот копыт. Казачий разъезд — он узнал казаков по папахам и длинным пикам — уходил в ночной поиск. Этот торопливый цокот, стихавший в отдалении, заставил Батюшкова действовать: он решил обойти ночлег своих стрелков.

Лунный свет поблескивал на ружьях, составленных в пирамиды, на штыках часовых, медленно расхаживавших вдоль пирамид и зарядных ящиков. У костров, кото-

рые в предрассветный час едва дымились и постепенно замирали совсем, завернувшись в шинели и плащи, спали егеря. Вперемежку с ними, укрывшись кафтанами, спали стрелки милиционного батальона. Но иные продолжали стоять, опершись на ружье с узким прикладом, и завороченно смотрели на синие змейки, пробегавшие по углям.

Батюшков обходил спящих, узнавал стрелков сотни и поражался странности поз людей, сраженных глубоким сном. Но более всего он поражался тишине, — тишине и благодати, напоенной запахами летней ночи: горьковатым и сладким дымом костров, запахом травы и сырой земли. Он шел долго, пока впереди не заблестела Алле. На другом берегу ее тоже горели костры, и их багровые огни просвечивали сквозь кустарник, отражались в речной глади. Батюшков остановился. Он беззвучно шевелил губами: вновь на какое-то мгновение в кустах заблестела родная Ижина, а солдатские костры на правом берегу Алле обернулись кострами даниловских рыбаей.

...Ударила вестовая пушка. Эхо выстрела покатилося по дальним сосновым рощам и полям, и вместе с ним покатилося с высокого небосвода сверкающая колесница Селены.

Грохот боевых барабанов сотрясал тела и души предчувствием скорой битвы. Топот множества ног — пехота строилась и перемещалась беглым шагом — бодрил сердца. Храп взвивавшихся на дыбы коней, скачка адъютантов, скрежет обозных фур, выкрики команд — вся неразбериха, порожденная огромным скоплением войск, веселила солдат, будоражила их яростным воодушевлением. И без промедленья, перекрывая грохот, топот, скрежет и крик, лязгнул медной челюстью бог войны Марс — редуты окутались пороховым дымом, пушкари припали к флешам, чтобы проследить за полетом ядра.

На склонах дальних холмов, укрытых утренней прозрачной дымкой, наметилось какое-то движение; пронзительный свист флейт донесся оттуда.

— Гренадеры... — негромко сказал егерь, стоявший впереди других.

Константин Батюшков быстро оглянулся на него, успел заметить прищуренные глаза, седые усы и кивер с латунной бляхой «За отличие». Оглянулся, чтобы вновь обратить внимание на холмы, уже ярко освещенные лучами солнца. Его стрелки, стоявшие бок о бок с егерями графа Сен-При, как и егеря, обязаны были действовать независимо от сомкнутого строя. Те и другие помещались за ложементами между боевых колонн Шлиссельбургского мушкетерского полка. На этот полк да еще на Московский гренадерский, занимавший центр русской армии, и был направлен первый удар французов... Мимо егерей прошел легкоартиллерийский полк. Он развернулся у второго редута — солдаты зарядили пушки картечью, изготовившись к стрельбе прямой наводкой. Батюшков не услышал — услышать он не мог, потому что весь был поглощен видом сраженья, — но уловил сердцем короткое затишье, которое предвещало рукопашную схватку.

В ослепительно ярких лучах солнца с ближайшего холма на них надвигалась колонна французских гренадер. Да, это были гренадеры — их огромные меховые шапки с кистями и белыми султанами, их белые жилеты и белые панталоны хорошо различались из-за егерских ложементов. Флейтисты — по два на роту — пронзительно высвистывали боевой марш. Справа и слева от колонны вспыхивали пороховые дымки: гренадер сопровождали вольные стрелки-вольтижеры, которые прикрывали фланги колонн от внезапных кавалерийских атак.

Охрипнув от волнения, Батюшков через равные промежутки времени выкрикивал ружейные команды: «...Товсь... За-ря-яжай... Пли!» Гладкоствольные кремневые ружья изрыгали язычки пламени, ряды стрелков пропадали в пороховом дыму, а маленький офицер вновь и вновь подымал шпагу: «...Товсь... Жай... Пли!»

Плотный ком человеческих тел накатывался на флеш и ложементы. С визгом брызнула картечь... Французские гренадеры сомкнули строй, перешагивая через убитых и раненых товарищей, взяли ружья наперевес и этой ошетилившейся, грозно-молчаливой стеной подступали к первым укреплениям.

«Марш! Марш!» Шлиссельбургские мушкетеры сдвинулись с места и скорым шагом, тоже с примкнутыми штыками, ринулись навстречу французам. Две колонны, как две набежавшие друг на друга волны, сшиблись, всплеснули до небес скрежет оружия, человеческие воп-

ли и крики и растеклись мелкими ручейками, оставив после себя груды окровавленных человеческих тел...

А за ближайшей сосновой рощей уже снова скапливались ударные полки маршала Ланна, и снова посвист флейт и дробь барабанов возвещали, что французы идут в штыковую атаку. Подскакавший адъютант графа Сен-При передал приказ: егерям и стрелкам милиционного батальона занять сосновую рощу. Теперь Батюшков кричал своим ополченцам: «Марш! Марш!» И, перепрыгивая через убитых, загромаздивших ложементы, размахивая над головой тоненькой шпагой, бежал впереди рассыпавшихся шеренг милиционеров. За вторым редутom, окутанным пороховым дымом, грохот пушечной пальбы был сильнее, дым — летучее, земля — тяжелее для бега. Но и в нестерпимом грохоте и летучем дыму сознание Батюшкова отмечало все происходившее вокруг него с какой-то вдохновенной яростью и силой: он никогда не мог забыть, как в луже крови бешено закрутилось чугунное ядро и как у него похолодело в груди и сердце подступило к горлу. А роща — вот она! Сосны взметнули вершины в небо. Легкие тени легли на траву. Стволы источали запах смолы, золотились чешуйчатой корой.

Перебегая от сосны к сосне, егеря и стрелки милиционного батальона углублялись все дальше в рощу, пока не наткнулись на лесной овраг. На противоположном склоне этого оврага французские вольтижеры своротили сосны корнями вверх, так, что корни, как огромные щиты, сохраняли их от русских пуль, а сучья и вершины, обращенные вниз, делали подступы к позициям невозможными. Взять приступом овраг казалось невысказанным.

Не успел Батюшков с отчаяньем подумать, что им не очистить рощу от французов, как справа от него в овраг стал стремительно спускаться какой-то егерский офицер; за ним, покидая удобные позиции, сбегали его солдаты. В том, как офицер сделал пол-оборота влево, как он взмахнул пистолетом, Батюшкову почудилось что-то знакомое. «Петин!» — окрик замер у него на губах. Он с силой оторвал себя от теплого ствола сосны и бросился вслед за поручиком Петиним, увлекая милиционных стрелков...

Когда Батюшков достиг противоположного склона, когда он, хватаясь за ветви, стал переваливаться через

ствол, его с силой швырнуло назад, ударило затылком о сучья и погрузило в огненно-кромешную тьму...

Обстреляв из рощи французских grenадер, стоявших на опушке, русские стремительно откатывались назад. Лесной овраг теперь они обходили с двух сторон. И только два стрелка почему-то решили пересечь его напрямик. На стволах и корнях поваленных сосен в причудливых, страшных позах висели убитые вольтижеры и русские егеря. Синий дым слоился в овраге. Было тихо. Неожиданно стрелки услышали слабый стон. Нагнувшись, они вытащили из-под ветвей раненого русского офицера. Сорвав плащ с убитого вольтижера, стрелки положили на него Батюшкова, пребывавшего в беспамятстве, и быстрым шагом стали выбираться из этого мрачного логовища смерти и тлена. Плащ сразу же намок кровью...

Батюшков очнулся от нестерпимой боли, когда возница гнал лошадей по настилу наплавного моста через Алле. Это был мост во Фридлянде: двое суток раненый не приходил в себя в полевом лазарете и был после перевязки отправлен дальше во Фридланд. Этот фридландский мост через несколько часов стал страшной ловушкой для русских войск.

Оттеснив армию Беннигсена на правый берег Алле и принудив его двигаться вдоль реки по направлению к Фридланду, Наполеон произвел смелый маневр: он бросил к Фридланду корпус генерала Удино, к Кенигсбергу — корпуса Сульта и Даву, а сам пошел к Прейсиш-Эйлау, откуда, смотря по обстоятельствам, он мог двигаться к Фридланду и к Кенигсбергу. Ждать пришлось недолго. Генерал Беннигсен повторил ошибку, совершенную в гейльсбергском сражении, — часть армии он перевел на левый берег Алле и выстроил в боевой порядок, а часть оставил на правом... Наполеон мгновенно воспользовался роковой ошибкой Беннигсена. Он собрал все корпуса в ядро и стремительно бросил это ядро на позиции русских. Его тяжелая артиллерия зажгла pontонные и городские мосты через Алле, его колонны с боем ворвались в город. Напрасно Багратион со шпагой в руках, окруженный остатками Московского grenадерского полка, призывал к стойкости и порядку: армия отступала, пехота гибла на горящих мостах, тонула в реке, конница переправлялась вплавь. Обозы с тяжелоранены-

ми, провиантские фуры, запасы пороха, пушки — все осталось в руках победителя. Это была катастрофа. Часть корпусов, сдерживая натиск французского авангарда, медленно отходила к старой русской границе, к Неману...

Лекарская фура плыла среди сотен повозок и подвод отступавшей русской армии. Она плыла среди зеленевших нив, плыла по улицам чистеньких немецких городов, спускалась в низины и подымалась на холмы, а Батюшков лежал, обмирая от приступов боли. Волны этой боли захлестывали его внезапно — темнели зеленые рощи и луга, небо расплывалось в оранжевые, звенящие круги. Когда боль немного стихала, в его глазах плескались белые крылья лебединых стай. Он смутно догадывался, что это были облака, что они летели на север, летели к гнездовьям на Мологе и Шексне, дальше к Ледовитому океану, где никогда не меркнет полуночное солнце. Иногда, очнувшись, леденея в ожидании смерти, с отвращением глядя на гребни черепичных крыш, на готические шпили костелов, на весь этот чуждый ему мир, он собирал остатки сил: он не хотел умирать здесь, среди красных черепиц и готик, не хотел быть зарытым на обочине дороги, как зарывали умерших от ран солдат и офицеров русской армии. Он взывал к облачным стаям, плавно взмахивавшим крыльями в полете, молил унести его на родину и там, если такова его судьба, позволить спокойно умереть.

...Лекарская фура медленно въехала на дощатый настил. В борта плашкоута заплескалась неманская волна.

2

*16—18 января 1814 года.
Старый Эльзас, у крепости Белфора.*

«...Итак, мой милый друг, мы перешли Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось. В виду Базеля и гор, его окружающих, мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали «ура!» и перешли за Рейн. Я несколько раз оборачивался и дружелюбно прощался с Германией, которую мы оставляли, может быть, и надолго, с жадностью смотрел на предме-

ты, меня окружающие, и несколько раз повторял с товарищами: наконец, мы во Франции! Эти слова — «мы во Франции» — возбуждают в моей голове тысячу мыслей, результат которых есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов. В этой стороне Эльзаса жители говорят по-французски. Вообрази себе их удивление: они думали, по невежеству — разумеется, что русские их будут жечь, грабить, резать, а русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и обращаются с ними ласково и дружелюбно... Надобно видеть, с каким любопытством они смотрят на наших гренадер, а особливо на казаков, как замечают их малейшие движения, их разговоры.

Все так, любезный друг, но сердце не лежит у меня к этой стороне: революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошение России меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого Расина и Монтеня... Я сижу в теплой избе и курю табак. На дворе метель и снегу по колено: это напоминает Россию и несколько приятных минут в моей жизни... О, матушка-Россия! Когда увидим тебя?..»

*27 марта 1814 года,
в окрестностях Парижа.*

«...С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!.. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы продвигались с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллериею; еще минута, и Париж будет засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали...

«Слава богу! мы увидели Париж со шпагою в руках! Мы отомстили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои.

...Солнце было на закате, на той стороне Парижа; кругом раздавалось «ура» победителей и на правой стороне несколько пушечных ударов, которые через несколько минут замолчали. Мы еще раз взглянули на столицу Франции, проезжая через Монтрель, и возвратились

в Noisy отдыхать, только не на розах: деревня была разорена.

25 апреля 1814 года. Париж.

...Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Гальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венеринных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч. и пр., и пр.— теперь все это мы делаем и можем делать, ибо мы отдохнули и телом и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные.

Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любуясь его удивительным строением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских grenadiers перед Трояновой колонной или у решетки Тюльери, перед Триумфальной аркой, где изображены и Уильм, и Аустерлиц, и Иена, и Фридланд... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг!

17 мая 1814 года. Париж.

Милый, добрый, любезный друг, ты имеешь право сердиться на меня за мое молчание; я имею маленькое право, но простим великодушно друг другу лень и беззаботность нашу. Дай себя обнять, и все забыто... И виноват ли я в самом деле? С тех пор, как оставил Петербург, и еще более, с тех пор, как мы переступили за Рейн, — ни одного дня истинно покойного не имел. Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость телесная и душевная, одним словом, — вечное беспокойство: вот моя история. Заметь, однако же, что при всяком отдыхе я думал о тебе и о России...

Прости, будь счастлив и помни *Батюшкова*».

Немаловажные причины заставили Константина Батюшкова покинуть Петербург в 1815 году и еще по зимнему следу приехать в Хантоново, а затем в Даниловское, к своему отцу Николаю Львовичу. Всего шесть дней провел поэт в Даниловском, но, по собственному признанию, и эти шесть дней измучили его. Отец, вступивший во второй брак и недавно затеявший перестройку усадьбы, был обескуражен расстройством денежных дел и не особенно задерживал сына: они уже давно чувствовали взаимное отчуждение. Батюшков снова едет в Хантоново, к старшей сестре Александре, где в былые годы ему неплохо писалось и где во время долгих северных зим он прежде бывал и счастлив и весел. Но в «земле клюквы и брусники», как шутливо именовал он череповецкое имение, душевная неустроенность и тоска с еще большей силой охватили его. Подобное с ним случилось и прежде, когда он, устав от вынужденного — из-за малых доходов и безденежья — уединения, — жаловался друзьям на одиночество, на деревенскую скуку, на гробовую тишину, царившую в доме, такую тишину, что «каждое биение маятника карманных часов ясно и звучно повторялось» в его «услышании». Однако тогда, «сидя в своем углу, — писал Батюшков Николаю Гнедичу, — с головной болью, с красными от чтения глазами, с длинной трубкой», он нередко брался за переводы или собственные сочинения, умел находить скромные радости, ценить тепло и уют старой горницы, служившей ему рабочим кабинетом, воспетой им в стихотворном послании «Мои пенаты»:

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые, —
Вся рухлая скудель!

Скромный домик сестры Александры с видом на реку Шексну, летней беседкой и запущенным парком за все

время, которое Батюшков провел в заграничных походах, нисколько не изменился. Даже письменный стол, стоявший под окнами, был все тот же — с изодраным и проеденным молью сукном. Да и книги, заполнявшие горницу, рассыпанные когда-то на подоконниках, на креслах, на жесткой постели, были ему знакомы и памяты. Особенно том стихотворений Державина. Однажды глухой ночью в ноябре Батюшков читал описание потемкинского праздника: тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все произвело на него необыкновенное действие. «Я вдруг увидел перед собою людей, — рассказывал он Николаю Гнедичу в письме от 1 ноября 1809 года, — толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и бог знает что не увидел; так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?» Оно, они!.. «Перекрестись, голубчик!..» Тут-то я насилу опомнился».

Очевидно, в тот раз случился с ним нервический припадок или, может быть, усилились странные «ревматические» боли в голове, которые его мучили после ранения, полученного под Гейльсбергом. Но об этом не хотелось ни думать, ни вспоминать...

...Едва дождавшись конца отпуска, Батюшков выехал из Хантонова в Каменец-Подольск по месту нахождения штаб-квартиры генерала Бахметьева, при котором он проходил военную службу. И там, в отдаленной крепости, среди сослуживцев, поглощенных мелочными заботами, оторванный, как он заранее и предвидел, от изящной словесности, от привычек, от своих друзей, он пребывал в самом мрачном оцепенении, какое когда-либо знал прежде. И все-таки музы спасли его вновь: он стал писать. Из-под его пера в Каменце вышло немало стихотворений, среди них — «Мой гений», стихотворная пьеса, прекрасная трепетностью чувств и гармоний звуков русской речи...

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной...
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно व्यющихся влосов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,

И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль — прикиннет к изголовью
И усладит печальный сон.

Чей это образ был так дорог поэту? Кто пленил его воображение? Чьи очи голубые вспоминал он в Каменце?

Предметом радостей и грустных раздумий поэта была Анна Федоровна Фурман. Именно ей Константин Батюшков посвятил «Гения», «Воспоминания», «Разлуку», «Тавриду» и некоторые другие стихи и элегии. С этой юной воспитанницей Олениных Батюшков был знаком давно. Но впервые он упоминает ее лишь в 1809 году: Батюшков служил тогда в Финляндии и из писем знал о всех новостях в оленинском доме. «Не летай вокруг свечки — обожжешься!» — добродушно-иронически писал он знакомому петербуржцу, увлекшемуся своей ученицей, которой и была Анна Фурман. Батюшков не только знал, что Анна Федоровна хороша собой, он знал, что она скромна, застенчива и неохоча до ухаживаний и комплиментов молодых людей. Сам Батюшков к воспитаннице Олениных в то время не проявлял интереса. Понятен и его шутивно-покровительственный тон — после семьи Михаила Никитича Муравьева, в которой Батюшков жил на правах родственника, дом Олениных был для него вторым родным домом в Петербурге. Алексей Николаевич Оленин, знаток и любитель искусства и литературы, археолог и художник, неизменно покровительствовал Батюшкову и выручал его в трудные минуты жизни. Вообще оленинский салон славился в Петербурге: там можно было встретить многих известных в ту пору литераторов — Жуковского, Крылова, Озерова, Гнедича. Воспитанница Олениных «пленила многих, сама того не подозревая», как писал о ней современник. Например, романтическую привязанность к ней испытывал В. А. Жуковский. Однако вскоре в семье Олениных не стало секретом, что сердце Константина Батюшкова отнюдь не свободно от восторженного чувства к Анне. В июле 1813 года Батюшков уехал на театр военных действий... Разлука и превратности бивуачной жизни придали в глазах Батюшкова особое очарование их встречам в доме на Фонтанке. Позднее в «Элегии» он писал: «Я с именем твоим летел под знамя брани искать погибели иль славного венца». Образ возлюбленной витал перед ним и на полях за Рей-

ном, в покоренном Париже, в прохладных рощах старой Англии, у развалин рыцарских замков в Швеции — всюду, где довелось побывать поэту, возвращавшемуся из Франции в Петербург морским путем. Ему думалось, что его положение дворянина из обедневшего рода, стесненного в средствах, не чиновного, подобно зависимому положению Анны Фурман в семье Олениных. Как и поэт, Анна Федоровна рано лишилась матери. Ее отец, по происхождению саксонец, состоявший на русской службе, не оставил дочери наследства. Вот почему, обращаясь к возлюбленной, поэт говорил, что они «отверженные роком, равны несчастьем, любовью равны...». В том, что они равны несчастьем, — в этом Константин Батюшков не сомневался. Но равны ли они любовью?.. Припоминая Анну и встречи у Олениных, поэт пытался убедить себя в этом.

И вот он в кругу родных людей и близких ему лиц, он — в Петербурге! Екатерина Федоровна, вдова Михаила Никитича Муравьева, принимает живейшее участие в устройстве судьбы племянника. В доме Олениных также благосклонно смотрят на их союз. Все внушает Батюшкову счастливые и радужные надежды. Следует решительное объяснение с Анной — и что же?.. Согласие на брак получено!.. Но именно тогда в доме Олениных, в семье Муравьевых, среди ближайших друзей Батюшкова прокатился ропот недоумения — поэт отказался официально просить руки Анны Федоровны у ее приемных родителей. Да, он получил согласие на брак, но как он получил его?! От влюбленного взгляда поэта даже в ту решительную минуту ничто не ускользнуло ни в ее поведении, ни в интонациях ее голоса. Все надежды Батюшкова рухнули в один миг.

Есть странствиям конец — печалям никогда!
В твоём присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоём молчании, в прерывном разговоре,
В твоём унылом взоре,
В сей тайной горести потопленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

Батюшков не поимел силы воли немедленно оставить дом Олениных: он все еще на что-то надеялся, колебался, сомневался в своих наблюдениях, он угрюмо выслу-

шивал увещевания Екатерины Федоровны Муравьевой и Алексея Николаевича Оленина, что, мол, «стерпится — слюбится», что, мол, девушка слишком неопытна и наивна, чтобы разобраться в своих чувствах... Нет, он все понял! — и с какой-то отчаянной решимостью продолжал ходить в дом на Фонтанке, пока переживания и сомнения не сломили его, не привели к сильнейшему нервному расстройству... Батюшков покинул Петербург. Он уезжает на берега Шексны и Мологи, в родные с детства места, в леса севера, с одной мыслью — излечиться в уединении, в уюте старого дома, в общении с книгами и природой от безответной и несчастной любви... Ведь он знал: «Какие радости в чужбине? Они в родных краях!»

Однако вскоре, поражая друзей странной противоречивостью натуры, он бросился в Каменец-Подольск. Может быть, он хотел убедиться, что человек способен жить одними воспоминаниями о прошлом? Что настоящее, которое сдавило сердце, как свинец, покроется дымкой забвения там, на краю Российского государства?

...Часами стоял Батюшков на стенах старой полуразрушенной каменной крепости, облокотившись на башенные зубцы, и смотрел вдаль: на домики с цветущими садами, на стада, идущие к водопою, на жителей городка, на детей, игравших в придорожной пыли... И в его сознании складывались строки стихотворного послания, одного из лучших в допушкинской лирике:

О память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Екатерина Федоровна по-прежнему находила в его поведении лишь безрассудство и явные противоречия. А их не было — ни безрассудства, ни противоречий. «Не иметь отвращения и любить — большая разница. Кто любит, тот горд» — так отвечал он Екатерине Федоровне. Да, Батюшков любил — и был горд, был честен перед самим собой, перед Анной, перед читателями своих элегий: ведь он утверждал, что надо писать так, как живешь, и жить — как пишешь; он был уверен, что жертвовать собою позволено каждому человеку, но жертвовать другими могут только злые сердца. «Жизнь — не вечность, к счастью нашему: и терпению есть конец!» И он сознательно жертвовал собой, ибо в молчаливом согласии Ан-

ны на брак он увидел — подчинение чужой воле, а вот тайная горечь, просквозившая в ее улыбке, была искренна...

Но время брало свое. Все чаще глубокое уныние, в котором находился поэт, сменялось проблесками надежды — эти проблески даровали ему минуты религиозного самопознания и несравненные минуты творческого экстаза. Поэт ощущал освободительную силу вдохновения, которое позволяло ему прозревать нечто большее, чем собственная участь. Нет, «гордый ум не победит любви холодными словами» — холодные слова бессильны перед страстью, они не излечат от мук любви или отчаяния, но поэтическое вдохновение способно поднять, раскрепостить, освободить от безысходности, от душевного мрака. Он прозревал не один лишь свой жребий, но и жребий тех, кто на поле чести сохранил «души возвышенной свободу», кто перед лицом смерти был с ним дружен и, как и он, доверялся провидению. Батюшков не скрывал ни от себя, ни от других, что жизненный опыт открыл ему новую пустыню, но в этой пустыне, в этом бедственном и трагическом одиночестве он уповал отныне как на якорь спасения на то «святое дружество», культ которого он воспринял с отроческих лет в семье Муравьевых.

Вот почему, бродя по развалинам старой крепости в Каменце, часами простаивая у башенных зубцов, он невольно забывался, он мысленно уносился в леса Севера, а то и совсем в иной край, в Богемию, к иным крепостным стенам, заросшим мохом, обвитым плющом, к развалинам Бергшлосса, — возле этих развалин стоял лагерь русских войск после Кульмской победы.

Тысячи подробностей оживали в его воображении: бутылка богемского вина стоит на походном барабане, здесь же кусок черствого хлеба и плоды. Вдвоем с Иваном Петиным они сидят на склонах высокой горы, откуда им открывается вид на армию, раскинувшую стан в долине. Разговор друзей сбивчив и тороплив: о многом надо поведать друг другу, рассказать о пережитом и виденном, помечтать о Москве, о путешествии на Кавказ, — да мало ли о чем могут мечтать друзья, оторванные от родины, но не забывшие ее. «Отчизны сладкий дым», как писал Батюшков позднее, доносился к ним и сюда, в Богемию, и любезное светило Севера — Полярная звезда — по-прежнему сверкала над их головами.

...К несчастью, встреча при Кульме была их последней встречей: вскоре, в битве под Лейпцигом, Петин был убит. И теперь возле старой крепости Каменца, вспоминая последние минуты, проведенные вместе с другом, Батюшков понял, что образ друга станет его путеводной звездой, что никогда он не побледнеет под ядрами, не изменит чести, не оставит боевые знамена.

...Через полгода пребывание в Каменце стало для поэта невыносимым: поэзия требует всего человека, а без литературных друзей, без близкого окружения ему невозможно исполнить и самой незначительной части задуманного им. Военная служба в глухом и отдаленном гарнизоне казалась теперь тяжелым ярмом: это ярмо можно было владеть и дальше, но в мирное время лучше было освободиться от него.

Правда, петербургские друзья не забывали Батюшкова в его затворничестве. Так, например, постоянную поддержку оказывал Василий Андреевич Жуковский — новые стихотворения, написанные поэтом, были еще неизвестны в столице, однако Жуковский неизменно поощрял все художественные начинания автора «Пенатов».

...Перед отъездом на юг Константин Батюшков сумел побывать в Царском Селе: целый день он провел вместе с лицеистом Пушкиным — друзья бродили по окрестным рощам, обедали в кухмистерской, сочиняли шуточные вирши. И вот теперь гениальный юноша-поэт обратился к Батюшкову со стихотворным посланием. Конечно, Пушкин мог и не знать о душевной драме своего старшего товарища здесь, в Каменец-Подольске, но примечательно, что он пытался дружески его ободрить, поддержать, сказать, как бесконечно дорог и близок ему «сей философ резвый и пиит». Вместе с тем — и вот здесь-то нельзя не поразиться удивительной прозорливости юноши-лицеиста — Пушкин хотел вернуть своего друга к эпохе Наполеона, к грохоту пушек, вою картечи, к тому походному бивуачному быту, к той славе воинов-освободителей Европы, которые были самой жизнью и самой поэзией. Пушкин определенно советовал русскому Овидию Назону, как писала тогдашняя критика о Батюшкове: «...Пой кроваву брань и грозну смерть на ратном поле...»

И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!

К последней строке пушкинского послания сделана примечательная сноска: «Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»? Тем самым Пушкин отсылал читателей к стихам Батюшкова, которые были наиболее характерны для этого, казалось бы, излюбленного читателями певца «науки страсти нежной». Эти стихи содержали важные биографические сведения: не случайно Пушкин намекает на «грозную смерть», которую Батюшков встречал в сражении при Гейльсберге. Надо полагать, многие подробности этого сражения, равно как и обстоятельства, при которых юный офицер, командир сотни, получил тяжелое ранение, стали известны Пушкину опять-таки из рассказов Батюшкова во время их блужданий по царско-сельским рощам и садам. «Поэт! В твоей предметы воле!» — заклинал он Батюшкова, убеждал его в том, что самые сложные «предметы» или перипетии его военной судьбы доступны ему и как художнику и как поэту. Вот почему следует подчеркнуть еще раз, что из всех современников, вероятно, лишь Пушкин сумел увидеть в Константине Батюшкове яркий и сильный талант, увидеть человеческую личность, способную выразить противоречия «железного века».

...Конец пребывания Батюшкова в Каменец-Подольске обозначился глубоким внутренним переломом. Получив письмо от своей сестры с намеком «на известное дело», он почти спокойно ответил: «Невозможное невозможно. Я знал это давно и все предвидел». Тогда же, из Каменца-Подольского, другому адресату он признавался: «Теперь дело кончено... Я три года мучился, долг исполнил и хочу быть совершенно свободен».

Вот почему он просил ближайших друзей и родственников не напоминать ему «про некоторую особу» и письма его с упоминанием имени Анны Фурман сжечь, «чтобы и следов не оставалось».

Поэт подает в отставку и, получив долгосрочный отпуск, в декабре 1815 года уезжает к своим друзьям в Москву.

Анна Фурман через некоторое время покинула дом Олениных в Петербурге и переехала вначале в Дерпт, а затем в Ревель. Их жизненные пути навсегда разошлись...

Со времен Белинского принято считать, что поэзия Батюшкова «безлична в смысле народности», что в ней отсутствует или почти отсутствует «русское содержание». Правда, Добролюбов высказал в 1859 году важное суждение, суть которого сводилась к следующему: «Вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства, смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это все-таки будет лучше, чем выдумывать самим вещи, ни на что не похожие...» К сожалению, высказывание критика-демократа долго не привлекало внимание исследователей творчества поэта, лишь в наши дни послужило основой для нового взгляда на многие известные стихотворения Батюшкова.

Действительно ли Батюшков был равнодушен к «русскому содержанию» и русская природа, в частности, северная природа, обычаи, нравы жителей Севера не нашли отражения в его лирике?.. Вопрос этот сложен во многих отношениях. Путь Батюшкова к реализму был затруднен его внешней зависимостью от классицистов, хотя Батюшков и был антиподом общества «Беседы любителей русского слова», основанного адмиралом Шишковым. Однажды он заметил: «От одного слова русский, некстати употребленного, у меня сердце не на месте». Это замечание автора «Пенатов» было вызвано его страстной полемикой с казенно-патриотической словесностью «шишковистов», эпигонов русского классицизма, которых Батюшков впервые в истории отечественной литературы назвал «словенофилами». Сии «жалкие декламаторы, — писал он, — не любят и не умеют любить русской земли. Имею право сказать это...». Участник трех военных кампаний, он действительно имел право так сказать. Внутреннее содержание многих стихотворений Батюшкова, безусловно, свидетельствует о том, что поэт не принимал абсолютизма александровской эпохи, порождением которой и был классицизм «шишковистов». Но он достаточно ясно сознавал назначение поэзии, ее роль в формировании национального характера и духа.

Отечественная война двенадцатого года — вот что оказало на поэта самое решительное, трудно переоценимое влияние. Батюшков первым восславил подвиг русских солдат, освободивших Россию от наполеоновских

армий, перешедших с боями Рейн, не уронивших своего достоинства в сопредельных странах. Все батальные сцены, как бы вкрапленные в его стихи, сохраняют непосредственность и живость виденья очевидца. Об одном из таких стихотворений («Переход через Рейн») Пушкин сказал: «лучшее стихотворение поэта — сильнее и более всех обдуманное». В нем Батюшков воссоздает грандиозную переправу русских армий через Рейн:

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.

Причем Батюшков не забывает подчеркнуть многонациональный состав русских войск, их сплоченность, единство, готовность добиться победы любой ценой:

...Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!

Столь же примечательно — по внутреннему воодушевлению, по красочности картины, — стихотворное послание «К Н(иките)», посвященное Никите Муравьеву, будущему декабристу:

...Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Лететь на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки!
Вперед! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте, ядры и картечи,
Что вы для них — для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
И вот... о, зрелище прекрасно!
Колонны двинулись, как лес.
Идут — безмолвные ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! — и все сломили.
Рассеяли и разгромили.
Ура! Ура! — и где же враг!..
Бежит, а мы в его домах...

...В пору заграничного похода возросло мастерство Батюшкова и как художника-баталиста и как поэта-ли-

рика, который передает психологическое состояние воина, русского офицера, его упоение битвой, его доблесть и отвагу. Влияние таких стихотворений, даже отдельных батальных сцен, на пушкинскую музу — бесспорно. «Переход через Рейн» Батюшкова отозвался в патриотическом стихотворении Пушкина «Клеветникам России», а влияние характерного для послания «К Н (иките)» поэтического алогизма («И вот... о, зрелище прекрасно! Колонны двинулись, как лес. Идут — безмолвие ужасно!») можно найти в сцене Полтавского боя, в описании внешности Петра:

...Его глаза
Сияют. Лик его ужасен,
Движенья быстры. Он прекрасен...

Именно в единстве этого противоположения — прекрасен, несмотря на то что ужасен, — возникает грозный и вдохновенный облик Петра. Пушкин гениально развил и некоторые поэтические «прозрения» Батюшкова; он их не только развил, но, в свою очередь, передал его поэтическую эстафету новым поколениям поэтов, причастных к батальной живописи. Сейчас же важно подчеркнуть такую мысль... События Великой Отечественной войны 1941—1945 годов заставили всех нас по-новому оценить творческое наследие Батюшкова, его исторические элегии и послания.

Но, как уже говорилось, значительную часть жизни поэт провел в родовом имении Даниловском, и особенно в Хантонове. Повседневные предметы, окружавшие Батюшкова, мысли и чувства, волновавшие его, картины северной природы, мелкопоместного быта — все это входило как в его оригинальные стихотворения, так и в вольные переводы поэтов древнего мира. Напомним, что Батюшков был первым из русских поэтов, который побывал в этой студии мирового искусства. Акреонтический стих получил затем широкое распространение в поэзии Пушкина, Майкова, Фета, Тютчева — вплоть до Блока...

И чем острее Батюшков чувствовал свою заброшенность, свое одиночество в северной деревне, тем сильнее он упивался воображением, мечтами о «золотом веке» античности, который был для него веком мирного благоденствия, олицетворением языческой полноты жизни. «Сын неба! Светлый мир! ты сам среди полей вола дебелого ярмом отягощаешь», — восклицал он с душевным

жаром. И в этом восклицании угадывается не столько поэт Тибулл, сколько Батюшков, для которого «мирный бог полей» — Пенат был самым почитаемым античным божеством. Пенат всегда противостоит Беллоне и Марсу, которые воплощали для мирных поселян бессмысленную жестокость, опустошительный характер войны. Конечно, обилие мифологических понятий, двойных или тройных имен героев, богов античности, сложно-ассоциативные связи и переклички поэзии Батюшкова с преданиями Эллады и Древнего Рима — все вместе взятое затрудняет восприятие батюшковской лирики современным читателем. Однако Батюшков был сыном своей северной земли — и тогда, когда он восклицал: «Беги, кровавый Марс, от наших алтарей», и тогда, когда признавался: «Какие радости в чужбине? Они в родных краях!»

Обращаясь к античности, он пытался находить те черты в пейзаже, в облике, в нравах народов, которые бы сближали исторические эпохи, были вечными. Батюшков с особенным удовлетворением изображал картины домашней жизни людей, большей частью сельских обитателей. Переводя Тибулла, он, например, рисует такую картину:

При шуме зимних выюг, под сенью безопасной
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясный
И, тихо вретено кружа в руке своей,
Расскажет повести и были старых дней.

Иногда Батюшков «срисовывал» классический пейзаж с окрестностей родовой усадьбы. Так, в переводе «Филемелы и Прогны» Лафонтена можно встретить: «Смотри, песчаный бор, река, пустынные воды...» В другом переводе, пользуясь методом «от противного», он описывает охоту с гончими:

Ничто души не веселит:
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лёт коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончий лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива.

В этих пейзажах и бытовых зарисовках, конечно же, угадывается русский Север, угадывается в них рука художника, который предвосхитил развитие реалистической поэзии XIX века, но сам чаще всего изображал русскую жизнь «на манер древних».

Совсем не безличен «в смысле народности» был Батюшков и в поисках стихотворной формы. Несколько лет тому назад видный исследователь его творчества Н. В. Фридман обнаружил черновик стихотворения. Этот черновик — интереснейший опыт Батюшкова в жанре народной русской песни. Солдат, «израненный и хилый», заброшенный на чужбину, изливает свои чувства:

Все в родину летит свою,
А я бреду насилу,
Сквозь слезы песенку унылу
Путем-дорогою пою
Про родину мою.

Конечно, здесь едва заметен изящный и четкий почерк Батюшкова, однако направление его поисков весьма симптоматично.

Что же касается философской основы акреонтических и эпикурейских стихотворений Константина Батюшкова, то здесь нам хотелось бы привести слова Д. Д. Благого о том, что языческие мотивы в его стихах неотделимы от мысли о тщете бытия, о губительности времени и что на красных ланитах его чувственных языческих видений все отчетливее проступала зловещая смертельная синева.

Увы! Жизненный путь Батюшкова подтверждает справедливость этих слов.

5

Пожалуй, никто другой с такой определенностью не предвидел свой тяжкий жребий, как сам Батюшков. «Я могу служить примером несчастья во всем», — писал он старшей сестре Александре. И это была правда. Выход в отставку не принес ему ни заслуженного ордена, ни повышения в чине, который он должен был получить. Правда, поэт был доволен уже тем, что снял военный мундир и целиком отдался служению музам. Но если сопоставить другие, более значительные факты его биографии, то нельзя не поразиться какому-то упорному противодействию обстоятельств его жизни — его мечтам, начинаниям и замыслам, как будто поэта действительно преследовал «мститель-бог», о котором он упомянул в одном из писем. Батюшков мечтал о славе, скромной славе стихотворца, который умеет писать исполненные поэтического изящества и совершенства стихи — и был

при жизни «обруган хвалами». Вдали он страстно мечтал об уюте и тишине сельской жизни, но когда приезжал на родину, то погибал от одиночества, скуки, попов и раскольников, которых только и видел в окрестных деревнях. В череповецком имении Батюшков страдал от постоянной мысли, что его достояние может быть отнято за долги, а его единственный приют — усадьба в Хантонове — «убогая хижина», «смирренная хата», как он называл старый господский дом на берегу Шексны, — может быть продан с молотка. После смерти отца в 1817 году Батюшков предпринимает лихорадочные поиски средств, чтобы спасти родовое Даниловское от продажи с торгов, чтобы воспитать младшего брата Помпея и сестру Юлию. Но денег он не нашел, имение продали за долги, и только спустя несколько лет его выкупил муж сестры Александры — Гревенс. Все это бесспорно усиливало мрачное настроение Батюшкова, усугубляло его душевные муки.

Италия была мечтой поэта всю жизнь, камни Рима были для него священны — по ним ступали Тибулл и Торквато Тассо, — но когда Батюшков наконец получает назначение в русскую дипломатическую миссию в Неаполь, состояние здоровья его настолько ухудшается, что он «вовсе не может писать стихов». Под пламенным небом Италии Батюшков загрустил о снегах России...

Изустная молва нарекла Батюшкова беспечным ленивцем, а он всю жизнь «бледнел над стихами», много переводил, читал и признавался в письме князю Вяземскому, что «беспрестанное уединение, и дурная погода, и усиленные труды последнее здоровье уносят». Когда же за ним прочно утвердилось слава «русского Тибулла» и «русского Парни», он замыслил написать поэмы «Рюрик» и «Русалка», заинтересовался русскими сказками, просил у Гнедича прислать ему «Древние русские стихотворения» в издании Ключарова, пробовал силы в жанре народной песни. В конце концов ни одному из этих замыслов не суждено было осуществиться. И только его восприемником Пушкиным была написана и драма «Русалка», и русские народные сказки, и элегия «К Овидию», в которой воскрешался образ изгнанника-поэта «на скифских берегах».

Подытоживая все написанное за двенадцать лет, Ба-

тюшков увидел, как слабы его начинания, над которыми он «бледнел весь свой век». «Но могло ли быть лучше? — думал он. — Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне и в мире — на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершеннее? Совесть отвечает: нет».

Сомнения в истинности избранного пути не оставляли поэта и позднее. Примечательны строки, приведенные им однажды:

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею.

Да, Батюшков страшился своей участи и считал — не без оснований, — что его преследует рок. Из Москвы, пребывая в особенно угнетенном состоянии, он написал Жуковскому: «С рождения я имел в душе черное пятно, которое росло, росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю!» Увы! Не надолго... Письмо было отправлено адресату в сентябре 1816 года, а через шесть лет, в 1822 году, Батюшков, уехавший лечиться в Крым, оказался целиком во власти тяжкого недуга. Это случилось в том самом 1822 году, когда Анна Федоровна Фурман счастливо вышла замуж за ревельского чиновника господина Оома. Может быть, это случилось даже в тот самый день, когда Батюшков лежал в симферопольской гостинице, перевязанный бинтами, не пришедший в себя после нервного приступа: во время приступа он попытался зарезать себя бритвой.

С того года Батюшков ежедневно погибал на каторге буйного бреда. «Черное пятно», которое он носил от рождения, все-таки зачернило его душу; заболевание оказалось неизлечимым, оно было наследственным (мать Батюшкова, Александра Григорьевна, умерла в Петербурге, заболев психическим расстройством в 1795 году, когда поэту было восемь лет). А в 1829 году такая же участь постигла и его старшую, любимую сестру Александру.

Целых тридцать три года Батюшков был «мертв для внешних впечатлений», как писал о его болезни князь П. А. Вяземский. Какая страшная судьба! Батюшков, поэт-эпикурец, снискавший известность классически-ясными стихами, скульптурными образами, поэт, восславивший радость бытия и упоение битвой, Батюшков, поэт-подвижник, поэт-страдалец, в безумии твердил

странную провидческую скороговорку: «И кесарь мой — святой косарь...» — такой представлялась ему собственная жизнь.

После безуспешного лечения в клиниках Германии и России больного перевезли в Вологду, где он проживал долгие годы на попечении своего племянника Григория Абрамовича Гревенса. Припадки сотрясали его все реже, — в часы относительного выздоровления Батюшков любил рисовать, причем в рисунках его варьировался один и тот же сюжет: крест, луна и лошадь без всадника... могильный холм, луна и лошадь... Очевидно, это воспоминание о незабвенном друге Иване Петине, искаженное болезнью, не покидало поэта до самой смерти. В начале пятидесятых годов в Батюшкове стали обнаруживаться признаки выздоровления: он много читал, цитировал на память целые страницы Державина, стал интересоваться событиями внешнего мира, следить за русскими и иностранными газетами, сообщавшими о «Восточной войне» 1853—1855 годов. Но даже тут его «не устали карать небеса», как в молодости он написал о вечном странствователе Одиссее: в июне 1855 года Батюшков заболел тифозной горячкой и скончался 7(19) июля 1855 года. Похоронен он был в Спасо-Прилуцком монастыре.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

(ПУШКИН И ЗЕМФИРА)

1

Стоял конец июля, но жара внезапно спала, и утро, на которое был назначен отъезд, выдалось прохладным. Кишинев провожал путников бляением коз, бегущих по тесным переулкам, скрипом неповоротливых каруц и той утренней дремой, которая, казалось бы, навсегда поселилась в обывательских садах.

Старый город, тесно сбившийся на берегах реки Бык, в самом деле заслуживал свое прозвище — кишла, что по-молдавски означает овчарня, зимний загон. Было в его мазанках-касах, прилепившихся друг к другу, в низких лавочках, в грязных и шумных базарах, во всей скученности и тесноте что-то от овчарни. И когда вместительная коляска наконец выехала за окраину города, когда утренний свежак закрутил под колесами дорожную пыль — дышать стало легче.

Казалось, не только Кишинев, но и то, что в нем томило, угнетало, раздражало поэта, — все осталось позади за некой невидимой чертой.

Более двух лет минуло с той поры, как Пушкин был направлен в бессарабскую ссылку. Прожив некоторое время на заезжем дворе Наумова, он после поездки в Каменку поселился в доме наместника Инзова. Этот дом — двухэтажный особняк — одиноко возвышался на пустыре, и самый вид его поначалу возбуждал в поэте глухую тоску. Сохранился пушкинский рисунок пером: взгорок, несколько тополей, неотчетливая даль. Уныл и непривет-

лив этот кишиневский пейзаж, набросанный в минуту горестного раздумья.

Пушкину отвели две небольшие комнаты в нижнем этаже: одну занимал он, в другой — прохожей — жил дворовый дядька Никита Козлов. Это был тот самый дядька, которому Пушкин посвятил шутовское двустишие: «Дай, Никита, мне одеться: в метрополнии звонят...» Правда, постепенно поэт привык к своей обители, к ее голубым стенам, испещренным восковыми пулями (следами упражнений в стрельбе из пистолета), привык к столу с неизменной спутницей скитаний — чернильницей, в которой он не раз находил «то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль». Он привык ко всему небрежному холостяцкому обиходу, к книгам, заброшенным на диван, клочкам бумаги, белеющим на столе, на которые он заносил мелькнувшую строку или профиль кишиневского знакомого.

Но что неизменно тяготило его и раздражало, так это окна с железными решетками. И хотя окна выходили в сад и решетки служили только мерой предосторожности от ночных грабителей, они непрестанно напоминали о собственной участи поэта.

В 1822 году он написал своего знаменитого «Узника». Родилось ли это стихотворение после посещения кишиневского острога, как утверждают современники, или его первые строки возникли здесь, в нижнем этаже Инзова дома, — никто с точностью сказать не может. Известно одно, что генерал Инзов не однажды подвергал поэта домашнему аресту, что у дверей его в такие дни стоял часовой, и тогда «келья отшельника» воистину превращалась для него в каменный острог. Пушкин писал меланхолические послания друзьям, часто встречался с бадди Тодором — дворецким наместника, у которого он учился молдавскому языку, и особенно нетерпеливо ждал писем из далекого Петербурга. Но почта приходила редко, и сам поэт слал на север письма, запросы и «бессарабские бредни», как он иронически называл новые стихи. В 1823 году в «Литературных листах» появилось одно из таких новых стихотворений. Называлось оно «Птичка». Поэт был счастлив, что при «светлом празднике весны» он мог даровать свободу хотя бы одному творенью — выпустить на волю птицу. Издатели постарались зашифровать автобиографический и полити-

ческий смысл стихов коротким примечанием, а петербургские друзья поэта могли только посочувствовать ему: ни царский двор, ни сам император Александр ничего не простили Александру Пушкину и не мыслили даровать ему свободу. Пушкин как был, так и оставался вольнодумцем. Тайный агент из Кишинева доносил по начальству, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство».

Можно представить, как обрадовало Пушкина предложение его приятеля Константина Ралли поехать в кодры, в молдавские леса, в село Долну, которое принадлежало отцу Константина — помещику Замфираки Ралли.

Дорожную коляску мягко покачивало на выбоинах: лошади бежали ходко. День никак не разгуливался, и было такое ощущение, что вот-вот начнет накрапывать дождь, а он никак не начинался, и поэтому в природе все притихло, притаилось в ожидании.

Далеко впереди, на широкой, пустынной обочине, возникло что-то пыльное, медленно нарастающее; завиднелись верха повозок, стал внятнее лай собак, донесся нестройный гул, какой возникает в степи от скопища людей и животных. Оборачиваясь на коляску, с дороги сошла старая цыганка. Она отогнала в сторону ослика, из переметных корзин которого таращили любопытные глаза цыганята. Женщины шли за фургонами нестройной толпой; они сильно жестикулировали, переговариваясь между собой. Мелькнула ослепительная улыбка одной из них. Старик в рваных, измазанных дегтем портах согнулся в низком поклоне; хрипя, закосился коренник, — и снова зачастили пыльные орешники, снова дорогу окружила всхолмленная пустынная равнина. Но солнце уже прорвало завесу облаков, и, обернувшись назад, можно было видеть, как вольно шел по степи табор, как ярко были ковры на передках телег.

Разговор зашел о цыганах. Их походные кибитки тянулись по берегам Днестра и Прута, белели возле стен Аккермана, окутывались облаками пыли в Буджакской степи.

В самом Кишиневе цыгане ставили свои шатры на склонах Инзовой горы, возле дома полковника Салева.

Пушкин хорошо знал историю происхождения цыган: он читал записки английских путешественников, которые первыми в Европе доказали, что цыгане принадлежали к отверженной касте индийцев, называемых *нариа*, что их язык и то, что можно назвать их верою, — даже черты лица и образ жизни — верные тому доказательства. Перед их приверженностью к дикой вольности были бессильны меры, которые в разное время предпринимались правительствами европейских стран: они кочевали в России так же, как и в Англии.

Однако Константин Ралли рассказал своему другу, что в Молдавии именно эти приверженцы первобытной свободы закрепощены, что они обязаны платить со своих подаяний и сборов дань супруге господаря. Во владениях его отца, Замфираки, было несколько таборов лесных цыган; они ведут более оседлый образ жизни, чем их степные собратья.

— А впрочем, — добавил он, — мы можем побывать у них по дороге из Долны в Юрчены.

В Юрченах у Ралли было что-то вроде охотничьего домика или лесной дачи, и здесь же по пути в Долну приятели условились, что непременно они проедут в Юрчены и, если понравится, проживут там несколько дней.

...Уже который вечер, едва густели сумерки, едва начинали светиться огни костров, поэта неудержимо тянуло вниз — туда, где у проселочной дороги, за крайними хатками Юрчен, раскинулся табор старейшины Булибаши. Сам Булибаша — величавый, степенный старик — встречал его неизменным «Просим!». Он немного говорил по-русски и был приветлив к молодому Пушкину той искренней приветливостью, в которой угадывается ум и немалый жизненный опыт. Но не беседы старика, не песни, не пляски обитателей табора влекли Александра. Влекла его Земфира — цыганка, дочь Булибаши.

В небольшом кольце взрослых, озаренных пламенем костра, боролись маленькие цыганята. Один пытался

осилить другого с такой серьезностью, с таким усердием, что невозможно было не расхохотаться. И Пушкин хохотал от души. Он вспоминал, как и они, маленькие лицеисты, боролись на лугу и как слезы обиды и огорчения выступали у него на глазах. Какие это были славные, сладкие слезы! Может быть, с тех самых лицейских времен и не было у него на душе так вольготно, так легко, как сейчас в этом таборе, среди простодушной, говорливой толпы.

Александр быстро взглянул на девушку — и она поразила его, — нет, не красотой лица, хотя Земфира и была красива, а какой-то врожденной грацией.

В том, как она закинула руки за голову и рукава ее кофты свободно упали на плечи, как она с улыбкой, искоса посмотрела на него, он уловил главное в ней — свободу и естественность всей натуры, каждого ее жеста и движения.

Все разошлись. В продымленном котле побулькивало пшено. Земфира подкидывала в костер сухие ветки, и тогда, при внезапных вспышках света, медно-красно отливали тяжелые монеты на ее груди, гуще падала тень от волос на смуглое лицо.

Табор затихал. Сквозь полотно ближайшей палатки желтело пятно светильника. Резко качнулся силуэт женщины: она успокаивала ребенка, а тот все никак не мог уgomониться. Внезапно цыганка запела, и голос ее, доносившийся из-за полога, был глух:

Арде-мэ, фриже-мэ, —

пела цыганка.

Песня смолкла внезапно, как и началась. Но ее отзвук долго жил в настороженной тишине, не гас, не таял в ночном мраке.

Луна сияла в полную меру, и казалось, весь мир был напоен ее сухим льющим звонком; это неумолчно звенели цикады. Бездну неба, поблескивающую звездами, теснили черные кущи садов, которые вплотную подступали к табору, окружали его безмолвным хором. По влажной от росы траве, то пропадая в тени деревьев, то снова возникая на полянах, далеко-далеко протянулся двойной след.

Пушкин не уехал из Юрчен ни через два, ни через три дня, как они договаривались с Константином Ралли. Не уехал он и через неделю. Обеспокоенный старик Земфираки дважды присылал нарочного из Кишинева: не случилось ли чего с молодыми людьми. Но Константин Ралли отписал отцу, что ничего с ними не случилось: «Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире». Возвратившись наконец-то в Кишинев, в кругу семьи Константин рассказывал, что Александр бросил его и поселился в шатре Булибаша... По целым дням поэт и Земфира бродили в стороне от табора, по целым дням поэт наслаждался вольной волей: не случайно Константин видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля.

Сам Пушкин, обычно словоохотливый и откровенный, по приезде из деревни не обмолвился о Земфире ни единым словом. Константин Ралли да и все его семейство объяснили эту замкнутость Пушкина довольно просто: не иначе как цыганка бросила своего вдохновенного поклонника, и Александр Сергеевич мучился теперь ревностью и тоской. Одно было достоверно известно: Земфира неожиданно исчезла из табора, а Пушкин напрасно искал ее по всей округе, ездил даже в Варзарешти. Однако и там ее не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые успели предупредить своих соплеменников.

Примерно через год — в декабре 1823 года — Константин Ралли писал Пушкину в Одессу: «...цыганку Земфире зарезал ее возлюбленный цыган...»

Еще в бытность Пушкина в Кишиневе его пребывание в цыганском таборе стало предметом пылких толков и пересудов. Степенное чиновничество не могло, конечно, простить ему независимости суждений, его вольномыслия, даже небрежности его наряда. В материалах к биографии поэта П. А. Бартенев пишет, что «досадно им было смотреть, как он разгуливает с генералами в своем архалуке, в бархатных шароварах и размахивает

вает железною дубинкою. Вдобавок не попадайся ему, оборвет как раз...».

Куконшы — жены куконцов, местных бояринов — без конца делились друг с другом догадками, предположениями и невероятными сведениями то про увлечение поэта гречанкой Калипсо Полихрони, то про вечера, проведенные в обществе Пульхерицы Варфоломей, то, наконец, про самую пикантную историю, про эскапад Пушкина с цыганкой Земфирой. А когда появилась поэма «Цыганы», без разговора о прелестной дикарке не обходилось ни одно чаепитие. Немало было язвительных сплетен, и уже при жизни Пушкина возникали легенды о нем, так что современникам нелегко было отделить вымысел от правды.

В конце века самые фантастические рассказы стали попадать и в печать. Так, Л. С. Матеевич собрал воспоминания кишиневских старожилов о Пушкине. Большинство этих воспоминаний не поднималось выше бытовых анекдотов о великом поэте. Матеевич записал, к примеру, рассказ некоего Шонина. Вот как выглядит предыстория «Цыган» в его изложении. Однажды, повествовал Шонин, Пушкин гулял в окрестностях Кишинева. Наперерез ему бросилось несколько взрослых цыган или мальчишек с целью ограбить или выпросить себе что-нибудь, что, впрочем, безразлично, меланхолически замечает Шонин.

Из дальнейшего сообщения следовало, что Пушкин, якобы тут же, дошедши до дома Стамати, вбежал к нему и громко произнес: «Пера и чернил!» И здесь-то, торжествующе заключает повествователь, были написаны первые строки «Цыган».

Но своеобразный рекорд среди всех этих «историй» побил все-таки Елизавета Францева, опубликовав в трех номерах журнала «Русское обозрение» за 1897 год «семейные предания» — «А. С. Пушкин в Бессарабии». Под этим деловым названием скрывается многоречивая и многостраничная повесть.

По «семейным преданиям» Е. Францевой следовало, что не кто иной, как именно ее отец, г-н Кириенко-Волошинов, чиновник канцелярии наместника Инзова, записал одно «истинное» происшествие, случившееся в цыганском таборе под Кишиновом. Пушкин же, прочитав эту рукопись, сделал поэтическое изложение ее — «Бессарабские кочующие цыгане». Это изложение со-

хранилось в памяти Е. Францевой, его-то она и считает предысторией или «первым вариантом» поэмы «Цыганы».

Думается, г-жа Францева не постеснялась выдать за вновь открытую рукопись великого поэта собственные дилетантские упражнения в стихах и прозе.

На фоне всех этих «воспоминаний», «семейных преданий», «историй» только записки Ралли-Арборе, в отличие от других свидетельств кишиневских старожилов, вызывают полное доверие. Эти записки я и положил в основу рассказа о поездке Пушкина в Долну.

Сам автор этих записок был весьма примечательной личностью. Писатель, крупный революционный деятель, ближайший сподвижник Бакунина, Замфир Константинович Ралли-Арборе рано осиротел. Поэтому он составил запись семейных рассказов о Пушкине не со слов отца, Константина Ралли, того самого Ралли, с которым Пушкин ездил в Долну и Юрчены, а со слов своей тетки Екатерины Захаровны Стамо-Ралли, хорошо знавшей, как, впрочем, и все их семейство, высланного в Кишинев поэта.

Маленького роста, с выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, Екатерина Захаровна была умна и начитанна.

На одном из черновиков поэмы «Цыганы» есть рисунок табора: шатер, силуэт женщины, кормящей грудью, телега, бродячая собака. И, как ни странно, здесь же профиль нахмуренного, насупленного мужчины восточного типа. По словам Блока, Пушкин чувствовал «какую-то освободительность рисунка», машинально чертил то, чем был занят в данное время. Исследователи установили, что профиль на рукописи «Цыган» принадлежит Апостолу Стамо, мужу Екатерины Захаровны.

Тетка Замфира Константиновича Ралли-Арборе была несчастлива в браке. Ее муж, кишиневский чиновник, был намного старше своей молодой жены. Пушкин прозвал его «бараньей физиономией» (точнее, в переводе с французского «баран-вожак»). В письме, адресованном кишиневскому приятелю Н. С. Алексееву и помеченном тридцатым годом, напротив, поэт с большой теплотой отзывался о самой Екатерине Захаровне как

о женщине «милый воспоминанию». Все эти факты показывают, что, с одной стороны, творческая история «Цыган» более сложна, чем это принято думать, а с другой, что в период создания поэмы — в январе-октябре 1824 года — Пушкин думал о семействе Ралли, думал о тех непростых отношениях, какие сложились между ним и этим семейством.

Вот почему исследователь жизни и творчества Пушкина Петр Щеголев заметил, что «изо всех известных рассказов о том, как Пушкин бродил среди цыган, только от рассказа Е. З. Стамо-Ралли веет жизненной правдой».

Другое дело, что к толкованию фактов и к некоторым подробностям в рассказе Е. З. Стамо следует подойти с большой осторожностью. Например, Екатерина Захаровна говорит своему племяннику, что, даже спустя много лет, она хорошо помнит Земфиру. Вместе с тем она едва ли могла видеть цыганку, потому что после пребывания Пушкина в таборе Земфира внезапно исчезла и, как следует из письма К. З. Ралли, через год погибла от руки соплеменника.

Кроме того, Екатерина Захаровна, вольно или невольно, придала портрету Земфиры черты некой экзотической красавицы, дикарки («Одевалась Земфира по-мужски, носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку»), что вполне соответствовало ее представлениям о девушке из табора.

Не случайно также, что после того как Пушкин прислал своих «Цыган», — «все мы, — рассказывает Екатерина Захаровна, — много смеялись над пылкой фантазией поэта, создавшего из *нашей* Земфиры свою свободолубивую героиню». Неприязненно отнеслась Е. З. Стамо и к «неисправимому эгоисту» Алеко, — так на цыганский лад называет она Александра, которому вряд ли следовало идти в табор «наших бедных юрченских дикарей».

Вообще в воспоминаниях Екатерины Захаровны Земфира предстает этакой *amorette*, а история взаимоотношений Пушкина с нею — «шалостью», забавным приключением молодых людей, приехавших рассеяться в родовое поместье.

Факты говорят о другом. Сам Пушкин — и это дважды подчеркивает Е. З. Стамо — не обмолвился ни еди-

ным словом о поездке в Долну и Юрчену. Зато в эпиллоге к «Цыганам» можно встретить вполне достоверное автобиографическое признание:

...Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями...

По выражению А. Слонимского, в «Цыганах» совершается драматический переход «от счастья к несчастью», как в греческой трагедии по знаменитому определению Аристотеля. Этот переход от счастья к несчастью подчеркнут не только судьбами Алеко и Земфиры, но и инструментовкой поэмы, ее звукописью, ее общим звучанием. Посмотрите, сколько веселого оживления, пестроты, сочности в первых главах поэмы, описывающих сборы табора в недалний путь:

Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волюнки говор, скрип телег,
Все скудно, дико, все нестройно;
Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег...

И как приглушены, как скорбны тона в последней главке: «...Поднялся табор кочевой с долины страшного ночлега. И скоро все в дали степной сокрылось...» Создается ощущение, что табор бесшумно исчез, как исчезает станица перелетных птиц в бескрайней голубизне неба. Не случайно возникает в воображении поэта и образ смертельно раненой птицы; одинокая кибитка, крытая убогими коврами, действительно издали напоминает птицу с перебитым, опущенным долу крылом.

Таков, по сути дела, и Алеко.

Если бы Пушкин только «развенчивал байроническую сущность героя», как и поныне толкуют «Цыган» школьные учебники, то этого образа — образа птицы, «пронзенной гибельным свинцом», — в поэме не было бы.

Но поэма задумана как произведение о современном человеке и для современного человека, она задумана как произведение о трагическом несоответствии не только двух характеров, но и двух ступеней в духовном развитии человечества: с одной стороны, естественная «дикая» вольность Земфиры, с другой — романтическое свободолюбие Алеко, которое вбирает в себя всю современную цивилизацию, все ее достоинства и пороки.

Напрасно Алеко тешил себя иллюзиями, что только в опрошении, только в пренебрежении благами цивилизации и просвещения он обретет самого себя. Он бежал от «неволи душных городов», он чужд городской толпе, где его сограждане «любви стыдятся, мысли гонят», впрочем, он чужд и толпе нищих цыган.

«Ты для себя лишь хочешь воли», — пророчески говорит ему старый цыган. Крушение всех жизненных и нравственных принципов Алеко происходит не только из-за его врожденного эгоцентризма, не из-за дурных склонностей, ослепления ревностью и так далее, но также из-за ложного, противоестественного положения человека в современном мире, которое заставляет искать его пристанища в первобытной среде, поддерживает в нем наивные иллюзии о «золотом веке» человечества.

В таборе Алеко изменился, но изменился он внешне, усвоив привычки окружающих, применившись к новым условиям жизни. Ему кажется, что он уже стал «вольным жителем мира», что он наконец-то обрел неограниченную духовную свободу, что его сын, как сказано в черновом варианте поэмы, получит «с даром жизни дорогой неоцененный дар свободы...». Но сущность Алеко осталась неизменной — он был и остается воплощением одиночества; свобода про себя и для себя — это еще не свобода. Он сам не хочет, не смеет додумать это до конца; он даже здесь, под пологом шатра Земфиры, «грусти тайную причину истолковать себе не смел».

Вот почему Алеко испытывает жгучую потребность в любви. И эта потребность в нем тем острее, чем острее возникает в нем ощущение собственной неустроенности, одиночества. Он жаждет любви как единственного и последнего средства духовного возрождения. Кроме того, любовь Земфиры для него — это путь к вос-

становлению неразрывных связей с людьми, с обществом, пусть даже в такой его примитивной формации, как цыганский табор,— это путь к действительной свободе.

Не кто-нибудь, а именно Земфира «в минуту разогнать умела» его тайную грусть, его задумчивость, вселяла в него чувство полноты жизни и счастья. Алеко — этому явному «антигерою» прошлого века — более необходима любовь, чем ей самой. Земфиру же любовь тяготит, она скучает с человеком, который сложен, непонятен для нее, как сложна и непонятна среда, которая породила тоску и страстную жажду свободы, испытываемых Алеко.

Мы любим горестно и трудно,
А сердце женское шутя, —

отнюдь не случайно сказано в черновиках «Цыган». Здесь — в этом противопоставлении двух мироощущений — и заключена драма любящих сердец. У Алеко даже расцвет его любви омрачен тяжкими предчувствиями, чувством непрочности счастья. Алеко молит свою подругу:

Не изменись, мой нежный друг,
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье.

Любовь Земфиры лишена такой трудной, горестной окраски: ей неведомо чувство неуверенности в любимом человеке, боязнь за него. Ведь для Земфиры любовь не является таким всепоглощающим чувством, такой роковой страстью, какой она является для этого пария в среде отверженных. Щедротами своей души Земфира делится радостно и простодушно, она вольна в своих привязанностях. Но как только любовь становится ей в тягость, не доставляет ей радости одарения — она покидает возлюбленного.

Стремительно, неотвратимо нарастает трагическая развязка. Вот почему Пушкин, когда поэма была уже завершена, в эпилоге счел необходимым еще раз подчеркнуть главную мысль:

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны.

И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

«Смиренной вольности» бедных и, по существу, несчастных детей природы мало современному человеку. Не принесет ему счастья ни самоотречение, ни бегство в природу, ни погружение в «роковую страсть», — в любовь.

Только в тревогах жизни бурной, только в жажде деяния, достойного его самого, может обрести человек желаемое обновление — таков философский вывод «Цыган», этой лучшей романтической поэмы Пушкина.

2

Я не знаю, кто из людей, причастных к литературе, удержался бы от соблазна побывать в местах, где Пушкин встречался с цыганкой Земфирой, где он познал любовь и долгую печаль? Я от такого соблазна не удержался. И наша поездка в Долну и Юрчену навсегда останется живейшим воспоминанием в моей душе.

Помогли мне в этой поездке, составили компанию журналист Василий Широкий и поэт Виктор Кочетков, кстати сказать, пешком исходивший памятные пушкинские места... Почти полтора года лет минуло с той поры, как дорожная коляска с двумя молодыми людьми выехала за окраину Кишинева. Но и нам было отрандно покинуть раскаленный город, его проспекты, грохочущие от нескончаемого потока грузовиков, самосвалов, троллейбусов, чтобы повернуть на северо-запад — туда, где скрывалось таинственное для меня селение Долна.

Вот когда наконец-то я увидел настоящую Молдавию. По мере того как под колеса редакционной «Волги» бросались все новые и новые километры шоссе, один вид живописнее другого открывался нашему взору. Иногда казалось, что машина стоит на месте, а вся округа с полями подсолнечника и кукурузы, с дальними холмами и облаками медленно поворачивается вокруг своей оси, а в центре этой оси находишься ты, просто по-человечески обрадованный красотой Молдавии.

У всех у нас было такое приподнятое состояние.

Я назвал бы его счастьем дороги... Когда ветер врывается в кабину и треплет волосы, когда мимо со свистом проносятся автобусы и грузовики, начинаешь особенно оживленно говорить, но не слушаешь ни себя, ни других, потому что все время замираешь от ожидания чего-то неизъяснимо прекрасного, что ждет тебя в конце пути.

— Вообще-то Молдавия — страна линий, а не красок,— неожиданно сказал Вася Широкий.

И как ни парадоксально было это определение виноградной, солнечной, коричнево-зеленой Молдовы, приглядевшись, нельзя было не согласиться с ним. Линии, плавные и мягкие, то сливались друг с другом, то разъединялись, образуя прихотливые узоры садов, пастбищ, склонов виноградников и водохранилищ. Позднее мне довелось повидать в республиканском музее пейзажи П. А. Шиллинговского, и я обратил внимание, что именно в непрерывно узорном ритме, а не в коричневых «жженных» тонах художник передал свое точное ощущение Бессарабии.

Внезапно кружение холмистых склонов замедлилось — машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и стала взбираться вверх по откосу: Долна!

Мы остановились возле белого здания, бывшей помещицкой усадьбы, и огляделись вокруг.

Если уподобить девственные кодры океану, то Долна похожа на рыбацкий поселок, что приютился в глубине небольшой бухты. Вправо и влево от нас, вплоть до самого горизонта, застыли медленные валы холмов, а перед нами краснели черепичные крыши хаток. Селение было рассыпано в явно живописном беспорядке, который всегда поражает людей, выросших на равнинах. А над всем этим великолепием — купол тишины и покоя.

Мне довелось побывать во многих местах, связанных с именем Пушкина, и у меня создалось ощущение, что отпечаток гениальности лежит на самой природе, на ее величавости и простоте, что отнюдь не случайно именно в таких краях земли, как долнянские кодры, рождались великие творения ума и таланта.

В бывшей усадьбе, принадлежавшей когда-то семейству Ралли, теперь расположен музей.

Осмотр экспозиций занял у нас немного времени. Среди экспонатов, фотокопий рукописей поэта, при-

жизненных изданий, картин местных художников наше внимание привлекли иллюстрации к «Цыганам» народного художника СССР Ильи Богдеско. Иллюстратор не только нигде не погрешил против исторической правды и не только избежал слащавой «цыганщины», но, следуя вольнолюбивому духу поэмы, вынес действие на бескрайние просторы Молдавии. Природа в его рисунках — не фон, а соучастник событий, та стихия, в которой нашли недолгое счастье и гибель Алеко и Земфира.

Позднее Илья Богдеско рассказал мне, что по примеру Пушкина он увязался в давнем-давнем году за цыганским табором и прошел с ним немалую часть степной Молдавии, делая на ходу зарисовки и эскизы. Произошло это случайно: молодого художника привлекла красота цыганской девушки, которую, как он потом узнал, по странной случайности звали Земфирой. Но древнее поверье цыган запрещает рисовать человека. Это — дурная примета, человек непременно умрет. Тогда, чтобы в самых общих чертах схватить присущий *его* Земфире гордый и независимый нрав, Илья Богдеско пустился в путь с крохотным — из трех телег — табором. Дорожные наброски и зарисовкигодились ему позднее, когда художник приступил к иллюстрации пушкинской поэмы, — давнишней своей мечте.

Мы вышли из музея. После полумрака и прохлады комнат особенно ярко блестела зелень лесов, густо сплели напоенным зноем дали. Окруженные тишиной и величавым покоем, мы не сразу заметили гранитный обелиск, притененный старым каштаном. И, не будь с нами Виктора Кочеткова, мы прошли бы, вероятно, мимо него, допустив горькую ошибку!

Этот серый гранит имел прямое отношение к памяти А. С. Пушкина.

...Румынские оккупанты, незаконно захватившие Бессарабию в восемнадцатом году, пытались вычеркнуть имя Пушкина из сознания молдавского народа. Они изрубили топором надпись на памятнике поэта в Кишиневе. Сожгли Пушкинский народный театр, открытый к столетию со дня рождения поэта и известный под названием «Пушкинской аудитории».

Однако светлый облик Пушкина не померк в серд-

не народном. Осенью 1940 года, после освобождения Бессарабии, жители Ниспоренской округи первую свою сельскохозяйственную артель назвали именем Пушкина... Но деревенских активистов Пушкинского сельсовета румынско-фашистские каратели расстреляли здесь же в Долне.

...Мы стоим возле скромного обелиска. Узловат ствол старого каштана, развесист его зеленый шатер — благодатна земля, взрастившая его. Щедро полита она весенними дождями и кровью людскою. Тихо и солнечно вокруг. Так тихо, что на какое-то мгновение, кажется, можно услышать въявь голос поэта, который немного нараспев, на старинный лад читает бессмертные строфы:

Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ плаха славного мой след уединенный, —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье...

3

В Юрченах — большом молдавском селе, утонувшем по гребни крыш в садах и виноградниках, мы долго разыскивали Павла Петровича Андриеша — директора местной школы и краеведа. В любом из нас жила тайная мысль: а не расскажет ли нам Павел Петрович что-нибудь новое о Пушкине и Земфире.

Кто-то показал на дом Андриеша. Притулившийся к крутому откосу, этот дом ничем не выделялся среди других юрченских домов с террасами, хозяйственными пристройками, гирляндами красного перца, лука и желтых табачных листьев, со всем тем давно обжитым уютом, который так привлекает приезжих горожан. Как и в соседних дворах, здесь торчали на кольях перевернутые горшки, сквозь зелень просвечивали дымчатые сливы, тяжело клонились долу шапки подсолнухов. Только, может быть, ниже над окнами опускался навес толстой камышовой крыши да поменьше, чем у других, были старинные переплеты рам. Павел Петрович был болен, и поэтому роль гостеприимной хозяйки взяла на себя его теща, Агафья Фоминична Палади. Мы

поднялись по ступеням крыльца и прошли в одну из комнат. Толстенные балки потолка, маленькие оконца, ковры-килимы на стенах и на полу, да и все убранство комнаты, которое характерно для квартир сельских учителей, настраивало на неторопливый разговор.

Вот здесь-то нам по-настоящему и повезло.

— Вы знаете, а ведь по этим половицам ступал Александр Сергеевич Пушкин... И сюда к нему из табора приходила Земфира,— сказала нам Агафья Фоминична.

Можно представить, каким радостным и неожиданным для нас было это известие. В него не просто хотелось верить, в него невозможно было не поверить. Как сказал Александр Блок: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин». И приобщиться к этому веселому и светлому имени — счастье для любого. Это счастье мы находим не только в постижении поэтического гения Пушкина, но и в личных переживаниях, которые доставляют нам памятные пушкинские места. А здесь мы в некотором роде становимся первооткрывателями, мы узнаем какой-то новый штрих, какую-то новую деталь в биографии поэта. Здесь мы можем вволю помечтать, представить себе, как вот на этой скамье сидел Пушкин, как он нетерпеливо ожидал Земфиру, как она входила в эти комнаты...

Но хотелось новых подтверждений, новых доказательств, что именно здесь жил Пушкин более ста пятидесяти лет тому назад.

— Когда-то Юрчены были небольшим хутором,— продолжала Палади,— и сюда летом приезжали господа помещики — отдохнуть, поохотиться в окрестных лесах. Наш дом был чем-то вроде охотничьей сторожки. Он — старый, очень старый: однажды мы затеяли ремонт, потребовалось продолбить балки — и дерево не могли взять железом: от старости оно стало крепким, как кость. Да, повторяю вам: в нашем доме жил Александр Сергеевич, когда он приезжал в Юрчены!..

Вскоре мне довелось узнать новые подробности из истории дома Андриеша.

«Дом, в котором мы живем,— писала мне в Москву А. Ф. Палади,— я унаследовала от своей прабабушки, которой в 1918 году, когда я прибыла в Юрчены, было сто лет. По ее рассказам, этот дом когда-то принадлежал помещику Ралли. В 1922—1923 годах в Бессарабии издавалась газета «Бессарабское слово» на русском

языке. Вот в этой газете мы с мужем прочли также статью о том, что А. С. Пушкин был на хуторе у Ралли и ступал в нашем доме...»

Вот оно, «милое» поэту воспоминание о нем! Вот оно, живое предание, передаваемое из рода в род!

...Мы едем в Ниспорены, а потом обратно в Кишинев. Но у каждого такое чувство, словно здесь в Юрченах, под этой камышовой кровлей, мы оставили частицу собственной души.

Среди быстро сменяющихся впечатлений, которые дала мне поездка по Молдавии и придунайским районам Одессины, пребывание в селе Долны и Юрченах оставило едва ли не самый сильный и глубокий след. Однако цель моей поездки вовсе не заключалась в сборе новых пушкинских материалов. Нет, все вышло, как говорится, само собой. Смутная мечта, жившая во мне давно, — посетить земные уголки, города и веси, где некогда жил Пушкин, привела меня в Кишинев. Оттуда я проехал в село Долну, в Юрчены, а затем почти по пушкинскому маршруту — в Белгород-Днестровский (Аккерман), в Измаил, в городок Вилково, что расположен в самом устье Дуная, иначе говоря, в те места, в которых по преданию окончил свой век Овидий Назон.

Пестрая, случайная смесь путевых наблюдений, без которой не обходится ни одно путешествие, — все это заносилось мною в черновики. Мне хотелось воссоздать пусть мозаичный, пусть неполный, но по мере сил и возможностей живой образ Молдавии. И теперь эти молдавские записки были бы неполны, если бы я не рассказал о других памятных встречах, с другими людьми, одержимыми любовью к Пушкину, поэзии, искусству...

Нас шумно приветствовал седой человек, с синими, непривычными для молдаванина глазами. Заговорил он быстро и охотно, как будто давно ждал гостей. Это был художник Иахим Николаевич Постолаки. В его

мастерскую мы зашли, как говорится, на огонек, но не раскаивались в этом, потому что сразу же попали в мир удивительный, в мир странный, где фантазия и реальность, воображение и жизненный опыт творят чудеса. Вообще мастерская художника прикладного искусства совсем не похожа на студию модного живописца, где многое выставлено напоказ, как будто для того, чтобы удивлять и поражать посетителей; мастерская художника-прикладника — это лаборатория, ибо сам он — вечный экспериментатор, исследователь, изыскатель, который проводит опыты, сравнивает образцы, отбрасывает одни, принимает другие и всегда руководствуется изречением поэта, высказанным в форме вопроса, но от этого не менее действенным и прекрасным: «Доволен ли ты сам, взыскательный художник?»

...На полках вдоль стен в хаотическом нагромождении стояли фигурки из глины, из гипса, из дерева, из древесных корней; кувшины, украшенные геометрическим орнаментом; плоски — молдавские плоские фляги для вина — с цветными ангобами; изделия потечной глазури и изделия глазури восстановительного огня; лежали папки с эскизами, рисунками, вырезками из газет...

От монументальных панно и цветных витражей до костюмов национальных ансамблей, от городских стендов до изящных безделушек — таковы масштабы деятельности художника-прикладника. И во всем, за что бы он ни брался, он должен проявлять художественный вкус, высокий профессионализм, а главное, верность национальным традициям и чуткость к веяниям века.

...По мере того как развивалась наша беседа, нам все больше нравился этот старый мастер, как бы изнутри озаренный воодушевлением, нет, пожалуй, следует сказать — восхищением перед своей профессией, перед своим призванием. Постолаки мог быть и рассерженным, и недовольным, но при этом всегда предельно откровенным, ибо разговор шел о проблемах прикладного искусства. Воспользовавшись паузой, я обратил внимание на одну необыкновенно выразительную майолику: это была фигурка девушки в ярком национальном наряде... Девушка в душевном порыве протягивала

вперед руки, она то ли окликала кого-то, то ли прощалась навсегда...

— Ее зовут Мариула,— ответил на мой молчаливый вопрос Постолаки. И в свою очередь спросил:— Вам нравится она? Даже очень?.. Ну, это замечательно... Раз нравится, значит, доставляет приятное чувство. Доставляет наслаждение. А в этом я и вижу жизненную цель — даровать людям наслаждение... Ведь в своем доме, среди памятных сувениров, человек не будет держать вещь, которая бы его раздражала... Такого быть не может. Человек ищет такое, что радовало бы его. К сожалению, майолики у нас делаются чаще всего по поточному методу, и молдаванку с корзиной винограда невозможно отличить от украинки со снопом пшеницы... Говорят, что в таких майоликах безраздельно господствует современность. По-моему, в них господствует равнодушие и дурной вкус... Искусство малых форм не должно быть делом, измельчающим вкусы людей, оно должно быть, в первую очередь, искусством... Вот вам копия маленькой терракотовой скульптуры из древнего Херсонеса,— бог ты мой, да на одну эту головку «Веселого раба» можно смотреть часами!..

Постолаки помолчал. Его синие глаза горели прежним воодушевлением, а все мы, присутствовавшие в мастерской, были не только согласны с ним, но и полностью разделяли его радости и заботы.

— Когда-то в молодости, в году тридцать седьмом, мне довелось принимать участие в оформлении румынского павильона на всемирной выставке. Жил я тогда в Бухаресте и мало что знал о Советском Союзе: ведь румынская реакционная печать предпочитала писать неправду о великой стране. И вот я никогда не забуду неожиданного, окрыляющего впечатления, которое произвел на меня советский павильон, а прежде всего вознесенная ввысь, напряженная, стремительная скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». К счастью, увидел я в ней не только современность, я увидел в ней будущее народа... И — прошлое его!.. Там же, на выставке, мне пришлось встретиться с югославским скульптором Иваном Мештровичем. Он также видел изваяние Мухиной; позже мне передавали его слова: «Друзья мои, верьте мне,— это великое искусство!..»

...Нечто памятное и важное открывалось нам теперь за каждым словом Постолаки. Происходило так потому, что он рассматривал привычные нам вещи и явления с иной стороны, что он ощущал их по-своему... При всем том еще и мечтал вслух: это были мечты художника, которые поддерживают желание что-то совершить такое, что никогда прежде не было по силам совершить.

— У Ивана Мештровича,— продолжал Постолаки,— можно найти немало библейских сюжетов. Но дело не только в этих сюжетах, не только в образах мучеников и апостолов православной церкви. Дело в том, что страдание — вот источник поэзии Ивана Мештровича. Но страдание особого свойства,— оно одновременно возвышает человека, воскрешает его из тьмы повседневных сует... Таково воздействие и скульптуры, и музыки, и поэзии... Он же, Мештрович, как никто другой, передал возвышающую святость всечеловеческой любви, и особенно любви материнской... Вспомним его мрамор «Мать и дитя». Взгляд, устремленный вверх, исполненный ожидания, испуга, надежды, взгляд матери, на коленях которой распростерто обнаженное тельце ребенка. Таким человек вступает в жизнь, таким беспомощным и беззащитным он будет для матери всегда. Но для меня в этом мраморе запечатлен не только всечеловеческий, но и собственно-национальный опыт скульптора. Я угадываю «праисторию» святой матери: набег иноплеменцев, удары сабель, пожары, заунывный звон колоколов... Во всяком случае, все это я вижу, прозреваю в мраморе «Мать и дитя» или в его знаменитой скульптуре «Распятые». Вот они — эти чудовищно распухшие ноги Христа, эти тяжелые болты, вбитые в ладони, это изможденное, истрадавшееся тело богочеловека — оно вопиет о боли, оно живой укор всем нам. Иван Мештрович не раз и не два обращался к образу Христа и всегда с великой самоотдачей говорил о его духовных, его физических муках. Здесь, в деревянной скульптуре, Мештрович остался верен самому себе. Но верной себе осталась и Мухина, которая передала в своих фигурах порыв к будущему, к нашему Завтра... И вот эту верность времени и себе сразу же подметил Иван Мештрович, который сказал: это — великое искусство... Именно таким, по-моему, и должен быть язык современной пластики: не поучать, не

наставлять должен ваятель, а кричать о всех страданиях человечества и радостях его.

Иаким Николаевич, видимо считая, что разговор на этом закончен, предложил выпить турецкого кофе, заваренного каким-то особым способом, известным, как сказал хозяин, лишь ему одному. Пока мы прихлебывали кофе из крошечных фарфоровых чашечек, пока говорили о каких-то необязательных вещах, я не удержался и взял в руки майолику Постолаки, поразившую мое воображение: во всем облике девушки было что-то, не подберу другого слова, неповторимо прекрасное.

— А почему свою майолику вы называли «Мариула»?..

Иаким Николаевич вновь оживился при этом вопросе. Но ответил далеко не сразу. Вернее, он начал говорить как будто совсем о другом, об эскизах для танцевального ансамбля «Жок».

— Костюм — это наш язык! Мы можем выражать им свои чувства, как музыкант — мелодией, как скульптор — резцом. Иногда думают, будто для молдаван характерны контрастные тона и расцветки. В какой-то степени это верно. Однако традиционное молдавское убранство сдержанно и собранно во всем: в нем преобладают белые тона, — даже вышивка на белоснежной сорочке может быть выведена белым шелком. И только безрукавка, которую вышивает девушка своему возлюбленному, — богата по выдумке, орнаменту, по цветам. Ведь девушка вкладывает в свой как будто бы «немой» язык узоров — любовь, преданность, страстность. — Иаким Николаевич сделал паузу. — И после этого мне говорят, чтобы я поучал народ красоте? Да мне, немолодому уже человеку, всю жизнь ходить у народа в подмастерьях, восхищаться искусством народных мастериц! Вот с какими мыслями я и приступал к созданию майолики: мне хотелось запечатлеть одаренность этой девушки, ее душевное богатство, ее красоту. Что же касается имени Мариула, то оно — из самых любимых; самых распространенных имен в Молдавии. Помните у Пушкина:

В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —

И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

— Вы, конечно, знаете,— как бы между прочим спросил Постолаки,— что молдавская девушка Мариула существовала реально и что именно ей посвятил Пушкин своих «Цыган»?..

Не скрою: последний вопрос Иакима Николаевича был для нас полной неожиданностью. Как?! Ведь совсем недавно в Юрченах старая учительница уверяла, что в ее доме Пушкин встречался с цыганкой Земфирой. А теперь, оказывается, существовала еще и Мариула? Нет, я лично не мог согласиться с такой версией... Я стал горячо убеждать Постолаки, что он не прав. В самом деле,— говорил я,— в эпилоге поэмы вспоминается имя Мариулы, но это еще ничего не значит. Просто такова была литературная традиция той эпохи. В духе этой традиции Пушкин, к примеру, называл себя Эмилием. Под именем Мариулы он мог скрыть подлинное имя девушки, которую встретил в таборе Булибаши. Имя Земфиры было важно скрыть еще и потому, что Пушкин знал — он не мог не знать — о снисходительно-ироническом отношении, которое вызвала его пылкая привязанность к цыганке со стороны близких ему людей. А ведь этими людьми были Екатерина Захаровна и Константин Ралли... Екатерину Захаровну безусловно задела любовь Пушкина к Земфире, крепостной девушке ее матери. Вот она и принизила образ Земфиры, изобразив ее дикаркой, а всю историю как шалость повесы-поэта.

На самом деле все было далеко не так. Пушкин был потрясен известием о гибели Земфиры, об этом можно судить хотя бы по тому, что поэма «Цыганы» после этого известия дописывалась необычайно быстро...

Иаким Николаевич Постолаки выслушал мои возражения и все-таки не согласился с ними. По его мнению, имя Мариулы — не дань литературной традиции, а имя реальной девушки, которое и повторял Пушкин во время странствий по Молдавии. Кстати, об этой Мариуле или Марионелле сообщают в своих воспоминаниях Липранди и Тепляков. Что же касается Екатерины Захаровны Стамо, то ее отношение к Мариуле, если только бы она знала о ней, было бы несколько не лучше, чем к цыганке Земфире. Уж таковы были сослов-

ные предрассудки, свойственные не одной этой образованной и умной женщине.

...Вот при каких обстоятельствах и совершенно неожиданно выяснилось, что Постолаки любит ранние поэмы Пушкина, что многие годы он запоминал все, что так или иначе было связано с великим поэтом... Как и всякий художник, работающий в прикладном искусстве, он нередко обращался к подлинным документам, к предметам быта и памятникам культуры прошлого. Ведь для художника-прикладника особенно важна бытовая сторона жизни: наряды, украшения, орнамент на одежде и многое другое... Откуда, например, берет узоры для своих эскизов художник? Да хотя бы с икон, называемых «парсунами». Такова «парсуна» Тудора Владимиреску, где он изображен в богатой, украшенной мехами и вышивками дуламе, своего рода длинном кафтане... Иногда можно что-то высмотреть на книжных заставках или на лубочных картинах, которые, кстати сказать, точно передают бытовой колорит времени.

И вот однажды художнику попалась лубочная картинка «Черная шаль», созданная по мотивам знаменитого пушкинского стихотворения. Постолаки заинтересовала история этого лубка, а соответственно, и стихотворения Пушкина, имеющего подзаголовок «молдавская песня»... В конце концов он открыл для себя нечто более важное — он открыл пушкинскую Мариулу.

...Когда вечерняя мгла спускалась на каменные храмы, стены которых, по молдавскому обычаю, были расписаны иконниками не изнутри, а снаружи, на дворцы и бедные хаты в магалах, пригородах Кишинева, когда затихал шум боярских рыдванов, щегольских колясок, чиновничьих бричек и крестьянских каруц, — горожане высыпали под сень уличных акаций. Под этой сквозной сенью медленно проплывали остроконечные шапки молдаван, красные фески греков, чалмы-тюרבаны турок, треуголки и кивера русских офицеров, шляпки местных модниц и тяжелые шали их родительниц, короче говоря, живописная, пестрая, нарядная толпа кишиневцев господствовала в эти часы на улицах бессарабской столицы. Пушкина и пленяла и раздражала эта толпа, хотя у поэта было уже немало знакомых,

друзей, недругов, завсегдатаев аристократических салонов и офицерских бильярдных, вроде той, что находилась в «Зеленом трактире». В этом «Зеленом трактире» было также превосходное местное вино, там подавали местные блюда, турецкий кофе и шербет, там был оркестрик из дворовых музыкантов-цыган, но главное — там была Мариула... На открытой веранде, где в ветвях акаций и во вьющемся винограде горели плошки с огнем, где в эти теплые вечера было особенно оживленно и шумно, Пушкин ждал, когда появится Мариула. И она появлялась: ее огромные глаза, по восточному обычаю сильно подкрашенные, подведенные сурьмой, ее тонкие руки, — все было устремлено к нему... Оркестрик начинал мелодию. Сквозь глухие гулы барабана и меланхолические вздохи скрипок прорывался ее высокий голос... Много раз Пушкин слышал одну и ту же песню, знал от друзей ее перевод, но все-таки поражался тому, с каким непревзойденным чувством исполняла всегда эту песню девушка-молдаванка. В такие минуты душевного волнения он ощущал, как кровь приливает к лицу и холодеют пальцы рук; его потрясали эти муки любви, муки ревности. Так было и в тот раз, когда Мариула пела песню только для него: «...Я вытащил палаш из ножен и жестоким ударом повалил ее на землю... Я помню теперь ее мольбу. Открытые губы просили поцелуя, поцелуя просили в ту минуту... Но я молча вытер палаш черной шалью...»

14 ноября 1820 года Пушкин написал стихотворение «Черная шаль». В тот же вечер он прочитал его Мариуле, а затем — в кругу знакомых офицеров — у генерала М. Ф. Орлова. Читал эти стихи он и в других кишиневских домах. «Черная шаль» стала мгновенно распространяться в списках, а после публикации в «Сыне отечества», которым Пушкин остался очень недоволен из-за ошибок и исправлений, — ее знала вся читающая Россия. В скором времени «Черная шаль» была положена на музыку композитором Верстовским. Исполнял ее известный тогда певец Булахов. Публика была в восторге: обычно подобные «кантаты» исполнялись действующими лицами во фраках и с нотами в руках, а здесь, — после того как поднимался занавес, — представляла комната, убранная по-молдавански; Булахов, одетый тоже по-молдавански, сидел на диване и смот-

рел на лежащую перед ним черную шаль. После музыкального вступления он начинал:

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль...

— Публика не без оснований считала,— сказал Постолаки,— что в самих звуках имени Мариулы поэту чудилась магическая власть и напевность. И трагизм, который есть и в молдавских дойнах, и в песнях цыган, блуждавших по вольным степям Бессарабии... Нет, совсем неспроста Пушкин, отправляя из Михайловского только что законченную поэму, дописал последнюю строфу:

И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

...До полуночи продолжался разговор у Иакима Николаевича Постолаки о Пушкине и Мариуле, о молдавской музыке и поэзии, о прошлом и настоящем этой чудесной страны. Иаким Николаевич несколько раз приносил черный турецкий кофе, несколько раз мы собирались уйти, но никак не могли собраться. И вот теперь, когда я вспоминаю речи художника, его высказывания, весь его облик, я думаю о словах Родена: «Восхищение,— заметил великий скульптор,— это хорошее вино для благородных умов».

5

Всю жизнь меня тянет к воде, к водному простору — будь это Кубеноозерье, ненасытная для глаз глубизна Байкала, медлительная Даугава или бурная Ангара. В дальних и близких командировках я стараюсь как можно быстрее выбраться из городской суеты, пройти к пристаням, лодкам, теплоходам, баржам, плотам, к свежему ветру, к тому особому миру, который всегда бодрит и радует бесконечным разнообразием и простором.

«Я никогда не чувствовал себя одиноким у реки», — сказал как-то Хемингуэй, и с юношеских лет я познал на себе истинность этих слов: возле большой воды я тоже никогда не чувствовал себя одиноким. Напротив,

каменные строения без реки, без водной глади кажутся мне какими-то однообразными, скучными. Они не остаются в памяти, вернее, не оставляют в душе столь сильный отпечаток, как города и селения, в которых есть какая-никакая набережная, какой-никакой причал, какая-никакая лодка и которых, к счастью, не счесть на нашей обширной земле. Но сильнее и неотвратимее всего меня влекут, конечно, великие реки России. Ожидание встречи с ними доставляет не меньше переживаний, чем встреча с чем-то давным-давно загаданным, заочно любимым, но знакомым лишь понаслышке.

И все-таки среди всех рек нашей Отчизны едва ли не самой сладостно-ожидаемой была для меня встреча с Дунаем.

«Ах, Дунай мой, Дунай», — пела деревенская застольица в моем приозерном северном крае. Песня подмывала встать из-за стола, топнуть так, чтобы зазвенела посуда в горке, чтобы закачалась семилинейная лампа под потолком. И хотя значение слов песни давно стерлось, потеряло прелесть новизны, было в этом сочетании «Дунай мой, Дунай» что-то разгульное, размахистое, что по душе русскому человеку, что живет в нем искони и неизменно тянет в чуждадельные страны.

Там, за синими лесами, за широкими степями, за ясными зорями, протекал этот Дунай. Мало кому из моих земляков доводилось поглядеть на его вольные воды, на его грады и веси, испить его чистой воды. Только мой дед, бывший солдат-преображенец, раненный штыком под Плевной, смутно помнил переправу через Дунай, который всю жизнь он называл на старинный манер «Дунаеви». Это слово позднее я прочитал в исторических хрониках, где говорится, что славянское племя угличей — жителей угла — «сядяху по Днестру, присядяху к Дунаеви». С тех незапамятных времен и летит молва по всем славянским землям о Дунае — таинственной и прекрасной реке древнего мира.

...Менялись сотоварищи Александра Пушкина в его странствиях по Бессарабии — то Константин Ралли, то И. П. Липранди, менялись виды природы — то зеленые кодры, то холмы Буджака, то, наконец, дунайские берега. И лишь тень Овидия была неизменной спутницей ссыльного поэта...

Первая книга, которую Пушкин попросил у Липранди по приезде в Кишинев, был Овидий во французском переводе. «Не знаю, читал ли он его прежде...» — меланхолически заметил Липранди. Пушкин читал Овидия — и во французском переводе и в подлиннике еще в лицейские времена. В мастерской классической древности, образцы которой осваивали не одни юные поэты-лицейсты, Публий Овидий Назон был нарицательным именем певца любви, любовного томления, любовной ревности, неги... И не случайно Пушкин в стихотворном послании из Царскосельского лицея признает с гордостью, что пиитические игры его старшего друга Батюшкова венчал «младой Назон». Правда, Батюшков, превосходно знавший древних авторов, в зрелые годы, в Каменец-Подольской крепости, замыслил элегию «Овидий в Скифии», — и замыслил он ее не в любовно-элегическом, а совсем в другом ключе.

Он взял весьма любезный для русского сердца сюжет. Этот сюжет так нравился Батюшкову, что он почитал его счастливее элегии «Умиравший Тасс», над которой долго работал. Суть заключалась в следующем.

Некогда блистательный поэт-эпикурец и кумир золотой молодежи Рима Публий Овидий Назон дни свои кончал на берегах Дуная. Римский император Август сослал его сюда, на границу со Скифией, и продержал в изгнании девять лет. Набеги кочевников на римские гарнизоны, стычки с местными племенами, ограбление купцов, междоусобицы — все заставляло легионеров «вечного города» жить в постоянной тревоге... Овидий Назон, с юности невлюбивший военную службу, пребывал в тех гарнизонах в тоске и глубокой скорби. Особенно тягостно ему было в его почтенном возрасте надевать тяжелый шлем, опоясываться римским мечом, вставать в строй при каждом известии о набеге. Напрасно он посылал в императорский Рим прошения, напрасно льстил Августу, в слезах восхвалял его добродетели и доблести. Хитрый и мстительный цезарь не ответил ни на одно из этих посланий. Овидий так и умер в изгнании и был, по преданию, похоронен в порту Тома, что располагался при самом устье Дуная. Очевидно, что факт пребывания Овидия, одного из великих поэтов древности, вблизи скифских, а следовательно, и славянских берегов служил неким пред-

указанием, неким предзнаменованием классического расцвета русской поэзии. Именно через лиру Овидия, его науку «страсти нежной», его «Понтийские элегии», написанные в изгнании, сокровища древнего мира как бы обретали вторую родину в стране полунощи,— в России... Увы, элегию «Овидий в Скифии» Константину Батюшкову так и не суждено было написать. Но Пушкин не напрасно клялся тенью Овидия, уверял читателей в том, что «издревле сладостный союз поэтов меж собой связует». Связуя имена Овидия и Батюшкова в лицейских стихах, с еще большим основанием и правом он соединял свое имя с именем древнеримского поэта здесь, в Бессарабии. Безусловно, что и сравнение северной столицы с Римом, русского царя с цезарем Августом напрашивалось, как говорится, само собой... Пушкин не преминул этим воспользоваться. Оценивая свою попытку освободиться из ссылки, он прибегнул к шутливой «тайнописи»: «О други, Августу мольбы мои несите! Но Август смотрит сентябрем...» Достоин сожаления,— писал Пушкин в элегии «К Овидию»,— что великий римлянин столь «малодушно посвятил» свою лиру бесчувственному Октавию.

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их...

Да, Пушкин понимал все, что творилось в душе Овидия,— ведь и его неудержимо тянуло в северную столицу, откуда, не вкусив сладостей литературных и светских, он был выслан на границу империи; ведь и он любил пушистые снега своей Отчизны, так же трепетно и сильно, как Овидий— тень наследственных садов в златой Италии... Но ради свидания с Родиной Пушкин ничем не унизил «ни гордой совести, ни лиры непреклонной».

При всем том Пушкин определенно знал, что не в Аккерман, как гласило предание, а в город Томы сослал Овидия надменный Август. И все-таки Пушкин не то чтобы искал Овидиеву тень на камнях Аккермана, на берегах Дуная, на улочках степных поселений, но как бы представлял его себе, домысливал воображением среди этих камней, этих откосов, этой базарной сутолоки. С большим любопытством он, например, обследовал развалины генуэзской крепости, возвышавшейся над черноморским лиманом и чем-то похо-

жей на римскую цитадель: он побывал в башне, которую до сих пор зовут в народе Овидиевой. Он перечитывал вновь и вновь столь милые его сердцу «Понтийские элегии», а позднее записал свои впечатления: «Сколько яркости в описании чужого климата и чужой земли! сколько живости в подробностях! и какая грусть о Риме!..»

Все отмеченное у Овидия Назона было необыкновенно важно для самого поэта, для его виденья чужих нравов и чужой земли, о которой — пройдет время — и он элегически вздохнет!..

В конце декабря 1821 года, побывав в Бендерах, Буджаке, Пушкин прибыл в Измаил... Остатки измаильской крепости, штурмом взятой суворовскими войсками, произвели на него сильное впечатление: он поразился крутизне берегов, неприступности этих стен, а следовательно, и мужеству своих соплеменников. А поездка продолжалась уже вторую неделю. Во время таких продолжительных странствий, как отмечает Липранди, Пушкин имел обыкновение что-то писать на маленьких лоскутках бумаги, складывать эти бумажки как попало, рассовывать их по карманам, вынимать, перечитывать, что-то править и снова прятать. «Помню очень хорошо, — добавляет Липранди, — что он жалел, что не захватил с собой какого-то тома Овидия». Значит, и здесь, на виду поверженной дунайской твердыни, он думал об Овидии, ощущал его лиру в своих руках, пел изгнание и разлуку...

Если что и поражало Пушкина, так это странное несоответствие в их ощущениях; для сына солнечной Италии дунайские берега казались страной льда и снега; для Пушкина Дунай — благословенный юг, где в декабре зеленеют луга, где заметно веет теплом и легкий морозец едва сковал закраины реки... В какой-то миг Пушкин вспомнил несмелые опыты Овидия: римлянин в первый раз неуверенно пытался пройти по льду.

И тогда Пушкин сбежал с крутого берега, встал на лед, разбежался — и заскользил по тонкому прогибавшемуся ледку... Он вновь стал разбегаться: от его шагов в отдалении возник какой-то стонущий отзвук. Пушкин остановился. Отзвук пропал... Но едва он на-

чинал ступать по льду, как эти отдаленные стоны рождались снова... Даже в минуты по-детски беспечной радости Пушкин не переставал думать о стихах и думать стихами. Едва их походная бричка тронулась дальше, как он извлек бумажные лоскуточки и на одном из них написал:

...по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали...

6

И мое путешествие по Молдавии продолжалось третью неделю... Пользуясь этим благом или даром жизни,—размышлял я,—умеем ли мы в то же время пользоваться им как дорогим и неоцененным даром свободы... Не всей и не всякой, но хотя бы свободы перемещений во времени и пространстве... Как Пушкин... Даже тогда, когда он из простого человеческого любопытства взбирался на развалины крепости, скользил по льду дунайской протоки... Когда прошлое, настоящее, будущее — три цвета времени — создавали ослепительно-солнечный луч, игравший на льду, а затем мгновенно распадался на радужное трехцветье, окрашивая мир переливающимся, как кристалл, сиянием... И все же Пушкин называл этот дар неоцененным,—неужели он, гений русской поэзии, не оценил силу воображения?.. А может быть, другое: может, по сравнению со всеми другими благами жизни, свобода самопознания — духовная свобода была для него ни с чем не сравнимым, бесценным даром? И не этот ли дар завещал Пушкин «потомкам поздним»?.. Значит, мало ступать в пушкинский след, мало любоваться картинами пушкинской природы, наслаждаться звуками его лиры, надо «вкусать даров» и этой свободы, как библейского мира и вина, слаще которых для поэта были одни лозанья...

Пассажиры ночного поезда Кишинев — Рени ожидали «ракета»... Первая остановка — в Измаиле... Пристань. Такси. Тесные улочки старинного городка. На тротуарах — тень акаций. В сквере — взметнувшийся

конь и всадник в треуголке. При Пушкине памятника Суворову здесь не было. А жаль — он любил торжественно-гулкий державинский стих, любил его оду «На взятие Измаила»... А ведь всадник на коне — державинская ода, отлитая в металл. Всадник на коне, как я убедился вскоре, величественнее, чем крепостной ров на окраине города да обелиск возле него, — все, что осталось от измаильской твердыни. До отхода «ракеты» — семь минут... Такси домчало до пристани за пять минут... «Ракета» отчалила. Она следует до устья Дуная, до городка Вилково, о котором я был наслышан в Кишиневе. Может быть, поехать туда?.. Ведь мне говорили, что в Вилкове сохранился аромат старины, что там все осталось, как было во времена Пушкина, хотя поэт вряд ли туда заезжал, что самое удивительное в Вилкове — это каналы... В Вилкове нет улиц — вместо улиц каналы, по которым снуют рыбацьи лодки; там на каждом шагу встречаются горбатые мостики, серебристые ветлы образуют над головой зеленый шатер... Короче, Вилково — это маленькая Венеция, и не побывать там — все равно что не попробовать знаменитой дунайской сельди. После таких рассказов в воображении возникло нечто пышное, диковинное, вроде оперы Оффенбаха «Сказки Гофмана», где есть и каналы, и гондолеры, и праздничный карнавал, и великое множество бумажных цветов.

А Дунай работал буднично, неторопливо, он поднимал на плечах караваны барж и самоходок, гнал вниз по течению речные трамвайчики, пенил усы быстротходных катеров.

Не был он ни светлым, ни голубым, а был серым от ила, прогретым солнцем и таким реальным, каким и положено быть земным реальным рекам.

Берега его обросли зеленой кипенью ветел, и, кроме этих ветел да редких пограничных вышек, ничто не останавливало взора. Временами «ракета» начинала подпрыгивать, как будто с ходу налетела на кочкастое поле, вода гулко ударяла о днище, но через мгновение мерный рокот дизелей снова заполнял пассажирский салон, и берега текли с обеих сторон все так же однообразно и неостановимо.

Перед двухэтажным дебаркадером с приметной над-

писью «Вилково» крылатое судно сделало щегольской разворот и встало к причалу.

Вместе с толпой пассажиров я вышел на портовую площадь.

По преданию, первыми поселенцами Вилкова, обживавшими плавни и непроходимые камыши, были запорожские казаки. Ушли они на Дунай после того, как Екатерина II разорила Запорожскую Сечь, понастроили здесь куреней, стали промыслять охотой и рыбачеством. Потом в запорожских куренях и хатках-мазанках стали селиться пришлые люди — кто бежал от барщины, кто от рекрутчины, кто от религиозных притеснений. Особенно много было староверов. Они-то и придали Вилкову тот характерный старорусский облик, который действительно сохранился здесь по настоящее время.

Но первое, что я решил про себя в Вилкове, никогда не поддаваться избитым сравнениям и не именовать этот тихий городок «дунайской Венецией». В таких сравнениях есть претенциозность и пышность, а Вилково хорош сам по себе, он хорош как раз скромностью: каждый клочок земли здесь отвоеван у плавней, обработан поколениями вилковцев. И теперь можно часами бродить по узким — в две доски — кладкам, сидеть под тенью серебристых ветел, переходить с одного горбатого мостика на другой, обгонять медленно плывущие лодки, груженные ракушечником и камышом, и в конце концов выйти прямо к Дунаю, вдоль которого растут все те же серебристые ветлы. Каждый шаг твой будет сопровождать шлепанье лягушек, мерное поскрипывание кладок на высоких опорах, любопытные взгляды прохожих. И только рыбаки, которых здесь множество, не будут обращать на тебя никакого внимания.

В этом городке ловят все. Здесь не увидишь девченок, которые бы играли в классы или прыгали через веревочку: девчонки нянчат младших братишек и сестренек, но нянчат их весьма своеобразно — дают в руки камышовую удочку и с такой же удочкой садятся на кладках, на свайных причалах, а то и прямо на пороге своего дома. Мальчишки не расстаются с длинными снастями-«закидушками». Старухи ставят пару-

са, плывут осматривать переметы. Взрослые рыбаки уходят в море, служат мотористами.

Когда я проходил по центральной улице Вилкова,— а здесь есть и такая улица, частью мощенная, частью асфальтированная,— я обратил внимание на группы рыбаков. Было воскресенье, и местные жители, следуя давней-давней традиции, вышли на гулянье «в город». Шумел маленький базарчик. Перед беленым собором, открытым для прихожан, толпились старушки в темных одеяниях. К автобусной станции подходили рейсовые автобусы. Рыбаки стояли в вольных и как будто даже небрежных позах: их зюйдвестки, их широленные куртки и такие же широленные штаны являли собою вид живописный... А городок жил размеренной, спокойной жизнью, и в этой его размеренности, и в этом спокойствии было отрадно чувствовать себя своим, уже успевшим оглядеться и даже как-то привыкшим ко всему человеком.

...Хорошо просыпаться от sireны речного трамвайчика, выглядывать в окно номера, похожего на корабельную каюту, и видеть далекий, заросший кустарником берег. Хорошо еще и еще раз напоминать себе, что ты на Дунае и что тот, другой берег — румынский.

Хорошо мастерить нехитрую снасть, называемую «закидушкой», доставать у механика катера железную гайку, прилаживать крючки, копать червей, а потом день-деньской сидеть возле старой ветлы, закатав брюки, опустив ноги в теплую, мутную воду.

Хорошо думать, что ты уже разделался со всеми делами, нанес официальные визиты, побывал у председателя райисполкома, записал беседу с ним, узнал, что в ближайшие годы Вилково преобразится, что будут здесь построены бетонные набережные, воздвигнут стадион, упорядочена застройка.

Хорошо, наконец, почувствовать себя просто человеком, отпускником, как тот приезжий, что сидит в десяти шагах от тебя на кладках и тоже время от времени таскает желтых сомят.

Ты предоставлен самому себе, ты всю пользуешься бесценным даром — свободой, и тебе вовсе не обязательно отмечать почти машинально, как сосед твой нетерпеливо смотрит вдоль кладок, как он, видимо, ждет прихода женщины, которая запаздывает, как она садится рядом с ним и улыбается его неловким дви-

жениям, когда он выбирает леску. Нет, она не повисает на его плече, не заглядывает пристально в глаза, а просто сидит рядом с ним.

И напрасно ты успокаиваешь самого себя, напрасно твердишь про себя как заклинание, что, мол, «сердце в будущем живет — настоящее уныло: все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило...».

Твоя книжная премудрость мало помогает тебе.

Когда она, лучисто улыбаясь, оглядывается вокруг, больше всего тебе хочется, чтобы в этот момент леса зазвенела от поклевки крупной рыбы, чтобы женщина подбежала к тебе и, всплеснув руками, подивилась твоей невиданной удаче.

Но соседи встают и уходят, улыбчивые, оживленные, им, как и всем влюбленным, нужно одиночество.

Ты будешь видеть их силуэты на далекой песчаной косе, в алом блеске заходящего солнца. Ты будешь видеть их, как тех двух, что звали Александром и Земфирой, стоящих рядом, неразлучных, не расторжимых никакими силами на свете.

А Дунай, как будто даже выпуклый от половодья, будет катить волны мимо тебя, мимо вилковского дебаркадера и медленно терять золотистый блеск, густеть возле низко наклоненных ветел, отливать тусклой вороненой сталью, чтобы потом, глубокой ночью, разлиться безбрежной черной зарей. И когда по этой заре поплывут красные, зеленые, синие огоньки кораблей, тебе вдруг откроется сокровенная красота Вселенной.

ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ СИРОТИНА

Жизнь, соединенная с легендой,
есть уже «житие».

Александр Блок

I

Когда объявили следующий номер — старинную русскую песню «Улица, улица», — в зале раздались аплодисменты. Любители музыки знали великолепную особенность народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова в равной степени быть достоверным и правдивым как в драматических, так и в комедийных ролях, быть неподражаемым Иваном Сусанныным и столь же неподражаемым Чубом из «Черевичек».

Действительно, всего лишь один миг — и перед зрителями стоял подгулявший мужичок из родной артисту деревни Кольцовки.

Раз возвращаюсь домой я к себе:
Улица странною кажется мне...

Голос певца спокоен... Он только начал музыкальную фразу. Однако, повторяя первые строчки, он сменил интонацию и дал понять, что история, которую собирается поведать, будет забавной и загадочной. Еще бы!..

Странности начались с припева:

Левая, правая
Где сторона?
Улица, улица,
Ты, брат, пьяна...

Артист полон недоумения — как могло случиться, что перед глазами начинают меняться левая и правая сто-

рона улицы? Почему фонари не стоят на месте? «Эх, да вы пьяные все, господа!» Внезапная догадка обрадовала гуляку: он-то ничего, он-то чуть-чуть перехватил на пирушке, а вот фонари...

Психологический рисунок песни становится отчетливее, он развивается одновременно с мощным звучанием михайловского баса. В песне появляется бесшабашность, ухарство... Неспроста качаются фонари, неспроста прищурился месяц,— он тоже хватил лишний стаканчик. «Стыдно тебе — ведь уж ты старина!» Сама эта фраза тем более забавна, что в ней вспоминаются укоризны, которые не раз слышал гуляка, придя домой, которые, вероятно, ему придется услышать еще не раз.

И только когда зазвучал припев: «Левая, правая, где сторона?» — тоска сжала сердце слушателей: краток в человеке этот всплеск, этот взлет веселья,— «Улица, улица, ты, брат, пьяна...»

Тишина мгновение стояла в зале, одно мгновение, но этого мгновения было достаточно, чтобы зрителям привиделось воочию: в хороводе тусклых фонарей все удалялась и удалялась покачивающаяся фигурка человека, который уносил с собой и пьяную радость, и невидимые миру слезы...

Колонный зал разразился аплодисментами,— слушатели выражали признательность таланту и мастерству народного артиста. Но многие вряд ли задумались над тем, кто же написал эту песню, кто создал это музыкальное действо, покоровшее их душевной добротой, иронией, горечью,— многообразием переживаний, собственных человеку. Большинство полагало, что если песня поется давным-давно, то она родилась «сама по себе», произвольно, как в лесу рождаются деревья.

Подобное явление встречается довольно часто: популярные песни быстрее всего теряют имя своих создателей и живут самостоятельной жизнью.

Однако духовная жизнь народа обогащается людьми с их собственной биографией, с их неповторимой судьбой. И коль скоро речь зашла о музыкальном произведении, где слова играют не последнюю роль, то следует помнить: в историю отечественной литературы поэт может войти стихотворением, даже одной строкой, но и тогда мы, его потомки, должны быть признательны за его душевную щедрость, за его талант.

«Как хороши, как свежи были розы», — написал Иван Мятлев, петербургский приятель Лермонтова, светский остро слов, завсегда тай литературных салонов. Лермонтов перед отъездом на Кавказ в 1841 году записал в альбом Софыи Николаевны Карамзиной:

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи.
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи.

Именно этот Ишка Мятлев в свое время в петербургских кругах нашумел стихотворным романом «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границею». Но имя его сохранилось благодаря одной строке стихотворения, которое так и начиналось «Как хороши, как свежи были розы». Эта строка придавала тургеневской элегии особо интимный настрой. Да и сама по себе она хороша, — музыкальна, исполнена изящества, благородства; она — поэзия. А имя ее создателя в наши дни известно, пожалуй, одним составителям комментариев да литературоведам.

Песня «Улица, улица» впервые была издана в августе 1863 года музыкальным магазином К. И. Мейкова как «песня московских цыган». В соответствии со вкусами публики ее первая строка пелась иначе, чем теперь: «Раз от цыганок иду я к себе, улица странно кажется мне...» В семидесятых годах прошлого века «Улицу» издал А. Гуйхейль, опять-таки с новым вариантом первой строки: «Вот из трактира иду я к себе...» Наконец, в девятисотых годах с подзаголовком «цыганская таборная» песня была издана П. Юргенсоном. Были, конечно, и другие издания «Улицы», пользовавшейся в России огромной популярностью. Но никогда — вплоть до наших дней — не упоминалось имя автора песни. В лучшем случае, как, например, в репертуарном сборнике «Вечер старинного романса», вышедшем в 1968 году, помечалось: «слова неизвестного автора». Может быть, песня действительно родилась в каком-нибудь цыганском таборе? Нет, это не так. Все свидетельствует о том, что текст песни имел литературный первоисточник, а ее мелодия создана на иных основах, чем создавались мелодии таборных цыганских песен. Не случайно в мейковском издании упоминалось имя композитора Дюбюка.

Александр Дюбюк был в свое время известным пианистом и фортепьянным педагогом. До глубокой старости он не оставлял занятий с начинающими музыкантами. Сохранились любопытные воспоминания одного из них, М. Л. Пресмана, о первом посещении престарелого маэстро.

...Двери открыл хозяин квартиры. Он предстал перед учеником в стоптанных домашних туфлях, в полинявшем и потертом халате, из кармана которого торчал промадный, с красными разводами, платок. Маэстро нюхал табак. Следы табака были видны не только под носом, на халате и на платке,—запахом нюхательного табака была пропитана вся запущенная квартира. По внешнему виду маэстро никак нельзя было сказать, что он имеет какое-то отношение к пианизму и былой композиторской славе. Однако толстые, как огурцы, пальцы этого тучного и неряшливо одетого старика бегали по клавишам с такой легкостью и четкостью, а старый, вдребезги разбитый инструмент так прекрасно пел, что мгновенно забывалось все, что не имело отношения к игре, музыке, искусству. Таков был Александр Иванович Дюбюк — московский старожил и сочинитель огромного количества популярнейших песен и романсов, например: «Не брани меня, родная» (на слова А. Разоренова), «Поцелуй же меня, моя душечка» (на слова С. Писарева), «Тройка мчится, тройка скачет» (на слова П. Вяземского), «Соловьем залетным» (на слова А. Кольцова). Об этих музыкальных произведениях можно и должно говорить с любовью, с уважением, как мы говорим о романсах и песнях Алябьева, Варламова, Гурилева, Булахова.

А в шестидесятых годах прошлого века, когда Дюбюк аранжировал или, вероятнее всего, создал песню «Улица, улица», он находился в зените славы. Почтенный профессор Московской консерватории, превосходный пианист, сочинитель романсовой музыки, Дюбюк не случайно обратил внимание на слова стихотворения, ходившего в списках. Были в стихах приметы того времени, комедийные ситуации, и, главное, была в них правда чувств «человека из публики», — мелкого ли чиновника, мастерового ли, семинариста ли, — безразлично, но явно человека демократических низов. Вот эту демократическую, разночинскую основу стихотворения и уловил композитор.

«...Я похож на человека, который не дошел до цели своей...»—говорил Константин Батюшков князю Вяземскому, посетившему больного друга в уединении. И продолжал: «А нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

Думается, эти горестные слова мог бы отнести к себе и вологодский поэт Василий Сиротин: он-то и написал песню «Улица, улица, ты, брат, пьяна...» Сиротин тоже не дошел до цели своей, и сосуд его поэзии разбился вдребезги. Во всяком случае, нам известны только осколки его стихов, только отдельные фрагменты, отдельные строфы. Песня «Улица, улица» явилась в этом смысле единственным исключением — она полностью увидела свет в 1863 году. Все же остальное восстанавливалось современниками по памяти, было опубликовано в отрывках, в прозаических пересказах.

Следует особо отметить, что авторство Василия Сиротина неоднократно подтверждалось в заметках, опубликованных в разные годы в вологодских газетах и альманахах. Своеобразную версию создания этой песни выдвинул в «Повести о Василии Сиротине» опытный и достойный всяческого уважения писатель-краевед В. С. Железняк.

Однако личность поэта еще при жизни стала притчей во языцех, породила множество толков, пересудов, легенд; в его биографии и по сей день остается много неясного, смутного, как неясен свет ночных фонарей в сиротинской песне...

В метрической книге Грязовецкого Христорождественского собора имеется запись, которая гласит о том, что 5 апреля 1830 года «у пономаря Ивана Сиротина от жены его Гликерии родился сын Василий». Всего в семье Сиротиных было пять детей. Василий родился четвертым. Жили они при Рождественской Студенецкой церкви Грязовецкого уезда. Раннее детство Василия Сиротина мало чем отличалось от детства его деревенских сверстников. Изба с глиняной печью, в задней стенке — окно, которое от холода затыкалось от-

репьем; избу, как и все крестьянские избы, топили по-черному. Синий ночной угар. Вороха ржаной соломы вместо постели. Отец, Иван Васильевич, в крашенинном халате, опоясанный кушаком, обутий в худые кубенские сапоги. У старших братьев зимой и летом на ногах кожаные ступни, по-местному — уледи, привязанные к щиколоткам ремнями... Леоные подсеки, на которых сеяли лен. Тяжелая мужицкая работа...

Следует полагать, что Иван Васильевич Сиротин был на плохом счету у епархиального начальства, ибо в 1835 году «за дурное поведение» его перевели в губернское правление. С тех пор семья Сиротиных жила в Вологде или в ближайших окрестностях ее. Но и с переездом в губернский город положение семьи вряд ли изменилось к лучшему, — дети подрастали, а должность пономаря давала малые доходы. Скорее наоборот, со смертью матери Гликерии Васильевны, на которой держалось домашнее хозяйство, Василий Сиротин был окончательно предоставлен самому себе. Вместо лугов и полей студенечьего прихода его окружали теперь городские задворки и булыжные мостовые губернской столицы.

Скудость родительского дома никак не соответствовала гонору отца, его нраву, его рассказам о неких исторических заслугах предков. Многим позднее Василий Сиротин скажет:

Мой прапрапрадед под Казанью
Живот свой положил за Русь.
И я по этому сказанью
Природы знаменитой... гусь.

Ему, разночинцу по зрелым взглядам и убеждениям, лишенному сословных предрассудков, конечно же, казались смешными претензии родителя. Но, вероятно, именно от отца Василий Сиротин унаследовал вспыльчивый нрав, раздражительность и, как писал, «горячую от природы кровь». Он был самолюбив и болезненно чуток к «незаслуженным унижениям». А этих унижений на его долю выпало столько, что и другого человека, более равнодушного к превратностям судьбы, они могли бы сломить в короткий срок.

В 1840 году, вслед за старшим братом Иваном — Василий Сиротин поступил в Вологодское уездное ду-

ховное училище, которое в середине прошлого века находилось в том же здании, что и Вологодская семинария, то есть на правом берегу реки Вологды напротив так называемой плац-парадной площади. В архивах консистории сохранились и списки учеников за 1844 год, успешно окончивших училище и «назначенных в семинарию». Среди этих учеников — имя Василия Сиротина.

Таким образом, можно считать установленным, что в Вологодскую духовную семинарию Сиротин поступил 31 июля 1844 года, а не почти десять лет спустя, как об этом говорилось и писалось раньше.

Дело в том, что единственный источник сведений о семинарском, наиболее плодотворном периоде жизни поэта — воспоминания бывшего семинариста Алексея Попова, изданные в Вологде в 1913 году. О лицах и событиях более чем полувековой давности Алексей Попов рассказывает достаточно живо и памятно, хотя иногда путает даты.

Попов пишет: «Мне бы хотелось вернуться к семинарскому поэту предшествовавшего, впрочем, нашему времени Василию Ивановичу Сиротину». И здесь Алексей Попов прав, ибо новые архивные материалы позволяют уточнить дату окончания Сиротиным семинарского поприща — июль 1850 года, а также дату рукоположения, иначе говоря, посвящения в сан священника — 29 августа 1855 года. Однако Попов ошибался, когда в другом месте заметил, что Василий Сиротин был «старше меня на три курса». Сиротин мог бывать в семинарии у младшего брата Павла, но одновременно учиться они никак не могли. Автор мемуаров, скорее всего, пользовался рассказами о Сиротине, которого, как он пишет, «с кем ни заговори, бывало, все знали» и молва о котором жила в стенах вологодской бursы вплоть до начала XX века.

Эта же молва гласила, что Сиротин писал накоротке, что он «не дорожил талантом», допускал вольности, непозволительные в подцензурной печати, однако его эпиграммы и сатирические стихотворения мгновенно расходились по городу, попадали в дортуары бурсаков, на архиепископский двор, читались — с раздражением — в губернском доме, с восторгом — в трактирах на Каменном мосту.

Чтобы понять, какой притягательной силой облада-

ла эта озорная бурсацкая муза, какую сенсацию она производила среди вологжан, необходимо представить себе Вологду середины прошлого века... Городовой у дворянского собрания. Городовой на Кирилловской улице. Полковник Зорин в жандармском управлении. Солдаты на плац-парадной площади. И купола церквей, куда ни посмотришь. Так было извечно: так было вчера, так будет и завтра. О каком еще сочинителе могла идти речь в сем захолустье?..

Худенький старичок, который изредка появлялся в окнах дома Г. А. Гревенса и который именовался отставным секретарем Неаполитанской миссии Константином Николаевичем Батюшковым, не занимал обывательские умы: к нему привыкли, его перестали замечать. Стихи, сочиненные Батюшковым во время болезни, остались лежать в бумагах его племянника.

Но вот открытие — Василий Сиротин. Обыватели рассуждали: где-то там, в Петербурге, конечно, могли быть господа литераторы, приближенные светлейших особ, могли быть и салоны, и журналы, и полемики. Но здесь, в губернском городе, откуда выискался этот бурсацкий зоил?.. Забудыга, застольник в портерных и трактирах, — рассуждали они, — но смотрите, что он мнит о себе:

Я Данте — друг по Аполлону,
Собрат по лире мне Гомер.
Так дайте ж путь мне к Геликону, —
Скрывать таланты не манер.

Благонамеренные обыватели не хотели видеть в этих строчках усмешки, обращенной прежде всего к самому себе, — они замечали лишь непомерное самомнение автора, его вызов обществу. Из уст в уста передавали слух о том, как однажды Василий Сиротин не был приглашен на какую-то вечеринку, которую устраивал для своей дочери, девицы на выданье, дьяк городской церкви Вознесения. Сиротин обиделся. Поскучав на Соборной горке, он зашел в гостиницу «Париж», где мгновенно набросал несколько строк стихотворения «Вечер Б...а». В язвительных стихах он показал, какое игрище устроила девица, как она сама «с раскрасневшимся лицом лихо пляшет с молодым». Стихи, конечно же, были несовершенными. Однако на следующий день они попали к епископу Еммиусскому и вызвали переполох

среди вологодской паствы. В семье же дьяка Вознесенской церкви страх перед скандалом был настолько велик, что девица от стыда захворала и вроде бы даже умерла.

Иное отношение к поэту бытовало среди бурсаков-семинаристов, которые любили похвалиться попойками и кулачными баталиями. Там имя Василия Сиротина окружалось восторженными рассказами. Бурсаки мгновенно запоминали его эпиграммы на учителей, особенно на учителя Никона, на инспектора Дионисия, эконома Викентия, толковали о его молодецких выходках и находчивости. Рассказывали, как однажды старый, чудаковатый ректор семинарии Андриан, имевший привычку при встрече с семинаристом скороговоркой вопрошать: «Кто? куда? зачем?»—получил мгновенный ответ: «Бурсак — в кабак — за вином». Растерявшийся ректор только и смог ответить: «Хорошо, молодец, продолжай путь».

Но летом 1849 года Андриан был смещен и вместо него назначен подозрительный и замкнутый Ювеналий Знаменский. Он строго взыскивал с бурсаков за малейшие проступки... Бурсацкая вольница приуныла. Во время этих суровых нововведений и пошла по рукам хлесткая сатира Сиротина:

Друзья, свобода наша пала,
Как пал наш славный Андриан,
Неволя горькая настала,
И мучит нас лихой тиран...

Писал он и думать не думал, что в губернском городе Вологде упоминание одного лишь слова «тиран» вызовет возмущение духовного и светского начальства. Начальство не принимало в расчет ученический характер его сатир,— оно видело злонамеренную литературу, которая подпольно распространялась, и не где-то там, в Петербурге, в Москве, а здесь, в Вологде... Из кабацкого полуношника семинарист Сиротин в глазах начальства превращался в опасного смутьяна. Да и все его поведение «служило соблазном для прочей братии», как писалось о нем в доносах. А доносы эти следовали один за другим. И все-таки соблазн для прочей братии оставался — Василий Сиротин не прекращал своих трактирных походов, не переставал бывать в бильярдных и портерных «Пари-

жа» и «Вены» — известных губернских гостиниц, служивших неким подобием клуба для разночинцев-воложан.

Надо полагать, в одной из гостиниц, скорее всего в «Париже», расположенной поблизости, на Каменном мосту, куда Сиротин чаще всего заходил, и родилось стихотворение «Улица, улица». Родилось оно в минуту душевного озарения, которое бывает у людей несомненного таланта. И, вероятно, сразу же разошлось по городу. Так песня начала свое долгое странствие по свету... Предположение, что именно в Вологде, именно в период до 1855 года создалась «Улица», подтверждает все тот же Алексей Попов, поместивший эти стихи между другими бурсацкими «эскизами» Сиротина. А их, судя по всему, было написано немало.

Дальнейшие поиски в архивах — а их надо продолжать! — могли бы привести, вероятно, к обнаружению и самого значительного произведения Василия Сиротина тех лет — сатирической поэмы «На приеме у сатаны». Именно эта поэма дает представление не только о «силе язвительности языка» Сиротина, что не раз отмечалось Поповым, но и широте его поэтического кругозора, его успешных опытах в жанре народного сатирического сказа. После полемического вступления следовало описание ада и адских мучений грешников, причем описание было сделано свободным и легким стихом:

В аду, под закоптелым сводом,
Где жарят грешников в огне
И где все занято народом,
Немало дела сатане...

Выразительными штрихами Василий Сиротин рисовал преисподнюю, в которой, однако же, все было как на «этом» свете: тронный зал сатаны, в отдалении подручные владыки — дьяволы, которые прибыли с докладом из отдаленных городов Российской империи. Каждый «лукавый» должен был доложить о том, сколько душ ему удалось совратить с пути истинного. Выслушав их и окинув мрачным взором залу, сатана вдруг гневно спросил: «А где же вологодский черт?» И тогда, вертя от удовольствия хвостом и проявляя немалую сноровку, выступил главный герой поэмы — вологодский черт. В его метких, злых характеристиках

было выдано всем власть придерживающим, и духовенству, и канцелярской мелюзге, и даже базарным торговкам. Картина нравов провинциальной Вологды оказалась столь убийственно правдивой и верной, что спустя десятки лет у Алексея Попова сохранилось от обстановки тех лет, воспроизведенной в поэме, «самое гнетущее впечатление». Что же говорить об епископе Христофоре Еммиусском, о ректоре Ювеналии, о жандармском полковнике Зорине?.. Бурсацкой музе оказались под силу не только язвительные «эскизы», вроде стихотворения «Вечер Б...а», но и более резкие обличения основ существовавшего миропорядка. Причем они знали, откуда пошло сие вольномыслие. Им-то было известно, что в городе из-под полы распространяются атеистические трактаты Фейербаха, неблагонамеренные сочинения Искандера, письмо Белинского к Гоголю и «прочая непечатная дрянь». Пусть не прямо, пусть косвенно, но дух этих сочинений отразился в поэме «На приеме у сатаны». У правителей губернии хватило ума понять суть поэмы, которая была расценена как кощунственная, как подлежащая уничтожению, а имя Василия Сиротина стало отныне символом дерзкого смутьянства.

Старый, желчный Христофор Еммиусский вкупе с ректором Ювеналием, после возведения Василия Сиротина в сан священника в 1855 году, направил его в самый глухой приход Вологодской епархии — в Керчемский приход Усть-Сысольского уезда. Это был зырянский край, это была, по существу, бессрочная ссылка... С тех пор недреманное око духовного и светского начальства не выпускало из виду крамольного священника-поэта.

Несчастья Василия Сиротина усугубились неудачной женитьбой. В первый год пребывания в Керчемском приходе он женился на полутрамотной девице, которая, став женой, невежество свое обрушила на него за попытки как-то занять свой досуг. Надо полагать, и там, в Керчемском приходе, Сиротин пробовал писать стихи... Однако жена сжигала все его писания, а с трудом добытые книги выбрасывала. Все чаще Василий Сиротин прибегал к единственному утешению — к водке. Смерть жены подтолкнула его принять разумное решение — выйти из духовного звания.

В июле 1857 года он подал прошение о снятии свя-

щеннического сана. Казалось бы, освобождение было близко. Но по доносу местного благочинного на Сиротина заводится первое следственное дело, и прошение остается без ответа. Независимо от этого следствия, предпринятого консисторией, начальник губернии в декабре того же 1857 года направил в Керченский приход чиновника особых поручений Золотилова с тем, чтобы произвести секретное дознание о наличии среди прихожан раскола. Чиновник донес о «предосудительных поступках» Василия Сиротина, которые якобы «дурно действуют на народ» и усиливают в народе «тягу к расколу».

Через нарочных — читай, «под стражей», — Василия Сиротина переправляют из одного монастыря в другой, пока 21 сентября 1859 года не засылают в Спасо-Преображенский монастырь, называемый тогда Спасо-Преображенской Белавинской пустынью.

3

Спас-Камень — клочок суши в Кубенском озере. Весной, летом, осенью к островку подплывали на лодках. Еще издали — за десятки верст — виднелась колокольня, а ближе явственно обозначались купола Спасо-Преображенского храма, крыша и стены братского корпуса. Двести сажен в окружности — вот и Спас-Камень!.. Со всех сторон остров открыт ветрам и волнам. Во время весеннего половодья грохот льдов был подобен пушечной канонаде. Льды подымались выше трехэтажного братского корпуса: в 1830 году напором льда на крышу дома забросило огромный — весом более пятисот пудов — камень-валун. И казалось тогда, что в мире ничего нет, кроме этих ледяных гор, возвышавшихся вокруг монастырской обители.

Вот почему Спас-Камень издавна служил местом заточения неугодных церковным властям лиц и особо опасных государственных преступников. В XVII веке на Спас-Камень был сослан известный проповедник, учитель протопопа Аввакума Иван Неронов. Во время бироновщины сюда был препровожден вице-президент синода при Екатерине I и Петре II Георгий Дашков. К ссыльному вельможе были приставлены караульные, — от караульных требовалось узнавать, не подымает ли он «рога гордости своей» на Феофана Проко-

повича, злейшего своего врага. Однако даже эта сырая и мрачная обитель показалась Прокоповичу недостаточно суровой, и через четыре года Георгий Дашков был отправлен в Сибирь, где и скончался в заточении в 1739 году.

А сколько безвестных горемык нашло здесь смерть,— об этом знают лишь волны Кубенского озера да пески Каменного островка...

«Беглец-священник», как сказано в официальном документе, Василий Сиротин направлен был на Спас-Камень под строгий надзор настоятеля Амфилохия. Он понимал, что, если не предпримет каких-то невероятных усилий, его ждет конец. Но каких? Братии в монастыре — всего пятнадцать человек. Островок мал. Скрыться куда-либо невозможно. Единственное средство вызволения из этой пустыни — его поэтическое перо. И вот, уединяясь то в ветхую избу рыбаков, то в монастырскую баньку, Сиротин пишет письма высокопоставленным особам в Санкт-Петербург. Пишет их стихами, дабы обратить внимание на свое бедственное положение. Человеку мыслящему, начитанному, наделенному искрой таланта и, одновременно, ослабевшему от водки, уязвленному «незаслуженными унижениями» легко было впасть в отчаянье. Однако даже здесь, на Спас-Камне, Сиротина не покидало чувство горькой самоиронии, свойственное ему и прежде, а теперь приобретавшее все более и более трагический оттенок.

Живу на Каменном у Спаса.
Приют мой ныне монастырь.
Весь скарб мой — сапоги да ряса,
А библиотека — псалтырь.

Остается тайной, сколько таких стихотворных посланий затерялось по столичным канцеляриям и департаментам. Но однажды пришел ответ — заключенному стихотворцу было высочайше пожаловано пятьдесят рублей.

Изустная молва, окружавшая имя Василия Сиротина еще на семинарской скамье, приписала ему довольно-таки романтическое бегство с островка на лодке. Случилось это будто бы осенней ночью... Но факты не подтверждают легенды.

События развивались обыденнее и проще. Высочайший ответ, надо полагать, оказал соответствующее воздействие на Амфилохия, отца настоятеля Белавинской пустыни. Амфилохий дал удовлетворительные рекомендации, и Василию Сиротину было разрешено покинуть Спасо-Каменный монастырь. Случилось это 31 июля 1860 года. Но, как показывают архивные документы, совсем ненадолго!..

Сиротин в Вологде. Он не изменил прежнего образа жизни. Бывал в «Париже» и «Вене», свел старые знакомства, может быть, писал... И тут же последовал донос благочинного Баклановского, который настаивал на заточении Сиротина в кельях Спас-Камня. Если бы не золотушная болезнь, приключившаяся с поэтом, неугодным епархиальному начальству и губернским властям, ему не миновать бы нового заточения. Но Сиротину было «сделано снисхождение», — вместо сырой кельи в братском корпусе островной пустыни его направляют — опять-таки под строгий надзор игумена! — в один из монастырей Грязовецкого уезда, вблизи которого находились целебные минеральные воды... А после излечения — в соседний с ним Арсениево-Комельский монастырь.

4

Следственное дело № 299 на Василия Сиротина было начато — по прихоти судьбы! — осенью того самого 1863 года, когда в музыкальном магазине К. И. Мейкова появились первые оттиски песни «Улица, улица». Вряд ли об этом знал Василий Сиротин, а если бы и знал, то, прочитав подзаголовок — цыганская песня, — еще больше бы уверился в «бессовестности людской».

Разбухшее от рапортов, показаний, прошений следственное дело — поразительный человеческий документ, обличающий «скудоумных, но злонамеренных» людей, готовых на любую подлость, лишь бы угодить начальству, лишь бы снискать расположение вышестоящих властей. Следственное дело воссоздает также тягостную обстановку круговой поруки и одновременно лютой ненависти к человеку, «проживающему в оном монастыре» под надзором.

Ни для игумена Никона,— вероятно, это был тот самый Никон, учитель церковно-исторических наук, на которого писал эпиграммы поэт-семинарист,— ни для братии не было секретом, что помещенный к ним «для исправления» Сиротин пользуется дурной славой у высших сановников губернии. В такой степени братия и руководствовалась тайными помыслами отца игумена, тем более что предлог для расправы легко было найти: Сиротина многое раздражало в монастырских порядках и побуждало, по его собственному признанию, обращаться к водке как «единственному утешению против бессовестности людской».

Следственное дело, к сожалению, не содержит даже намека на стихотворную деятельность Сиротина в этот период: в нем нет ссылок на сатирические стихи и эпиграммы. Однако многие показания Сиротина и слогом, и неистовством, и предельной откровенностью напоминают, по словам Л. Н. Толстого, «живой, мужицкий, полнокровный голос» протопопа Аввакума.

...Суть же следственного дела заключалась в следующем. 24 августа 1863 года около шести часов вечера Сиротин вернулся из соседней деревни Слободка, куда он ходил, чтобы договориться с женой крестьянина Александра Воронина о стирке белья. Воронин ждал гостей, а поэтому угостил Сиротина, с которым был знаком и прежде, двумя рюмками водки. Проводив гостя до монастырских ворот, он распростился с ним подобру-поздорову. Вступив на крыльцо, ведущее в братские кельи, Сиротин встретил трех послушников — Павла Нуромского, сына канцеляриста, двадцатичетырехлетнего детину, Ивана Соколова и Николая Селезнева. Послушники поджидали его с явно недобрыми намерениями. Придравшись к пустяку, они напали на него, свалили с ног и «со всей зверской дикостью» стали бить кулаками, волочить за волосы по коридорному полу. Очевидно, что послушники действовали по наущению игумена Никона. Сиротин отбивался, как мог, пытался скрыться то в одной, то в другой келье, но, появившись в коридоре, вновь встречал своих истязателей.

Когда читаешь сцены ночного избияния, описанные Василием Сиротиним с такой беспощадностью к самому себе, с таким — уже болезненным, — упоением своими страданиями и «страстями», то невольно вспоминаешь протопопа Аввакума, великого и неистового обличителя подлых никонниан.

«Я... — пишет Василий Сиротин, — был схвачен этими же послушниками, которые с яростью сильнейшей прежней, повалив меня наземь, принялись снова злобствовать надо мною: били опять меня кулаками, топтали ногами, пинали и рвали с головы моей волосы полными горстями, от чего на голове моей образовалась голызня. Появившийся на эту сцену игумен Никон и келейник его, послушник Иван Шадрин, не только не вошли в разбирательство случившегося и не постарались как настоятель и его слуга унять рассвирепевших послушников от побоев, мне наносимых, но первый из них велел еще связать меня, а последний принялся пинать меня, из утждения игумену и своим товарищам. Затем, связанного по ногам, с разбитым носом и руками, в изорванной и окровавленной сорочке и с обнаженной спиной, злодеи мои потащили меня по высокой и крутой лестнице вверх — в мою келью, предшествоваемые игуменом Никоном, и еще раз насытив свою злобу вышеописанным способом... они снова потащили меня по той же лестнице, — вниз, заставив меня на этот раз считать ступени ее головою, стащили на крыльцо, протащили тою же спиной по мосткам, идущим вдоль братского корпуса, втащили в другое крыльцо и потащили стремглав по другой лестнице, ведущей в настоятельскую келью Никона...»

После этих строк следует подробность, которая показывает всю степень отчаяния и безысходности, овладевших к тому времени Василием Сиротиним, когда-то беспечным гулякой-бурсаком. Потерпевший не мог вспомнить, что заставило послушников прекратить избияние. Его развязали и оставили в коридоре напротив никоновской кельи одного.

«Насильно разбитый, — пишет Сиротин, — и горько униженный, для утоления сугубой боли, и душевной, и телесной, с горя, я выпросил у игумена стакан водки...»

Так мог о себе сказать человек, гибнущий и понимающий, что он гибнет, гибнет от нелепо сложившейся

жизни в том мире, в котором ему суждено было родиться и так бесцельно растратить душевные силы и дарованный от природы талант.

«Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

Очевидно, что игумену Никону необходимо было как-то оградить себя: Василия Сиротина освидетельствовал врач городской больницы, который нашел на теле потерпевшего следы жестоких побоев. Игумен идет на новую подлость — он пишет в консисторию донос, в котором обвиняет Василия Сиротина в том, что тот в нетрезвом виде якобы бросился с перочинным ножом на Павла Нуромского и ранил его в руку.

Следствие не подтвердило этого обвинения. Зато случайно оказавшийся в монастыре священник Алексей Чернавский засвидетельствовал, что в ночь с 26 на 27 сентября он видел «о. Василия связанного, в изорванной и окровавленной сорочке», видел, как «послушники тиранили его, — кто кулаками, кто теребил волосы, кто пинал сапогами».

Приговор епископа Христофора Емнинского гласил: Василия Сиротина низвести на степень причетника, а Нуромского, Селезнева, Соколова и Шадрина «за обнаруженное ими буйство» выдержать в течение месяца на хлебе и воде.

Игумен Никон мог торжествовать.

Однако дело, возникшее в Арсениево-Комельском монастыре, на этом не закончилось. Было назначено новое следствие, в ходе которого выяснилось, что во время первого следствия отец настоятель Никон впал в запойное состояние, забросил все монастырские дела, сидел в своей келье, «принимал водку помалу, но часто и каждый раз запивал холодной водой, чтобы, как он говорил, вино не действовало на мозги», — без тени юмора показал против Никона его ближайший подручный, иеромонах Павма. И допился Никон до того, что через месяц начались у него кровавые рвоты и отнялись ноги.

Епископ Христофор был вынужден о всем случившемся доложить в синод. Писцы консистории без конца переписывали показания свидетелей и очные ставки, из синода шли все новые и новые запросы, — короче говоря, история в Арсениево-Комельском монастыре получила широкую и скандальную огласку.

Попав в безвыходное положение, епархиальное начальство посылало на голову Василия Сиротина все проклятия, какие только существовали на свете. И наконец предложило ему добровольно выйти из духовного звания, на что Сиротин ответил: «Решением этим остаюсь доволен».

В прошении на имя его преосвященства епископа Христофора Василий Сиротин прямо указал на причины, по которым он «сколько возможно скорее» просил уволить его из духовного звания. Первая причина, писал он, это «недеятельность и праздность монастырской жизни, доводившей меня нередко до пьянства и безобразных поступков». Вторая причина — это запрещение священникам вступать вторично в брак. Прошение было написано 9 июля 1864 года. Однако лишь через год последовал Указ святейшего синода, в получении и прочтении которого 11 июля 1865 года подписался «уволенный из духовного звания Василий Сиротин».

Это был последний документ, который мне удалось обнаружить в архиве бывшей Вологодской епархии.

5

Долгожданная свобода пришла слишком поздно... Гонения властей, невзгоды, тяжелые душевные переживания — все вместе взятое ожесточило Василия Сиротина, усугубило его пристрастие к хмельному. Был он, по собственному признанию, человеком слабой нервной системы, а вино еще больше ослабляло его волю и характер.

Достоверных сведений о дальнейшей судьбе поэта-вологоджанина пока что нет. Правда, ходили слухи, будто Сиротин пустился в странствия по Северу, на каком-то русском корабле побывал в Америке, вскоре вернулся обратно, но в Архангельске был задержан по повелению вологодского губернатора. Насколько эти слухи правдивы — трудно сказать. Очевидно одно: го-

Ни для игумена Никона,— вероятно, это был тот самый Никон, учитель церковно-исторических наук, на которого писал эпиграммы поэт-семинарист,— ни для братии не было секретом, что помещенный к ним «для исправления» Сиротин пользуется дурной славой у высших сановников губернии. В такой степени братия и руководствовалась тайными помыслами отца игумена, тем более что предлог для расправы легко было найти: Сиротина многое раздражало в монастырских порядках и побуждало, по его собственному признанию, обращаться к водке как «единственному утешению против бессовестности людской».

Следственное дело, к сожалению, не содержит даже намека на стихотворную деятельность Сиротина в этот период: в нем нет ссылок на сатирические стихи и эпиграммы. Однако многие показания Сиротина и слогом, и неистовством, и предельной откровенностью напоминают, по словам Л. Н. Толстого, «живой, мужицкий, полнокровный голос» протопопа Аввакума.

...Суть же следственного дела заключалась в следующем. 24 августа 1863 года около шести часов вечера Сиротин вернулся из соседней деревни Слободка, куда он ходил, чтобы договориться с женой крестьянина Александра Воронина о стирке белья. Воронин ждал гостей, а поэтому угостил Сиротина, с которым был знаком и прежде, двумя рюмками водки. Проводив гостя до монастырских ворот, он распростился с ним подобру-поздорову. Вступив на крыльцо, ведущее в братские кельи, Сиротин встретил трех послушников — Павла Нуромского, сына канцеляриста, двадцатичетырехлетнего детину, Ивана Соколова и Николая Селезнева. Послушники поджидали его с явно недобрыми намерениями. Придравшись к пустяку, они напали на него, свалили с ног и «со всей зверской дикостью» стали бить кулаками, волочить за волосы по коридорному полу. Очевидно, что послушники действовали по наущению игумена Никона. Сиротин отбивался, как мог, пытался скрыться то в одной, то в другой келье, но, появившись в коридоре, вновь встречал своих истязателей.

Когда читаешь сцены ночного избиения, описанные Василием Сиротиным с такой беспощадностью к самому себе, с таким — уже болезненным, — упоением своими страданиями и «страстями», то невольно вспоминаешь протопопа Аввакума, великого и неистового обличителя подлых никониан.

«Я... — пишет Василий Сиротин, — был схвачен этими же послушниками, которые с яростью сильнейшей прежней, повалив меня наземь, принялись снова злобствовать надо мною: били опять меня кулаками, топтали ногами, пинали и рвали с головы моей волосы полными горстями, от чего на голове моей образовалась голызня. Появившийся на эту сцену игумен Никон и келейник его, послушник Иван Шадрин, не только не вошли в разбирательство случившегося и не постарались как настоятель и его слуга унять рассвирепевших послушников от побоев, мне наносимых, но первый из них велел еще связать меня, а последний принялся пинать меня, из угождения игумену и своим товарищам. Затем, связанного по ногам, с разбитым носом и руками, в изорванной и окровавленной сорочке и с обнаженною спиною, злодеи мои потащили меня по высокой и крутой лестнице вверх — в мою келью, предшествуемые игуменом Никоном, и еще раз насытив свою злобу вышеописанным способом... они снова потащили меня по той же лестнице, — вниз, заставив меня на этот раз считать ступени ее головою, стащили на крыльцо, протащили тою же спиною по мосткам, идущим вдоль братского корпуса, втащили в другое крыльцо и потащили стремглав по другой лестнице, ведущей в настоятельскую келью Никона...»

После этих строк следует подробность, которая показывает всю степень отчаяния и безысходности, овладевших к тому времени Василием Сиротиным, когда-то беспечным гулякой-бурсаком. Потерпевший не мог вспомнить, что заставило послушников прекратить избиение. Его развязали и оставили в коридоре напротив никоновской кельи одного.

«Насильно разбитый, — пишет Сиротин, — и горько униженный, для утоления сугубой боли, и душевной, и телесной, с горя, я выпросил у игумена стакан водки...»

Так мог о себе сказать человек, гибнущий и понимающий, что он гибнет, гибнет от нелепо сложившейся

нения на Сиротина не прекратились и с выходом его в гражданское ведомство, теперь этим занимались губернские власти.

Во время странствий по городам и деревням Севера Сиротин мог услышать ставшую знаменитой песню «Улица, улица». Пытался ли он доказать, что именно ему принадлежат слова этой песни, или на все махнул рукой — кто знает. Да и кто бы прислушался к его голосу, кто бы разгадал в опустившемся попе-расстриге загубленный талант?

«Сосуд сорвался с головы, упал и разбился...»

ЛАДОЖСКИЙ ВОЯЖ

I

На колесном пароходике, который летним днем 1872 года следовал от острова Коневца к знаменитому Балааму, было полно пассажиров разного возраста и звания. Погода — при легком ветре — выдалась солнечная, поэтому пассажиры разместились на палубе, стояли вдоль бортов, сидели кучками и вели неторопливые дорожные разговоры. Пароходик мерно покачивало на длинных волнах. Из высокой трубы валил густой черный дым, который стлался за кормой по воде, вспененной деревянными плицами и уходившей вдаль двумя белыми полосами. Чайки парили над палубой, как легкие парусники. Пролетали гагары, часто махая крыльями и напоминая тем самым тяжелые гребные галеры. Огненные блики солнца дробились на воде и, по мере удаления от пароходика, ослепительнее вспыхивали, сливаясь в светоносную полосу на горизонте.

Один пассажир — человек лет пятидесяти, в чесучовой поддевке и большом белом картузе, — стоял как-то наособицу. Облокотившись на фальшборт, он смотрел на воду сосредоточенным и отсутствующим взглядом. Как позднее о нем сказал А. П. Чехов, внешне этот человек походил на изящного француза и на российского попарасстригу: из-под картуза виднелись длинные, иссиня-черные волосы, черты лица были крупными, глаза, когда он смотрел на палубную публику, пронзительными, даже — колючими. Этим пассажиром был писатель Николай

Семенович Лесков, предпринявший поездку по Ладожскому озеру в силу своего неугомонного, «нетерпячьего» характера. Здесь, на воде, ему, страдавшему приступами сердечной болезни, дышалось легче, а на виду у безбрежной озерной дали думалось спокойней и свободней.

Бесконечный бег волн рождал в душе странные образы, пока еще смутные, неуловимые, но уже неотступные, и писатель радовался их неотступности, радовался их стремлению обрести собственную словесную плоть... Все новые гребни волн вставали и разом опадали за бортом парходика, и каждая волна была целой жизнью, прожитой мгновенно, отдельно от других и вместе с другими, каждая пролагала путь среди случайностей и закономерностей и пропадала в солнечном мареве полдня. Облака, застывшие над головой, также принимали разумные очертания. И все настойчивее звучал внутренний зов: «Иван! Иван! Иди, брат Иван!» Почему Иван? — на это Лесков не мог бы ответить, но возглас был именно таким. И вот вместо озерного безбрежия уже возникал ковыльный простор, который волновался серебряным морем, гнал по ветру запахи степных костров и овечьих отар... И шел по этому серебристому морю, как Христос по воде, какой-то человек со странническим посохом, мечтая о покое и отдохновении от подвигов своих.

Что ж, ведь и Лесков не переставал искать этой мирной пристани для своей мятущейся, очарованной красотой и растравленной болью души. Почему бы не поискать этой пристани кому-то другому?... Почему бы не возникнуть этому другому, словно гребню высокой волны, и не пройти мимо его пристального взора и не раствориться в других волнах, осыпанных солнечными лучами?..

2

Первым и непосредственным результатом этой летней поездки по Ладоге, а также посещения Коневца, Корелы и Валаамского монастыря явился путевой очерк «Монашеские острова на Ладожском озере». Писатель считал этот очерк неудачным и позднее сильно недолюбливал его. Но главным результатом поездки был, конечно, не очерк, а повесть «Черноземный Телемак», которую, напротив, он до последних дней жизни высоко ценил

и которой — уже под другим названием, под названием «Очарованный странник», — была уготована долгая и счастливая жизнь в отечественной литературе. Правда, писатель сохранил очерковый зачин в повести, которая и начиналась со следующих слов: «Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле... Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли...»

Очерк «Монашские острова» был опубликован в газете «Русский мир», а несколько позднее в той же газете была напечатана и лесковская повесть с посвящением С. Е. Кушелеву. К сожалению, публикации и того и другого материала предшествовала история, глубоко взволновавшая писателя.

Дело в том, что в январе 1873 года в «Русском вестнике» прошла повесть «Запечатленный ангел», листы которой, по словам современника, залетели так высоко, что настезь открыли писателю двери самых головокружительных петербургских салонов и гостиных. Успех «Ангела» был безусловным и в слоях более демократической, чем в этих гостиных, публики. Вот почему Лесков полагал, что новую свою вещь он напечатает в том же самом журнале. Однако 10 мая 1873 года он получил из редакции письмо, в котором излагался отзыв небезызвестного Михаила Никифоровича Каткова, редактора журнала, и отзыв этот был весьма категоричен: редакции «печатать эту вещь неудобно». Почему? Да потому, что редактору повесть кажется «сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных».

Итак, повесть, составившая гордость и славу русской классической прозы, была отвергнута, как говорится, с ходу. Вот и пришлось автору печатать «Очарованного странника» в ежедневной газете «Русский мир» с 15 октября по 23 ноября того же 1873 года.

Теперь, конечно, трудно определить, видел ли Николай Лесков среди пассажиров ладожского пароходика, бухавшего плицами по волнам, фигуру богатыря-черноризца, который сел на пристани Коневца и вскоре привлек к себе всеобщее внимание. Ибо выделялся он среди лалубной публики и огромным ростом, и смуглым открытым лицом, и волнистыми волосами свинцового цвета — так странно отливала его густая проседь, считал нужным

добавить писатель. Еще больше, чем обликом, среди путешественников — людей заурядных или напыщенно-высокомерных — этот монах выделялся своим поведением: смелым и достойным, а главное, своей речью: складной, цветистой, захватывающей слушателей с первых же слов. По всем статьям монах был человек незаурядный, хотя и одетый в послушнический подрясник и подпоясанный широким монастырским ремнем. Писатель выделил в нем прежде всего богатырство, его простодушие, его доброту. «Казалось,— добавляет Лесков,— ему не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но если бы даже Лесков и видел среди пассажиров такого чудо-богатыря или, может быть, разговаривал с ним — все равно образ этого «очарованного странника» был бы обобщенным образом русского человека именно той России и той пореформенной эпохи, когда все только «переверотилось» и стало «укладываться». Вот почему трудно поверить, что Катков не ощутил этой былинной мощи, а почувствовал в повести только некий «сырой материал» для других образов. Скорее наоборот, Каткову, всегда стремившемуся к аристократизму, любившему людей родовитых и довольно беспомощно подражавшему их «метрлотельской, величавой наглости», как однажды едко заметил Лесков, претил именно стихийный мужицкий демократизм повести. Этот лесковский демократизм глубоко и естественно проявился в образе богатыря-монаха — бывшего дворового, бывшего консера, то есть знатока и ценителя лошадей, бывшего пленника, бывшего солдата и офицера, бывшего балаганного артиста, короче говоря, человека, бесконечного в своих превращениях и чем-то похожего на любимого народного героя, на Илью Муромца, которому на роду было написано много раз погибать и ни разу не погибнуть. Может показаться, что «очарованного странника», словно высокую озерную волну, гонит случайный ветер — ветер жизни, ибо сбывается и его пророческий сон, в котором было предвещано: «...будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь...» Однако Ивана Северьяновича Флягина — так звали лесковского героя — ведет вперед не славянская летописная буса-судьба и не фатум древнего Востока, нет, он — современник Лескова... И перед ним на грани жизни и смерти — то есть в пограничной ситуации,

как бы мы сказали теперь,— полнее открывается и его собственная человеческая сущность, и подлинная сущность других людей. Кроме того, эта пограничная ситуация всегда требует от него выбора: жить по совести или жить по выгоде... Короче говоря, возникает множество проблем, которые в XX веке властно и многообразно заявили о себе почти во всех национальных литературах и важность которых безусловно ощущал художник-пророк Николай Лесков.

Вот почему какими бы свирепыми жизненными ветрами ни отдалялась от Ивана Флягина его последняя житейская пристань— островной монастырь, он всегда оставляет за собой право нравственного выбора и всегда находит неожиданно смелое решение. Ибо вся духовная и нравственная сущность этого человека зиждется на фундаменте человеческого достоинства и самоуважения. «Чести моей никому не отдам» — такой девиз выткан на пояске этого бывшего крепостного раба по рождению,— и сей девиз есть истинная путеводительная звезда Ивана Северьяновича, господина Флягина, вечного странника и землепроходца.

3

двух повестях, написанных друг за другом, имеют черты родства и образно-стилистической общности. Во-первых, в произведениях нет заранее заданной нравоучительной тезы, а, напротив, основная мысль развивается вроде бы даже стихийно, она как бы вырисовывается из чувственного опыта рассказчика и подымается до высот высшего бытийного уровня. Во-вторых, в странствиях и исканиях героев огромную роль играет магическое или, точнее, чудодейственное влияние красоты на душу человека, не лишенного восприимчивости и чуткости к этой красоте. Ведь и сам Николай Семенович любил повторять мудрый афоризм: «Жизнь хороша, потому что искусство прекрасно». И вот в соответствии с этой главной эстетической идеей он проникательно раскрывает душевный мир героев, каменщиков-старообрядцев, которые страстной любовью влюблены в древние иконы, чудным художеством изукрашенные. На одной такой и самой почитаемой ими иконе был изображен ангел с огнепаляющим мечом. Именно его лик запечатлел печатью некий высокопоставленный царский чиновник, за-

путавшийся в деле со взятками. «Помню только,— рассказывает один из героев повести,— что из-под печати олифа... струила вниз двумя потоками, как кровь, в слезе растворенная...»

В другом случае и в другой повести — это красота и столь же необыкновенный песенный талант цыганки Груши, покорившей и пестрое общество горожан, и более всех Ивана Северьяновича Флягина. Отнюдь не повторяясь, Лесков показал, что в судьбе простого человека эстетическое потрясение может быть необыкновенным и что возникает оно как некое наваждение или, по Платону, как божественное безумие, которым и одержим мир. Вот почему воистину жизнь может быть хороша лишь в том случае, если искусство прекрасно!

4

Андрей Лесков, сын писателя и его биограф, в своей замечательной книге «Жизнь Николая Лескова» раскрыл неповторимую атмосферу, в которой формировалась повесть «Запечатленный ангел».

Среди самых сокровенных друзей маститого писателя, жившего по ряду причин довольно-таки замкнуто, был некий «художный муж», попросту сказать, иконописец Никита Саверьянович Рачейсков. Именно в его жаркой и душной мастерской и был сочинен «рождественский рассказ», каковой подзаголовок вначале имела эта повесть. Жил Никита Саверьянович холостяком на окраинной улице Болотной в двухэтажном домике, где и помещалась его иконная мастерская. Лесков любил — иногда один, иногда с сыном-подростком — приезжать к этому изографу, любил подолгу наблюдать, как в простой сатиновой рубашке и в очках с серебряной оправой он склонялся над дощечкой, хорошо пролевакушенной, с кисточкой в несколько волосков и как он талантствовал этой кисточкой, то есть создавал образ богородицы девы Марии или какой иной шедевр «мелкоскопического письма». Любил писатель и разговаривать со своим другом об особенностях тех или иных иконописных школ: новгородской, или московской, или вологодской, или, наконец, строгановской, особенно почитаемой Лесковым. Короче говоря, вспомним изографа Севастьяна из повести «Запечатленный ангел» и убедимся, насколько

полно и многообразно вошли в эту повесть жизненные впечатления писателя. Равно как и его многолетнее увлечение древнерусской живописью, книжной графикой, орнаментикой. Примечательна хотя бы такая деталь: у Никиты Саверьяновича Рачейскова были непомерно большие и черные, как грабли, руки, которым, однако, он был полный господин, по-другому сказать, держа крохотную кисточку в которых, он поражал своим талантом и соотечественников, и приезжих иностранцев.

А все-таки даже после того, как «Запечатленный ангел» был напечатан, писатель испытывал какую-то неуверенность: а исчерпал ли он до конца эту своеобразную артистическую натуру?.. Ведь он еще столько знал о ней. Например, когда у Никиты Саверьяновича случался «запойный выходец», Лесков увещевал своего товарища или внимал его покаянным речам и рассказам о похождениях с каким-нибудь очередным «гравэром». И знал, что во время таких «выходов» будто бы слышался изографу некий зов: «Никита! Иди, брат Никита!»

И вот когда Лесков на пароходике во время поездки по Ладожскому озеру раздумывал над новым «сюжетцем», он, смею полагать, мысленно возвращался на улицу Болотную, в полуподвальчик с двумя окнами, в которых, наверно, и сейчас ему была бы видна могучая фигура живописца, склонившегося над очередным творением. Были бы видны ему темные волнистые волосы, тронутые сединой, слышалась бы речь, степенная, негромкая, в раздумье растворенная.

Вот почему новый герой новой повести и получил имя Ивана Саверьяновича. Получил он от Никиты Рачейскова не только отчество, руки, как черные грабли, но и удивительный дар рассказчика, неосознанный артистизм, и чуткость, и трепетность при встрече с красотой, будь это красота древлеписаной «рати небесной» или красота таборной цыганки, встреченной на городской окраине. Даже его, Никиты, возжелание сделать очередной запойный «выходец» перешло к Ивану Саверьяновичу, который, как известно, во время такого «выходца» и попал случайно в некий дом, где было страсть как много людей и где он услышал, как поет Груша.

Однако, чтобы понять величие и красоту художест-

венного дара Николая Лескова, необходимо еще ощутить удивительную орнаментальность его языка, притчевость вставных глав, вроде глав о странствиях Левонтия с Марком Александровым, необходимо, в конце концов, почувствовать и то загадочное, колдовское, неуловимо-странное обаяние, которое испытывает читатель и этих двух, и многих других лесковских произведений.

Красота подразумевает гармонию и стройность. Но Лесков не боится остроты и разорванности в своем творчестве. Напротив, он постоянно обостряет борьбу тьмы и света, стихии чувства и здравого рассудка, причем эта борьба не стесняет свободный полет его фантазии, не отменяет наличия знамений, видений, пророчеств.

5

Искусство прекрасно, искусство спасительно для людей в том случае, если от него «чья-нибудь душа горит и мучается». Именно так сказала о своих песнях цыганка Груша его сиятельству князю, который один хотел наслаждаться и ее пением, и ее красотой. Искусство прекрасно и утешительно в том случае, если оно является самовыражением артиста во имя других и для других,— так могли бы мы продолжать эту мысль, если бы не опасались развеять удивительное обаяние прозы Лескова.

Вот и Иван Северьянович, который, по словам того же князя, настоящий, высокой степени артист, рассказывает на пароходной палубе незнакомым ему людям историю своей жизни. И в его рассказе есть лирическое самовыражение, что и в песнях Груши, «красой природы совершенством» которой он был потрясен и покорен. «Ужасно мне как понравилось»,— вроде бы простодушно говорит Флягин палубной публике. Но далее, может быть, инстинктивно, а может быть, в силу своей подлинно артистической натуры, он вспоминает песню «Челнок». Удивительно к месту, к этой обстановке, к этой безбрежной водной стихии вспоминает. «Начинала она,— мечтательно говорит Иван Северьянович,— так как будто трубовато, мужественно этак: «Мо-оре во-оо-о-ет, море сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение

к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна для меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челноком»-то всколыхнула, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла...

И заключает Иван Северьянович дальше, что от одного от этого видения на ее пение и на ее танец «все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти...».

Однако Лесков не был бы Лесковым, то есть писателем, в душе которого, по замечанию Горького, странно соединялись идеализм и скептицизм, мечтательность и трезвость, уверенность и сомнение, если бы сквозь это прекрасное наваждение, равное божественному безумию Платона, он не прозрел бы лик самой жизни, лик чудовищный и жестокий. Так, в начале повести «Леди Макбет Мценского уезда» есть сцена, которая овеяна любовным томлением и красотой тихой летней ночи: «Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбежался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны». Но, добавляет Лесков, в этом лунном свете все-таки «дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям». В конце повести, когда, увы, подобные темные желания приказчика Сергея и Катерины Львовны исполнились с невиданной жестокостью, писатель показывает долгий этапный путь, по которому бредут каторжане, и теперь все кругом было «до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, безлиственные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях находившаяся ворона»...

Можно было бы привести и другой пример. Спустя какое-то время после песни «Челнок» и пляски Груши, когда все, словно бы весь ум свой потеряли, Ивану Северьяновичу, обессилевшему в долгих скитаниях, то ли привиделось, то ли на самом деле увиделось в лесу, но только встретил он над речным обрывом свою названую сестрицу, свою потаенную и единственную в жизни любовь — Грушеньку. «...Вглядываюсь и дивлюсь,— расска-

зывает он пассажирам,— как странно она переменялась и где вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят... И личико в кулачок сжалось, и по щекам черные космы треплются».

Таким образом, отдаваясь свободному полету фантазии, писатель всегда словно бы предчувствует, что эта свобода не обманет его, что, напротив, она позволит ему еще острее, еще глубже выразить противоречия жизни — и ее реальную красоту и ее реальную жестокость. Ибо под пером Лескова именно из них, из этих противостояний, из бытового и возвышенного, жестокого и человечнейшего, и рождается та гармония гармоний и дисгармоний, которую еще древние философы признавали истинной красотой.

Добавлю также, что, по-моему, секрет удивительного обаяния прозы Николая Лескова заключается еще и в том, что он каждый раз выходит победителем из этой борьбы художественных контрастов, без которых «несть граду стояния», то есть нет его особого лесковского мира. А мир этот объемлет и голубые ладожские воды, и ковыльные Рынь-пески. В своеобразной атмосфере этого лесковского мира сторублевые бумажки могут обращаться в «белых лебедей», а таборная цыганка, купленная барином-князем и брошенная им, становится похожей на «подстреленного журавля».

Но Лесков не ограничивается одними этими народно-песенными образами. Нет, он останавливает наше внимание на такой, казалось бы, обыденной, прозаической детали, как крестовый шнурок на шее Груши... Князь дернул изо всей силы этот шнурок и задушил бы опостылевшую ему женщину, но шнурок разорвался... Князь, рассказывала Груша Флягину, даже весь побелел и шипит: «Зачем ты такие грязные шнурки носишь?» А я говорю: «Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

Здесь, в кратком диалоге, раскрывается, с одной стороны, жестокая и эгоистическая душа князя — «свистуна», а с другой — врожденная поэтическая натура Груши, которая и была продана таборными старшинами за баснословную в те времена сумму в пятьдесят тысяч.

Характерно, что Иван Северьянович, из любви к Груше принявший, как говорили раньше, на душу

великий грех, казалось бы, достиг своей спасительной пристани — монастыря на Ладожском озере. Но и в этом убежище обездоленных он принимает новые страдания и новые муки. Вот почему Иван Северьянович пускается в неизведанный путь, ибо не может он делать себе «никакого стеснения». И теперь мечтает лишь об одном — вновь «амунничку надеть», чтобы, если война вскоре случится, помереть за Россию, за свой родной русский народ.

...На Валааме и до сих пор стоит высокая колоколья, с которой на десятки верст видно окрест. Вот с такой высоты, мне кажется, есть смысл оглядеть творческий путь Лескова-художника, чтобы понять, почему Достоевский, который находился с ним в весьма сложных взаимоотношениях, упомянул о гениальности этого автора многих известных повестей и романов.

6

Прежними биографами уже отмечалось, что Лесков соединил в себе кровь четырех поколений: дед — священник из села Лески, бабушка, Акилина Васильевна, — из московского купеческого рода, отец, Семен Дмитриевич, — чиновник, «замечательный умник и дремучий семинарист», не чуждый, однако, литературных склонностей и пристрастий... Мать — из орловских дворян Алферьевых, характером скорая и нетерпеливая. Однако прав Горький, что лишь пятое сословие — сословие крестьянское — оказало решающее воздействие на душевный и нравственный облик будущего писателя. Нянькою его была Любовь Онисимовна, бывшая крепостная актриса, за ним ходила дворовая бабка Аграфена и дворовый человек Храпошка, товарищами по играм и деревенским забавам были сверстники — дворовые мальчишки. Короче, это было то самое, как тогда говорили, простонародье, которое и формировало стихийный демократизм Лескова, его эстетический вкус, его чутье к меткому, сочному, ядреному русскому слову. Не случайно уже в зрелом возрасте писатель замечал, что он не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, нет, он вырос *в народе*... И когда ему впервые довелось прочитать тургеневские «Записки охотника», то он, по

собственному признанию, задрожал от правды, представшей ему, и сразу понял: это и есть то, что называется искусством.

Однако далеко не одни радости являлись уделом хуторского паныча. Для его впечатлительной натуры особенно нестерпимыми были унижения и обиды со стороны богатых родственников, равно как и рассказы дворни о наказаниях крепостных людей, нищета и убожество окружающих селений, трагическое житие деревенских баб. С той ранней поры и начала развиваться в нем «мучительная нервность», от которой он страдал всю жизнь.

Орловские пожары, сгубившие имущество Лесковых, и смерть отца от холеры поставили семью на грань нищеты. И вот шестнадцатилетний подросток — старший в многодетном семействе — начинает трудовую жизнь. Он переезжает в Орел, затем — в Киев, затем — в Пензу и, наконец, в Петербург, служит у англичанина Шкотта, своего дальнего родственника. И эта коммерческая служба требует от него беспрестанных разъездов по России — от Черного до Белого моря. Кстати сказать, его деловые отчеты, направляемые своему патрону, несли печать несомненных литературных способностей. Вот на эти-то способности и обратили внимание доброхоты, вроде писателя И. Селиванова, они-то и поспособствовали публикации его первых корреспонденций в газетах и журналах за 1860 год.

...Жители той или иной местности почтовые тракты еще с незапамятных времен называли Большой дорогой. Вот по такой Большой дороге скакали тройки курьеров, гнали колодников, шли артели работных людей — каменщиков и землекопов, толпы богомольцев, погорельцев, нищих. На дороге случались всякие «чудеса» и «дивеса». И в песнях пелось о дороге, как о человеческой доле и судьбе, и в сказках рассказывалось о ней, как о заветном пути в страну крестьянского благополучия — в сказочное Беловодье. Дорога как открытая книга — и пересказывали ее главы мастера плетения словесных кружев, вроде Ивана Северьяновича или старообрядца Марка Александрова. Как оказалось впоследствии, Большая дорога и Лескова учила по-своему мять и лепить слово, как мнет и лепит глину мастер-гончар, она обогащала

его память выражениями, схваченными на лету, но основное — она учила в голосе толпы различать глубокие раздумья, угадывать ответы на коренные вопросы бытия.

Именно в шестидесятых и семидесятых годах подобное «чувство пути» стало едва ли не главным чувством многих беллетристов и поэтов, которые ощутили, как сдвинулась, как пошла голодная и нищая Россия в поисках хлеба и работы, в поисках своего счастья, своего Беловодья.

Может быть, с тех пор художественное время-пространство Николая Лескова от какой-то малой точки, подобной родному хутору Панино, и обрело тенденцию к внезапному расширению, к охвату все новых и новых пространственно-временных сфер.

Андрей Лесков на страницах своей книги рассказывает, что, уже будучи человеком весьма и весьма почтенного возраста, писатель нередко слышал восхищенные вопросы — откуда у него такое неистощимое знание своей страны и своего народа, такой неисчерпаемый запас впечатлений... И вот Н. С. Лесков, как бы озирая глубь минувшего и слегка постукивая концами пальцев в лоб, медленно отвечал: «Все из этого сундука...» И пояснял, что за годы странствий и разъездов по России сюда складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не найдешь ни на Невском проспекте, ни в петербургских канцеляриях или ресторанах.

Вот так и получилось, что самые любимые герои Лескова — это люди пути-дороги. Дорога для них — это сама жизнь, это — поиски смысла своих усилий и надежд. И хотя, — говорит очарованный странник Иван Северьянович, — «своего пути не обежишь», но никогда не надо отступаться «от дерзости своего призвания».

7

Однако путь-дорога в литературе для самого Николая Семёновича Лескова не была ни накатанной, ни прямой, ни ровной. Напротив, ему довелось терять не только свой путь, возвращаться назад и начинать все сначала, но временами и утрачивать спасительное ощущение дали народной жизни, впадать в безысходность, жестоко страдать от чувства вины и оскорбленного человеческого достоинства.

Казалось бы, его первые шаги на литературном поприще получили одобрение со стороны «Современника». В одном из номеров этого передового демократического журнала за 1862 год отмечалась незаурядная творческая сила молодого писателя, который отнюдь не исчерпал себя, а может быть, «и не нашел своего настоящего пути...».

Увы, последнее замечание «Современника» оказалось пророческим. Николай Лесков, выступавший под псевдонимом М. Стебницкий, был весьма плодовитым и близким к лагерю шестидесятников-разночинцев публицистом. Однако в «Северной пчеле» появилась злосчастная статья, в которой Стебницкий требовал от правительства расследования слухов о поджигателях-студентах. Современники увидели в этом выгодную для царизма версию о том, что в петербургских пожарах были все-таки повинны студенты. Вот эта самая злосчастная статья, равно как и «антинигилистический» роман «Некуда» (1864), на долгие годы развели писателя — уже не Стебницкого, а Николая Лескова — с передовыми слоями русского разночинства. Насколько глубоко Лесков осознавал причины такого расхождения, насколько полно он принимал вину на себя, показывает его высказывание, сделанное много лет спустя. «Мы, — с горечью говорил Лесков, — не те литераторы, которые развивались в духе известных начал и строго приготавливались к литературному служению. Нам нечем похвалиться в прошлом: оно у нас по большей части мрачно и безалаберно».

Теперь некоторые литературоведы, разгадавшие ряд «загадок» и личности, и повседневного окружения, и всего художественного наследия Лескова, склонны признавать, что многострадальное лесковское творчество даже в ту самую первоначальную пору все-таки не укладывалось в привычные схемы «антинигилистических» произведений и что русское освободительное движение, в том числе и в романе «Некуда», являлось для Лескова движением исторически закономерным, хотя и отмеченным печатью непреодолимого трагизма. Именно такую печать носит духовный и нравственный облик одного из главных героев романа — профессионального революционера Вильгельма Райнера, в образе которого видны определенные черты сходства с Рахметовым из известного романа Чернышевского «Что делать?». И все-таки лич-

ные «терзательства» Лескова были беспредельны. Они «засели» у него «в печенях» на всю жизнь.

Вообще довольно часто критики-современники, принадлежавшие к разным лагерям, видели в Лескове то, что было на поверхности или было художественным приемом, но не выражало его глубинную суть. Так, например, А. М. Скабичевский считал, что Лесков — всего-навсего «фотограф, лишенный дара обобщений и анализа».

Странно такое читать о Лескове, фантазия которого была столь яркой и прихотливой, а талант обобщать мелочи жизни находил выражение буквально в каждой его главе.

Подобные ошибки оказались свойственны критике и позднее, ибо судили эти критики Лескова по вульгарно-социологическим схемам. Однако талантливейший писатель, опираясь на личные впечатления и на всю толщу русской словесности от «Слова о полку Игореве» до Державина, Пушкина, Гоголя, Толстого, был подлинным художником-новатором или, по словам Горького, самобытнейшим писателем русским, чуждым каких-либо влияний со стороны.

Его поэтика — поэтика художника слова, предвосхищавшая многие открытия писателей XX века. Я имею в виду не только проблему выбора, о которой уже шла речь. Сказовость, притчевость, параболичность, наличие образов-«перевертышей» и «ключевых» слов, гипотетический характер концовок, трагизм и ирония в решении основной темы — все эти и многие другие художественно-смысловые признаки нашей современной многонациональной прозы уже были «опробованы» и широко использованы Николаем Семеновичем Лесковым. Не случайно один из героев Василия Шукшина взывает: «Читайте Лескова! Лескова читайте!»

Любовь Николая Лескова к России, к русскому народу была безграничной. Но это была любовь требовательная, строгая любовь. Горький однажды сказал о Лескове, что «он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душой народа». Правда, Лесков никогда не льстил народу, не потрафлял ему в слабостях и дурных привычках. Наряду с великими предшественниками

и современниками он утверждал в сознании широкой читательской публики те духовные и нравственные ценности, которые создавались из поколения в поколение людьми труда. И эти ценности не есть некий «невещественный капитал», который переходит к человеку безо всяких усилий с его стороны, по наследству. Нет, человек, вступая в большой и сложный, нередко — мучительно-противоречивый мир, должен был взрастить эти ценности в себе, нажить их в собственном душевном опыте... Таким образом, любовь Лескова к народу была не только требовательной, но и полемически заостренной в тех случаях, когда речь шла о «жизни без воли и направления». Еще острее сатира и сарказм, в равной степени свойственные Лескову, как лирика и юмор, были обращены против «меркантилизма совести», против «банковского расчета», которые столь же ярко воплотились в образе Захват Иваныча или в образе того самого квартального, который часто «содействует» над русским мужиком на-тайкой и плетью.

Жизнь таких людей — «безобразный мираж».

В противовес всей этой «банковской», убого-торгашеской, эгоистической жизни Лесков создает образы, исполненные благородства, доброты, человеческого обаяния, образы своих знаменитых «праведников» и «очарованных странников», вроде Ивана Флягина или Савелия Туберозова, «казака-дьякона» Ахиллы Десницына из романа-хроники «Соборяне» или однодума Александра Рыжова, поразившего горожан и даже самого губернатора Ланского тем, что он взятки никогда и ни под каким видом не берет.

В противовес всей этой застойной, обывательско-мещанской «тишине», казалось бы безраздельно господствовавшей над весями и уездными городками России, Лесков являет миру громкое уголовное дело Катерины Измайловой. Причем простонародную драму этой женщины, без памяти влюбившейся в приказчика Сергея, писатель обращает в высокую национальную трагедию, в которой переключка с бессмертным шекспировским образом не кажется натяжкой или условностью. Именно этот трагический пафос, эту мощь и силу страстей ведущих персонажей в давней истории, случившейся в Мценском уезде, выразил Дмитрий Шостакович в опере «Катерина Измайлова», постановка которой и была осуществлена Большим театром.

В противовес всему этому миру, в котором труд на Захват Иванычей был проклятием и мукой мученической, Лесков создает образы людей, в совершенстве владевших своим ремеслом. К его самым значительным и художественно-впечатляющим творениям принадлежат те характеры, в которых проявилась талантливость русской натуры, ее прирожденная чуткость к красоте, тяга к раскрепощенному творчеству, к вольному труду. Причем потрясение этой зримой красотой сближает людей разного сословного положения и разных национальностей. Ибо удивление перед возвышенным в жизни, в искусстве, в ремесле помогает человеку «выделаться в человека», если вспомнить здесь замечательное выражение Достоевского. Ведь красота — источник нравственной силы и здоровья для тех, кто не отступает «от дерзости своего призвания». Глубокое потрясение от предивного искусства испытывает, например, строитель каменного моста через Днепр англичанин Яков Яковлевич. Оглушительный бас Ахиллы Десницына, талант гримировщика Аркадия Ильина, искушенность в живописи изографа Севастьяна, влюбленность в красоту и стать диких лошадей Бакшея Отучева и Чепкуна Емурчеева — вот характеры, которые читателю незабываемы на всю жизнь.

Об этой же артистической одаренности и виртуозности «маленьких великих» людей (Горький) повествует самое знаменитое произведение Лескова — «Левша». Известно, что сказ о Левше возник из коротенькой притчи о том, как туляки английскую блоху подковали. И услышана эта притча была, может быть, от сестрорецкого инженера-оружейника в 1878 году, и походила она в чем-то на другую притчу, а именно на притчу о «немецкой обезьяне». Эта самая обезьяна прыгать прыгала, но садиться никак не могла, пока некий хитроумный московский меховщик не придумал ей хвост пришить, — тогда она взяла и села. Так вот из такой коротенькой народной притчи о блохе Николай Лесков создает произведение воистину бессмертное, как бессмертен, предположим, ершовский «Конек-Горбунок». Правда, скептический, ко всему недоверчиво настроенный ум Лескова иногда видит в том, что, мол, хотя тульский Левша «с сотоварищи» и подковал блоху, но блоха-то после этого перестала танцевать «кавриль

с верояниями». Отсюда вывод: мол, мастера-то оказались неучами — они вес «нимфозории» не учли.

Мне думается, более глубокое толкование лесковского сказа дано в одной из статей, опубликованных в связи со 150-летием со дня рождения писателя. Но вначале — небольшое отступление. По первому взгляду, совершенно непонятно, почему в конце повести говорится о поездке безвестного мастера Левши в Лондон и о его предсмертной заповеди, чтобы русские солдаты кирпичом ружейные стволы не чистили. Какая же здесь может существовать связь со стальной «нимфозорией»? А эта самая глубинная связь есть, и заключается она в том, что как бы тонко ни освоили ружейное дело английские мастера, которые для бахвальства и щегольства сумели создать заводную блоху, их умение может быть превзойдено умением тульских или тех же сестрорецких оружейников. Ибо вот так же эти оружейники могут лишить могущества и прославленное иностранное оружие.

Прекрасные образы тульских умельцев, созданные гением Лескова, в дни Великой Отечественной войны действительно обрели новую жизнь. Новым высоким патристическим содержанием наполнились и многие другие произведения писателя. Но таково уж свойство подлинно народного таланта: время раскрывает его блистательные грани и позволяет видеть то заветное, сокровенное, что скрыто в глубине. А эту глубинную суть, по-моему, полно выражают пророческие слова Льва Толстого: «Лесков — писатель будущего».

9

Осенью 1887 года писатель поселился на Фурштатской улице в Петербурге, на которой он жил и раньше, но только теперь в доме под номером пятьдесят. Поселился он на первом этаже, и окна его квартиры выходили в сад. По воспоминаниям современников, любовь к исключительному, пестрому, яркому, свойственная Лескову с молодых лет, своеобразно проявилась в убранстве его комнат, в обстановке, во всем облике этого нового жилья. Уже в передней бросалась в глаза вешалка с шубами и тулупами, со старинным азамом, в котором писатель ходил зимой. Под вешалкой — множество крепких и толстых палок, коллекцию которых он давно собирал. Но особенно своеобразным был лесковский кабинет. Во-

первых, посетителей поражали старинные часы: их было множество — карманных и настенных, больших и маленьких, перекликающихся друг с другом разнообразным боем и звуками старинных мелодий. Кроме того, на окне висела клетка с певчими птицами, и перепархивание и пересвистывание этих птиц еще более оживляло этот отнюдь не чопорный, не кожанодиванный кабинет.

Над широкой квадратной софой, на которой, по обыкновению, полулежал Николай Лесков, среди бесчисленных портретов и картин выделялся образ богородицы с младенцем древнего строгановского письма, а также фотография суровой и резкой картины Николая Ге «Что есть истина?». Столь же поражающим всех посетителей был и письменный стол Лескова, на котором стоял портрет Л. Н. Толстого, лежали любимые книги, а в качестве пресс-папье для бумаг был использован массивный и высеребрянный якорь. О происхождении этого якоря писатель рассказывал забавные истории. Но кто знает, может быть, он напоминал ему о плавании по Ладожскому озеру-морю? Или цыганскую песню «Челнок»?.. Во всяком случае, якорь был чем-то дорог автору «Очарованного странника», поскольку всегда занимал почетное место среди других вещей, среди затейливых резаков для резания книжных страниц и светильников с пестрыми абажурами.

В этой квартире Лесков прожил восемь лет. И шел ему теперь шестьдесят четвертый... Начали учащаться припадки застарелой сердечной болезни. Во время таких припадков дыхание становилось громким, руки — ледяными, и сам он, неистово-гневный, звал домашних, чтобы они хоть как-то облегчили его страдания. И все-таки более всего Лескова истощала его прекрасная, его неутолимая страсть — страсть к писательству, которая и доводила его до полного изнеможения. Долгими тревожными ночами слышался ему приглушенный и вроде бы отдаленный зов: «Николай! Николай! Иди сюда, брат Николай!»

Это подступала пора, когда Лесков уже пресытился «терзательствами» своей бурной, до предела напряженной жизни, когда он уже не мог работать ночи напролет, прихлебывать холодный и крепкий, как деготь, чай, непрерывно куря и расхаживая из угла в угол по кабинету. Подступала пора, когда он мечтал, чтобы «уплыть», как

РЕКА ЖИЗНИ

1

«Устюжна железная, а люди в ней каменные» — такая пословица сложилась в Заволочье в те далекие времена, когда город на медлительной Мологе назывался не просто Устюжной, а Устюжной Железнопольской. И причиной тому явился, надо думать, не только замкнутый и твердый характер местных жителей, но и болотная рударжавица, которую здесь добывали едва ли не в каждой деревне. Эту руду копали на Железном поле, в старом и новом Загрьивье и во многих других поселениях, расположенных к востоку от Устюжны, пережигали в домницах в кричное железо — твердый, темно-синий сплав, а затем ковали из него гвозди, топоры, косари — тяжелые ножи-тесаки, пригодные для колки поленьев на лучину, и прочие нужные для крестьян изделия. Но не только крестьянский инвентарь умели делать устюжане. Во времена «панщины» расковщики-кузнецы лили ядра и пушки, катали дробь, изготавливали пики и бердыши, вооружали защитников Устюжны, которые прославились стойкой обороной родного города от шляхтичей и воровских людей, проникших на Север... Можно было бы вспомнить Северную войну, когда именным указом Петра I вблизи городка были построены Ижинский и Тырпицкий железоделательные заводы, когда кузнецы-умельцы ладили оснастку для российского флота и мушкеты для петровских полков. Можно было бы вспомнить войны с Наполеоном, нашествие двенадцати языков на Россию...

недавно «уплыла» его старинная приятельница — Татьяна Петровна Пассек.

Давным-давно исчезли с великих северорусских озер пассажирские пароходики, которые мяли своими деревянными плицами бурные воды и стремительные перека-ты. Но тот самый пароходик, на палубе которого плыл Николай Лесков к знаменитому Валааму, по-прежнему живет, он живет в великолепной повести, созданной писателем, созданной, добавляю я, всей ранее прожитой жизнью и той самой незабываемой поездкой по Ладоге, по новгородскому озеру Нево, с которой и начался этот рассказ о замечательном писателе земли русской — Николае Семеновиче Лескове.

Однако к началу прошлого века Устюжна превратилась в медвежий угол Новгородской губернии и оставалась такой долгие годы. Старинная пословица если и не позабылась, то, во всяком случае, была неизвестна местными жителями. И не кто иной, как Александр Иванович Куприн, желая воссоздать северную глушь и сонную одурь уездного городка, в котором нет ни библиотек, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем, ни памятников знаменитым согражданам, а есть только субботние базары, мужики возле казенки да суровые и подозрительные мещане, на лету подхватил пословицу и однажды написал — здесь обыватели говорят о себе так: «Дома у нас каменные, а сердца железные».

Речь шла об Устюжне, хотя Куприн и не называл ее. К чему?..

По семейному преданию, род Батюшковых происходил от Батыша, татарского хана, влюбившегося в русскую боярыню и перешедшего на службу к московским князьям. Такова семейная легенда. Первое же достоверное сведение о селце Даниловском («а в нем двор помещиков») засвидетельствовано Бежицкими писцовыми книгами за 1628—1629 годы. Изысканиями историков-краеведов, кроме того, установлено, что один из рода Батюшковых — Иван Никитич — получил подтверждение на право владения отцовскими поместьями в Есеницком стане, в том числе и Даниловским, еще в 1612 году. Подтверждение прав на владение землями и поместьями совпадает со временем «панщины»: надо полагать, служивые люди Батюшковы сыграли не последнюю роль в кровавых событиях Смутного времени. Да и в дальнейшем Батюшковы выполняли важные поручения Московского правительства и были участниками многих войн, которые вела Россия за свою независимость.

От Устюжны в Даниловское и дальше ходит рейсовый автобус: добраться туда легче легкого, как говорят в здешних краях... Дорога сбегает с одной возвышенности и неторопливо поднимается на другую, минует двести крохотные деревеньки — в одной из них можно угадать бывшую земскую школу. Как угадать? Да по темным елям, которые окружают зданья деревенских школ

на Севере. Такой обычай завели когда-то сельские учителя, ходоки в народ, цвет русской интеллигенции. Может быть, это Никифоровская школа? Нет, она осталась где-то в стороне...

Так, поскрипывая, побряхтывая, автобус идет от остановки к остановке, постепенно пустеет и въезжает в сосновую аллею: сосны приземисты, стары, они стоят редко, покосившись в разные стороны, обнажив потемневшие корни. Их хвоя желта, вершины опалены молнией, сучья обломаны ветрами.

Прямо на холме — Даниловское. Из-за разросшихся лип и вязов «господского дома» не видать. Вблизи — это типичнейший дворянский особняк с белой деревянной колоннадой, просторной террасой, вышкой — то ли для астрономических обсерваций, то ли для книжных уединений. Да и сам липовый парк, заглушенный зарослями бузины, запустевший, задичавший за долгие годы, с едва приметными аллеями, приятен для медленных прогулок и чтения любимых книг. Он тенист и прохладен, он таит в себе очарование старины и покоя, хотя и то и другое, может быть, только мечтание, мимолетный отзвук все тех же когда-то в юности прочитанных книг. Одно можно сказать — еще в начале века парк был именно таким: даже днем сквозь листву не проникал солнечный свет, и на аллеях было так сыро и темно, что вода в пруду, расположенном в центре, казалась совсем черной. А вот лет полтора-два тому назад и парк и усадьба были совсем иными...

В 1815 году после долгого перерыва в Даниловское приехал Константин Батюшков. Его отец, Николай Львович, затеял в ту пору перестройку усадьбы. Пленные французы, находившиеся в Устюжне, построили в Даниловском новый господский дом, домовую церковь, напоставив крест, разбили парк по плану Версальского и посадили сосновую аллею, по которой теперь каждый день ходят рейсовые автобусы и пробегают совхозные грузовики. Посещение Даниловского не принесло поэту ожидаемых радостей, а оставило в душе печальный след — дела Николая Львовича были вконец расстроены, здоровье его сильно пошатнулось. Константин Батюшков проехал в Хантоново, в имение сестры — Александры Николаевны. Но и там был вынужден сразу же принять

на себя хлопоты о закладе имения в опекунский совет. «Отчизны сладкий дым» горчил и туманил глаза наворачившимися слезами.

Опустим другие подробности из семейных хроник рода Батюшковых, хотя они весьма и весьма любопытны. Отметим только, что в середине прошлого века Даниловское принадлежало сводному, — по отцу, — брату Константина Николаевича — Помпею Николаевичу, а затем его внучатому племяннику Федору Дмитриевичу Батюшкову... Вот с этого-то владельца уже порядком запущенного и бездоходного поместья и поведем речь дальше.

Профессор Федор Дмитриевич Батюшков — блестящий знаток русской и западной, в частности, итальянской литературы — был лишен практической сметки в житейских делах. Мягкий, обходительный, доброжелательный, он постоянно жил в Петербурге и редко приезжал в Даниловское: от ближайшей железнодорожной станции до имения надо было проехать девяносто с лишним верст. И по причине своей занятости в столице и по неспособности вести хозяйственные дела Федор Дмитриевич много лет сдавал Даниловское в аренду. Последний арендатор — священник из соседнего уезда — оказался человеком бессовестным и нечестным. Он не только вывез из господского дома обстановку красного дерева и карельской березы, бронзовую люстру, подсвечники, сервизы, горку с фигурками из старинного фарфора, но даже выкопал и перевез в свое имение белую акацию и все декоративные кусты... Однако Федор Дмитриевич не захотел взыскать с него убытки. Он был рад, что хотя бы осталась в целости библиотека, в которой немало книг было собрано его предками и которую он сам постоянно обогащал книжными новинками.

Федор Дмитриевич был хорошо известен в петербургских литературных кругах: с 1903 года он стал ответственным редактором популярного тогда журнала «Мир божий». Его известности в немалой степени сопутствовали также выступления в печати: он много писал о своих современниках — Леониде Андрееве, Бунине, Сологубе, Бальмонте, Андрее Белом...

После знакомства с Куприным еще в конце девятистых годов он стал его ближайшим и преданнейшим другом. Примерно к тому же времени относится возникнове-

ные дружеских отношений с Александрой Аркадьевной Давыдовой — издательницей «Мира божьего» и ее приемной дочерью Марией Карловной, которая после смерти приемной матери приняла права наследства и взялась за издание этого журнала. Надо сказать, что молодая, блестяще образованная и при всем том деловая женщина Мария Карловна еще при жизни матери обвенчалась с Александром Куприным, приехавшим из провинции в Петербург. Взаимоотношения этих людей становились, вправду говоря, все более сложными... Батюшков, благодаря душевной мягкости, обходительности, высокой культуре и эрудиции, имел большое влияние на Куприна. Но, в свою очередь, и Мария Карловна желала оказать на него не менее сильное, и, по ее мнению, благотворное влияние. Она не то чтобы ревновала Федора Дмитриевича к мужу, но недолюбливала его, поскольку и свой литературный вкус, и свою деловитость ценила высоко. Не случайно в своих мемуарах единственное, что она могла сказать о Ф. Д. Батюшкове, которого знала много лет, это то, что он был сентиментальным. Может быть, из-за этой неприязни, а может, из-за недобрых предчувствий, но ранней весной 1906 года, когда возник обычный вопрос, куда поехать на лето, Мария Карловна с большой неохотой согласилась ехать в Даниловское.

...Уже не первый год Федор Дмитриевич настойчиво советовал своему другу побывать в устюженских краях, поохотиться в этом медвежьем углу, отдохнуть, пописать, присмотреться к нравам и обычаям жителей северной России, которой Куприн, несмотря на частые переезды и странствия, почти не знал. На такой поездке настаивали и другие друзья Куприна: петербургская богема затягивала его, а «эфиопы» — завсегдатаи литературного кабачка «Давидка», ставшего, по словам современников, резиденцией писателя, куда ему приносили даже ежедневную почту, — эти «эфиопы» мешали ему, льстили, кутили за его счет и оставляли мало времени для серьезных литературных занятий. Уставший от скандальных хроник в газетах, от непризнанных и погибших «гениев» из «Давидки» и «Капернауума», Куприн все же не особенно прислушивался к речам Федора Дмитриевича. В этих кабачках, где за рюмкой водки, соленым грибом и кружком дешевой колбасы можно было встретиться и с бывшим цирковым артистом, и ломовым извозчиком,

и репортером «Копейки», и почтенным литератором, ему казалось, что он собирает необходимые ему наблюдения, изучает человеческие типы, или, говоря его же словами, совершает таинственное путешествие по извилинам чужой души... Отчасти это так и было. Но раздражительность, вспыльчивость и внутренняя опустошенность Куприна становились все заметнее, неудовольствие Марии Карловны их образом жизни — все очевидней, а уговоры Федора Дмитриевича — все настойчивей. И так продолжалось до тех пор, пока писатель не решился и не сказал жене: «...Там хочешь не хочешь, а писать будешь. Поедем-ка туда, Маша».

Поскольку в Даниловском собирались провести целое лето, выезжали туда всем семейством со множеством вещей и всяческой клади. Помимо Марии Карловны, их трехлетней Лидушки, няни, брата Николая Карловича — дяди Коки, его слуги Якова Антоновича, матери писателя Любови Алексеевны, в Даниловское ехала и Елизавета Морнцевна Гейнрих. Ехала на правах то ли гувернантки, то ли дальней родственницы, то ли сестры милосердия, ибо двадцатилетнюю Лизу Гейнрих связывало с семьей Давыдовых-Куприных и, конечно, с Марией Карловной многое, как, впрочем, многое и разделяло их. С каким-то странным упорством судьба заставляла этих двух женщин жить под одной крышей в кругу одних и тех же близких им людей, но жить и чувствовать себя совершенно различно: они постоянно пребывали как бы в двух измерениях. Даже внешнею разительно отличались друг от друга.

Мария Карловна являла собою тип светской женщины: она со вкусом одевалась, тщательно следила за туалетами, сама была высока, стройна, красива несколько самоуверенной и надменной красотой, которая дается воспитанием и природным умом. Эта светскость Марии Карловны сказывалась хотя бы в том, что она до конца дней своих запомнила мешковатый костюм, низкий крахмальный воротничок, желтый галстук-«пластрон», каких давно уже в Петербурге не носили, — весь этот наивно-провинциальный шик молодого Куприна при их самой первой встрече у издательницы «Мира божьего».

Невысокий рост, миниатюрность, изящность отличали Лизу Гейнрих от высокой и статной Марии Карловны. Ее лицо было бледно-матовым, с большими серьезными карими глазами и очень темными волосами. Она не то что-

бы не следила за модой, но одевалась просто, и эта простота, и эта скромность ее платьев оттеняли ее своеобразную — как бы точеную — красоту.

По семейным преданиям, отец Лизы — Мориц Ротонн — был венгерский дворянин. Он участвовал в восстании мажяров 1848 года, был ранен, скрывался, переименовал фамилию на Гейнрих, бежал в Россию, где долго жил в Оренбурге, затем Перми. Женился на коренной сибирячке, занял большую семью, содержать которую помогало фотоателье: дело по тем временам непривычное и все-таки затейное им. Старшая дочь Гейнриха-Ротонна Мария, известная провинциальная актриса, вскоре сошла со сцены, став гражданской женой Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Она умерла на второй день после рождения дочери. На руках Мамина-Сибиряка осталась его новорожденная дочь Аленушка и Лиза Гейнрих, младшая сестра Марии. И вот тогда-то жизненные пути Марии Карловны и Лизы впервые скрестились. Дмитрий Наркисович отдал Лизу на воспитание Александре Аркадьевне Давыдовой, издательнице журнала и вдове директора Петербургской консерватории. Положение бедной воспитанницы было не очень-то завидным, но еще труднее ей было в семье Мамина-Сибиряка, который женился вторично. В довершение ко всему пошли сплетни, что Мамин равнодушен к младшей сестре прежней жены. Лиза решила на отчаянный шаг, — она поступила в Евгеньевскую общину сестер милосердия. А вскоре после начала русско-японской войны добровольно отправилась на театр военных действий... Бесконечные составы на транссибирской железной дороге, теплушки, заполненные ранеными, умирающими, больными тифом, дизентерией, даже чумой... Все это было так непривычно. И так страшно Лизе Гейнрих. Но ее жажда самопожертвования не знала предела... Маленькая сестра милосердия помогала больным и страждущим, чем могла. Она крепилась из всех сил. И все-таки глубокая личная драма в Иркутске — первая любовь к человеку, который оказался недостойн ее любви, — едва не довела молодую женщину до самоубийства...

В тяжелом состоянии она вернулась в Петербург. Александра Аркадьевна Давыдова умерла. Мария Карловна уже несколько лет была замужем за Куприным. Их свадьба — а венчал молодых самый модный в Петербурге священник Григорий Петров — стала событием в ар-

тистической и писательской среде столицы. Но когда Лиза появилась в Питере, Куприны были в отъезде. Они не знали, что их дочь Лидуша, или Люлюша, тяжело заболела дифтеритом. На правах дальней родственницы и одновременно сестры милосердия Лиза день и ночь выхаживала Лидушу — и выходила ее. Возвращение к жизни ребенка, которого, казалось бы, невозможно было спасти и которого полюбила Лиза, как-то неприметно помогло ей самой обрести душевные силы, поверить в себя и свое призвание — спасти близких, утешать их, жить только для них. Вот почему на предложение Марии Карловны поехать в Даниловское Лиза ответила согласием. Ее согласию был рад и Александр Иванович, который из-за неотложных дел отправился в новгородское поместье Батюшковых несколько позднее.

Плыл он от Рыбинска до Весьегонска и далее по Мологе до Устюжны на маленьком пароходике крестьянского общества. Десять лет спустя в рассказе «Груня», который писатель любил и неоднократно правил, с поразительной памятью он воссоздал детали этого путешествия. Конечно, не только из этой поездки, а из многих других, последовавших за нею, вынес Куприн запах машинного масла и краски от трубы, запомнил вид мужиков, которые сидели кружком на корме, ели руками селедку с хлебом, запивая ее водою, почерпнутой из-за борта пароходным ведром, и пламеневшей на небе вечерней зари, когда «в дальней темной деревушке все стекла горят праздничным красным закатом: точно там справляют свадьбу...». Он запомнил и простые разговоры пассажиров, их реплики о мастерах-черепахах, строивших барки-беляны, а летом спускавших их на Шексну, о пристанях, мимо которых проплывал пароходик. И возникал в его воображении образ Аграфены, попросту Груни, рассудительной и наивной, доверчивой и в чем-то лукавой, в чем-то себе на уме. Ее-то да еще красоту северной реки Куприн и противопоставил человеческой мелюзге, олицетворенной в образе петербургского сочинителя Гущина. Сей продукт околелитературной среды, которую Куприн глубоко презирал и превосходно знал по «Капернауму» и «Давидке», плывет в родные края «прильнуть к пуповине». Но ни живое чувство, ни простое челове-

ское слово не способны пробиться сквозь напыщенность и самовлюбленность Гущина.

Так всегда увиденное в жизни и примысленное к этим наблюдениям, возвышенно-лирическое и заниженное до иронии, до гротеска — взаимно переплетались у Куприна и образовывали сложную художественную ткань его повестей и рассказов. Этими же чертами отмечены произведения, замысленные в Даниловском или написанные там.

Едва Куприн приехал в Даниловское, едва он познакомился с ближайшими окрестностями усадьбы и устроил себе в башне для астрономических наблюдений рабочий кабинет, где плотники установили большой белый стол — такой стол был у него в Петербурге, — как поспешил сообщить другу:

«Дорогой Федор Дмитриевич, у Вас здесь великолепно. Низко кланяемся Вам и благодарим. Реку ищу второй день, но не могу найти. Впрочем, не отчаиваюсь... Внизу цветет сирень, в саду кричат птицы — чудесно...

Жму Вашу руку. Ваш А. Куприн».

Несколько в ином настроении была Мария Карловна Давыдова-Куприна. В письме от 6 мая 1906 года тому же Батюшкову она жаловалась: «Если с Алекс. Ив. спадет «увлечение деревней» и он будет надолго уезжать или пропадать, по своему обыкновению, на целую ночь, то мне будет немного страшно. Полы трещат, всю ночь скребутся мыши, комнаты большие и пустынные — так и ждешь, что где-нибудь появится приведение».

Но «увлечение деревней» не спало с писателя ни в то лето, ни в последующие годы, хотя ради справедливости заметим, что мрачные предчувствия Марии Карловны подтвердились: «привидение» было в этом старом-престаром доме.

«...Пожалуй, во всем Устюженском уезде, — писал Куприн в «Завирайке» — каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в Даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам эта нога ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении».

Эти рассказы о мертвой ноге казались писателю

смешными и вздорными, однако как-то, роясь на чердаке среди пыльного векового мусора и хлама, он наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формой похожий на футляр для музыкального инструмента, а пожалуй, и на гроб. Футляр был тут же открыт: в нем лежала нога, но вовсе не мертвая, а искусственная, обтянутая превосходной голландской замшей. Тут же был найден и костыль к ней.

В чем же дело? Как попал этот черный футляр в дом Батюшковых? Как узнал его историю Куприн?

А все от того же Федора Дмитриевича — он-то и раскрыл секрет искусственной ноги и Куприну, и другим гостям даниловской усадьбы — среди них следовало бы упомянуть Ивана Бунина, правда побывавшего в Даниловском позднее, в декабре 1909 года.

Оказалось, что протез принадлежал Николаю Ивановичу Кривцову, участнику сражения при Кульме 18 августа 1813 года, герою Отечественной войны. В Кульмском сражении генерал Кривцов был тяжело ранен — лекари отняли ему ногу. Дочь Кривцова вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова, сводного брата Константина Николаевича, и после смерти отца отправила его искусственную ногу, — по своей странной прихоти, — в усадьбу родственников мужа, в имение Даниловское. Там этот предмет — в прошлом веке почти не было производства протезов — пролежал вплоть до Октябрьской революции. Коммунары, жившие в имении в голодные и трудные годы, нашли его, смекнули, что толстой замшей можно подшить не одну пару валенок, и пустили эту замшу в дело. Вот какое послесловие к истории с даниловским «привидением», иначе сказать, протезом генерала Кривцова, стало известно мне от Аркадия Васильевича Боброва, хранителя Даниловского музея. Сам же купринский рассказ «Завирайка» посвящен отнюдь не этой, на первый взгляд, забавной находке на чердаке, а мужеству и верности охотничьего пса Завирая, спасшего от верной гибели собачонку Патрошку.

...Библиотека — вот что сразу же привлекло внимание Куприна в Даниловском: Александр Иванович любил читать запоем, забыв все и вся, а библиотека в этом смысле — немалый соблазн. Еще бы! Она собиралась Батюшковыми едва ли не полтора столетия, и числилось в ней несколько тысяч томов. В ней были сотни книг на фран-

цузском и немецком языках, были книги по истории литературы и философии, книги с пометками Константина Батюшкова, книги, приобретенные его отцом, его братом Помпеем Николаевичем и внучатым племянником Федором Дмитриевичем. Но все-все в этом обветшалом доме погибало от плесени и сырости: и редкие издания, и старинная портретная галерея в двухсветном зале, и разбитые, с пожелтевшими клавишами клавикорды, и разрозненная мебель полупустых комнат. Куприн не преминул отметить запущенность даниловского особняка. Но по-прежнему он дни и вечера проводил в библиотеке. Как-то, по воспоминаниям Марии Карловны, Куприн взял том Державина, захлопнул его и, сказав: «Открою что-нибудь наугад», прочел:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей...

— Какое великолепное стихотворение! — воскликнул Александр Иванович. — Звучное, торжественно-пышное и в то же время полное глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все мне казалось мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет теперь называться...

2

Лето выдалось жаркое, сухое. На деревенском пруду Куприн решил построить купальню. И построил ее с помощью даниловских мужиков: к купальне вели длинные мостки, перила оплетали березовые ветки...

Еще по росе, когда все кругом было сковано утренней дремой, когда солнце, едва поднявшись над лесом, осыпало усадьбу первыми лучами, Куприн уходил на пруд. Чмокание мелкой зыби о настил, шлепки ладоней о воду, фыркание купавшегося человека — далеко разносились над прудом. После купанья Куприн растирался простыней, приглаживал стриженные ежиком, начинавшие сидеть волосы, садился на мостки и блаженно щурился на солнце. В эти мгновения его охватывала необыкновенная радость жизни. Он вообще любил все плотское, телесное, земное особенной, может быть, языческой любовью.

Жизнь мудра,— думал он,— жизнь прекрасна. И надо поклоняться жизни, славить, как славят ее мычание коров, топот стада по деревенской улице, визг ласточек, пролетающих над прудом. И верить свято, что все воскреснет — и чмокание воды, и крик ласточек над водой, и чья-то блаженная истома в теле...

Пока Александр Иванович шел к дому, он жадно примечал стрекозу, неподвижно застывшую над кувшинкой, стожок свежего сена, белопенный, голубоватый, фиолетовый вал сирени, расплескавшейся по всей усадьбе. Он все примечал, вбирал в себя и ожидал от жизни дальнейших чудес и перевоплощений.

На открытой веранде сидела Лиза Гейнрих. Она шла, склонив голову над шитьем. Трогателен и нанвен был кружевной воротничок, охвативший ее плечи. Свободны и ловки движения рук. Застенчивы девичьи ноги. Куприн был рад и этой мимолетной встрече, как будто венчавшей всю ту красоту, что ему довелось видеть с утра.

Жизнь в Даниловском шла спокойно, может быть, лениво от деревенского воздуха, деревенского молока, деревенской жары, непривычных для петербуржцев. Куприн, и никогда-то не любивший условностей в быту, здесь дал себе полную свободу. Он ходил в просторной блузе, тюбетейке и каких-то шлепанцах на босу ногу. И блуза и тюбетейка делали ощутимее татарские черты его лица. Да и ото всей его плотной коренастой фигуры веяло древним Востоком. Это всегда чувствовали близкие ему люди. «Хозяин в тюбетейке, приземистый, как дуб...» — писал о нем Саша Черный. Сам Александр Иванович гордился татарским происхождением. И здесь, в Даниловском, в родовом имении Батюшковых он не прочь был вспомнить своих предков.

Его прадед со стороны матери — князь Куланчаков, происходивший из князей Касимовского царства, был пожалован поместьем в Наровчатовском уезде Пензенской губернии...

Впрочем, на этом воспоминания, исполненные почтения к своим предкам, пожалуй, можно было кончать. И начинать совсем иные. К моменту рождения Александра Ивановича от поместий и княжеского величия не осталось и следа. Но все-таки его мать, Любовь Алексеевна,

урожденная княжна Куланчакова, унаследовала от родичей и гордость, и вспыльчивый нрав и передала все это своим детям. Она вышла замуж за мелкого канцелярского чиновника Ивана Ивановича Куприна, который в 1871 году скоропостижно скончался от холеры, оставив после себя большую семью без всяких средств к существованию. Мать переехала во Вдовый дом, в Москву... Саша, последний сын в семье Куприных, был определен в Разумовский сиротский приют. «Поруганное» детство, юность, проведенная в казармах кадетского корпуса, молодость, прожитая в захолустном пехотном полку, — вот главное, что повлияло на характер Куприна и навсегда внушило ему отвращение к муштре, к чиновничеству, ко всем формам унижения человека и ограничения его свободы.

Все светские ритуалы и обычаи, которые должен был выполнять Куприн в Петербурге, вызывали в нем озлобление: вольно или невольно это скрытое озлобление он переносил на свою жену Марию Карловну. А она не хотела или действительно не замечала, насколько тяжело было для Куприна это, как он грубовато говорил, «выдрючивание» перед богатством и знатностью других. Просто житейски он был довольно стихийной натурой. Но эта стихийность не была врожденным свойством, а скорее служила средством защиты самолюбивой и легко ранимой души писателя. Увы, Марии Карловне, вероятно, не дано было это понять.

...Куприну не сиделось в рабочем кабинете, созданном в пристройке для книжных уединений, так называемой башне. Он хотел осмотреть окрестности, познакомиться с лесниками, объездчиками, крестьянами, дворянами — вообще жителями деревень, окружавших Даниловское. Но мать — по привычке, выработанной во Вдовьем доме, — днями сидела за преферансом, благо на лужайке, под сиренью, стоял ломберный столик, а в ящике были щетки и цветные мелки. Ее партнерами стали Николай Карлович, Яков Антонович и кто-нибудь из домашних. Лиза сказала, что нездоровой. Мария Карловна углубилась в чтение старых номеров некрасовского «Современника».

Но однажды после утреннего чая Куприн увлек ее рассказами об удивительном, почти первобытном устю-

женском Высоком лесе. Там ландыши, говорил он, коз-
ром покрывают поляны, огромные кулики парят в воз-
духе, держа крылья неподвижно несколько секунд, тете-
рева тяжело и шумно взлетают из-за зарослей чере-
мухи...

Правда, до Высокого было довольно-таки далеко. И когда они подошли к лесу, Мария Карловна откровенно устала; кроме того, она была раздражена дальней дорогой, зноем, от которого ее не спасал парижский зонтик, высокими зашнурованными ботинками, натрудившими ей ноги.

В отличие от мужа, Марии Карловне Высокий лес никак не понравился. Вместо чистых полей бросились в глаза завалы сучьев, переплетенных травой, вместо белой черемухи — болото, пахнувшее гнилью, тиной и сыростью, пронизывающей до костей. Больше совместных прогулок они не повторяли...

Рассказ «Река жизни», над которым Куприн работал в башне, был закончен. В середине июля Мария Карловна отправила его в журнал, присовокупив весьма сдержанный — в две строчки — отзыв: «...Заглавие несколько пышно, но рассказ удачен... Александр Иванович просит скорее набрать и выслать корректуру для правки».

А Куприн уже начал новый рассказ «Как я был актером...» Впоследствии эта небольшая новелла стала подлинной жемчужиной в творчестве писателя...

Из окон башни, где работал Александр Иванович, виднелись вершины господского парка, крест домово-
й церкви, ограда кладбища, дальше — молодая рожь, ходившая под ветром волнами, деревеньки в кущах деревьев — и по всему горизонту леса. Засмотревшись в окно, Куприн вроде бы сбился с горько-иронического тона, в котором хотел выдерживать повествование, вроде бы задумался о другом, о чем мучительно размышлял все это время... А когда вернулся к столу, то отодвинул черновик рассказа и взял чистый лист бумаги.

Он вспоминал необыкновенно важный разговор, который они вели здесь, в Даниловском, с Федором Дмитриевичем перед отъездом последнего в Петербург... Набросав краткое вступление, Куприн помедлил секунду и продолжил:

«Теперь о любви,— писал он.— Я раньше всего скажу, что никаким афоризмом этого предмета не исчерпать... Лучше всего определение математическое: любовь — это вечное стремление двух равных величин с различными знаками слиться и уничтожиться; прибавлю от себя — в сладком безумии... Но глубочайшая тайна любви именно и заключается в том, что в результате получается не О, а З. Любовь — это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я. Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви!..»

Федор Дмитриевич вряд ли получил это письмо — в конце июля он неожиданно нагрязнул в имение. С его появлением круг знакомств стал расширяться. Первой и самой памятной для всех поездкой оказалась поездка на хутор Свистуны. На хуторе в летнее время жила Вера Уваровна Сипягина-Лилиенфельд, известная пианистка, профессор Петербургской консерватории. Федор Дмитриевич полагал, что там можно будет послушать настоящую музыку. И его предположения оправдались. «Аппассионата», которую Вера Уваровна исполнила с необыкновенным чувством, произвела на гостей глубокое впечатление.

Вернувшись в Даниловское, и Александр Иванович и Федор Дмитриевич до рассвета бродили по темным аллеям парка. Они говорили о музыке, о том, какая это великая и жестокая сила, как она помимо воли человека будит в нем забытые чувства и желания, заставляет страдать или плакать от восторга; они вспомнили Великого старика и его «Крейцерову сонату», вспомнили бедного питомца муз, который столь изощренно слышал музыку русской речи, что даже, потеряв рассудок, в безумии, повторял страшные по смыслу и по той же изощренной звукописи слова: «И кесарь мой — святой косарь...» Увы! Батюшков навсегда забыл гармонию небесных сфер, что так чисто звучала в его прекрасном стихотворении «О память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной...». Да мало ли еще о чем могла идти речь в эту лунную и тихую ночь, как будто созданную самим всевышним для бесед о музыке, о поэзии, о любви...

Скоро Федору Дмитриевичу Батюшкову потребовалось поехать в Кесьму, другое наследственное имение на другой стороне Мологи. Вместе с ним в просторном

экипаже согласились поехать Мария Карловна, Николай Карлович, дядя Кока, и Яков Антонович, его неизменный компаньон.

3

...Над прудом густо вилась мошкара, резче, чем обычно, кричали ласточки. Разлохматившиеся по краям облака то и дело заслоняли солнце. С башни было видно, как ветер волнами шел по кустарнику, трепещущая листва от ветра становилась матовой, а в парке что-то трещало и рушилось.

Весь день Александр Иванович часто спускался в библиотеку, брал какую-нибудь книгу, перелистывал ее, бросал, подымался к себе наверх. Затем снова спускался, заглядывал в комнату матери и опять подымался к себе. Ему как будто передавалось тягостное напряжение и беспокойство, господствовавшие в природе... Лиза нигде не появлялась...

Тучи выше громоздились в небе, яснее слышались прежде отдаленные раскаты грома... Неожиданно Куприн различил легкие шаги на лестнице: это Лиза поднималась к нему. Она вошла, поставила на стол глиняный кувшин с крепким домашним квасом, который Александр Иванович любил отхлебывать во время работы. Лицо ее было бледнее обычного, но без следа тревоги или волнения. Напротив, доброта, всегда исходившая от нее так же просто, как свет и тепло, теперь была особенно ощутима в ее позе, жестах, глазах.

— Лиза!..— только и сказал Куприн. Лиза мгновенно поняла, что сейчас должно произойти что-то такое, что она невольно ждала с той самой памятной и давней встречи у Михайловского, когда молодежь так много пела под гитару и так тесно сидела на диване, похожем на старый почтовый дилижанс. Ведь именно тогда его мягкие глаза стали на какой-то миг еще мягче и глубже...

— Что вы делаете со мной?..— не сказала — выдохнула Лиза, ибо ее первым чувством был испуг — перед тем немыслимым и неизбежным, что должно было сейчас совершиться.

Ярко-белым трепетным блеском озарило башню, и немедленно угрожающий треск просочился откуда-то

сверху, из клубящейся мглы, чтобы сразу же прокатиться с тяжелым грохотом по всему небу.

Ночью Куприн вставал часто курить возле окна. Розовело белое небо, поблескивала первая утренняя звезда, благодарно клубилась земля, освеженная грозовым ливнем. Потом он лежал с закрытыми глазами и все пытался вспомнить пушкинское подражание «Песне Песней»: «Склонись ко мне главою нежной... главою нежной...» Дальше он забыл... С мыслью, что надо завтра бы найти стихи Пушкина, — с этой мыслью он и заснул предутренним беспокойным сном.

После грозы в даниловской усадьбе поселилось ожидание тревожных событий. И они не замедлили последовать.

Из Петербурга пришло известие: царское правительство закрыло журнал. Ф. Д. Батюшков, как ответственный редактор, будет привлечен к суду.

Яков Антонович чистил браунинг, с которым никогда не расставался дядя Кока, и случайно нажал на спуск. Он ранил себя, прострелив пулей бедро.

Елизавета Морицевна, без объяснения причин, выехала в столицу.

Александр Иванович стал надолго пропадать в Устюжине у своего нового знакомого — доктора Рябкова.

По всему было видно — пора возвращаться в Петербург.

Осень того же года тянулась необычайно долго. Поездка в Балаклаву, где Куприн приобрел участок земли с виноградником, поездка в Петербург, снова поездка в Даниловское...

Из Устюженского уезда Куприн писал Федору Дмитриевичу: «В Даниловском мне все-все напоминает лето и ее и Люлюшку. Ты ведь понимаешь всю горькую сладость и неисходную тихую печаль этих воспоминаний...»

Горевать Александру Ивановичу было из-за чего: Елизавета Морицевна исчезла бесследно.

Много лет спустя Ксения Куприна так писала

в своей книге мемуаров: «Она была слишком честной, ей совсем не было свойственно кокетство. Разрушать семью, лишать Люлюшку отца казалось ей совершенно немыслимым, хотя и у нее зарождалась та большая, самоотверженная любовь, которой она впоследствии посвятила всю жизнь».

Печаль Куприна накапливалась и, словно поток перед плотной, разом прорывалась приступами гнева и ярости. В такие минуты он терял власть над собой и бешеной скороговоркой говорил, говорил, говорил жестокие слова.

Однажды, когда Мария Карловна вернулась из театра с премьеры «Жизнь человека» Леонида Андреева, она застала дома Бунина и Куприна. Ссора началась из-за пустяка: зная болезненное самолюбие мужа, Мария Карловна стала расхваливать достоинства пьесы.

«Мой ответ взбесил Куприна,— пишет она.— Он схватил со стола спички, чиркнул, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол. Я была в черном газовом платье. Платье загорелось. У Александра Ивановича начались приступы неврастении...»

Разрыв между супругами стал фактом, известным всему литературному Петербургу. Куприн снял номер в гостинице «Пале-Рояль»... Но, как бывало с ним в тяжелые минуты, начал сильно пить,— в окружении все тех же «эфиопов». Федор Дмитриевич, обеспокоенный таким поворотом дел, бросился спасать своего друга. Но прежде надо было разыскать Лизу Гейнрих. Он употребил все связи, все знакомства, чтобы найти ее следы. И в конце концов нашел в госпитале для заразных больных, за высокими стенами которого она решила добровольно себя заточить на долгие годы. Уговоры Федора Дмитриевича ни к чему не привели,— напрасно он убеждал Лизу, что разрыв между Марией Карловной и Александром Ивановичем неизбежен, что Куприн совсем потерял голову, что он погубит свой талант. Все было напрасно. Единственно, на что согласилась Лиза,— поехать в «Пале-Рояль» и навести в номере какой-никакой порядок. Однако вид стола, заставленного бутылками, вид какого-то «эфиопа»,

который спал на диванчике, вид самого Александра Ивановича, усталого, обрюзгшего, как будто изнуренного долгой болезнью,— все настолько потрясло Лизу, что о возвращении в госпиталь она уж не смела говорить. Лиза знала, что только ее любовь, самоотверженность, верность могут спасти, могут отвести беду от этого дорогого и отныне самого близкого ей человека. Куприн же с великим облегчением подумал: нет, он не ошибся в основном и неизменном Лизином свойстве,— быть доброй, кроткой, милостивой ко всему: к цветам, к зверям, к рыбам, к предкам, к человеческим ошибкам и неловкостям. Ко всему! И ей — ах, как это прекрасно,— ведь ей это ничего не стоило.

В марте 1907 года Куприн с Елизаветой Морицевной Гейнрих уехал в Финляндию на отдых и длительное лечение.

4

Лето и осень Куприн снова провел в Даниловском. Но теперь он здесь был только с Лизой, с которой старался не разлучаться на долгий срок... В Даниловском все осталось по-прежнему: библиотека Федора Дмитриевича с окнами в палисадник, анфилада пустынных холодных комнат, старинный парк и даже купальня на пруду, которую так и не разобрали зимой на дрова. И все же думалось, что окрестная природа Севера стала скромнее, а господский дом и господский парк — запущенней и глуше. Нередко лунными ночами, когда в тени от вековых лип и вязов было особенно томительно, особенно грустно, как от всякой большой красоты, уже не с Федором Дмитриевичем, а с Лизой Куприн бродил по тропинкам, заросшим травой. Обладая даром говорить ярко и живописно, он изнемогал от картин, рисовавшихся его воображению, от блеска золота, сверкания драгоценных камней и алого пламени одеяний. Именно Лиза Гейнрих возвратила Куприна к давней мечте: пересказать библейскую «Песнь Песней», воспеть самоотверженную любовь Суламифь, простой девушки из виноградника, к повелителю и великому поэту древности Соломону.

«Теперь роюсь в Библии, Ренане, Веселовском и Пыляеве,— сообщал он В. А. Тихонову,— потому что пишу не то историческую поэму, не то легенду... Что выйдет — не видно,— продолжал писатель с долей самонронии,— но задумано много яркой страсти, голого тела и другого. «Аромат ноздрей твоих, как запах яблок. Не уклоняй очей твоих от меня, ибо они волнуют меня». И все в таком роде...»

Несмотря на шуточный тон письма, Куприн тщательно отделял текст исторической поэмы, многократно правил одни и те же главы. Он хотел создать гимн любви и красоте, он пересыпал речь блесками афоризмов, пышных метафор, велеречивых описаний древневосточных дворцов. Его ритмизованная проза звучала как стихи, но была по существу своему прозой.

«Так посетила царя Соломона... его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит — царица, потому что любовь прекрасна!»

Работал Куприн все в той же башне для астрономических затей. По давней привычке, он подходил к окну, бесцельно и бездумно смотрел на осенние пажити и перелески, на свинцово-сизую гряду облаков, залегших у горизонта. И по контрасту вызывал в памяти шершавые грубые камни Балаклавы, узкое горло балаклавской бухты, той самой, в которой Одиссей увидел кровожадных листригонов... Он вызывал в памяти длинную гору, увенчанную развалинами крепости, которую воздвигали генуэзцы. Вспомнились ему ограды, сложенные из плитняка, глинобитные стены домиков, увитых лозами винограда. Вот девушки в легких голубых одеяниях идут к каменному колодцу...

Вот ослик, покачивая связку хвороста, подымается в гору...

Отсюда, из этой памяти, он черпал исторические подробности и самый фон легенды, без которых она действительно стала бы похожа на великолепную пустыню, а не на ту далекую каменистую землю, где жили, любили и умирали до него люди.

Верилось Куприну: создатель этой земли был великий художник, ибо провел он круговую черту по лицу бездны! С тех пор любовь — это ослепительный круг, озаряющий все сущее и живое в мире; смерть — черный круг, обнажающий провал в небытие. В этом многоликом времени и пространстве вещество то рассыпается, то повторяется вновь. И человек то возникает под солнечным кругом, то исчезает в бездне небытия. Но из человеческого ума, вдохновения, таланта рождается, как из праха, новая Суламифь; она не боится смерти и не дорожит жизнью.

«Ложе у нас — зелень. Кедр — потолок над нами... Лобзай меня лобзаньем уст своих. Ласки твои лучше вина...»

5

Историческая поэма «Суламифь» была напечатана в альманахе «Земля» за 1908 год с посвящением И. А. Бунину. Как Куприн и ожидал, столичные критики новую вещь встретили по-разному. Одни полагали, что превосходному бытописателю Куприну не к чему было трогать «Песнь Песней», — это, мол, и без него хорошо; что, написав свою историческую поэму, Куприн как будто удалился от запросов современности... Другие, вроде А. Измайлова, рассудили иначе: современное содержание поэмы они увидели в резком контрасте между стихийно-свободной, языческой страстью и пошлым суррогатом любви в современном мире. Эти критики, безусловно, оказались правы. Поэзия беззаветной любви есть у Куприна не только в его исторической легенде «Суламифь», но и в «Гранатовом браслете», «Леночке», «Трамвае»...

Однако надо сказать и другое, а именно: писатель до тонкости знал обывательскую психологию, знал способы и формы унижения человеческой личности,

опошления самых высоких и благородных чувств. Вот почему в башне для астрономических затей им были исполнены вещи, различные по тематике, жанрам, стилю, но единые в одном — в верности «проклятым» вопросам эпохи.

Бывали у Куприна мгlistые, вьюжные вечера, когда окающая, мертвая, зеленая скука обволакивала его мозг и парализовала тело. Но большую часть пребывания в Устюжне и имени Батюшковых он был удивительно жизнедеятелен, энергичен. Теперь часто выезжая в Устюжну — и не только в питейное заведение гостиницы «Орел», — писатель принимал участие в различных начинаниях местной интеллигенции, например, в любительских спектаклях. С неподдельным юмором он рассказывает в одном частном письме о таком спектакле: «Ставили мы здесь в Устюжне «Дядю Ваню». Я играл довольно скверно Астрова. Дама, игравшая со мной профессоршу, так испугалась дикого влюбленного пламени, сверкавшего из моих глаз, и сцены объяснения, что забыла роль и только порывалась убежать. Но я держал ее за талию как стальными клещами и шептал: «Ты придешь? Да?..»

Елизавета Морицевна, бывавшая с Куприным в Народном доме еще до премьеры, этот эпизод дополнила другими забавными штрихами: «Из озорства Александр Иванович вкладывал в поцелуй много пыла. Во время репетиции провинциальная дамочка в смущении восклицала: «Дайте атмосферу!! Мне не хватает атмосферы!»

По всему очевидно, что Куприн не был затворником в башне для книжных уединений, что его трогала, веселила, а подчас и гневila каждодневная жизнь устюжан. Куприн вообще намеревался написать о Даниловском цикл рассказов, такой же, как «Листригоны». И даже нашел название для этого цикла — «Уездный город». Его «писучий периуд», как он шуточно называл этот прилив творческих сил и замыслов, доставлял ему немало счастливых минут...

А сколько радости приносила Куприну охота с гончими на зайцев-беляков, медвежьих и волчьих облавы в густых лесах Устюжны! С каким чувством волнующей, приятной бережливости ступал герой рассказа «Черная молния» на ровный, прекрасный, ничем

не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче поддавшийся под ногою! И если обывательское болото, представленное в том же рассказе господами и дамами из устюженского «высшего круга», нашло в лице Куприна страстного обличителя, если образованные и необразованные мещане, у которых дома — каменные, а сердца железные, — платили писателю потаенной злобой, то сельские учителя, крестьяне, охотившиеся вместе с Куприным, сохранили о нем самую добрую память.

...В 1906 году в Никифоровской министерской школе была устроена елка в честь попечителя школы. На елку приехали Александр Иванович Куприн, Евсей Маркович Аспиз, балаклавский знакомый писателя, и еще кто-то из петербургских гостей. О. П. Мстиславская, молоденькая учительница, хорошо запомнила импровизированный детский спектакль на этой елке. Среди других номеров ученица Нюра Дмитриевская и мальчик-ученик прочитали в лицах басню Крылова и были с одобрением встречены взрослыми зрителями. Такова предыстория рассказа «Попрыгунья-стрекоза». Но рассказ — не документальный очерк, это — художественное произведение. Детская елка в Никифоровском послужила писателю канвой для горестных размышлений о разобщенности народа и интеллигенции, о той пропасти непонимания, которая разделяла тех и других.

В окружении бедных деревень, лесов, пашен, среди населения, которое говорило на непонятном, певучем, цокающем и гокающем языке, Куприна нередко посещали мысли о неизбежном крушении всего существующего миропорядка. Эта мысль и радовала и ужасала писателя. При виде обывательской трясины он страстно вопрошал: «Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?» И страшился грядущего возмездия, страшился многомиллионного великана, этого, как писал Куприн, ребенка и зверя, этого мудреца и животного. Вот почему «проклятая фраза»: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши», исполненная хором деревенских учеников, которые пришли в школу из глухих и заброшенных деревень, стала грозным предупреждением кучке интеллигентов, столпившихся в

комнате, особенно приезжим господам, людям свободных профессий. В воображении одного из них и возникает символический образ великого и самого угнетаемого народа на свете — русского народа.

«Что нас связывает с ним? — думает рассказчик. — Ничто... Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наши богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято в Параскеву Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане...»

И грянула революционная гроза, в огненном сверкании которой Куприну все чудилась коварная мужицкая улыбка — «так поди же попляши», — чудилось возмездие за неисчислимые страдания, за ту духовную темноту и безграмотность, в пучину которых бросило народ самодержавие.

В конце 1920 года участнику революционных событий в Череповецкой губернии, крестьянскому ходоку Ивану Васильевичу Тимохину довелось побывать в Москве. Мало того — побывать, но и переговорить с Владимиром Ильичем Лениным. Тимохин рассказал Владимиру Ильичу о крестьянских думах и настроениях, постарался начистоту изложить просьбы крестьян.

— Ну, а теперь скажите, — внезапно спросил Владимир Ильич, выслушав ходока, — как у вас используются бывшие помещичьи усадьбы?

Тимохин ответил, что почти во всех организованы совхозы и коммуны.

Именно такая сельскохозяйственная коммуна и была организована в селе Даниловском, в бывшем имении Батюшковых, перешедшем в руки народа.

Куприн же, находившийся в то время в эмиграции, счел возможным и нужным сказать не о бессмысленном варварстве крестьян, не о разрушительных якобы наклонностях русских людей, как утверждали другие писатели-эмигранты, а об уважительном отношении устюжан к профессору Батюшкову, который скончался в 1920 году.

«Его очень любили простые люди, — писал Куприн. —

Соседские с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Тристенки, Бородино, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили его землю между собой... но все, как один, решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблок не красть и, спаси господи, не трогать книг...»

Примечательно это крестьянское «спаси господи», передающее и отношение Куприна к устюженским крестьянам, и отношение крестьян к книжным богатствам Даниловского имения.

«Последняя моя встреча с Федором Дмитриевичем,— продолжал Куприн,— была в конце 19-го года, на углу Садовой и Инженерной. Он шел в публичную библиотеку и остановился взять с лотка полугнилое яблоко. Я спросил — зачем? «Это мой завтрак...» Он умер от истощения.

Целую землю, под которой ты лежишь.

А. Куприн».

6

...Куприн тосковал в эмиграции по Родине. «И так хочется,— писал он Илье Ефимовичу Репину,— настоящего снега, русского снега — плотного, розового, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снега, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба...»

Кто знает, может быть, в тот самый миг, когда складывались строки письма, Александр Иванович думал о Даниловском, о сугробах, засыпавших усадьбу, о мужиках, ходивших вместе с ним на охоту. В его рассказах эмигрантской поры немало превосходных описаний северной природы, немало обращений к «бывалому и бывшему», ко всему, что оставило в его душе глубокий след, навсегда отпечаталось в памяти. Не случайно Константин Бальмонт в стихах, посвященных Куприну, подчеркнул прежде всего эту — глубоко русскую — особенность его облика и его произведений:

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один, —
И Россию чуют ближе
Мне дает всегда Куприн...

Чиркнет спичкой он ли, я ли,
Две мечты плывут в окне,
Курум мы — и нет печали.
Чую брата в Куприне.
Так в России звук случайный,
Шорох трав и гул вершин
Той же манит сердце тайной,
Что несет в себе Куприн...

И если уж Константин Бальмонт, всегда мечтавший быть гражданином вселенной, пишет теперь, как он томится тоской по России, то что говорить о Куприне?! Ведь его сами писатели-эмигранты считали наименее приспособленным к жизни за границей.

...Все бедствия, мытарства, скитания по дешевым отелям и чужим квартирам разделяла теперь с Александром Ивановичем его жена Елизавета Морицевна, или просто милая Лиза, как он чаще всего ее называл. Вместе с Куприным Лиза мечтала занять хотя бы маленький домик, только чтоб этот домик был подальше от уличного движения, от шума, от грохота, поближе к тишине, зелени, природе, без которых не мог жить Куприн. Иногда им удавалось снять такой домик...

На одной из фотографий парижского периода показан крохотный участок, отгороженный железной двухметровой оградой от улицы Монморанси, где Куприны прожили десять лет. Низ этой ограды для прочности еще обтянут металлической сеткой. Напротив — такие же ограды, отделяющие дома от мостовой. Куприн — в самом центре снимка, который сохранил и растерянный взгляд писателя, и недоуменно поднятую руку, и канцелярские ножницы; этими ножницами он намеревался состричь какую-то чахлую ветвь. Как ни бился Куприн вырастить цветы — ничего не получалось: зелень гнила в этих железных клетках.

Бывая на прославленных площадях и бульварах Парижа, сливаясь с толпой парижан, вдыхая бензиновый угар, впечатывая подошвы ботинок в раскаленный асфальт, Куприн все время вынашивал слова признательности и любви к далекой Родине. Его всюду мучила «молчаливая тупая скорбь о том, что уже не пла-

чешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России...».

Даже в письмах Александра Ивановича, обращенных к заграничным корреспондентам, он постоянно возвращается к мысли о России: то Куприну чудится совсем русская весна, тягучая, затяжная, медлительная; то он признается, что предполагал Атланту, город в США, каким-то провинциальным городишком, вроде Устюжны или Череповца; то, наконец, горько-горько пошутит: «Когда меня спрашивают: как поживаете?— я отвечаю: слава богу, плохо».

В рассказе «Завирайка», опубликованном в 1928 году в Париже, Куприн вновь припомнил лесную северную глухомань, семейные хроники рода Батюшковых, исторические легенды Железнополя, которые Александр Иванович знал со слов Федора Дмитриевича. И еще раз — с грустноватой усмешкой — описал он свое прежнее житье-бытье в старинном деревянном доме, построенном, как это ни парадоксально было признавать Куприну-эмигранту, — пленными французами... В этом доме отапливалась только одна комната, да и та отапливалась им самим. «Хотя, — с юмором добавляет Куприн, — я и сулил за пустяшную службу царскую плату, подумайте, целых три рубля в месяц».

Мелькнула и «черная молния» в одном из поздних стихотворений — «Розовая девушка». В нем — не скорбь и не гнев против всемирного мещанства, а отзвуки все той же северной провинции, но в элегическом, печальном тоне:

Ласточки веселые над пламенным закатом
Чертят черной молнией голубую даль.
Отчего ж душа моя печалью странной сжата,
Отчего мне вечера весеннего не жаль?
Ласкою мгновения я больше не обманут,
Знаю я, весенние вечера пройдут,
Улетят все ласточки. Все цветы завянут.
Розовые девушки состарятся, умрут.

...Не столь прямо и не столь непосредственно, но с тем же даниловским «писучим периудом» был связан и другой замысел Куприна. Писателю давно нравилась — в сравнении с «Суламифью» — библейская легенда о Рахили, о ее всепрощающей любви. Куприн с жаром откликнулся на предложение режиссера Тур-

жанского написать киносценарий. Однако, написав первую часть, он быстро охладел к этой затее и никогда не возвращался к ней.

По прихоти судьбы даже здесь, в дальней дали, едва не произошла встреча Марии Карловны, вышедшей замуж в 1910 году за публициста и критика Н. И. Иорданского, с Елизаветой Морицевной и самим Александром Ивановичем Куприным. Дело в том, что муж Марии Карловны в 1923 году был назначен советским послом в Италию. Между Римом и Парижем завязалась оживленная переписка, главным образом, по поводу дочери Лидии, которую когда-то в детстве звали Люлюшкой и которая к этому времени сама вышла замуж. Переписка так же шла и о предполагаемом возвращении Куприна на Родину. А встретиться Марии Карловне с Александром Ивановичем довелось только 1 июля 1937 года в Москве. Они едва узнали друг друга — такой бурной, такой глубокой оказалась для обоих «река жизни».

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Я не сразу полюбил стихи. Пожалуй, следовало бы сказать по-иному: лирические стихи, лирику в целом. И виновата здесь отнюдь не школа и не домашняя обстановка. Мне думается, что особая природа чувств, называемых также лирическими переживаниями, далеко не сразу становится доступной человеку... Все дальнейшие размышления на сей предмет были бы, вероятно, чересчур личными и субъективными, если бы они не отражали какие-то ступени, какие-то этапы понимания лирики теми людьми, которые эти этапы или не прошли, или, может быть, не уяснили до конца.

...Мне повезло в жизни на книги — они не были редкостью в нашем доме, они появлялись как бы сами собою, они были всегда, сколько я себя помню. Моя мать смолodu пристрастилась к чтению и сохранила эту любовь до конца дней своих. Но когда я был мал, она не покупала мне собственно детских книжечек с картинками. Да по правде говоря, и недостатки наши были не ахти какие, чтобы тратить на эти картинки добытый нелегким трудом заработок...

Среди родственников моей матери я больше всего любил ходить в гости к Елизавете Алексеевне Соколовой, окончившей до революции то ли прогимназию, то ли женские курсы и бывшей в тридцатых годах воспита-

тельницей детского сада. Жила она в конце городского бульвара, в комнатухе-мансарде с дочерью Ниной, моей ровесницей. Их дом — типичный деревянный особняк с деревянной же террасой и деревянными колоннами — таился во глубине двора между бывших служб и столетних вязов. Украшением дворика была клумба. В центре этой клумбы стоял столб, который венчался оранжево-фиолетовым, зеркальным, необычайно красивым в своих отражениях и бликах шаром, — модной когда-то затеей прежних владельцев этого самого дворянского особняка.

Пока мама с Елизаветой Алексеевной завершала долгое чаепитие, я, утонув в потертом кресле, раскрыл на коленях том баллад Жуковского... Мне почему-то всегда попадались такие старинные тома с золотым по красному фону тиснением, с плотной глянцевой бумагой, с портретом писателя, его факсимиле и множеством иллюстраций. Но однажды Елизавета Алексеевна позволила мне взять с собой другую книгу: внешне книга была совсем иной, в скучном бледновато-зеленом переплете с такой же скучной бледной виньеткой. Над виньеткой стояло одно слово: «Лермонтов».

Мое нетерпение было настолько велико, что на ближайшей же скамейке бульвара я наугад распахнул страницы и — попал на «Боярина Оршу»... Завечерело. Я еле-еле разбирал слова, но не мог оторваться от книги, в которой были только плотные, убористые — в две колонки — строфы стихов. Магическое действие напечатанного и магическое воздействие чтения на какой-то миг образовали волшебную взаимосвязь, — я перестал осознавать реальность, вернее, не она была для меня главным, а та внутренняя — полная красочных картин, голосов, криков, вздохов, стонов, — вторая реальность, в которой я обрел свое новое бытие. Не буквы, которые складывались в слова, и не слова, которые складывались в стихотворные строки, существовали передо мною — они как бы исчезли, как исчезают все шумы внешнего мира, как глохнут люди при внезапном грохоте или обвале.

Ни дома, ни в классе я не расставался с этой книгой. И чтобы заново испытать странное состояние, которое я не умел назвать и которое было наслаждением, воодушевлением, раскрепощением и еще чем-то таким, что напоминало настоящий сон, я предпочитал уходить

на городской бульвар, где башни кремля и старинные — с «итальянскими» окнами — особнячки как будто помогали мне заново пережить лермонтовские поэмы — «Демона», «Боярина Оршу», «Песню про купца Калашникова», «Тамбовскую казначейшу», «Сашку» и даже юнкерские поэмы, прочитанные в приложении к одному томику.

Незаметно для самого себя я подчас сворачивал во дворик Елизаветы Алексеевны, медленно проходил по дорожке, явно оттягивая тот момент, когда приближусь к цветочной клумбе. Теперь оранжевый шар был прямо передо мной. На его поверхности вмещалось все окружавшее меня: и дворик, и службы, и пристройки, и столетние вязы; но это был особый мир — очерченный шаром и все-таки бесконечный, плавно выгнутый и все-таки уходящий в глубину. Мир лермонтовских поэм чем-то напоминал мне этот сверкающий шар, который мог превратиться и в шаровую молнию, грозно, медленно, опасно проплывавшую над головой. Не случайно спустя много-много лет Ярослав Смеляков сумел выразить этот потаенный образ поэта следующей строкой: он, этот Лермонтов могучий, «как бы светящаяся туча, по небу русскому прошел».

Но — поразительно! — лермонтовская лирика не вызвала во мне того возбужденного интереса, который я испытывал, прочитывая его поэмы и драмы. Теперь-то я понимаю причину такого равнодушия, точнее — невнимания к лирическим стихам поэта. И дело, мне кажется, отнюдь не в одной лишь незрелости души, естественной для моего тогдашнего возраста... Нет, в поэзии для меня было важно, *о чем* написано произведение, была важна его сюжетная основа, его, попросту говоря, занимательность. С точки зрения этой занимательности и в какой-то степени повествовательности, правда, усиленных особыми свойствами стиха, я и подходил к Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Некрасову, а из зарубежных классиков — Байрону, Шиллеру, Гюго, Мицкевичу, Эдгару По, Лонгфелло. В собственно же лирических стихах, в «чистой» лирике надо было задумываться в первую очередь, зачем написаны эти строки, какие внутренние мотивы побудили поэта их написать, какие переживания он хотел выразить в слове. Постигнуть этот субъективный момент было неизмеримо труднее, чем вызвать в воображении сцены, эпи-

зоды, картины, созданные эпической кистью художника.

Многоструктурность поэтической мысли мне стала открываться позднее, когда я понял, что этот род искусства призван не только, предположим, удовлетворять читательское любопытство. И внешняя занимательность — фабульность — вовсе не главный признак поэзии, которая воздействует на читателя и музыкой, и смысловой светотенью, и эмоциональным контекстом, и просто красотой образа. Конечно, этими свойствами обладает и эпика, но здесь они как бы растворены, как бы «притушены» в общем повествовательном строе произведения.

Менее систематично и пристально, чем поэтов прошлого, я читал современных стихотворцев, хотя и бывал на «верхотуре» — в комнатенке под редакционной крышей, где собирались члены местного литобъединения и где звучало множество «оборонных» стихов, навеянных творчеством Прокофьева, Асеева, Луговского, Щипачева, Светлова и других столичных поэтов. На этих многочасовых шумных сборищах я ни разу не встречал человека в свитере, в галифе и крагах, похожего то ли на авиатора, то ли на спортсмена. А жаль. Этим человеком был Леонид Мартынов, живший в ту пору на Власьевской улице в домике, похожем на особнячки, изукрашенные деревянными кружевами, о которых я уже говорил. Если бы состоялась такая встреча, я, может быть, по-иному бы оценил тогда современную мне поэзию, увидел бы ее столь же неисчерпаемые богатства.

...Восьмым классом закончилось мое «классическое» школьное образование. Вологда раньше других городов России стала прифронтовым городом: случилось это еще во время финской кампании, когда многие городские школы были превращены в госпитали для раненых и обмороженных, заняты воинскими учреждениями, тыловыми частями. Занимались мы кое-как, обычно в третью смену, — не хватало дров, керосиновых ламп для освещения классов. А в сорок втором году, едва вернувшись с «картошки» и проучившись в десятом классе месяц-полтора, мы уже примеряли военное обмундирование. Не доспорив о стихах Лермонтова, о статьях Писарева, о докторе Ломброзо, теория «гениальной личности» которого волновала наши юные умы, мы разъезжались в запасные полки, военные училища, спецпод-

разделения. Наше поколение — «мальчики, рано начавшие носить оружие», — редело, таяло, сгорало в танках, подрывалось на минах, умирало от ран в медсанбатах. Но оставшиеся в живых, возвратившиеся после госпиталя в строй, проходили суровую школу войны — школу неистребимой веры в родной народ, его историю, культуру, язык.

Послевоенный сорок шестой год я встретил в своем городке. Сначала ходил на костылях, потом — опираясь на палочку, потом — просто так, как и все люди. И жить начинал заново, как и все люди.

Во время войны скончалась от тифа добрейшая Елизавета Алексеевна. Зеленоватый однотомник Лермонтова так и остался стоять на моей этажерке... Непрерывно подтапливая печь — торцы сырых дров шипели и пенились, — страдая от холода, угара, головной боли, я взялся перечитывать любимые мною поэмы — и не смог! Во мне все еще билось, дрожало, ходило ходуном пережитое на войне. А зима длилась и длилась так долго, что после лекций я невольно стал заглядывать в областную библиотеку, расположенную в бывшем Дворянском собрании. Там тоже было холодно: посетителям разрешалось сидеть в пальто. Курить мы выходили на парадную лестницу, обшарпанную, пропахшую хлоркой. Зато доступ к библиотечным фондам был свободным. И вот здесь-то, возле длинных стеллажей, я понял, как истосковался по книге, по ее виду, по разновеликим рядам корешков, даже по самому запаху пожелтевших страниц. И накинулся читать все подряд, без видимой системы, пытаясь хотя бы чтением восстановить в себе запас душевных сил.

...Как-то перелистывал я старый журнал, то был журнал тридцатых годов, бегло пропуская страницу за страницей. В конце, как обычно, шла критическая статья. В тексте — столбиком — стихи:

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь...

Странно!.. То же самое и я бы мог сказать, но сказано было лучше. Прочитал стихотворение до конца — и вернулся к началу. Было в нем что-то властное, что-то необходимое мне, вернее — не приукрашенное вообра-

женнем, как стародворянский бульвар. Это был окраинный переулок, подобный какому-нибудь нашему вологодскому захолустью.

...Затвори свои тесовые ворота
и плотней холстишкой окна занавесь...

Как такового сюжета в стихотворении не было, да и не важен мне был этот самый сюжет. Словно кадры рваной киноленты, склеенной невпопад, теснились они в моей памяти, возникали вновь и вновь в миг внезапного, по-фронтовому тревожного пробуждения.

Критическая статья, в которой встретилось поразившее меня стихотворение, была мною изучена от корки до корки. В ней говорилось о молодых поэтах Борисе Корнилове, Ярославе Смелякове, Александре Шевцове и некоторых других. Естественно, что в послевоенном сорок шестом году я ничего не знал и не слышал о них: были на то, как говорится, особые обстоятельства.

И вот порой у меня возникало такое ощущение, что я все время ходил где-то возле необозримых просторов, видел отдаленный плеск солнечных лучей, но зачерпнул горсть холодной воды только сейчас. Наверстывая упущенное, я старался теперь не пропускать ни одной стихотворной строчки, где бы они ни появлялись — в газете, журнале, альманахе, сборнике, даже отрывном календаре. В первую очередь лирика моих братьев-фронтовиков, решительно и напористо вступавших в большую литературу, стала для меня особым «личным» достоянием. Она-то, помимо всего прочего, и доставляла мне часы самопознания, необходимые человеку, побывавшему у жизни и смерти на краю. Да, именно так. Чем совершеннее были стихи, которые я находил в сборниках и журналах, чем сильнее в них выражалось чувство вероятного, того, что могло быть именно со мной, — тем охотнее я пользовался свободой сопереживания.

Ведь, как и всякий читатель, я «примерял» к себе, к своему опыту, знанию жизни, мироощущению сказанное поэтом — и делал это произвольно, как бы отодвигая свое «неверие» на задний план.

И тогда-то лирика Лермонтова стала возвращаться ко мне, возвращаться в неведомой раньше глубине и силе поэтического чувства, мысли, которые — отзвуками — продолжали жить и в стихии современного стиха.

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть...

Да, теперь я понимал исходное чувство поэта: оно было в том, чтобы выразить наисложнейшее — человеческое в человеке, и не в каком-нибудь там прославленном герое древней Руси, а в простом неизвестном армейском офицере, покрытом окровавленной шинелью и мучительно-трудно ронявшем редкие слова: «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!» Эта лирика освещала мой внутренний мир особым светом духовности, а освещая, творила его заново, приближала, возвышала до гениально-человеческого, что было, в сущности говоря, и вечно желаемым и вечно непостижимым. А ведь совсем недавно в моей угарной комнатке Лермонтов казался мне лишь памятью о нашей юности, когда история взыскующе и строго смотрела на нас из-под боярских шапок и позолоченных шлемов, когда мы остро чувствовали, какой тоской был томим Арсений, какую душевную рану таил новгородец Вадим, какой страстью был испепелен Мцыри. Чувствовали, но, увы, не понимали. И лишь сейчас я могу словесно выразить те давние чувства, так пылко и неосознанно волновавшие нас. Лермонтов был духовно нам близок тем, что он свершил великое открытие — открытие красоты свободы! Для его мятежной, мятущейся натуры, сдавленной жесточайшим режимом, для его душевных исканий свобода была высшей ценностью жизни, высшей ее красотой.

Что же касается других моих размышлений о свойствах и особенностях лирической поэзии, то одно сравнение и до сих пор не покидает меня. Как в зеркальном, мерцающе-оранжевом шаре, реальность оказалась замкнутой и в то же время бесконечной, спроецированной в глубину предметов, в самое средоточие их, где таилось мое «я», так и в лирике — в глубине замкнутого и бесконечного мира — непременно просматривается «я» художника, а стало быть, и твое собственное «я». Однако имеется здесь одно отличие, которое мне довелось уяснить несколько позднее. Оказывается, в произведениях художника важна такая природа чувств и переживаний, которые активно познаны, осмыслены, а точнее всего, «схвачены», сгущены в образ мысли. Вот почему в какой-то момент «я» художника сливается с моим «я», высвобождает внутренние ду-

шевные силы, отмывает волной новых впечатлений, эстетически радует тебя. Ведь лирика, как и эпика, и драма,— мир красоты, в ней есть нечто еще и «по ту сторону» слов, или, как говорят физики, «по ту сторону явлений». С годами я стал постигать и эту особенность лирической поэзии, ибо она была богаче, сложнее, тоньше «простого» чувственного восприятия текста, первоначальной оценки его по принципу нравится— не нравится. Вот почему вскоре моей повседневной потребностью, моей отрадой и мукой стало изучение поэзии как искусства слова.

...В ящике письменного стола лежит цветная — скромных размеров — фотография. Оранжево-фиолетовый шар, который выглядит особенно контрастно на бархатно-непроницаемом черном фоне.

И больше ничего. Но когда я достаю эту фотографию из стола, то словно замороженный не могу от нее оторваться... Снимок мне подарили в Звездном городке, и сфотографирована на нем планета Земля.

ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ

ГОРОД СТАРИННЫХ КУПОЛОВ

Для меня путешествия во времени — из настоящего в прошлое, из прошлого — в будущее, вероятно, не менее увлекательны, чем перемещения по воздуху, земле и воде. И «листать обратно календарь», как сказал Твардовский, бывает столь же отраднo, как отраднo видеть с борта «казанки», — этой алюминиевой ладьи XX века, — быстрое течение присиненных далью лесов и пашен. Эти два «разряда путешествий» — во времени и пространстве — позволяют ощутить, как на иных северных раздольях устье одной реки, впадающей в озеро, становится истоком другой, — более могучей, более полноводной, — и как от века к веку, словно от устья к устью, ширится река народной жизни... И не только на наших северных раздольях, но и в исторической родословной исток — это всегда устье и устье — это новый исток.

Вот почему я начинаю у истока — и в прямом и в переносном смысле слова, начинаю с верховьев реки Вологды и города Вологды. Собственно говоря, исток реки теряется где-то в лесах и болотах возле деревни Удворино, в местности, называемой Сизьмой. Но только в самой черте города река становится судоходной; к осени же она настолько мелеет, что даже лодка-платформонка не всегда проплывет вверх по течению до Прилуцкого монастыря. Может, поэтому я люблю приезжать в Вологду в весеннее половодье. И нет, по-

моему, лучше места в эти весенние дни, чем самый высокий крутояр на всем протяжении Вологды-реки, чем обрывистый берег возле Софийского собора: зовут его Соборная или Красная горка.

Знали наши предки с сыромятными ремешками на лбу, в домотканых портах и рубахах,—знали, где рубить посреди «великого леса» первый «детинец», обновить его бревенчатым частоколом. Налево — за речным поворотом, за деревянными домиками, дальше к горизонту чуть угадываются башни Прилуцкого монастыря. Прямо — заречье, лодочная станция, старые березы, тусклые купола церквушек, дома с крытыми галереями и деревянной резьбой. Там улица Николая Рубцова, там, как сказано им в одном стихотворении:

Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов,
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлеющих дворов...

Направо — гранитные устои моста, Армейская набережная... Память подсказывает, что вниз по течению, за пристанью, пойдут заводские корпуса «Северного коммунара», пирамиды песка, склады, мастерские, ржавые остовы отплававших свой век пароходов и буксиров, штабеля леса — и так почти до самых кирпичных Лимендских заводов.

Что и говорить, вольготно раскинулась Вологда по берегам немногочисленной северной реки. Тихие провинциальные переулки, старинные особнячки с облупившимися деревянными колоннами уступают место асфальтированным проспектам, новостройкам, новым скверам с молоденькими тополями и березками. Вольготно и здесь, на речном обрыве, где березы поблескивают глянцевою корой и где еще лежат под обрывом крупчатые заносы снега. Но пройдет неделя-другая, и однажды в ночи выстрелят в предрассветный сумрак резные листики — словно прозрачная, зеленоватая дымка поплывет над берегом, над домами, над высокой горкой парка. А сейчас ноздреватые глыбы льда то становятся стоймя, то, громоздясь, наползают друг на друга, и кажется, что это берег плывет вверх, туда, к прозрачным, подрагивающим в солнечном мареве далям. Не тяже-

лые, низко сидящие в воде льдины, не ледяная плита с прорубью, обсаженная полуосыпавшимися елками, стремительно проносятся у твоих ног, а ты вместе с берегом, с белыми, голубоватыми от тени стенами Софийского собора плывешь и плывешь вверх, за поворот, к красноватым прилуцким башням. От воздуха, от солнца, от запаха талого снега кружится голова. Подмывает тебя крикнуть что-то в это высокое, окропленное теплыми лучами солнца небо, в эту весеннюю даль.

...Там, на заречной стороне, видно, как отдельные льдины вытолкало к деревянным заборам, где они так и будут лежать до середины мая. Мальчишки станут обивать их крошащиеся на тонкие лезвия бока, шоферы нещадно ругать раскисшую дорогу, пока солнце не растопит льдины и не сотрет их с берега. Но еще несколько дней будет темнеть грязное пятно среди молодой, буйно пошедшей в рост травы.

...Хорошо здесь, на Красной горке. Но почему, собственно говоря, па Красной, а не на Соборной?

Когда-то здесь, у архиерейского подворья, в соборах проходили пышные богослужения. Толпы богомольцев и нищих из дальних вологодских волостей стекались сюда в праздничные дни. Поодаль Соборной горки стояли мелочные лавчонки, балаганы, царевы кабаки. Голосили слепцы, вскрикивали пьяные. Городские обыватели ковыряли склоны, надеясь найти клады, якобы захороненные жителями в Смутное время или во время «панщины», как говорили в народе. Ползли темные вести «об адовой горе», где в каменных подземельях по ночам слышатся вой и стенание, о некоем потаенном подземном ходе, который соединяет Прилуки с вологодским кремлем. Замшелые избы лепились по краям горки. Проулки были так тесны, что бабы могли передавать друг другу горшки на ухвате. И все это вековое, убогое называлось Соборной горкой. А название *Красная* горка хорошо не только своим созвучием с нашим временем. В сочетании этих слов — «Красная горка» — слышится глубокая *народная* языческая старина: в нем поют веснянки босоногие ребяташки; плетут венки девушки в домотканых сарафанах с медными пуговичками до подола; в нем плывут ладьи под белы-

ми парусами; старики в островерхих шапках, вглядываясь из-под руки в речную даль, вздыхают: «Пришла весна-красна»... Красная — это еще и красивая, необыкновенно яркая, весенняя.

И вот на какой-то миг повеяло седой многовековой историей земли Заволоцкой... Так же ворочала ледяные глыбы река, шипела битой хрустальной мелочью, заливала мелкоколесье, буйно разросшееся в заречье. Согнанные с Вожи, Сямы, Комелы, Тотмы, Устюга мужики длинными обозами везли на дровнях известь, камень, кирпич, острили многоаршинные сваи, рыли рвы. Потому что, пишет летописец, «великий государь царь и великий князь Иван Васильевич в бытность свою в Вологде повелел рвы копать и сваи уготовлять и место очистить, где быть градским стенам каменного здания...». Берега речек Золотухи, Шограша, Содимки, которые Иван Грозный «повелел копати», дабы превратить их в глуболенные крепостные рвы, были густо облеплены работными людьми. Среди рубах и армяков мелькали рваные цветные халаты. Тысячи пленных казанских татар и «турок» (ногайцев и крымских татар) были пригнаны в Вологду по царскому повелению. Мерзли они от непосильной земляной работы. Погребали их с тотмичами и устюжанамн в тех же земляных насыпях, которые они вместе, по цареву указу, отрывали. С тех пор народ и прозвал эти насыпи *Татарскими* горами.

Но особенно хлопотал и радел государь Иван Васильевич о строительстве нового храма Софии — Премудрости Божьей. Строился этот собор с великим старанием: «а сколько сделают, то каждого дня покрывати лубьем и другими орудии, и того ради церковь крепка на разселины», — многозначительно замечает вологодский летописец. Иван Грозный нередко появлялся вблизи собора, наблюдая, как «наемники», то есть нанятые по царскому повелению каменщики, клали лепшую церковь по образцу Успенского собора в Москве. Не раз уже задумывал царь Иван перенести в Вологду столицу первопрестольную, подальше от боярской смуты, поближе к торговым заморским гостям. Но помешало этому одно предзнаменование. Вот как о нем говорится в старинной песне:

...Когда царь о том кручинился,
В храме новом похаживал,
Как из свода туповатова
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую...

Вологодским посадским и остальным людишкам хорошо была известна ярость властителя, посему и «тряхнулася» мать сыра-земля «от того проклятья царского».

...Уже скрылись из виду стены недостроенного Софийского собора, вдоль колеистой дороги потянулись вековые болота, а царь Иван Васильевич был мрачен и неразговорчив. И только на седьмой версте он «проговорил», заговорил с сопровождавшими его опричниками. Здесь-то и возникло сельцо Говорово.

Вологодский летописец, пересказав легенду с «плинфой», по наивности своей, что ли, приводит более веские и правдивые обоснования поспешного отъезда Ивана Грозного из Вологды: «Того же году был на Вологде мор велик, и того ради великий государь изволил идти в царствующий град Москву, и тогда Вологды построение преста». Было заброшено возведение каменных стен и башен, осыпался и зарос травой крепостной ров на реке Золотухе, рассыхались у подножья Красной горки многовесельные лады, на которых помышлял царь-государь отправиться из Вологды в заморские страны через Холмогоры и Белое море, откуда не так давно приезжал к нему посол английского короля, капитан Ченслер.

...Здесь, на Красной горке, у Софийского собора, для возведения и росписи которого потребовалась жизнь двух поколений, особенно остро и глубоко думаешь о бессмертии человеческого деяния. В летописи подробно говорится о знамениях, сопровождавших строительство Софийского собора. Упоминается о многовесельных ладах, на которых должен был плыть Иван Грозный по Сухоне и Северной Двине. Но нет, да и не могло быть в летописи имени тех, кто строил этот собор, имени работных людей, предложивших «ради

того, чтобы церковь была крепка на разселины», укрывать кирпичную кладку на ночь, от мороза и непогоды, лубьем и рогожей. Простые каменщики, они знали толк в своем ремесле и знали дедовские секреты этого ремесла. Простые плотники, они воздвигали корабли, как «мера и красота скажут». Их трудами богателя и крепла русская земля. Их мастерство, их чувство прекрасного дали им право сохраниться в памяти потомков.

...По царской прихоти было «Вологды построение преста». Она захирела, обезлюдела, и лишь недостроенный Софийский собор, да Татарские горы, да известная гора — гора извести, свезенной на берег реки, да крепостной ров возле каменных стен и башен напоминали вологжанам о начавшемся было расцвете города. Воеводами в Вологду назначались люди опальные, неумелые. «...Воеводским нерадением,— сказано в старинном документе,— сторожей на башнях, у снарядов пушкарей и затинщиков не было; а были у ворот на карауле немногие люди... а большие ворота были незамкнуты».

22 сентября 1612 года «в остатошном часу ночи» к городским заставам подтянулась конница. Не звякала конская сбруя, не поскрипывали седла, не громыхали о камень колеса единорогов: «польские и литовские люди, и черкесы, и козаки, и русские воры пришли на Вологду безвестно и город Вологду взяли и церкви божия опоругали, и город и посады выжгли до основания...»

С гиком, с посвистом пролетали всадники по темным, узким переулкам, бросали, раскрутив над головой, смоляные факелы в замшелые крыши: паны и воровские люди гуляли вовсю! На наплавном мосту, возле Красной горки, они зарубили окольныйчего и воеводу Григория Долгорукова и дьяка Ивана Карташева. Перепуганные жители и остатки городской стражи заперлись в Софийском соборе. Разорители города по штурмовым лестницам забрались на кровлю и собор подожгли. Сотни людей погибли в пламени пожара. Через три дня, 25 сентября 1612 года, колонны воровских людей ушли дальше на Север.

Сильвестр, архиепископ вологодский и великопермский, писал московским боярам: «А ныне, господа, город Вологда — женное место, окрепити для насады и

снаряд прибрать некому; а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорий Образцов с Белаозера со своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят...»

Горько причитали по убиенным и рвали на себе волосы женщины, смрадно чадило пожарище. «А все, господа, делалось хмелем: пропили Вологду воеводы» — таковы последние слова Сильвестра в его невеселой «отписке» в Москву.

Казалось, нужны были годы и годы, чтобы отстроился этот город на северной реке, чтобы крестьяне, ремесленники и другие жилецкие люди взялись за свои повседневные труды, срубили новые избы, замостили торцами улицы. И все-таки город возник на пепелище! Снова труд одержал победу над смертью и разорением. И подумать только, какой страстью к созиданию, работе, ремеслу должны были обладать вологжане, чтобы вынести все это — нашествия, моровые язвы, разрушения — и с превеликим упорством преодолевать «волока» на своем историческом пути, вновь и вновь возвращаться к опустевшим выморочным очагам!

...По Красной горке поползли длинные тени: за вечерело. Софийский собор отступил куда-то вглубь, подернулся сумеречной тенью. Сквозь шум и шорох ледохода, сквозь посвистывание ветра ясно слышался перезвон курантов на соборной колокольне. Вечерняя заря выбросила в небосвод длинные малиновые перья. Стало совсем свежо в этом весеннем смеркающемся «городе старинных куполов», где

На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краях!

МОИ КОВЧЕГ

В стихотворении «Вологда», между прочим, была еще одна строфа, которую поэт Леонид Мартынов впоследствии снял. А жаль. В строфе говорилось о том,

как «по той по реке Золотухе петухи плывут краснобрюхи...» И далее вновь следовал выразительный и многозначительный рефрен: «сладок запах ржанных краюх!»

Детство и отрочество мои прошли возле реки Золотухи, которая протекала в глубоком рву как раз под окнами нашего двухэтажного мрачного с виду кирпичного дома. Может быть, поэтому «оком духовным» я нередко видел: во рву плывут не хлопья банной пены, а расписные, словно краснобрюхие петухи, ладьи... Они плывут издалека, может быть, от самых Веденеевских бань; по бортам — щиты дружинников, паруса с изображением Ярилы, резные кормы и такие же резные высокие носы. Они плывут медленно, и отблески белых парусов падают на зеленоватую, отдающую болотиной воду.

Еще мне чудилось, что в верховьях Золотухи, а может, и Вологды или какой-то другой реки, но вернее всего Золотухи, находятся таинственные Волочанские болота. Называют их так потому, что в старину по этим болотам корабельщики волочили корабли, а затем спускали их на воду и плыли дальше. И вот однажды некий дружинный князь повелел проташить через болота золотую ладью: ее днище было оковано листами светлой меди, горевшей словно жар. Потому-то и получила эта ладья прозвище золотой... Князь спешил к своей нареченной, к своей невесте, с которой не виделся очень давно. Ладья же была тяжелой из-за медной оковки, из-за драгоценных кладей, из-за многих даров. Корабельщики не удержали ее на деревянных катках: веревки лопнули, катки проломились — и прекрасная ладья стала медленно погружаться в топи...

Скажу откровенно, подобные мечтания волновали меня, они порождали страстное желание побывать у истоков родных рек... Кто знает, рассуждал я сам с собою, может, я окажусь счастливецом, который увидит ладью и сделает историческое открытие?.. Правда, для путешествия нужна была лодка-плоскодонка, которая прошла бы по любым перекатам и мелям.

Почти в каждом дворе на берегах Золотухи умели мастерить такие плоскодонки. Делали их и у нас «ребята

Клячины», братаны-подростки, жившие в семействе сапожника Клячина. По их примеру я сносно владел и пилой, и рубанком, и молотком, знал, как выстругивать, конопатить, заливать варом плоскодонную лодку.

А тут еще подоспели летние каникулы... На задворках дома, среди крапивы и прозрачно-бледной лебеды, была устроена судостроительная верфь. Материал доставался где угодно: доски отрывались от забора, вытаскивались из сарайки, приносились с реки. Были, конечно, и каверзы со стороны ближних. Когда готовая лодка лежала кверху днищем, озорная соседка Галка, вооружившись увеличительным стеклом, выжгла: «Плавучий гроб». Ярость моя не знала предела!..

Но что правда, то правда, поначалу лодка сильно текла: как только я спускал ее в Золотуху, она сразу же начинала тонуть. Несколько раз мне пришлось вытаскивать ее на берег, конопатить, заливать варом, прогревать паяльной лампой и снова красить. От этой повзрослому нелегкой работы я окреп, вытянулся ростом и стал иначе смотреть на все предприятие... Теперь уже свою лодку я мыслил золотой ладьей! И мечтал как можно скорее проплыть по реке Вологде под парусом... Не на веслах, как все, а под парусом; вверх или вниз по течению,—это было уже безразлично. Прямоугольный парус из трех кусков холстины я сшил тайком от матери, которая дорожила и холстиной и, больше всего, зингеровской машинкой, которую я едва не погубил, пытаясь прострочить рубцы.

Наконец-то утро, о котором неотступно грезилось,—наконец-то это утро наступило... За ночь в лодку набралось совсем мало воды: значит, ее можно было пускать в плавание.

С непередаваемым волнением я сел за весла и стал править под высокую арку Каменного моста. Дворовая челядь стояла на берегу, небрежно и насмешливо заложив руки в карманы коротких штанишек... Но мой ковчег разочаровал их,—он оказался остойчивым и послушным сооружением, хотя—как вскоре выяснилось—и был отчаянным тихоходом. А на реке Вологде дул резкий верховой ветер; крупная зыбь зашлепала

о борта плоскодонки. Покачиваясь на волнах, я поставил короткую мачту, насадил на нее рейку — парус развернулся, натянул концы бечевки, по-морскому, шкотов, и лодка сразу же прибавила ход.

Восторг, распиравший грудь, не позволил мне насладиться этой необыкновенной минутой. Смутно, словно сквозь сон, проплыли мимо деревянные опоры Красного моста, штабеля бревен у лесопилки, церковь во Фрязиновой слободе... За слободой я чуть было не наскочил на лодочника, перевозившего пассажиров с городской пристани в заречье. И — повернул обратно. Но грести против ветра оказалось трудно: нос плоскодонки разбивал встречную волну, тормозил ее движение. И когда я доплыл до устья Золотухи, то кровавые мозоли покрывали ладони моих рук. И все же гордость свершенным кружила мне голову. Я теперь всерьез помышлял о плавании к верховьям реки... Увы! Через неделю мой корабль пропал: целые дни я обходил дворы на Золотухе и набережные на Вологде-реке. Все напрасно. Лодка пропала, как в воду канула.

В сентябре сорок пятого года меня откомандировали из саперного батальона, расположенного на Кавказе, в Москву. А поездом от Москвы до Вологды — всего одна ночь. Соблазн был слишком велик, чтобы не рискнуть, — и я рискнул. Так впервые за все эти годы мне пришлось побывать в родном городе, обнять маму, попытаться встретить кого-нибудь из бывших одноклассников.

Мама моя почти не изменилась с того самого часа, когда на Ленинградском вокзале наша курсантская рота стояла у вагонов электрички и когда она прорывалась ко мне сквозь толпу. Во дворе дома были видны понурые лошади. Поленицы дров громоздились за забором телефонной станции. В бильярдной ДК раздавался стук шаров... Только сарай на задворках осели и покосились и обрывы Золотухи еще гуще заросли бурьяном. Да и весь город в целом показался мне постаревшим, вроде бы осунувшимся с лица, словно это был близкий человек, который перенес тяжелую болезнь и сейчас стал медленно поправляться. Одноклассников я не встретил: многие были убиты, другие лежали в госпита-

лях, третьи служили за тридевять земель. Два дня промелькнули быстро. Перед отъездом я пошел — по традиции — на Красную горку. Купалки и лодочной станции там уже не было. Но величественный ансамбль кремля с Софийским и Воскресенским соборами, с древним судным приказом, «цыфирней школой», с архиерейскими палатами в стиле барокко произвели впечатление на молодого офицера, совсем недавно повидавшего по воле военной фортуны и королевский Вавель в Кракове, и рыцарский замок в Недзлице, и Карлов мост в Праге.

Осмотрев архиерейское подворье и переправившись на лодке через реку, я медленно пошел вдоль Армейской набережной: здесь так же все для меня было интересно: узорная Сретенская церковь, «Свечная лавка», бывшие хоромы купца Витушечникова, изукрашенные гирляндами роз, медальонами и венками в оконных наличниках... Я дивился архитектурным богатствам набережной, которых не ожидал увидеть в родном городе, — я думал, что их можно встретить где угодно, — в Кракове, Ченстохове, Братиславе, но только не здесь, не на набережной родной реки.

За Красным мостом спустился к воде и на песчаном плесе, среди множества лодок, присел на одну из них... Напротив меня, на другом берегу реки, виднелось здание Первой мужской школы. Вероятно, в школе прозвенел звонок: на берегу мелькали фигуры в форменных тужурках. Старшеклассники покуривали у забора. Ученики помладше забавлялись тем, что пускали по воде плоские камешки, считали «тарелки». Но здание школы, из которой я уходил в армию, было теперь отодвинуто куда-то далеко-далеко, оно виделось мне как бы в перевернутый бинокль.

Машинально я взялся руками за скамью лодки, на которой сидел. И замер: пальцы подсказали, что это дерево мне знакомо. Уже осознанными движениями я ощупал скамью, бросил взгляд на носовой брус: там должен быть врезан болт, скрепленный гайками. Я сам его нарезал в механической мастерской. Этот болт был на своем месте. Вот почему у меня возникало такое ощущение, будто лодка, в детстве сработанная моими руками, подымалась из глубин забвения, как золотая ладья из Волочанских болот.

— Вот так встреча, — наконец-то выдохнул я. —

И так поздно! Не детство, не отрочество, кажется — вся жизнь прошла с тех пор, когда я проплывал под парусом у деревянных опор моста... И так многое позабылось. Но видишь: все ожило, возродилось, воскресло, не для того ли, чтобы, воскреснув и возродившись, снова кануть в глубину времени и судьбы...

Хотя нет, легенду о золотой ладье, как выяснилось позднее, совсем непросто было забыть... То в Историческом музее мне бросился в глаза славянский челн, выдолбленный из черного днепровского дуба. То в «городе стекольном» — в городе Стокгольме довелось увидеть корабль викингов, поднятый с морского дна. То узнать, что на Ильменском озере выловили тралом часть деревянной обшивки новгородской ладьи.

Значит, не я один мечтал найти золотую ладью. И не для меня одного эта золотая ладья стала символом красоты, которая лишь изредка открывается людям и тем самым становится все привлекательней, все загадочней для тех, кому не чужды высокие устремления души...

ОГНИ ЕЛЫМЫ

Заволочье... Земля Заволоцкая!.. В ослепительном сиянии солнца все прозрачнее, все зеленее весенняя даль. Она настойчиво манит к себе, зовет за черту горизонта... До навигации остались недели и недели, но нетерпение так велико, что ты все-таки идешь в конец Советского проспекта на пристань, вновь изучаешь и без того знакомое расписание, долго-долго сидишь на скамье, разомлев от теплыни и запаха масляной краски. Деревянная площадка перед зданием билетных касс пустынна. В киосках стекла завешены пожелтевшими газетами. Даже в заветрии от воды тянет холодком. Но запах свежей краски, дерева, речной воды, самый вид летнего расписания — все отрадно тебе, все служит приметой дальней дороги. Про себя ты давно обдумал и выбрал маршрут. Однако здесь, на пристани, на весеннем солнцегреве, тебя вдруг одолевают сомнения: тебе одновременно хочется побывать и там и там, пови-

дать и Славянский волок и родное Кубеноозерье, Вытегру и Северную Двину.

Прямо перед глазами — фанерный щит: на нем плакатная схема речных путей Сухонского и Северо-Двинского пароходства. Вологда — самая южная точка треугольника, основанием обращенного к Северу. Одну сторону этого треугольника образует река Сухона, волнистой линией пересекающая всю область с юго-запада на северо-восток. Другая сторона треугольника — реки и озера, соединенные каналами Северо-Двинской шлюзово-водной системы, а от пристани Топорня — великим Волго-Балтийским водным путем имени Ленина. Ты скользишь глазами по голубым артериям рек, по пятнам озер и водохранилищ, по прямым линиям каналов и пытаешься мысленно представить этот путь. Из верховьев одной реки ты попадаешь в среднее течение другой, из одной безбрежной шири в другую... И одно воспоминание сменяется другим.

Дольше всего ты, конечно, задерживаешься на Кубенском озере, которое здесь, на схеме, похоже на голубую рыбину.

...Сколько раз ты приезжал сюда, на Кубенское озеро, в устье Ельмы, рыбачить. Рыбачить — это видеть небо и воду, уставать неимоверно, бросаться на сено и мгновенно засыпать. Как для Феди Протасова цыганская песня — это степь, это десятый век, это воля, так для тебя мельканье паруса в волнах Кубенского озера — это древние новгородцы, это твои деды и прадеды — рыбаки, это воля в том главном, изначальном смысле слова, в котором о ней сказано в «Живом трупе» Толстого или «Листригонах» Куприна.

Только здесь ты видишь, как огромно небо, как многослойны облака на закате, как черна вокруг вода, когда вечерним часом ты возвращаешься в устье реки. Только здесь тебе будут приветливо светить огни Ельмы, показывать путь и в непогоду, и глухую полночь... Особенно ярко для тебя один огонек: он на самом мысу, или, по-местному, на кряжу. Там — твой дом, твой приют, твоя отрада... Только здесь ты можешь встретить и первый солнечный луч, когда останешься ночевать в озере, в лодке.

...Одно-единственное облачко — все в трепетных и

нежных отражениях ранней зари — оттеняет светлую глубину неба. Минута-другая — на краю земли вспыхивает ярко-алый уголь... Этот уголь будет разгораться до тех пор, пока из багрового полымя не выступит солнце, странное, вытянутое в длину, непрерывно источающее волны алого света. И тут же на воде задрожит огненная дорожка. Она будет дрожать и рваться на короткие полосы, пока между темным берегом и солнцем не образуется разрыв, заполненный все тем же алым свечением. И чем больше этот разрыв, тем длиннее и длиннее пламенеющая полоса. В светлом небе пролетит бесшумно какая-то черная птица... Когда ты опустишь глаза, отблески раскаленной, пламенной дорожки уже добегут до кормы лодки — солнце взошло...

У Константина Коровина, превосходного русского живописца, есть новелла, в которой он описал Кубенское озеро. Память о нем Коровин сохранил на всю жизнь: «Какая красота! — восклицал художник. — Далекий край. Россия... И какой дивной несказанной мечтой был он в своем торжественном вещании тайн жизни». Мысль о том, что кубеноозерские дали — это торжественное и величавое вещание тайн жизни, приходит и тебе на ум, едва ты остаешься здесь с природой один на один.

В ясный полдень, если смотреть на озеро издалека, оно приобретает фиолетовый оттенок, а вблизи оно — густо-голубое, нет, густо-густо голубое, такое, что кажется, будто голубизна небес доведена до предельной силы и разлита вокруг тебя. Недаром говорят, по шкале голубизны, — а есть и такая шкала — Кубенское озеро занимает одно из первых мест в России. Эта голубизна пропитывает тебя насквозь, проникает во все поры тела и рождает то чувство простора, без которого не может жить современный человек.

Бесконечный бег волн, крик чаек, посвист ветра вещает тебе о главной тайне жизни — о красоте, и этого вполне достаточно, чтобы ты обрел душевную целостность, гармонию, ощутил ее наяву, а не размышляя, не прикидывая про себя, на какой высоте замерли перистые облака — восемь или десять тысяч метров, как пишут в учебниках, — просто дивился белоснежным перьям, словно оброненным в полете лебединой стаей...

Рыбачить — это быть солнцепоклонником, жизнелюбом, нетерпеливо ожидать завтрашний день, верить в хо-

рошую погоду, в счастье, в удачу, во все добрые предзнаменования и приметы, какие существуют в мире. Ведь к озеру привыкаешь, как к чему-то живому... Мой дед, Александр Александрович, в старости уже не мог рыбачить. Но он не находил себе места, если с утра не взглянул на озеро: каково оно сегодня, как выглядит, как ведет себя... Рыбачить — это обновляться духовно. Забывать свой возраст, свои немощи и недуги, не стоять, не жаловаться на невезенье, а всегда принимать выдумки — за правду, предания — за быль...

Мой старый дружище Владимир Алексеевич Красиков, что живет в заводском поселке с женой Катей, а по воскресеньям и со взрослыми детьми, приезжающими из Вологды, не раз говаривал мне: «Пошел тонуть, дак — не ухай!..» Владимир Алексеевич — великий знаток лукавых и непривычных присказок, до смысла которых, пожалуй, и доберешься не сразу. Однако этот тайный смысл поймешь, если занят каким-нибудь рыбацким делом: выбираешь зацепившуюся за топляк блесну или ищешь старые мережки возле тресты... Вот тогда-то до тебя и доходит, что всякое дело надо делать безоглядно, а по словам моего друга — во всю прыть.

Сам Владимир Алексеевич любит озеро особой, я бы сказал, сугубо личной любовью: вряд ли кто из жителей Ельмы лучше его знает удачливые места, умеет оценить озерное приволье и раздолье. Но опять-таки без словесной суеты, без многословия тех людей, которые ладно баюкают, да сон не берет... Эта присказка — опять-таки из кладезя Владимира Красикова. От него же я услышал и многие другие были и побывальщины Кубеноозерья.

...Догнивают в прибрежных заводах рыбацьи лодки — «кареводницы» и «стружки», послужившие службу многим поколениям кубенских рыбаков. А славные же это были лодки. Я застал один такой дедовский «стружок»: днище выдолблено из распаренного ствола осины, борта обшиты тонкими досками, нос поднят высоко-высоко, чтобы не захлестывала озерная волна. И нигде ни одного гвоздя! А теперь моторка, летящая по воде с невиданной скоростью, — символ современного Севера. Телевизионные антенны на высоких шестах — повседневный быт кубеноозеров. Да и Большая дорога зара-

стает травой, потому что вдоль всего побережья прохлестнута новая автострада с бетонными автобусными остановками, мчащимися грузовиками, самосвалами, рейсовыми автобусами и легковыми автомашинами. Если раньше из уст в уста передавали слух о какой-то старухе, которая обыденкой — то есть «об один день» — могла сходить в Вологду, то теперь никого не удивишь, что ты побывал в городе и засветло вернулся домой: шестьдесят километров автобус проходит за полтора часа. Расстояния сократились. Время уплотнилось. Облик Кубеноозерья меняется на глазах. Оно становится одним огромным пригородом: автобусные остановки, новые дома, стеклянные чайные, линии высоковольтных передач — это приметы последних лет. Такие приметы делают похожим Кубеноозерье на все другие районы Севера.

И все это, конечно, весьма отрадно. И было бы еще отраднее, если бы мы, справедливо восхищаясь новым обликом Кубеноозерья да и всего русского Севера, почаще вспоминали слова Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости». Как жаль, что такого уважения к минувшему не хватает еще моим землякам...

СПАС-КАМЕНЬ

Издали в синем просторе начинает маячить полуразрушенная колокольня. Потом обозначается берег; за курчавой зеленью — груды щебня и остатки стен Спасо-Преображенского собора, первого монументального собора в северной Руси. Его разрушили в тридцатых годах. А между тем с возникновением этого храма связано немало исторических сказов. Летопись гласит, что в тысяча двести шестидесятом году белозерский князь Глеб Василькович с дружиной своей направился в древнее Заволочье. На Кубенском озере ладейный караван разметала буря. Ладью самого князя Васильковича чудом выбросило на крохотный островок посреди озера. Во имя своего чудесного спасения князь и дал обет выстроить здесь храм Всемиловитвейшего Спаса. Однако в народе говорили о спасении князя несколько по-иному. Будто он стал тонуть в высоких волнах и взмолилсь о чуде. И словно прислушавшись к человеческим

воплям, озеро стало стихать, а воевода ощутил под ногами твердое дно. Дно все подымалось и подымалось, пока не стало островком в безбрежной пучине. «Камень спас!» — воскликнул пораженный воевода. Так и зовут с тех пор этот остров Спас-Камень.

В детстве я много раз проплывал мимо Спас-Камня на пароходе «Николай Чернышевский», бывшем «Св. Николае», который ходил как-то боком и был перегружен сверх всякой меры, а позднее — на речном трамвайчике, который стал курсировать здесь в послевоенные годы. И всегда при виде замшелых валунов, окаймляющих остров, старинных тополей и одиноко возвышающейся колокольни волновался непонятным мне самому волнением. Но в семьдесят втором году, памятном всем нестерпимым зноем, дымом пожарищ и облаками, казалось, навсегда застывшими над северной Русью, я наконец-то вознамерился провести два-три дня на Спас-Камне, алкуя, как говорилось в летописях, прохлады, тишины и покоя.

Мы шли на алюминиевой моторке от Устья-Кубенского. Колокольня приближалась прямо на глазах; она словно вырастала из этой знойной мглы, сама такая же мглистая, похожая на мираж среди голубизны раскаленного июльского полдня. Несколько раз я щелкнул фотоаппаратом, надеясь и на черно-белой пленке запечатлеть воздушность и призрачность старинной колокольни. Но увы! Остров Уединения оказался миражем в полном смысле этого слова. У самых прибрежных камней покачивались моторки, надувные матрасы, камеры, виднелись головы купающихся. С площадки колокольни, на которой был установлен сигнальный фонарь, полуголые дети кричали что-то вниз и махали руками. Там и тут дымились костры... Но делать было нечего: я спрыгнул на гранит, обмытый водой, перетащил на берег тяжеленный рюкзак и связку удочек. А затем на этом же камне стоял и бездумно и бесцельно смотрел, как моторист Леня купается в крупно плещущихся волнах, как катера пролетают мимо островка, а иногда и заворачивают сюда, битком набитые отдыхающими, любопытствующими людьми.

«Искусства тяжкая дорога ведет к несбыточной мечте», — несколько раз процитировал я самому себе в эти первые минуты пребывания на Спас-Камне. Жаркое небо было пустынно, и только над Устьем-Кубенским

весь день неподвижно стыло одинокое облако, точь-в-точь похожее на атомный гриб... Этот апокалиптический гриб отбрасывал тревожную тень на моторки, снующие взад и вперед мимо островка, на сельские виды извлекенного — другого — берега, на всю озерную голубизну.

Раскаленные камни жгли подошвы ног, обутих в кеды. Да и вообще припекало так, что хотелось забраться куда-нибудь в тень от этой жары, преследовавшей меня на берегу. Еле передвигаясь, я вошел в заросли молодых тополей, где, отбиваясь от оводов, с превеликим трудом вскипятил котелок воды, заварил пачкой индийского чая и, постанывая от наслаждения, долго пил эту коричневую жидкость и никак не мог утолить жажды. А потом, соскользнув с валунов, покрытых зеленой слизью, долго плавал в прибрежных водах, которые в такую жару показались мне коричневым тепловатым отваром.

Постепенно островок опустел, хотя звон лодочных моторов не давал забыться ни на один миг. Теперь костровку возвращались рыбаки, весь день тягавшие за собой «дорожки». Чтобы увидеть панораму озера и все краски, все переливы близкого уже вечернего заката, я поднялся на развалины Спасо-Преображенского собора. Его взорвали на кирпич, но, как видно, не смогли отломать от монолитов ни одного кирпича: рухнувшие стены так и лежали костром, напоминая о человеческом уме и человеческом безумии.

В общем, мысли мои были невеселыми, ибо этот захламленный, запущенный, задичавший островок, сама флора которого была уникальна, ибо, как мне говорили, сохранилась с ледниковой эпохи, сама история которого — вплоть до бесшабашно-прекрасного поэта Василия Сиротина — была удивительна и трагична, этот островок, отданный теперь на поток и разграбление племени «диких» туристов и рыбаков-любителей, сам зывал к спасению, к милосердию...

Но была ночь! Возле гулко и ровно гремящих камней я раскинул спальный мешок и залез в него, не задернув даже на груди молнии. Невдалеке пылал костер: люди с пламенными лицами сидели вокруг него. И, судя по всему, следовали современной пословице, которую я услышал в здешних краях: «Рыбалка — та же пьянка, но только в резиновых сапогах».

Я лежал безучастно в своем спальном мешке и смотрел прямо вверх. Высоко в небе одинокое светило двигалось какими-то странными рывками. Оно показалось мне спутником: я даже попытался определить направление полета. Но в этом полночном серо-сиреневом небе такими же странными толчками двигались и другие звезды. Может быть, это были толчки пульсирующей крови в голове, хотя я и не ощущал этой пульсации. А может быть, это порывы ветра колебали ивовый полог. Только звездный небосвод по-прежнему странно подрагивал над головой.

...Многим позднее обо всем пережитом на Спас-Камне я рассказал Леониду Николаевичу Мартынову, и не только рассказал, но и привез ему осколок белокаменной капители Спасо-Преображенского монастыря. Леонид Николаевич был необычайно взволнован услышанным. Ведь и его кровно волновали судьбы древнейших памятников зодчества и архитектуры на русском Севере, где он в тридцатых годах прожил несколько лет и немало поездил в качестве разъездного корреспондента. Ко всему прочему, жена и верный друг Мартынова — Нина Анатольевна, — коренная вологжанка. Да и заглавная книга поэта — «Лукоморье» сложилась здесь, в городе старинных куполов, как называл Вологду сам Мартынов. Короче, было множество причин, по которым впоследствии я получил от поэта письмо. А в нем — стихотворение «Страж». И поскольку рассказ о поездке на Спас-Камень был бы неполон без стихов поэта и поскольку этим стихам присуще крайне своеобразное виденье мира, я приведу стихотворение «Страж» почти целиком.

Я,
 когда нахожу черепки чаш
 в чистом поле,
Думаю:
 — Кто же им страж?
 Вечность, что ли?
Я не говорю уж о позабытых буграх,
То есть о том, что никто не занят спасением
Тех курганов, где предков своих беспокоим
 мы прах
По субботам и воскресеньям.
.....
А на Кубенском озере

Монастырь,
Превращенный когда-то

в начале тридцатых в маяк,
Рыбаки и охотники преобразили в унылый пустырь.
И на месте теперь уж маячных, маячных развалин
Остается, печален, лишь черный, пожравший и
камень и пламень очаг.

Словом,—
Есть у Вечности что-то
Всепожигающее
В ясных ее очах,
Будто Вечность такой преотчаянный весельчак,
Что порой и заплакать от смеха охота.

...Грохот валов о камни, блеск пламени рыбацких костров, звезды,двигающиеся толчками,— все, все стало пропадать и меркнуть, когда голос моториста Лени — «Подъем!» — прервал мое долгое забытие. Его послал привезти меня с островка на «Большую землю» Николай Николаевич Трудов, мой добрый знакомый. Рев мощного лодочного мотора, броски на волнах — и стремительное ночное небо, упавшее перед нами на воду,— вот что запомнилось при возвращении на землю. Белая заря еле-еле занималась над горизонтом, когда мы вернулись в поселок. Грибовидное облако все еще стояло над ним...

ПУТЕМ ВОДЫ

А за Антонием озеро сужается, незаметно переходит в речку Порозовицу, в верховьях которой был один из самых знаменитых в старину волоков,— Славянский волок, просуществовавший вплоть до восемнадцатого века. Может быть, где-нибудь в этой местности были и свои Волочанские болота, по которым суда перетаскивали в Никольское озеро?.. А затем по речке Славянке спускали их в Шексну, плыли в Белое озеро или на Волгу?.. Ныне по старым каналам и шлюзам можно добраться до Топорни — этого перекрестка водных дорог всего русского Севера. Здесь заканчивается Северо-Двинская система, здесь проходит Волго-Балт. Позади остались башни и стены Кирилло-Белозерского монастыря, впереди — дорога на северо-запад — к Вытегре, на юг — к Череповцу. Когда-то по всему Белозерью жило северное племя весь, и сохранилась память о нем в названиях многих городков и сел. От этого племени

произошло Весьегонск, Луковесь. Череповец или Череповесь. Чери — рыба, еп — гора: череповесь — племя рыбьей горы. Но не рыбой, а железом прославилась эта местность в древней Руси. Крестьяне умели плавить болотную руду-ржавицу. От этих-то судских, устюженских, череповецких домниц и шагнуло Заволочье к домнам-гигантам Череповецкого металлургического завода. От этих-то дощатых причалов, с которых на расшивы и беляны грузились железные поковки, и повел начало Череповецкий речной порт. Теперь прокат и сталь металлургического завода грузят на морские суда типа «Волго-Балт» и «Балтийск» и доставляют их в Гдыню, Росток, Хельсинки, Стокгольм... Акваторий порта бороздят «ракеты», катера и моторки. Ярко-оранжевые металлические бакены отмечают фарватер. На якорях, по морскому обычаю, стоят самоходные баржи, плавучие краны, двухпалубные теплоходы. Это — Волго-Балтийский водный путь. Выше плотины Череповецкой ГЭС — картина такая же: только, может быть, сожмется сердце, когда теплоход будет проходить среди полужатопленных, высохших, уходящих за горизонт деревьев.

...В топком устье Невы подымалась, росла новая столица Российского государства — город Санкт-Петербург. Для торговли с заморскими купцами, для собственных надобностей городу был нужен хлеб, корабельный лес, железо, пенька, пушнина. Но богатое лесом Заволочье и богатое хлебом Поволжье были отрезаны от Невы волоками и перекатами. В 1711 году в Обонежье пожаловал Петр Первый. Царь имел великое и полезное намерение использовать древний путь новгородцев, прорыть каналы, соединить Балтику — с Каспием, Неву — с Белым морем. В Петровой свите было немало знатоков инженерных сооружений, русских и иноземных «водяных дел мастеров». С ними-то и исходил Петр Первый водоразделы, побывал на волоках у Матко-озера, самолично проверил течение лесных рек. И повелел рубить просеки, ставить вешки будущего канала. Однако неотложные государственные дела отвлекли императора от его затеи. Просеки снова заросли мелколесьем. Проекты «водяных дел мастеров» затерялись в архивах.

Но полезное намерение Петра не забылось. Через сто лет, 21 июля 1810 года, по Марининской системе, названной так в честь императрицы Марии, прошли первые суда. По тому времени это было грандиозное гидротехническое сооружение, которое на протяжении всего XIX века перестраивалось, совершенствовалось и еще в 1913 году на всемирной выставке в Париже было удостоено Большой золотой медали. Старая Маринка через Онегу и Ладогу снабжала хлебом сначала Санкт-Петербург, потом революционный Петроград, потом осажденный, истекающий кровью город Ленина. Но уже в предвоенные годы встал вопрос о замене ее новейшей системой шлюзов и каналов. Весной 1941 года волжская вода заплескалась у причалов Череповца — это к Ягорбе подошло Рыбинское море. Однако интенсивное строительство Волго-Балта было прервано войной и снова началось только в 1960 году, спустя сто пятьдесят лет после открытия Маринки... 6 июля 1964 года между Пятым и Шестым шлюзами встретились два каравана судов: один шел со стороны Онежского озера, со стороны Невы, другой — со стороны Череповца, со стороны Волги. Так открылась первая страница в летописи Волго-Балтийского водного пути. Древние же волока на водоразделе Вытегры и Ковжи, которые я жаждал увидеть, стали историческим прошлым; сохранились они только в старых книгах да еще, пожалуй, в названии самой земли Заволоцкой.

...Осторожно, как бы примеряясь и присматриваясь, белоснежный корабль входит в Пятый шлюз. Многим ниже палубы — бетонный парапет, ограждающий канал, насыпи, карьеры, за ними — сельские дороги и леса. Да и вся земная окрестность видна тебе с палубы теплохода. Дух захватывает от этой лесной дали. Но через какое-то время бетонный парапет оказывается выше поручней, еще выше — теплоход, словно в грузовом лифте, медленно оседает вниз... Вскоре в гулком колодце закричат, замечутся чайки, засинеет клочок неба, мокрая бетонная стена с гидравлическими крюками-поплавками, к которым пришвартован теплоход, закроет все видимое пространство. На палубе станет сумеречно, сильнее запахнет водой и мазутом. Ты пройдешь на нос корабля, чтобы не пропустить момент открытия эк-

сплуатационных ворот. Высоко-высоко над тобой — башни шлюза, словно надстройки какого-то высотного здания. За стеклами смотровой площадки ты силишься рассмотреть человека, который управляет этой сложнейшей гидротехникой. Но твое внимание отвлекают шлюзовые ворота: многотонная махина, запирающая выход из камеры, вдруг расходится — на палубе мгновенно светлеет; в широком проеме блестит вода, в отдалении виден караван судов, огни светофоров и просторная синева небес. В эту даль теплоход выходит торжественно и спокойно, как будто из устья реки, стиснутой отвесными берегами, в безбрежное море...

В Вытегре не сразу и разберешься, где город, а где пригородные поселки. От пристани — бетон, стекло, цветники — автобус будет идти мимо новых кварталов, и ты подумаешь, что ты — в самой Вытегре. Но окажется, что это городок гидростроителей, что за стандартными домами есть и своя бревенчатая глухомань, и своя Красная горка со Сретенским собором, есть и река Вытегра, и остатки старой Мариинской системы, изрезавшей город во многих местах. В самом деле, старая часть города изрезана каналами, в ней все перемешано: купеческий особняк, напоминающий индийскую пагоду, стоит рядом с новой трехэтажной гостиницей «Вытегра», бараки тридцатых годов рядом с бывшими лабазами, лавками, лавчонками, с тем провинциальным захолустьем, которое не скоро вытравишь, не скоро перестроишь. Асфальтированное шоссе сменяется улочками, которые выходят в чистое поле; старый канал упирается в насыпь плотины, поддерживающей высокий уровень воды в Волго-Балте. И повсюду железные ящики, шкафы, бочки — в них местные жители хранят лодочные моторы и весла. А в это время по большому каналу, возвышающемуся над старым городом, тихо урча, проплывают грузовые и нефтеналивные суда. Они движутся почти бесшумно — с насыпи доносится только журчание воды да глухо отдаются удары дизеля, как удары турецкого барабана. И этот поразительный контраст бетонных башен Волго-Балта, нарядных теплоходов, большегрузных судов с полусонной Вытегрой, заросшей осокой, загроможденной лодками, отгородившейся от канала заборами и сарайками, никого не удив-

ляет. К подобной чересполосице старого и нового уже привыкли, хотя и не смирились с ней: над бревенчатыми домами то там, то здесь возвышаются стрелы подъемных кранов, светлеют заборы, ограждающие стройплощадки и пустыри.

Побывать в городе Вытегре и не попасть на берег Онежского озера — все равно что не повидать в Вологде Софийский собор. Где-то здесь, совсем рядом, былинное озеро Онего, раскинувшееся на сотни квадратных километров... Итак, в дорогу!.. Моторная лодка петляет по руслу полноводной и глубокой Вытегры, сворачивает в протоку, пробирается в густых камышах и вылетает на простор озера Великого. Название-то чего стоит — Великое! Далеко впереди, за островками камыша, — холмистая гряда. Это — кенда, так вытегоры зовут песчаные дюны, поросшие сосняком. Снова протока, снова шуршание тресты, снова кувшинки, цепляющиеся за винт, — и ты уже у цели. На песчаных буграх разбросаны изогнутые ветром сосны; за соснами что-то неумолчно и ровно шумит, хотя стоит безветренный, жаркий день. Нет, сосны так шуметь не могут, это что-то иное. Нетерпение охватывает тебя — скорее за бугор, к этому неумолчному шуму... Шаг-другой-третий — и ты замираешь, с трудом переводя дыхание: перед тобой голубая чаша, до краев наполненная солнечным светом. Ослепительно-белый песок, гребни волн, силуэт теплохода на горизонте — и безлюдие, невероятное в наши дни безлюдие прибойной полосы... Идешь, идешь по приплеску, встретишь полузасыпанное песком днище лодки, завал бревен-топляков, уголь, который горит на белом песке как черный алмаз, но нигде не увидишь даже намека на человеческие следы. Это — Север, край земли Заволоцкой. Это — устье Вытегры, которого ты достиг, начав плаванье с верховьев реки Вологды. Не об этом ли ты мечтал в детстве, не к этим ли берегам стремился в студенческие годы?..

Шумят низкорослые сосны, зацепившиеся за песчаный обрыв, шумит прибойная волна... Этот шум и плеск встречал расписные лодыи ушкуйников-новгородцев, гребные галеры Петра Первого, беляны петербургских купцов, колесные пароходики акционерных компаний в начале века. Теперь этот шум встречает белоснежные теплоходы, курсирующие по Волго-Балту, нефтеналивные лихтеры, идущие в Гданьск, «метеоры», пересе-

кающие Онежское озеро за два с половиной часа... И все-таки от первозданности земли и неба, воды и песчаных обрывов тебе становится удивительно легко и весело... Рубашка, брюки, ботинки, трусы — все летит на песок... Набежавшая ледяная волна окатывает с головой. Ты отталкиваешься от песчаного дна и плывешь в голубую безбрежность, пока хватает дыхания и сил...

...Вот, оказывается, на какие воспоминания может навести фанерный щит с изображением водных путей Заволочья!..

Как бы очнувшись от сна, ты встаешь с пристанской скамьи, еще раз подходишь к расписанию пассажирских теплоходов, запасаешься терпением и выходишь на Советский проспект. Сирена речного буксира долго сопровождает тебя.

В ЛЕСАХ — ТОТЬМА

...И вот наступает час отплытия!.. Он всегда наступает, этот час, и не в мечтах, а в действительности. Вещи заброшены в каюту, билет лежит в бумажнике — все в порядке. Ты плывешь до Устья-Вологодского, потом сворачиваешь не к Кубенскому озеру, не к Волго-Балту, а вниз по Сухоне — к Тотьме, Нюксенице, устью Юга... И будешь плыть все дальше на северо-восток, к Северной Двине и по Двине, мимо пристаней и селений, до устья Северной Двины, до Беломорья, называемого в летописях Соловецкой пучиной.

...Еще вчера в Вологде стояла солнечная погода. Над притихшим сквером, над зданием обкома партии, расположенным напротив сквера, носились стаи ласточек. И эти стаи, и яркий закат, полыхавший вдали, и купол колокольни Софийского собора — все было странно-умиротворенным, особенно странным и особенно умиротворенным после московской толчеи, очередей у билетных касс на Ярославском вокзале, приготовлений к отъезду и неизбежно связанных с отъездом волнений — отвыкает человек за время разлуки от многого и забывает черты родного города, которые, казалось бы, трудно забыть... А наутро — холодный ветер, облачное небо и уходящий дебаркадер с крупной надписью: «ВОЛОГДА». У самого борта — старая женщина в сером

пальто, в вязаной шали. Нет ничего дороже этой удаляющейся фигурки, с поднесенной к щеке рукой — так извечен материнский жест разлуки и безмолвной печали! Все шире и шире полоса чистой воды, все мельче фигурка возле борта — вот ее уже и совсем не видать...

Небольшой теплоход «Тарас Шевченко» медленно пробирается протокой, образовавшейся между штабелями бревен, бранд-вахтами, плавучими кранами, плашкоутами и буксирами. Многим из них идти по большим и малым рекам Заволочья, тащить плоты, снабжать самые отдаленные лесопункты продуктами, мануфактурой, машинами и стройматериалами, в которых повсюду большая нужда. Но сразу же начинается деревня Турундаево с избами-пятистенками, резными карнизами, лодками, вытасченными на берег. И пошел теплоход кружить среди плоских, как гладильная доска, берегов, среди засиненных далью северных лесов. Иногда по берегу, обгоняя теплоход, пробежит трактор «Беларусь», сзади на прицепе, устроившись на гряде сена, сидят девушки-колхозницы. Все в белых платочках, подвязанных под подбородком, все молодые, оживленные, довольные и собой, и трактористом, и даже погодой, которая к вечеру обещает быть еще сумрачней и ненастней. Это — Заволочье! Это — северная Русь!

После пристани Устье-Вологодское, мимо которой мы пройдем без остановки, река мало в чем изменится, хотя это будет уже река Сухона и местность будет называться Междуречьем.

Именно здесь, на пойменных лугах Междуречья, и берут начало молочные реки, которые на молокозаводах превратятся в знаменитое на весь мир вологодское масло...

К селу Шуйскому, расположенному при впадении реки Шуи в Сухону, теплоход подходит уже в темноте. Шуйское — центр Междуреченского района и первая остановка на пути к Тотьме. Отраженные рекой огни делают воду дегтярно-черной, а берег темным, неприветливым. Эти огни знобкими полосами пересекают реку... Скорей же спускайся с палубы вниз — там, возле машинного отделения, тепло и уютно. Ярко сияет красной медью кипятильник. От крана бьет горячий пар. Под ногами железный, истоптанный, весь в стершихся

заклепках пол, иначе и не скажешь: бородавчатый пол. Лежат бухты толстых канатов, штабеля ящиков и еще какой-то поклажи.

Ах, как хорошо прижаться к теплому кожуху кипяильника и знать, что за бортом теплохода — черная вода, нудный дождь и сырость ночных низин. А здесь женщина кормит грудью ребенка, пьяный старик спит на ящиках, свесив руку, и парень с девушкой сидят в обнимку. Старуха, примостившись к канатам, покуривает дешевую папироску и равнодушно смотрит то на пьяного старика, то на обнимающихся парня и девицу. Из машинного отделения тянет теплом, запахом солярки. Там огромные и влажные от масла шатуны вращают гребной вал; машинист, протирая руки ветошью, ходит возле шатунов; изредка в глубине трюма вспыхивает ослепительное пламя форсунки. И где-то совсем в другом мире, как будто бы даже в другом измерении, гудят ночные, непроходимые дебри Заволочья.

«А лесов-то тьма, а в лесах — Тотьма», — написал в одном из северных стихотворений Сергей Орлов. Строчка запомнилась, запала в память. И хоть поэт переставил ударение, ибо название городка произносится с ударением на первом слоге — Тотьма, а не Тотьма́, — прощаешь ему эту вольность за хорошую рифму. Ведь в действительности Тотьма затерялась среди сухонских лесов — и в заречье леса, и за городом лес, и повсюду — тьма тьмы лесов.

Впервые Тотьма упоминается под именем посада Тодмы в новгородских хрониках. Сохранилась грамота князя Святослава: в этой грамоте говорится, что, дескать, жители посада Тодмы должны платить новгородскому епископу Нифонту дань в «два сорока кунных мехов». Но через столетие не одними драгоценными мехами прославилась Тотьма — вблизи нее были открыты соляные источники; тогда «у соли» возник посад Усолье, где выпаренная соль сыпалась в рогожные кули и развозилась по всему Заволочью, принося не меньший, чем мягкая рухлядь, доход господам новгородцам. Этот посад и крепостица, возникшая позднее в устье реки, впадавшей в Сухону, и образовали нынешний город Тотьму. Столетиями не менялся ее облик, хотя она и выгорала множе-

ство раз и множество раз подвергалась опустошительным набегам воинственных иноземцев, в летописях называемых агарянами. И сейчас город Тотьма разделен низинкой, в которой протекает речка. Местные жители постарались переосмыслить непонятное им название этой речки...

Многие из здешних рек были местами обитания «чуди заволочьской», которая по преданию «в землю ушла»!.. Ушла в землю чудь заволоцкая, а как ушла и почему — никто толком сказать не может. Остались от нее только могильники да названия речек в глухих лесных чащобах, по-местному, суземах... А то или иное непонятное русскому крестьянину название переосмысливалось, связывалось с каким-то подлинным историческим событием, хотя, по правде говоря, к этому событию или случаю имело оно самое фантастическое касательство... До сих пор тотьмичи пересказывают приезжему человеку легенду, по которой царь Иван Васильевич Грозный повернул из Вологды не в Москву, а в Тотьму. Хотел он поехать еще дальше, но застрял возок в низинке, по которой протекал безымянный ручей. Подоспевшие мужики помогли кучерам вытащить возок. Выбрался царь-государь из возка, вознамерился было отблагодарить мужиков за помощь, достал кошель, развязал его... Да нечаянно обронил денежку. Скуповат был московский государь — искал, искал серебро, не мог найти... И тогда в сердцах воскликнул: «Пес с ней, с деньгой-то!» Вот откуда пошло название Песья Деньга.

Может и не следовало бы пересказывать эту легенду, если бы не удивительная деталь. На ветхом домике, который стоит в пойме ручья, прибита проржавевшая табличка: «Набережная реки Песья Деньга». А, между прочим, Иван Грозный дальше Вологды на север не заезжал, и правильное название речки Пес-Еденга.

...Шорохом старых берез встречает Тотьма теплоход «Тарас Шевченко». Дуплистые, развесистые, они придают удивительное своеобразие этому старинному русскому городку. Шорох берез смешался с шорохом дождя, который начался на рассвете и, не переставая, льет все утро. Возле деревянных тротуаров бродят вымокшие куры, горланят петухи. Разгоняя их, идут автомашины, спешат прохожие. На деревянных тротуарах — деревянные же

заплатки. Вдоль улиц — деревянные заборы и деревянные домики с резными наличниками. Куда бы ты ни пошел, всюду тебя сопровождает запах мокрого теса и спиртовой запах корья — этот запах да цвет серебристого старого дерева и служат приметой большинства сухонских поселений. Конечно, как и всюду в Заволочье, в городе Тотьме заметны и новостройки, и новые предприятия местной промышленности. На месте бывших соляных варниц выстроены корпуса бальнеологического курорта. Как и в Кубеноозерье и в других районах области, над домами тотмичей поднялись телевизионные антенны — вблизи от Тотьмы построен ретранслятор.

...А дождь, зарядивший с утра, то вроде бы приутихнет, то припустит сильнее прежнего. Может, пойти в местный краеведческий музей, о котором ты был слышан раньше? Музей славится уникальным собранием старинных предметов крестьянского обихода — прялками, изделиями из бересты, вышитыми полотенцами, кружевами. Говорили тебе и о полном собрании картин известного русского художника Феодосия Михайловича Вахрушева, родившегося и прожившего большую часть жизни в Тотьме.

В краснокирпичном здании бывшего духовного училища — полумрак и музейная тишина. Уже в первых залах музея история Заволочья обретает наглядность и какую-то особую достоверность, убедительность. Вот ты читал про «чудь заволочьскую», писал о ней, а здесь, на стендах, представлена богатейшая коллекция шумящих подвесок и других женских украшений из чудских могильников. Их немало в здешних краях. Археологические раскопки, проведенные в разные годы, позволили приоткрыть завесу над судьбой этого таинственного народа. Ты вглядываешься в медные, позеленевшие подвески, видишь характерную трехчастную композицию на многих из них — две конские головки повернуты к центральному изображению языческого божества, — и перед мысленным взором встают обрывистые берега Сухоны, леса и леса, и даль реки, которая от устья к устью становится более плавной и величавой... Сменяются берега, густеют сосновые боры, и река Сухона катит свои воды уже не сквозь лесную чащу, а сквозь чащу десятилетий, которые слагаются в века.

А как хороши тотемские прялки!.. Ни одна из них не повторяет другую ни в рисунке, ни в узоре, а все наособицу, все с выдумкой... Многие из них венчаются тремя «городками» или тремя пологими выступами, за что на Севере их называют «башенными»: не от слова «башня», а от слова «баская», что значит красивая. Примечательно, что такие прялки с широкой лопастью и тонкой ножкой встречаются чаще всего по берегам великого водного пути, которым новгородские корабельщики, ватажники и торговые гости ходили к Камню и Соловецкой пучине. На западе области — в Устюжне или на юге — в Грязовце прялки имеют совершенно иную форму: ножка прялки массивна, она сужается в верхней части и завершается небольшим гребнем. А тотемские прялки неотличимы от новгородских «лопасек», найденных при раскопках древнего Новгорода в слоях XII века. Вот она — живая связь времен. Вот она — история земли Заволоцкой... И здесь же, рядом с прялками, можно увидеть берестяные кораба, жбаны, туески, даже берестяные сапоги...

На стендах — вышитые тотемские полотенца. Многие из них имеют полуметровые «концы»: тут и вышивка цветным гарусом, и старинные кружева, и редкостный по красоте и изяществу работы узор. Ты не можешь понять, что означает этот узор в целом, хотя и различаешь человеческие фигурки, фантастические изображения коней, повернутых к дереву, одновременно похожему на женщину с поднятыми вверх руками и со множеством мелких цветочков на подоле. Но ты чувствуешь, что сразу же попал в какое-то сказочное царство-государство, в котором обыкновенная березка преобразается в царевну, крестьянский конь — в крылатую Сивку-Бурку, вещую Каурку, а рыбацья лодка — в расписную ладью. Несть числа подобным превращениям!..

Поэт Николай Рубцов, который, к слову сказать, в Тотье написал свои лучшие стихи из книги «Звезда полей», чрезвычайно дорожил и этими чудесными превращениями жизненной прозы в поэзию, и этим «чувством древности земли». Без этого чувства, как полагал Рубцов, не может быть создана ни поэзия, ни истинная красота. Ибо красота, как легендарная золотая лодья, открывается человеку внезапно, она «мелькнет порой лугами, вет-

ряками — и вновь закрыта дымными веками... Но тем сильней влечет она к себе!..».

Насколько неодолима влекущая сила красоты, насколько значительна ее роль в жизни художника, можно убедиться хотя бы в тотемском музее, где хранятся лучшие картины Феодосия Михайловича Вахрушева. Именно ему установлен бюст в городе Тотьме. Именно о нем тебе и была рассказана современная быль.

Феодосий Вахрушев — превосходный пейзажист. Почти все творчество он посвятил родной Сухоне, без конца создавая живописные полотна о рассветах и закатах, о солнечных и туманных днях на Сухоне, — реке, краше которой, казалось, он не знал ничего на свете. Среди этих пейзажей, овеянных грустью или, напротив, жизнерадостных и счастливых, привлекает внимание единственный портрет женщины. Ее лицо нельзя назвать прекрасным — это скорее выразительное лицо. Карие глаза как бы обращены в глубь себя, они ищут ответ на какой-то мучительный, почти неразрешимый вопрос. Но почему этот удивительный по силе таланта, по художественному исполнению портрет оказался среди пейзажей? Кто эта молодая женщина?..

Звали ее Елена Михайловна Рябкова, и была она дочерью именитого тотемского купца. Молодой художник познакомился с ней незадолго до отъезда в Академию художеств. И влюбился, как влюбляются первый раз в жизни. По всему — девушка отвечала ему взаимностью. Таким трепетно и нежно влюбленным уезжал живописец-самоучка в Петербург. Годы не охладили чувства молодых людей. Но отец Елены Рябковой воспротивился браку, ведь по его представлениям Феодосий Вахрушев был грубым, непутевым человеком, он дерзнул просить руки дочери после возвращения из Петербурга, не имея за душой ни капиталов, ни званий, ни чинов. Купец Рябков был тверд в своем решении — он увез Елену из Тотьмы. Вахрушев никогда больше не помышлял о женитьбе. Но и Елена Михайловна не вышла замуж. Так и прожили они долгие годы в разлуке.

В 1957 году одним из рейсовых теплоходов в Тотьму приехала пожилая женщина. Приехала она из Ленингра-

да и несколько дней прожила в городе, никому не известная и никем не узнанная. А это была Елена Михайловна Рябкова. Перед отъездом она подарила местному музею свой портрет и уехала из Тотьмы, видимо, навсегда... Вот какова история портрета женщины с задумчивыми карими глазами. История печальная, как и всякая история истинной любви. Прослушав ее, хочется еще раз пройти по залам, в которых развернута экспозиция картин северного живописца... Постоять, подумать. И наконец понять, что сухонские пейзажи Вахрушева — это красота, которая представала порой перед художником лугами, ветряками, речными плесами и туманами низин... Это — его любовь, его нежность и тоска, его письма и дневники, короче, вся его жизнь. А жизнь до последнего часа была озарена необыкновенно сильным чувством, таким необыкновенным и таким сильным, что кисти Вахрушева, кроме портрета, принадлежит изображение девы Марии, написанное им до революции и помещенное в актовом зале Духовного училища, изображение, в котором старые тотьмичи узнают черты Елены Рябковой. И ее портрет, и изображение девы Марии, и пейзажные полотна тотемского живописца — все вместе вызывает в душе невыразимые чувства. А не в этих ли чувствах заключена тайна тайн искусства, разгадать которую дано далеко не всем?..

ОПОКИ

...По Сухоне идет молевой сплав леса. Издали шестиметровые бревна, рассыпанные по глади реки, кажутся неподвижными и застывшими в хаотическом беспорядке. Но такое ощущение обманчиво — течение Сухоны с каждым километром все быстрее и стремительней. Небольшой теплоход «Лесков», который из-за мелководья курсирует только между Тотьмой и Нюксеницей, идет прямо по молевому сплаву. Железный корпус теплохода вздрагивает от глухих ударов, иногда замедляет ход: поперек судна встает бревно и тормозит движение. Но его вышибает из-под днища другое бревно — и так без конца. Рулевые в судовой рубке не обращают на сплав никакого внимания: привыкли. Они ведут теплоход по извилистому фарватеру, который в иных местах сужается до пятнадцати метров. На перекатах, или, по-

местному, переборах, лежат все те же бревна-топляки.

Ниже Тотьмы река Сухона совсем не похожа на ту медлительную величавую плавную реку, к которой привыкаешь в районе Междуречья,— здесь она порожиста и камениста. Берега ее обрывисты. Слои пермского песчаника и сухонского известняка образуют прихотливые изломы, пересекаются прибрежными оврагами, прорастают одинокими соснами, которые цепляются за обрыв и, кажется, вот-вот сорвутся вниз.

Возле пристани Игмас — крупная лесобиржа... Рабочие по настилу сбрасывают лес, вывезенный с лесопунктов в реку. Бревна, убыстряя и убыстряя вращение, с размаху падают в воду, вздымают каскады брызг, долго вращаются в воде и постепенно подхватываются течением. Отсюда начинается поток бревен, который весь устремлен на северо-восток и северо-запад.

И Сухона, и все ее притоки — неустоимые реки-труженицы — работают на крупнейшие комбинаты страны — Сокольский, Коряжемский, Архангельский, на лесозаводы Котласа, на Ленинградский и Архангельский морские порты. Далекий путь бревен к пилорамам... Велики и потери — как говорят, до пятнадцати процентов. Молевой сплав засоряет реку топляком, отравляет ее разлагающейся корой, создает неудобства для судоходства...

Положение дел может измениться только после строительства Велико-Устюжского гидроузла. Вот тогда-то и скроются под водой знаменитые сухонские перекаты, как скрылись древние волока в районе Волго-Балта. Шлюзованная лестница — ступень за ступенью — будет опускать большегрузные суда, буксиры с плотами, самоходные баржи из отдаленных районов Заволочья к Северной Двине, к Белому морю, к самому Ледовитому океану. А пока плоскодонный теплоход «Лесков» вздрагивает от удара тяжелого бревна, вставшего поперек течения, приметно сбавляет ход — бревно с плеском зыскакивает из-под днища, все измочаленное о камни перекатов. изрубленное форштевнями проходящих судов.

...Казалось бы, глуше, чем Нюксеница — поселок районного значения,— место на земле и придумать

трудно — связь с областным центром только по воздуху, а летом — с пересадками по воде. Но Нюксеница — вполне современный рабочий поселок. Как и Тотма, этот поселок разделен речкой Нюксеницей на две половины, соединенные пешеходным мостиком. В старой половине умирают бревенчатые избы старинного присухонского села, в новой — все новое: и аккуратные ряды двухэтажных желтых домов, и здание столовой-ресторана с неизменной «Виолой», и поселковый клуб, и райком, и продуктовый магазин. Рядом с Нюксеницей — ее пригород, по-народному, Крысиха. В здешних местах у многих поселений сохранились два названия: одно — настоящее имя, другое — прозвище. Так, например, официальное название — Ананьевское, а прозвище — Помелиха... Конечно, Крысихи и Помелихи — наследие дореволюционных лет. Однако не только ими богат был наш Север и раньше. Народ по-своему восхищался красотой и живописностью берегов Сухоны, величием лесных просторов. Наряду с Помелихой он говорил: Красавино. Теперь Красавино — текстильный городок, известный производством красавинских тканей, скатертей, полотенец и других изделий из вологодского льна. К слову сказать, помимо этого Красавина на Сухоне затерялись еще два поселения с тем же названием. Возле самой Нюксеницы есть слободка с красивым названием Березовая. Эта слободка исстари славилась мастерами-умельцами, резчиками по дереву... Резную прялку, солоницу, расписную дугу, а то и старинную братину, похожую на маленькую ладью, можно и теперь встретить в избах слобожан.

А Сухона в этих местах действительно красива. На берегах ее то сосновые боры, то березовые рощи, и похожа она чем-то на шишковскую Угрюм-реку. Чего стоит Опокский перекат! Вот река врывается в всхолмленную местность, поросшую густым сосняком... Отвесные берега на сотню метров поднимаются то с правого, то с левого борта. Течение реки стремительное — это уже горная река, и закаменевшие обнажения берегов делают пейзаж почти что горным, непривычным для северной низменности. Пассажиры высыпали на палубу, чтобы полюбоваться этим чудом земли Заволоцкой. Еще раньше матрос предупреждал всех: «Сейчас будут Опоки! Выйдите, посмотрите. Берега там больно красивы...» Как он был прав, этот заволоцкий парень, сохранивший в

душе любовь к родной Сухоне!.. Быстрое течение проносит наш теплоход мимо срезов, отвесно падающих к воде. Шум переката заглушает голоса. Блестят на солнце речные струи, свиваясь в серебристые жгуты.

И все бы было хорошо, если бы не тягостное впечатление, которое оставляют остатки барачных-временок, вышек, деревянной шлюзовой камеры с проржавевшими воротами. Раньше проход через Опоки занимал много часов — колесные пароходы не могли одолеть течения, их тянули еще буксиры. Во время войны было предпринято спешное строительство обходного канала. Но не оказалось ни сил, ни техники, ни времени: недостроенную плотину в половодье разворотило баржей, принесенной с верховьев, система шлюзования была нарушена и в конце концов разобрана на дрова. Так и остались эти деревянные ряжи, потемневшие от времени, забитые щебенкой, эти шлюзовые ворота, раскрытые настежь, эти следы барачных-временок памятником нечеловеческих усилий и многих жертв. А Сухона стремительно бежит к новому повороту, несет наш плоскодонный теплоходик к городу Устюгу Великому — последнему крупному городу в пределах вологодского Заволочья.

«МОРОЗ ПО ЖЕСТИ»

Многим, вероятно, известна великоустюжская чернь по серебру, но мало кто знает о шемогодской резьбе по бересте. Еще меньше знают о сканных работах северных мастеров. И совсем мало кто помнит теперь о ларцах и сундуках, отделанных «морозом по жести», с потайными замками и секретами. А ведь эти ремесла и эти промыслы два столетия были сосредоточены в городе Устюге Великом. Вклад северных ювелиров, резчиков, сканщиков, шкатулочников в русское прикладное искусство признается всеми искусствоведами... Правда, в начале нашего века многие промыслы — и, в частности, чернение по серебру — испытывали пору упадка. В том же Великом Устюге остался один только мастер росписи по металлу — М. П. Чирков. Ему-то и обязана великоустюжская чернь своим возрождением, когда в 30-х годах была организована артель «Северная чернь» и когда Чирков воспитал целую плеяду замечательных

мастеров. Он передал им дедовские секреты и художественные навыки изготовления черневых изделий. В последние годы стала возрождаться и шемогодская резьба по бересте. «Вологодские дарёнки» — коробочки, шкатулки, матрешки, подстаканники, украшенные берестяным орнаментом, — нашли себе покупателей и любителей сувениров. Но не всем промыслам в одинаковой степени повезло. Не повезло, например, ларцам с «морозом по жести».

...Еще с детства помнятся эти ларцы и кованые сундуки. Обивались они тонкой жостью с морозным узором, очень похожим на узор, которым изукрашивает стужа заиндевелые стекла. Узор этот не тускнел с годами, не стирался, потому что жость, окрашенная зеленым, голубым и желтым лаком, прокаливалась особым образом в печах. Сколько радости доставлял взрослым и детям такой чудесный ларец!.. Нужно было сначала найти ключик, потом потаенную замочную скважину, повернуть ключик — и услышать тихий мелодичный звон: только после этого ларец открывался.

И вот в руках старого-старого мастера этот ларец, как будто принесенный тебе из страны детства. Только это последний мастер на земле, и в руках у него — последний кованый сундучок с «морозом по жести». И тебе вспоминаются слова Сергея Залыгина, обращенные к нам, к людям, пишущим и путешествующим. Вот они эти слова: «Видимо, наше поколение последнее, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без мало все и каждый. Если мы не скажем о нем и его решительной переделке в течение короткого срока, — кто же скажет?..» Действительно, кто скажет о девяностосемилетнем мастерешкатулочнике Пантелеймоне Антоновиче Сосновском, если это не сделаешь ты или кто-то из нас?..

Длинной и пыльной улицей Водников ты проходишь к дому, где проживает Сосновский, коренной устюжанин и старожил здешних мест. Тебя встречает сам хозяин, почтенный старик, живой, подвижный и, видимо, привыкший к посетителям и гостям. Так оно и оказалось на самом деле. Поздоровавшись и усадив гостя за стол, Пантелеймон Антонович первым делом достает бумажную папку, в которой собрано множество грамот

от музеев — Великоустюжского, Тотемского, Вологодского, Загорского, дипломов и почетных свидетельств, запросов от научно-исследовательских институтов, писем, частных просьб, вырезок из газет... Да мало ли что хранит эта папка, собранная за последние годы, когда интерес к изделиям народных ремесленников заметно вырос. А Пантелеймон Антонович охотно и вроде бы даже заученно начинает рассказывать о себе... Семья у них была большая, мать вскоре умерла — вот и пришлось робить с шести годов у мастера Булатова Петра Ивановича. Потом еще у двух мастеров робил. Потом женился. И тогда уже робил на винокуренном заводе по-кузнечному... Но в первую же получку предлагает мастер выпить. «Я на утечу от него... Утянулся», — дедушка Пантелеймон озорно улыбается. После завел себе кое-какой слесарный инструмент, кузницу смастерил, мастерскую в теплом чулане. И проробил ни много ни мало — восемьдесят пять лет!..

Тут Пантелеймон Антонович помолчал, пожевал губами и пояснил: «Мне всегда в жизни везло... На хороших людей везло», — добавляет он. И только после этого, действительно замечательного признания почтенный мастер довольно живо встает из-за стола, опускается на колени, отмыкает замок кованого сундука собственной работы и достает оттуда небольшой ларчик. Это — его единственный ларец, потому что все другие или разошлись по музеям, или оказались в руках посетителей.

«Дедушка-прадедушка, сделай на память, — с мягким юмором поясняет Пантелеймон Антонович. — Сделаешь, подаришь... И опять без ларца».

...Когда возвращаешься от Сосновского по той же тихой улице Водников на дебаркадер, ты несешь в себе какую-то потаенную грусть. Почему возникло в тебе это чувство, ты и сам сказать не можешь. То ли тебя устыдили руки Пантелеймона Антоновича, проработавшие на этой земле едва не целое столетие. То ли виноват вид ларчика, который оказался скромней и непритязательней, чем ты ожидал. То ли удручает мысль, что это последний мастер, изготовивший последние шкатулки и ларцы. Ответить на вопросы трудно. Да и нужно ли

на них отвечать?.. Только неприметно сквозь грусть и душевную смуту вновь пробились строчки Николая Рубцова, родившегося здесь, на Севере, и погибшего так безвременно и нелепо:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И тебе от этих строчек становится как-то спокойнее, и ты шагаешь к дебаркадеру, на котором тебе нужно переночевать, а с рассветом плыть дальше уже не по Сухоне, а по Северной Двине.

ВЕЛИКОЕ УСТЬЕ

Возле города Устюга, о котором летописец сказал бы «при граде Устьюзе», Сухона сливается с Югом и течет далее малой Двиной. Но только за Котласом, опять-таки при слиянии малой Двины и Вычегды, начинается полноводная красавица Северная Двина. От Котласа к Архангельску идут двухпалубные теплоходы, на которых все по-иному, чем на плоскодонном катере, — на нем ты приплыл в Великой Устюг. Там ты не знал, куда голову приклонить, а здесь — каюты отделаны красным деревом, шезлонги на верхней палубе, на мостике важные моряки с золотыми галунами... Да и Северная Двина становится все полноводнее и шире от поворота к повороту. Ручьи и реки вносят в нее свои светлые холодные воды, и при устье каждой реки стоят старинные поселения: то Усть-Вага, то Усть-Ваеньга, то Усть-Пинега — и так до самого Беломорья. Бесконечные песчаные отмели по берегам сменяются зарослями ивняка и ракитника, деревянные избушки — трубами лесозаводов, заливные луга — скотными дворами, леса — зданиями сельских школ и интернатов. А теплоход, подрагивая от работы турбин, бесшумно рассекает двинские волны и, после остановок у пристаней, как бы еще больше раздвигает берега... Хорошо и уютно в шезлонге с подветренной стороны. Это настроение тебе сопутствует потому, что этим летом ты можешь:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиления,
Вот счастье! вот права...

Это — Пушкин, который сопровождает тебя в поездках на юг и в поездках на север, он один заменяет тебе книгу книг, он один думает, чувствует, выражает свои чувства точно так же, как это свойственно нам, людям второй половины двадцатого века. Об этом сказал Леонид Мартынов. И к сказанному присовокупил: все это — Пушкин, уходящий в грядущее! А поскольку в твоих дорожных записях есть и пути и перепутья поэзии, ее привалы и ее ночлеги, то не грешно высказать пушкинскими стихами то, что не всегда понятно тебе самому... Хорошо и уютно в шезлонге с подветренной стороны... В твоих дорожных записях собрана всякая всячина. И вот теперь, перелистывая тетради, ты замечаешь, что на виду у светлой дали иные из них читаются совсем по-иному. Ну, хотя бы вот эта запись. Более ста лет тому назад «Вологодские губернские ведомости» напечатали статью о том, как было открыто великое устье — устье Северной Двины.

Все лето 1553 года в низовьях Двины бушевали бури. А вот утро 24 августа выдалось спокойным. Рыбаки, обрадовавшись тишине, собрались на промыслы. Как вдруг на горизонте показалось светлое пятнышко.

— Верно, опять буря хочет подкрасться к нам, — говорили промышленники, пристально вглядываясь в горизонт. Белое пятнышко делалось между тем все яснее и яснее, и вскоре уже можно было узнать мачты и паруса большого судна. Напуганные рыбаки стали собирать снасти. А иностранный корабль летел прямо на монастырь Св. Николая, и пришельцы знаками и телодвижениями давали рыбакам знать, что они не враги опасные, а мирные люди, отыскавшие здесь от страшной бури на море приют и спасение. Однако недоверчивые обитатели пристани монастыря Св. Николая, посчитавшие за чудо появление такого большого корабля со стороны северных льдов, держались от них на почтительном расстоянии. Корабль кинул якорь. Иноземцы спустили шлюпки, и тут-то, убежденные в доброжелательстве, двинские рыбаки встретили радушно неизвестных моряков. Начался странный разговор: одни не понимали других, но заметно было, что приезжим хотелось проникнуть «внутрь земли». Чтобы исполнить желание гостей, их повезли в ближайший городок Колмогоры и уже там узнали, что это анг-

личане, посланные от короля по делам торговым к великому государю Московскому, и что на корабле находится английский посол, капитан Ричард Ченслер. Только 15 марта 1554 года царь Иван Васильевич Грозный отпустил посла и гостей из Москвы. Они же, приехав, жили у корабля до лета, а потом отплыли в свою землю...

Белый теплоход рассекает гладь реки. По левому борту за кустами ивняка проплывает еще одна, вероятно, последняя перед городом деревянная церковь. Так оно и есть — это соборная церковь в селе Лявля, примечательный памятник деревянного зодчества в двинской земле. Срублена она восьмериком в 1587 году, то есть через тридцать четыре года после неожиданного и перепугавшего двинских рыбаков визита в устье Двины капитана Ченслера. Все ее старинное обличье как бы приближает к тебе то августовское утро, когда для русских торговых и военных кораблей открылся выход в Ледовитый океан... Село Лявля давно скрылось за кормой, а на горизонте в лучах восходящего солнца отчетливо обозначились корпуса Архангельского бумажного комбината. Как странно угадывать одну деталь за другой в этом современном пейзаже! И хотя по-прежнему пусты песчаные отмели, но мимо теплохода все чаще проскакивают катера, плывут вперед и все-таки отстают буксиры с длинными вереницами плотов. Приближение большого города теперь чувствуется буквально во всем. Правда, это всего лишь ощущение, а не знание, потому что ты впервые подплываешь к Архангельску и впервые видишь и эти отмели, и эту кромку леса, над которой, словно айсберги, подымают свои белые надстройки океанские лесовозы.

Плавный, едва заметный поворот реки — и уже другой лес возникает на горизонте. Лес — портовых кранов. Они возвышаются над россыпью домишек, будочек, заборов. А река уже охватывает все видимое пространство; ее светлая синева кажется беспредельной. И радостное и тревожное чувство рождается в тебе. Оно всегда бывает, когда впереди виднеется незнакомый город, который тебе предстоит открыть как новую землю. И к этой земле тебя, словно твоих отчий и дедичей, новгородцев-мореходов на ладьях, распустивших паруса, выносит великая северная река Двина. Потом город станет

привычен, будет исхожен, изъезжен на трамваях и автобусах, но пока он — весь в сизоватой дымке, пока он — неизвестность и догадка. На якорях стоят, а потом медленно разворачиваются — по ходу теплохода — океанские корабли: по флагам узнаешь французские, датские, шведские, западногерманские, бельгийские и, конечно же, английские суда. Все ближе и одновременно все выше поднимаются пролеты автодорожного моста через Двину. Теплоход проходит главным пролетом — металлические конструкции нависают прямо над головой и теперь видны особенно хорошо. За мостом — причалы речного вокзала. Ты уже в Архангельске, ты в устье Северной Двины. К этому устью ты плыл много дней сначала по Вологде-реке, едва не задевая бортами своей плоскодонки за опоры Красного моста, потом по Сухоне, потом по Малой Двине и, наконец, по Северной Двине, которая несколько суток полноводно и широко набегала под тупой нос огромного судна. Слышен трубный глас сирены. Минута — и причальные концы полетят на пристань...

ОГНЕННОЕ ВОДОПОЛЬЕ

«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ»

На набережной, почти напротив устья Золотухи, можно увидеть невзрачное, оштукатуренное здание. Теперь там какой-то склад — окна забиты проржавевшими листами железа, забор покосился, само здание заброшено и молчаливо. А когда-то в его окна были видны багровые отблески пламени, из широко раскрытых ворот валяли клубы дыма, у забора стояли крестьянские дровни. Это были механические мастерские, названные удивительно точно — «Красный пахарь».

Мимо этих мастерских я ходил в Заречье к дальним родственникам. Мал я был в ту пору, поэтому воспоминания мои разрознены, неполны. Вот молодая русоволосая женщина, опершись локтем на чистую скатерть, протяжно поет известную тогда песню «На муромской дороге»... Вот я иду по безлюдной ночной улице... Подхожу к закопченному зданию, вижу красное сияние снегов и обмираю от неизъяснимой робости и тревоги. Но однажды я поборол страх и рискнул войти в раскрытые ворота. В мятущихся бликах огня, в тучах дыма навстречу мне качнулись какие-то гиганты; они поднимали раскаленный брус, шли к наковальне; потом один бухал молотом, а другой постукивал звонким молоточком, словно что-то подсказывал ему. Потом все окуталось облаком пара. И прокопченный сажей молотобоец бросил на землю малиновую поковку. Заметив меня, он добродушно блеснул белками глаз... Но я тут же выскочил за воро-

та и, счастливый неожиданным приключением, вприпрыжку побежал домой. Жутковатое чувство, с которым я вступил в полумрак мастерских, в этот таинственный мир огненных бликов, глухих ударов кувалд, вздохов мехов, раздувавших горны, долго не покидало меня. Это была первая встреча с огнем и металлом, с индустрией, если, конечно, можно назвать индустрией полукустарные мастерские на берегу Вологды. Но будем благодарны «Красному пахарю» и его неутомимым кузнецам-молотобойцам — тогда, в 20-х годах, немало плугов, сошников, железных борон и серпов вывезли из его ворот крестьянские дровни.

Сорок лет в жизни человека — зрелость. Сорок лет в жизни народа — не такой уж большой срок. Но прошли они, эти сорок лет, и когда в печати и по радио стали появляться сообщения, что на Череповецком металлургическом заводе будет задута четвертая доменная печь, я поспешил в родные места.

МОСКВА — ЧЕРЕПОВЕЦ

Второй час из-под крыла пассажирского самолета, летевшего по маршруту Москва — Архангельск, выплывает необозримая снежная целина. Кое-где она испятнана каракулевыми шкурками заиндевелых лесов: шкурки с явственно проступающими хребтинками — густой хвойной чащей, сходящей на нет мелколесьем и кустарником.

Вообще удивительное дело — угадывать с высоты трех тысяч метров такие знакомые предметы, как дорога, речной обрыв, одинокий стог сена. Вот по снежной целине ползет мураш, да и только! Догадываешься: лошадь с санями. Рассыпаны по полю крохотные пирамидки, в лучах восходящего солнца видны даже язычки теней: это копейки сена! И снова из-под крыла самолета наплывает и заполняет все видимое пространство белизна Рыбинского водохранилища. А через несколько минут — Череповец. Он появляется внезапно, когда самолет делает крутой разворот и резко идет на посадку. Глаз успевает выхватить четкие кварталы города, коробки домов, оранжевые дымы сталеплавильных печей, корпуса металлургического завода — все в ярком солнечном освещении.

Череповец — город огня и стали — сразу же напомнил мне что-то встреченное не раз, не раз пережитое — да ведь это же студгородок где-нибудь в районе Лефортова. «Точно!» — как сказал бы мой приятель Энгельс Федосеев. То же обилие общежитий, те же девушки в лыжных брюках, перебежавшие через сквер, те же шумные партии молодежи, заходившие в столовки и кафе и занимавшие подряд несколько столиков. И все же мое сравнение было приблизительным, потому что металлургический комбинат был истинным средоточием всех жизненных сил и устремлений этого города. Не студенчество, а рабочий класс утверждал себя в Череповце в полный голос.

Лучшая площадь — площадь Metallургов, лучший проспект — проспект Metallургов, лучший Дом культуры — металлургов, лучший стадион — «Металлург»!

Снег давно стоял на асфальтированных улицах, по которым споро шагали рабочие, засунув руки в карманы курток. Домохозяйки заходили в гастрономы. От кольца то и дело отваливали переполненные трамваи. Город жил своей деловой жизнью. И только в роскошных парикмахерских-салонах было пустынно — электрические часы показывали начало рабочей смены.

ВЫСОТА

А вечером, когда мартовское солнце опускалось за градири — сооружения, чем-то напоминающие перевернутые стопки, — клубы розового дыма тянулись на северо-восток. Дымы застилали солнце, которое то скрывалось, то появлялось вновь, мешали разглядеть окутанные паром махины доменных печей, подъемники и слитковозы на дальних путях. И только одни градири были видны с дороги. Я шел прямо на них. Справа и слева тянулись почти километровые корпуса, пока еще безмолвные, безлюдные, с запыленными окнами. Я не могу сказать, были ли эти новые цеха цехами горячего проката стали или кислородно-конвертерными, только я долго шел мимо них, удивляясь безлюдью заводского проспекта. Возле стен еще лежали снежные заносы — их заледеневшие острые гребни были обращены в сторону солнца. И эти ледяные гребни, и молчаливые змеи трубопроводов, нависших над головой, и пыльно-се-

рые конструкции — все вместе взятое делало пейзаж странным, ирреальным, фантастическим, таким, каким художники любят изображать города марсиан. Во всяком случае, в детстве именно такими представлялись мне марсианские города-каналы. Редкие рабочие попадались навстречу, что еще очевиднее подчеркивало странность этого марсианского мира.

Я шел прямо к градирям, шел, догадываясь, что где-то там должна быть она, шел, ни у кого не спрашивая дорогу, полагая, что иду правильно.

Еще раньше, в заводской столовой «Бригантина», в профкоме, на улицах города, я слышал упоминание о ней. Одни говорили: «Сегодня в 2.30 самовар задули». И считали разговор исчерпанным. Другие дружески именовали ее «теткой», «сватьей», «печкой», а Энгельс Федосеев, корреспондент Всесоюзного радио, на неизменный вопрос: «Когда ожидать?» — густым дородным голосом вещал: «В субботу, старик, в субботу. Ибо кастрюля непомерно велика».

Все чаще на вагончиках, на стенах цехов мне стали попадаться транспаранты: «Въезд на строительство 4-й домны» или «Товарищи строители! Закончим в срок сдачу 4-й домны».

Стало быть, я действительно шел правильной дорогой и вскоре должен был увидеть четвертую домну — эту гигантскую «печку», задутую сегодня в ночь. Из-за здания доменного цеха донесся шум падающей воды. Если бы я не догадался, что именно там и должна находиться четвертая домна, то подумал бы, что слышу шум водопада: шум был могуч, он заглушал все, забивал уши, стеснял дыхание.

...Источая плотный свист, гуденье, водопадный рокот, окутываясь клубами пара, которые отбрасывали на землю прихотливые тени, в окружении ребристых воздухонагревателей передо мной предстала домна-гигант. Глаз терялся в кирпичной кладке, железных лестницах, переходах, блестящих цилиндрах. Я никак не мог охватить разом этот величественный комплекс сооружений, свистящий, гудящий и пышущий паром на разных регистрах. Запоминались какие-то пустяки: перед входом девушки-подсобницы разравнивают желтый песок. Рабочие где-то на верхотуре докрашивают кубовой краской железный

лист. Парни у входа в нижний этаж привинчивают какую-то доску...

Много довелось мне читать досок на исторических зданиях и памятниках северного зодчества. И приводил я эти записи в своих очерках и новеллах охотно. Но вот теперь передо мной была доска, увековечившая труд моих земляков, моих современников. И я не отказал себе в удовольствии перенести текст в записную книжку. Надпись гласила: «Доменная печь № 4 заложена в год 50-летия Советской власти. Сооружена самоотверженным трудом строителей-монтажников и металлургов при активном участии трудящихся города. Сентябрь 1967. Март 1969».

— Мда-а... Ничего себе — «кастрюля»!

Позднее из разговоров, из сообщений газет мне запомнилось несколько цифр. Вот они. Если бы можно было вытянуть в одну линию все швы, сваренные на домне, то эта огненная линия протянулась бы от Череповца до Вологды, а кабеля, использованного здесь, хватило бы до самой Пензы.

Когда-то Некрасов сказал, как отрезал: «Копатель канав — вологжанин». А сколько пришлось бы призвать сюда вологодских землекопов, если для сооружения только этого четвертого доменного агрегата было разработано и перемещено два с половиной миллиона кубометров грунта?! Но землекопов призывать не пришлось, ибо это за них сделала техника, которая воистину творит чудеса.

...Бесконечными металлическими маршами я подымался вдоль бункерской эстакады выше, выше, к красному флажку, заметному со всей территории завода. И на каждой площадке раздвигался горизонт, все больше открывалась панорама завода и города: уже видны улицы Ленина, Чкалова, Бардина. Уже забелели просторы Рыбинского водохранилища, уже приметными стали самоходные баржи, вмерзшие в лед. Как-никак высота домны — высота двадцатипятиэтажного дома: восемьдесят два метра! От ветра, от простора слезились глаза. Совсем рядом полоскался вылинявший от дождей, ветров, метелей и все-таки победный флаг.

Внезапно многотонная махина задрожала мелкой дрожью: я внутренне подобрался. Такое ощущение мне пришлось испытать в предгорьях Эльбруса, когда на противоположном склоне понеслась лавина и рухнула

вниз. Только здесь была не лавина. Нет, это автоматически включилась система, подававшая в домну угольный концентрат: по наклонному мосту полз двадцатикубовый ковш — он подымал из бункеров агломерат и кокс и засыпал их в чрево печи. Ковш наполнил, перевалился — меня обдало мелкими водяными брызгами, а из тьмы бункерной эстакады наполнил второй ковш, и снова вращались маховики, и не прекращалось дрожание этого монолита из кирпича, железобетона, стали.

Вот я и думаю: чувство высоты — особое чувство. И его во всей полноте я испытал здесь, на верхнем мостике домны, открывавшей мне и нашу даль, и нашу близь.

ПЕРВАЯ ПЛАВКА

Телефонного звонка я не слышал. Но Федосеев, который взял трубку и после короткого разговора начал быстро одеваться, нечаянно разбудил меня. В темноте гостиничного номера он искал «бандуру» — портативный магнитофон. На мой отчаянный призыв: «Обожди!» — Федосеев обернулся ко мне своим широкоскулым лицом и в общих чертах пересказал содержание разговора. Диспетчерский пункт, где у него, как у настоящего радиожурналиста, были «свои» люди, сообщил: раздувка домны идет быстрее обычного, печь интенсивно наполняется чугуном, через час-полтора ожидается выпуск первого металла.

Главный литейный двор на исходе той памятной ночи был пустынен. Пламенели газовые горелки, прикрытые гофрированными листами железа: для приема первого чугуна они разогревали желоба, выложенные огнеупором. В руках электросварщиков потрескивали и ослепительно вспыхивали огненные дуги — от этих вспышек помещение литейного двора мгновенно озарялось белым сиянием. Где-то над головой бесшумно двигался мостовой кран. Слышались предупредительные звонки. В чреве печи гудел раскаленный воздух.

Если по минутам пересказать, как был сделан самый первый выпуск металла, то все будет выглядеть доволь-

но буднично. В 5.00 мастер дал команду: «Горновые — к летке!» Электробур тронул первую летку: с небольшими интервалами его жало стало все глубже и глубже входить в тело домны. В 5.05 электробур отвели. В 5.10 горновой Александр Микушин взялся за кислородную трубку. И наконец в 5 часов 25 минут летка была вскрыта: посыпались снопы искр, сильнее «зафуркала» огромная печь, по желобам потекла раскаленная масса, срываясь в ковш чугуновоза... Так четвертая доменная печь выдала стране первые восемьдесят тонн чугуна. А гости, облепившие поручни, которыми ограждены были литейные дворы, журналисты, фотокорреспонденты, поздравления, телеграммы, краткие митинги — все это было потом, потом, когда доменщики вскрывали вторую и третью летку.

...Горели газовые горелки, вспыхивали дуги электро-сварки, раздавались резкие предупредительные звонки мостового крана. Все так же утробно гудела домна. На втором литейном дворе горновые заканчивали очистку желобов. Но вот включились «юпитеры» телевидения. И литейный двор, посыпанный желтым песком, вольно или невольно стал похож на цирковую арену. Все лучи прожекторов и осветительных ламп были направлены именно сюда. Горновые — на площадке перед третьей леткой их было несколько человек — не обращали внимания на суету осветителей, операторов, кинохроникеров. Иные из них работали, иные стояли в вольных и поэтому еще более живописных позах, опираясь на лопаты, которыми они только что скалывали шлак. Им была дорога краткая передышка. И хотя крайний к домне горновой в первое мгновение напомнил мне античного гиганта, опершегося о палицу, сравнение мелькнуло и исчезло: горновой тяжело дышал, лицо его было потно и устало. И все-таки литейный двор, залитый голубоватым сиянием «юпитеров», горновые в войлочных шляпах, в грубошерстных куртках, в брезентовых штанах, похожие на матросов парусного флота, рождали самые романтические, возвышенные ассоциации.

Один из них взял металлический прут, наклонился к горелке, мгновенно раскалил и прикурил от него сигарету. Что в том особенного? Но огонь и металл для этого горнового были привычны, естественны, как

для хлебороба — земля, для моряка — вода и ветер. От этой каждодневной близости к ревущей стихии огня и металла была у них уверенность движений, свобода поз, спокойное сознание своей силы — силы рабочего человека. Возможно, я преувеличиваю, возможно, работали в ночную смену просто хорошие парни. Однако во всем этом свисте раскаленных газов, мятущихся огней, ударов кувалд по металлу, рассыпчатом треске электросварки, — во всем этом гуле и грохоте, наполнившем помещение плавильного агрегата, был — утверждаю я — был один момент непередаваемой в слове красоты. Именно красоты — и ничего другого! Красоты слаженного человеческого деяния, перед которым бессильно все зло на свете.

Старший горновой отложил кислородную трубку в сторону: из летки уже вырывались дымные языки пламени, сыпались каскады искр. И тогда старший взялся за металлическую пику, сначала один взялся, а затем и его подручные, и разом, дружно, слаженно они стали бить в летку, пробивать закаменевшую массу, открывать путь огненной реке. Вокруг них запрыгали фотокорреспонденты, — снимался редкостный кадр, — операторы навели на них фиолетовые зрачки телеаппаратов, а они, как матросы на паруснике, в родной им стихии огня и металла, раскачивали пику и били в горловину летки, били враз, по одному дыханию и одному удару сердец. С каждым размахом доменная печь все обильнее выбрасывала из своего нутра, раскаленного до тысячи двухсот градусов, языки пламени, пока наконец не пошел металл. Металл пошел, пошел металл, понес на хребтине темные полосы шлака, свиваясь в водовороты, закипая белым ключом, осыпая плечи блестящей угольной пылью. Лица присутствующих мгновенно озарились багровым светом. И это же багровое полыхание встало над черной пастью ковша.

Один за другим гасли «юпитеры». Сматывали кабель осветители. Кинооператоры покидали установки. Опустел и мостик газовой будки. Но на литейном дворе царил все тот же напряженный и четкий ритм, какой мы с Федосеевым ощутили в пять часов утра.

ПОДАРОК

С годами за стеклами книжных полок у меня накопилось множество предметов, может быть неинтересных постороннему человеку, но дорогих мне как память о бесчисленных командировках, о встречах с людьми, о дальних городах и землях.

Каждый такой предмет — целая повесть. Взять хотя бы вот этот крошечный кирпичик, покрытый глазурью. Если внимательно присмотреться к глазури, сверкающей библейской синевой, то можно различить на ней паутину мелких трещинок... Ведь этому кирпичику более пятисот лет. Подарил мне его в Самарканде узбек-реставратор возле мечети Биби-ханым. По грандиозности и пышности не было равных Биби-ханым на всем Востоке. Пять лет древние мастера облицовывали ее такими кирпичиками, чтобы восторженный современник мог написать, что небесно-голубой купол ее «был бы единственным, если бы небо не было его повторением, и единственной была бы арка, если бы Млечный Путь не оказался ей парой».

А рядом на книжной полке лежит слюда, знаменитый мусковит, который я привез с Витима. Когда-то на Руси окна всех боярских теремов и купеческих посадов посвечивали пластинами слюды, мамским мусковитом. Теперь слюда нашла другое применение — она незаменима в электротехнике. Ее отвалы жирно блестели в промозглой штольне, которую я с трудом отыскал в витимской тайге. А вот обрезок черно-угольной кожи — остаток сапожка с длинным, узким задником, каких в наше время уже не носят.

...Жил в Неревском конце мальчишка, бегал по проулку, играл в «чижа» — вот и протер легкий сапожок из сыромятной кожи, называемый в старину поршнем. Выбросили сапожок на свалку, а спустя шестьсот лет нашли его археологи, вернее, нашли то, что осталось, и подарили мне как память о новгородском раскопе.

Впрочем, речь моя должна пойти о другом, и если я сейчас отвлекусь, то лишь потому что хочется рассказать обо всем сразу.

...Накануне пуска четвертой домны Вячеслава Ивановича Солодкова одолели корреспонденты, а он сидел в помещении центрального пульта управления домны,

сидел в шапке, в шарфе, в демисезонном пальто, сидел, нахохлившись, углубившись в график работы доменного агрегата. На листе бумаги рядом с синей линией шла красная: синяя определяла заданный режим работы, а красная показывала действительное положение дел. В этот-то момент, обернувшись, Вячеслав Иванович и увидел меня:

— Не могу, понимаете, не могу без конца давать интервью. Ведь она,— кивок в сторону домны,— глаз да глаз требует, как малое дитя! А вы...

Мне пришлось ретироваться. Зато на следующее утро, когда пошел чугун, Солодков был оживлен и откровенно радостен. Узнав меня, он примирительно улыбнулся:

— А что! Хорошую кашу сварили! И быстро!..

Глубоко дышала перед нами домна. Из огненных ручейков, непрерывно сбегавших по ложу, лаборанты черпали пробу и вливали ее в небольшие формочки. Когда металл остывал, формочки уносили в лабораторию или в помещение «киповцев». Походили эти пробы чугуна на железнодорожные костыли. Вот такой-то, еще теплый «костыль» и подарил мне повеселевший Вячеслав Солодков. И не только подарил, но и написал: «I плавка ДП-4. Череповец». И расписался под датой.

— Куда же пойдет этот чугун?— простодушно спросил я, принимая подарок от Солодкова. Вячеслав Иванович перемотал шарф, поправил шапку и только после этого, прищурившись, ответил:

— В третье тысячелетье...

Странное ощущение испытал я от этих слов, как будто внезапно заглянул в такую даль, куда за толчеей повседневных забот мы не часто решаемся заглянуть.

ВОДОПОЛЬЕ

— Куда ты поедешь — в водополье-то,— увещевала меня матушка Екатерина Александровна.

— Да я вторую неделю...

— И мало! Погостил мало. Тебя ждала — недель не считала,— мама не собиралась сдаваться.— Вроде везде побывал, всех ославил — и на домне и в других местах.

— Мне же надо...

— Никто и не говорит: не надо. Конечно, надо. А водополицу пережди.

— Пока доеду до Череповца — просохнет...

— Как же, дожидайся — просохнет... — насмешливо повторила мама. И начала новый заход: — Ты слышал, старые люди что говорят? Не слышал, так послушай. Иду я через виадук, вижу — сидят грачи. Парами возле гнезд сидят, а на гнездо не садятся. Почему? А есть старая примета: если грачи сразу садятся на гнездо — весна будет дружной и скорой, если на дорогу — долгой и затяжной.

Бабушка Катя торжествующе замолчала. И вдруг перерешила про себя:

— И то сказать: теперь на дорогах-то навозу нет, одни камни, — это природная наблюдательность взяла в ней верх. — Безработным грачам что делать — возле гнезд сидеть, тепла дожидаться.

Упоминание о грачах, которые почему-то всегда впервые появлялись в березовой роще возле виадука, еще больше раззадорило меня. Взглянешь на голые ветви берез — и тревожно и сладко делается от их черноты. Там, на пешехонском тракте, уже началась северная весна, там — водополье. «Водополье!» — слово-то какое мама невзначай обронила. Водополье — полая вода, а можно и по-иному — вода в полях, и тоже хорошо. Ноздри мои раздуваются, чую влажный ветер с низин, прель прошлогодней листвы, желтоватую пыльцу ивушек.

Скорее — к дуплистым березам, к грачам, скорее — в Череповец, за Череповец, куда-нибудь в синюю роздымь, лишь бы вырваться из города, лишь бы вдохнуть ветер пешехонского тракта, который теперь стал асфальтированным шоссе Вологда — Череповец.

Приметив, что слова произвели на меня совсем обратное действие, бабушка Катя вздохнула:

— Одна слава, что сын в гостях, а он — вот он — фью-ю-ть — и нету.

Ехать в Нелазское я надумал только тогда, когда в Череповце, на автостанции, увидел рейсовый автобус «Череповец — 7-я фабрика». Автобус шел через село, где была чудная деревянная церквушка XVI века. О ней я уже был наслышан от друзей-художников, превосходно знавших памятники деревянного зодчества.

Хранился у меня и эстамп с видом этой церквушки: в обрамлении корней художники изобразили сказочный терем-теремок.

За серым, бетонным забором встали в ряд трубы сталелитейных цехов — автобус бежал вдоль территории Череповецкого металлургического завода. Трубы — одинаковые по высоте, по размеру, а дымы разные: у одной — бордовый, у другой — сиреневый, у третьей — голубовато-серый, и снова бордовый, и снова серый... Красиво. Если, конечно, забыть о воздействии химических отходов производства на атмосферу города. Да по-настоящему, без всяких оговорок, красиво, пожалуй, не здесь, а там — в самих сталелитейных цехах, где варят сталь мастера-чудодеи.

Когда завалочные машины хоботом, похожим на вытянутую руку, ловко поддевают мульду с железным ломом и, засунув по локоть стальную «руку» в жерло печи, переворачивают там мульду, — языки огня рвутся под перекрытия цехов. Миг — и водополье огня! У огнедышащих печей не говорят, а приказывают, не шествуют, а подбегают, не покуривают в тени, а швыряют совковые лопаты с известняком так, что роботы дымятся на плечах. Для такой работы тоже нужно искусство! И Заволочье в этом водополье огня и кипенье металла кажется особенно светлым, скажу сильнее — ярим, яростным, пламенным, как пламенная работа сталелитейщиков, доменщиков, горновых.

Водополье! Куда ни помотришь — вода и вода. Ручьи, пересекая мостовую, свиваются в жгуты, клокочут в промоинах. Автобус то и дело оседает в эти промоины, высоко подбрасывая пассажиров на заднем сиденье. Пашни раскисли, набрякли талой водой. В низинах вода проступила сквозь снег — снег по краинам пожелтел, и от этого талые воды кажутся еще светлее, с золотистым блеском, затопленный ивняк — более сквозным, редким, а вся окрестность — устьем реки, берущей начало где-то на юге и разлившейся здесь, в северных краях, на сотни километров.

Сходство с необозримым устьем усиливает и лес, который стоит среди снегов на краю горизонта. О великом устье Весны-Водополицы напоминает и багряная полоса, которая, как сигнал к навигации, плывет и плы-

вет над пойменным раздольем: и сюда доносит ветер дымы сталелитейных труб Череповца.

Хорошо, что я поехал в водополье, что увидел начало весеннего обновления этих северных пашен и северных деревень: они в одном великом устье сегодняшней жизни, на одной-единой Заволоцкой земле.

Деревянная Нелазская церковь стояла на холме. Рубили ее народные мастера по приметам ветряных мельниц: на ряжах-подкосах — преогромное гульбище, выше — полубочки перекрытий, еще выше — крохотные купола. Березовая роща возле церкви была полна грачиного гомона и крика. Да и вообще все было так, как хотелось, — запах талой воды, хмельной дух ярко-оранжевых осинового опилок, вытаявших из-под снега, лошадь с санями, в которые возчик бросил охапку сена. Долго я бродил по этому кособоку, смотрел, запрокинув голову, на гнезда грачей, на светло-синее весеннее небо, на маковицы Нелазской церквушки и был несказанно доволен, что повидал и эту березовую рощу, и грачей, и сухонькую «деревяшку», чем-то похожую на сухоньких деревенских старух...

Водополье! Ручьи, бурля, клокоча, пересекают асфальтированные проспекты Череповца. Водополье — зачин северной весны.

УЗОРЫ СЕНИ МАЛИНЫ

1

...А я ведь бывал в Архангельске, и не раз, и мог бы, наверно, заглянуть в деревянный домик с железными ставнями, где жил этот кудесник, этот сказочный старичок-лесовичок, с обвислыми, как бы моржовыми усами и пронзительно-острыми глазками, выглядывавшими из-под колючих бровей. Мог бы, да не догадался. И никто из архангельских знакомых не надумил меня заглянуть на Поморскую, 27, где и пребывал до последних дней своей долгой, многотрудной жизни именно он, о ком здесь идет речь,— Степан Григорьевич Писахов.

Теперь мне посещение представляется совсем таким, каким о нем рассказал Владимир Личутин, в ту пору, то есть в конце пятидесятих годов, молодой архангельский журналист.

Прежде чем войти в дом на Поморской, надо было довольно основательно постучать в ставню. Постучать, подождать, чтобы наконец вышел дед в каком-то странном сюртуке. Дед стал бы довольно подозрительно вглядываться в твое лицо («кого это принесла нелегкая»), потом провел бы темным коридорчиком в комнату, где белел под потолком игрушечный белый голубь и где хозяин привычно погрузился бы в глубокое кресло, указав тебе место напротив.

Поначалу, вероятно, разговор пошел бы не очень-то складно, но дед не без простодушно-лукавой и наивной

гордости мог сказать тебе, что достиг он «совершеннолетия», то есть только что переступил восьмой десяток, и теперь готовится к «зрелому возрасту», к своему девяностолетию. Если бы ты понравился хозяину дома, то он, между прочим, мог бы рассказать тебе свою любимую байку про баню, выплывавшую самоходом в море, а заодно удостоить высокой чести — показать свои картины... Но вот здесь-то я и хочу прервать пересказ Владимира Личутина и взять слово самому. Поскольку картины Писахова я видел в Архангельске, и видел их в новом выставочном зале, где было не так-то много народу и где можно было не спеша переходить от одной к другой. Я довольно долго любовался серебристыми красками Севера, малиновыми зорями, ледяными глыбами, отсвечивающими на солнце, бронзовым стволом какой-то одинокой сосны, скрученной, но не сломленной зимними выюгами... Короче говоря, я жадно впитывал эти пейзажи, лиризмом и душевной теплотой напоминавшие мне другого северного художника — Феодосия Михайловича Вахрушева, жившего в Тотьме и всю жизнь писавшего возлюбленную реку Сухону. Но если живопись Вахрушева, выдержанную в глубоко реалистическом ключе, я воспринимал как само собой разумеющееся явление, то здесь, в выставочном зале, я испытывал более противоречивые, более странные чувства, близкие, может быть, и к разочарованию. И вот почему. Еще с довоенных лет, еще вологодским школьником я хорошо знал Писахова как создателя книги знаменитых «Сказок», поразивших меня фантазией художника, его затейливой речью, его способностью мгновенно преобразить весь этот реальный мир во что-то сверхъестественное. Стоило мне взглянуть глазами Писахова-сказочника на какую-нибудь замшелую баньку, что «притулилась» к высокому береговому обрыву, как сразу же эта банька подымала из трубы дым хвостом и плыла в море-океан.

Правда, здесь же, в выставочном зале, я узнал, что за свои живописные полотна С. Г. Писахов еще в 1912 году был удостоен серебряной медали, что именно за пейзажи и виды Севера его называли «архангельским колдуном»... Многим позднее я узнал и другое, а именно узнал мнение самого художника, который пытался объяснить разительное несоответствие в своем художественном освоении Поморья, сразу же бросавше-

еся в глаза. «Я реалист,— твердо говорил он.— В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю! В живописи я обязан быть правдивым. Поссоришься с Природой ради выкрутаса — Природа замкнется».

Заявление было сделано весьма категоричное, но, к счастью, не совсем точное. Ибо талант Писахова и теперь угадывается буквально во всем: в каждой его картине, в каждой его сказке. Писахов и психологически, и социально, и художнически был достоверен и там и там, поскольку был един. Но он проявлял в разных искусствах разные грани своей богато одаренной натуры — и лирической, и едко-иронической одновременно. В целом же его творческое кредо заключалось в следующем: после долгих скитаний в молодые годы от Каира до Новой земли Писахов пришел к выводу, что именно Север своей красотой «венчает весь шар земной». Певцом этой красоты родного Севера он остается на всю жизнь. Вместе с тем его бесконечно восхищает красота душевного облика северян, их быта, их жизненного уклада, красота их певучего, меткого, необычно выразительного слова. Если несколько перефразировать художника, то можно сказать, что, в свою очередь, глубоко народное, сказочное, северное Слово также венчает шар земной... Чистой случайностью можно признать тот факт, что Писахов в самые зрелые годы, как говорится, обрел себя в области литературы. Но не случайным было его стремление к самовыражению в слове, не случаен был его путь к той знаменательной встрече, о которой также следует сказать несколько слов.

2

В двадцатых годах в архангельской деревне Уйма жил Семен Михайлович Кривоногов. Правда, среди поморов был он известен под забавным прозвищем — Сеня Малина, поскольку имел «малиновые уста», иначе говоря, слыл превосходным рассказчиком нелепиц и небылиц. Например, он рассказывал о том, как «на корабле через Карпаты ездил...» Однако, не случись одной знаменательной встречи, его имя осталось бы в неизвестности, подобно именам тех деревенских баешников и балагуров, которых артели промышленников-

северян нанимали в зимнюю пору, чтобы коротать ночь где-нибудь на Мурмане или Новой Земле.

Но вот в 1928 году в Уйму приехал Степан Григорьевич Писахов, немало наслышанный от полярного капитана Воронина про Кривоногова и его небывальщины. Увы, только однажды они и виделись. Но именно после этой встречи в русской литературе появился Сеня Малина, непревзойденный мастер плести «разговорны узоры» или, по словам его ехидной женки, «всякую несусветность». Вспомним, что сам Писахов был тоже говорун великий и выдумщик невероятных историй. Многие годы он, помимо полотен станковой живописи, мечтал создать что-то такое, что существовало бы «не в частом быватье, а в радужном озерканье», что надолго бы сохранило и чувство древности северной земли, и ее вечную новизну. Ведь лесней да сказкой мы себя, как лампой, освещаем, думал Писахов и предпринимал неоднократные попытки создать свой сказ в духе устно-поэтических традиций Поморья. Ибо с детских лет он обладал безудержной фантазией, которая не только радовала его, но и пугала: «...Легко уношусь в даль немыслимую, в даль минувшую. Порой страшно, ей-богу».

В 1924 году Писахов создал первую такую вещь, названную им сказкой, — «Не любо — не слушай...» («Морожены песни»). Однако встреча с Семеном Кривонотовым оказалась той счастливой звездой, тем мгновенным озарением, после которого насыщенный словесный раствор обрел новое качество и явил миру бесподобного Сеню Малину. Отныне от имени Сени Малины, жителя сказочной деревни Уйма, и повел свои повествования С. Г. Писахов. Этот его основной, хотя и не единственный, герой состоит в самом близком и кровном родстве с гоголевским Пасечником, лесковским «очарованным странником» и Левшой, некрасовским дядюшкой Яковом и многими другими славными наследниками мировой смеховой культуры.

Еще с середины прошлого века русский Север был знаменит олонецкими и беломорскими былинами, заговорами, плачами, причетами. Фольклористы собирали эти сокровища народного гения, популяризировали их. Однако наследие скоморохов, зазывал, баешников, поводырей ученых медведей, создателей балаганных представлений и «действ», восходящих к древнейшим

языческим обрядам, к масленным играм, бывших чем-то «низким» и «площадным», наследие, которое определяет особое виденье мира русским народом, его особую эстетическую концепцию бытия, никак не учитывалось и не собиралось. Оно и поныне ждет своих исследователей, своих первопроходцев. Ибо эти неисчерпаемые сокровища и в наш стремительный XX век по-прежнему тлеют в книгохранилищах, в библиотеках страны. Вот если бы не сказовое творчество Николая Ключева, Степана Писахова и Бориса Шергина, Василия Белова с его бесподобными «Вологодскими бухтинами» и Владимира Личутина с его узорочно-красочными повестями, то мы не имели бы счастья ощутить, почувствовать наяву, воспринять всем существом, что жива многовековая смеховая культура нашего народа, что вольная фантазия и добродушный юмор делают этот мир своим, как бы освобождают человека от всего ложного, омывают его волной веселья. Именно таков смех Писахова, который всегда победителен: его смех не просто отрицает, но и утверждает, не просто развенчивает, но и преобразует былых столпов и кумиров в «смешные страшилища».

Не потому ли Сеня Малина, герой произведений Писахова, в последние годы зажил новой жизнью, обрел второе рождение, ибо он, как и его славные предшественники, всегда необходим людям. Казалось бы, нет ничего проще всех этих северных бухтин, скороговорок, частушек-нескладушек. В равной степени, казалось бы, нет ничего проще и примитивнее Сени Малины. Однако этот с виду «простой» образ имеет родословную в несколько столетий, он — современник и Мамая, и «Наполеонтия», и чиновников старых дореволюционных лет, и рассвирепевших «интервентов», которых ожившая телега Сени Малины загнала в болото. Он и наш современник, наш друг! Подобная историческая глубина этого образа делает его явлением сложным, многогранным. Следует заметить, что вообще реальность именно в сказках Писахова всегда переиначивается, предстает как бы вывернутой наизнанку. Этот прием, свойственный гротеску, применялся прежде, например, в сказах Николая Лескова, теперь он широко применяется и в искусстве двадцатого столетия. Писахов сделал его основным и тем самым добился восприятия мира как некой невидали, некой небывалости. Этим

мироощущением он щедро наградил своего героя... Дело в том, что природа Беломорья, суровые и трудные условия существования жителей Беломорья остались как бы за кадром и в живописи и в сказах С. Писахова. Но этот суровый реальный мир ощутим в качестве жизненной первоосновы, о которой знают и помнят все от мала до велика. Предположим, зимний лов трески в лютые морозы, в штормовые северные ветра был для поморов и тяжелым и опасным. Писахов создает некий сказочный *тот* берег, где треска сама ловится, сама потрошится, сама в бочки ложится. Мало того, добавляет Сеня Малина, «котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется... Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают». Вся жизнь Поморья «в бывалошные времена» была связана с добычей морского зверя и морской рыбы. Вот почему в нелепицах Сени Малины мечты поморцев связаны прежде всего не с хлебным раем, как в других местах России, а с раем пушным, птичным, рыбным, ягодным... И «рай» этот, оказывается, можно было создать в сказке-небыльщине, изукрасить им досуг, вдоволь пошутить, обрести душевные силы для жизненной борьбы. Вот почему Сеня Малина постоянно летает в поднебесье, плавает по морю, колесит по земле — он добывает сказочно-великое количество рыбы, дичи, земных плодов... Причем Сенина добыча оказывается делом столь же приятственным, как парная в воскресной бане. Стоит лишь проявить сметку да находчивость. И Сеня Малина ухитряется, не слезая с полка, выехать в море, наловить рыбу, по-новому, «по-банному», то есть обычной шайкой, заполнить уловом суда промысловиков, да еще «за дверну ручку» с баней попрощаться. Однако даже и это не предел фантазии рассказчика. С каждым новым словом он воодушевляется все больше и больше и создает воистину эпические сцены народных пиршеств, народных ликований. Простодушие рассказчика всегда лукаво, поскольку он знает, что ему верят с трудом, и это лишь увеличивает комизм ситуации: у Сени Малины на огороде выросла капуста, но не простая, а такая, что он одним листом дом свой закрывал. Трудно в это поверить. Но хитрый Сеня Малина ссылается на науки: «Учены всяки приезжали, диплом мне сулили. У меня и рама для него готова — как пришлют, так вставлю». После этого поясне-

ния самые отчаянные маловеры были повержены в прах.

Но иногда начало писаховских сказок вполне обычно, реально. Так, оказалось, что у кума Митрия Артамоныча ружье калибру номер четыре. А у Сени Малины самодельное ружье, но калибру номер два! И безустальный выдумщик с гордостью добавляет: «Как бы ишшо пошире, я бы в ствол спать ложился». Но это лишь зачин. Сенино ружье никого не убивало, а только оглушало: утки это «оглушительно ружье» за парходную трубу сосчитали да еще и подумали: труба эта в отпуск и по лесу как городска модница прогуливает сама себя. Травестированы Степаном Писаховым и сцены из жизни королевской семьи в Лондоне, куда предприимчивые купцы привезли «морожены песни». Эти песни напели жители Уймы и заморозили их на местном двухсотградусном морозе. Весь город был охвачен возбуждением. «Король и королева ночь не спали,— рассказывает Сеня Малина,— с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила».

Но как бы ни были замысловаты, затейливы, безудержно-прихотливы народные нелепицы, Писахов никогда не забывает четких социально-нравственных критериев. Его герой — представитель трудового народа, он говорит о себе: «А нас, мужиков...» Он с особенной издевкой повествует о «начальстве», о чиновниках-полицейских, которые обирают народ, отнимают у него, у Сени Малины, его баснословно-богатые уловы. Однако при помощи того же «оглушительного ружья» старый помор отшибает у злодеев память и всяческое понимание, а после этого, как на заправской упряжке, на них же из лесу дрова вывозит. Да и «морожены песни» оказались столь удалыми, столь по-мужицки «весомыми», что когда они оттаяли, то королевская семья и все заморские купцы, хоть нашему языку и не обучены, а все поняли.

Следует заметить, что в фантастически-замысловатом мире, где все «наоборот», а не как в пейзажах Писахова, психологический облик Сени Малины, казалось бы, было невозможно выразить без преувеличений и искажений. Однако в том-то и заключается «тайна» художественного таланта Степана Писахова, что в создании характера Сени Малины он оказался верен

именно реалистическим принципам изображения, что Сеня Малина, вместе с его «антиреспектными небывальщинами», воспринимается как человек, которого ты когда-то хорошо знал или мог знать.

Без излюбленного краснословия, а вполне серьезно он говорит: «Я худого не выдумываю...» И добавляет: «...а норовлю, чтобы всем хорошим людям хватило да любо было». Об этих хороших людях он больше всего и печется, об их добром, веселом расположении духа он и радуется. Зато откровенной издевке в сказках Писахова подвергается непомерное увлечение модой, пустословие, жадность, скупость, недоброжелательность, глухота к прекрасному в природе и мире. Примечательны в этом смысле его байки о городских и деревенских модницах, об одной уемской женке, прозванной в народе Перепилихой. Удивительно смешны эти байки!.. У Перепилихи голос был необыкновенной пронзительной силы. Она в лесу медведя этим голосом убила. Да и мужа своего пилила-пилила и пропилила насквозь, так что сквозная дыра в нем засветилась. Правда, это лишь присказка. А сказка — впереди. И чем дальше, тем свободнее фантазия, замысловатее образы, которые и делали сказки Писахова явлением уникальным, неповторимым... Доктор дыру осмотрел, велел деревянную пробку сделать. И вот с пробкой стал ходить мужик. «А как пробку вынет, — продолжал свою байку Сеня Малина, — дух через дыру пойдет и заиграет музыкой приятной. Перепилихин муж наловчился: пробку открывает и закрывает, и на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста»... К слову сказать, слушатель мог усомниться в этой «музыке», но в чем он не имел права сомневаться, так это в том, что голос Перепилихи в конце концов был использован уемцами с «опчественной пользой»: Перепилиху послали в лес дрова пилить.

3

Почти в любой небывальщине Писахова имеется свой «секрет»: такими «секретами» обладали и знаменитые великоустюжские ларцы, обитые «морозом по жести». Чтобы открыть ларец, необходимо было отыскать шляпку гвоздика, нажать ее, а затем — обнаружить тайничок для ключа. Подобные «секреты» имеют-

ся почти в каждой сказке Писахова. И вот что интересно: в отношении к слову здесь особенно ярко обнаруживается высокий эстетический вкус и дар воображения художника-архангелогородца. Многие народные выражения и слова, к которым мы привыкли, которых в повседневной речи не замечаем, Писахов воспринимал как человек, наделенный особенно острым, «предметным» зрением. Например, существует общеобиходное выражение: «сморозить». Но для Писахова это слово стало еще одним секретным ключиком, открывавшим заветный мир сказок и небывальщин. Писатель начинает варьировать эмоционально-смысловые оттенки этого самого слова «сморозить», чтобы постепенно воссоздать облик зимнего, заснеженного, сказочного Беломорья. Бывало, рассказывает Сеня Малина, девушки вечером выйдут на улицу, «песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтового отсвечивает цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумщицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят... Весной на солнышке песни затают, зазвелят. Как птицы как невиданны запоят. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!»

Действительно, краше этого описания северной зимы и весны «нигде ничего не живет!». Но с особенным наслаждением Писахов обыгрывал имя рассказчика — имя Сени Малины. «Пойдемте к Малинину дому в малиновом свете гулять!» — так решают девушки в сказке «Снежные веки». А как объяснить, как истолковать словами и разумением главного героя те малиновые зори, которыми так славен русский Север?.. Ведь от этих зорь, продолжающихся с сумерек до утреннего света, по всей Уйме свет идет. И вот вновь помогает смекалка Сене Малине найти убедительный ответ. Да потому, говорит этот расторопный житель Уймы, что он самолично кустов малиновых на дно реки посадил. И эти малиновые кусты совсем по-другому в воде стали расти, чем на сухой земле: «...как ягоды поспевать начнут, так со дна реки малинова наливка подымается...» Правда, рассказчик тут же лукаво предупреждает: «...черпать эту наливку надо только поутру...» И далее следует пейзаж, характерный для Писахова художника-реалиста: «Солнышко чуть осветит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойный, а в одном месте за-

бурлит, как самовар на том месте кипит, — тут вот и есть малинова наливка».

Даже по этому отрывку можно судить, насколько остро чувствовал Степан Писахов «секреты» зрительных впечатлений. Этот сильный малиновый цвет запечатлевается на сетчатке глаза, распространяется на всю деревню, на всю северную природу.

Уже в первой байке, опубликованной в 1924 году, Писахов пообещал читателям «всю сушшую правду» рассказать про Архангельский край, про своих земляков-поморов. И если исходить из главных тенденций его творчества, то он сказал ту правду, которая тем-то и прекрасна, что она необычна и вместе с тем верна — верна по мироощущению, по пафосу, по идеалу. Потому-то и единственная книжка Писахова «Сказки» оказалась «томов премногих тяжелей», ибо в ней, в этой книжке, заложен заряд великого жизнелюбия, бодрости, веселья и столь же великой любви к родной северной Руси. Не случайно в день восьмидесятилетия писателя Леонид Леонов прислал приветственную телеграмму, в которой были такие слова: «Без Вас не мыслю Севера».

СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

В начале двадцатых годов в Вологде, на Железнодорожной улице, недалеко от Золотухи, жил художавый подросток. Бегал в соседнюю школу первой ступени, катался на санках с речных откосов, а вечерами всегда что-нибудь рисовал или лепил из глины, которую приносил все с той же Золотухи и оттаивал у себя в комнате. Мать была неизменно добра к нему и не ругала за то, что штаны и рубашка его всегда были в глине и пятнах краски. Так и в тот памятный вечер он долго возился с комком глины, прикидывал так и эдак, сминал начатое и принимался лепить все заново на фанерном листе, служившем ему станком. А когда просушил произведение да еще раскрасил его, то втайне был обрадован своему упорству. Получилось!..

Крохотный, лысый как лушь, старичок-лесовичок стоял перед ним, опираясь на суковатую березовую палку. Розовая рубаха была перехвачена пояском, синие, полуспущенные порты и лапотки дополняли его наряд. Забавно скосолопившись, старичок стоял перед юным художником почти «всамоделишным» деревенским дедом, но было в его облике и что-то лукавое, добродушное, как лукавы и добродушны деревенские поверья про гуменника и лешачка. Эти поверья мальчик не раз слышал на родине своего отца, в деревне, куда он приезжал погостить летом.

И вот через сорок лет, в 1964 году, известный

скульптор Сергей Михайлович Орлов перевел «Старичка» в фарфор. Первая полудетская работа была дорога ему и как память о родном Заволочье, и как вещь, которая определила его судьбу художника-монументалиста. Но об этом надо рассказать особо.

Восемнадцатилетним юношей приехал Сергей Орлов в Москву. Привез он с собою десяток акварелей, рисунков, набросков и несколько статуэток из глины, в том числе и «Старичка». Мечтал он попасть в один из художественных институтов Москвы, но мечтам не было суждено осуществиться. И вот Сергей Орлов переступил порог Музея керамики и фарфора, который был в те годы в столице.

Встретил его известный собиратель произведений прикладного искусства и малой пластики Алексей Викторович Морозов, бывший фабрикант, родственник знаменитого Саввы Морозова, а в 1929 году — просто слушающий музея.

Сергей Орлов показал ему рисунки и акварели; старик довольно бегло пробежал их глазами, отложил в сторону и выжидательно посмотрел на посетителя. Тогда-то самодеятельный художник, смущаясь и уже окончательно теряя надежду на какие-либо перемены в своей судьбе, извлек из ветоши «Старичка».

Алексей Викторович долго рассматривал глиняную статуэтку, поворачивал ее в разные стороны, казалось бы, недовольно и презрительно шевелил губами — и вдруг закричал на сотрудников музея, находившихся в этой же комнате:

— Какого черта вы все ищете? К нам нагрянул талант бесспорный, а вы все ездите за тридевять земель, все сетуете, что оскудела земля русская талантами... Смотрите! — И Морозов торжествующе поднял статуэтку.

Так вологодский слесарь Сергей Орлов стал одним из сотрудников Музея керамики и фарфора.

До чего все-таки разнообразна эта истинно русская душа!.. В акварелях Орлова, в его пейзажах — спокойствие, мягкость, задушевность. Художник выбирает те перламутровые, дождливые дни лета и осени, когда светится все — и мокрый асфальт, и мокрые крыши домов, и гладь ленинградских каналов, и перспективы огромного города, как бы пронизанного дождевой пылью.

Наоборот, в пластике, в фаянсе, в фарфоре — взрыв темперамента, буйство фантазии, такая былинная удаль, когда силушка по жилушкам так и переливается, когда от избытка этой силы можно и поозоровать, и посмеяться добродушно, и задуматься всерьез. Фантазиям нет предела. Да и как же иначе: ведь скульптор ставит перед собой задачу, сложнее которой и выдумать трудно. Он хочет волшебную русскую сказку воссоздать в цвете и объеме. Древний Египет, Греция, Ренессанс дали несравненные образцы цветной скульптуры. Сергей Орлов пошел своим путем. Он широко использовал как достижения древней и западноевропейской, в частности немецкой, пластики, так и отечественной скульптуры. Но корни его — в фольклоре русского народа. «У меня есть один принцип, — говорил однажды художник, — которым я руководствуюсь всю жизнь. Нет искусства малого, но есть искусство в большом и малом. Художественность следует выискивать, выглядывать в окружающем мире и не лениться, делаешь ли ты малую вещьцу или монументальный скульптурный «портрет».

Но странно, может быть в чем-то несправедливо, сложилась творческая судьба Сергея Орлова. Вероятно, нет такого приезжего, такого гостя Москвы, не говоря о коренных жителях столицы, который бы мельком, хотя бы невзначай не взглянул на памятник Юрию Долгорукому, что установлен напротив Моссовета. Я думаю, если бы бронза могла запечатлеть на себе эти взгляды, то их насчитывались бы миллионы. Действительно, памятник этот в обрамлении респектабельных зданий нельзя не заметить: он поставлен так, как будто всегда стоял здесь, в центре скверика, выходящего на самую оживленную магистраль столицы — на улицу Горького. И кажется, что всадник — легендарный Юрий Долгорукий — внезапно осадил коня, властно простер вперед руку: отсюда пойдет и будет идти вечно Москва-народ!.. Сергей Орлов в своей торжественной, безусловно, выразительной фигуре сумел соблюсти верность традициям классического монументализма и сохранить личный взгляд на историю, на прошлое, на будущее русского народа.

«Я хотел в чертах его лица, во всем его облике, — говорил позднее Сергей Михайлович о Юрии Долгоруком, — передать ту мужественную народную красоту,

которая вызывает представление о русских былинных богатырях».

К слову сказать, труден был путь к осуществлению этой общей идеи. Еще в молодости Сергей Михайлович написал маслом портрет «Плотник дядя Алексей». В дальнейшем по мотивам этой картины им был создан скульптурный портрет русского крестьянина вообще. А затем, в результате сложной метаморфозы, некоторые черты мужественной народной красоты, присущие и вологодскому плотнику, и этому крестьянину, были переданы древнерусскому витязю. Ведь скульптор хотел выразить то, что он уловил в народном самосознании в дни войны и в первые послевоенные годы: красоту сдержанной силы, собственного достоинства.

Подобной же обобщенностью и одновременно конкретностью замысла был отмечен памятник Афанасию Никитину в Калининe, а также эскизы памятников Степану Разину и Суворову, увy, оставшиеся не воплощенными в металл. Короче говоря, академик Сергей Михайлович Орлов и современникам, и далеким потомкам вероятнее всего будет известен как скульптор-монументалист.

А как же малая пластика? Как же изумительный старичок-лесовичок?..

Здесь, по-моему, необходимо оглянуться в прошлое. Может быть, случайно, а может, наоборот совсем не случайно, но весной шестьдесят шестого года я узнал о персональной выставке Сергея Михайловича Орлова в здании Академии художеств СССР на Кропоткинской. И пошел на эту выставку, и пошел еще раз и еще, но уже познакомившись со скульптором, побывав в его мастерской возле Белорусского вокзала. Пошел, чтобы — в дальнейшем — вспоминать об увиденном в тех самых парадных и просторных залах, где в шестьдесят шестом я впервые вступил в особый мир, созданный полетом фантазии и пронизанный «русским духом», как неким солнечным лучом. В то время еще господствовала «узаконенная» правда в искусстве, и в первую очередь в скульптуре, еще всячески поощрялся жизнеподобный реализм в формах самой жизни. Однако Сергей Михайлович стал на этой выставке провозвестником совсем иного — самоценной «музыки форм»: может быть поэтому его малая пластика на долгие годы оказалась «непризнанной», и он эту свою не-

признанность весьма болезненно ощущал вплоть до кончины.

Как известно, фарфор и фаянс — материал холодный, трудный для пластики. И нужно исключительное художническое чутье, чтобы фаянс или фарфор заиграл «телесными», теплыми тонами, чтобы он приобрел радужность, праздничность, насыщенность колеров и оттенков, которые есть в росписях по фаянсу и глине у народных умельцев. Вот в духе этих умельцев, а также живописцев-иконников Сергей Орлов использовал широко и свободно насыщенно алый, синий, желтый цвета, поскольку, по словам одного искусствоведа, сочетание красного, синего, желтого прекрасно выражает, в частности, сущность «пресвятой рублевской троицы». Более того, Сергей Орлов смело и талантливо использовал все оттенки аметистового цвета, который особенно изыскан, чудесен, таинствен и особенно трудно поддается воплощению в материале.

Подолгу простаивая в залах выставки, в которых можно было встретить и знаменитых художников, и обычных любителей прекрасного и в которых Сергей Михайлович мог часами рассказывать о принципах своего творчества, я понял главное: скульптор ведет многолетний спор со «здравым разумом», ибо этот «здравый разум», по меткому суждению Даниила Гранина, приучает человека к прагматизму, к делячеству, делает его излишне расчетливым и рациональным. Вопреки всему этому Орлов хотел и в форме и в цвете воссоздать поверия, сказки, фантазии русского народа, испокон веков живущего среди «великого леса» и «великой воды», народа, который выжигал делянки для посевов, преклонялся перед стихийными силами природы, обожествлял их, но не без лукавства говорил себе и другим: живем в лесу, молимся колесу.

Формой, линией, цветом Орлов хотел выразить это простодушное лукавство северных крестьян, среди которых были изумительные рассказчики волшебных сказок и стародавних преданий. Ведь лес — а он стоял стеной сразу же за деревней, кольцом окружал пашни и сенокосные угодья, — так вот этот великий северный лес был полон всяческого волшебства, он населялся бесподобными образами фантазий, которые вместе с тем хранили отзвуки глубочайшей, еще языческой, еще дохристианской старины: были здесь и страшила, и гу-

дики, и лешачки, и баенники, и гуменники, и берегуши, и несть им числа. И все они обладали одним свойством — оказывались добрыми, забавными, смешными, лукавыми духами, иначе сказать, домашними ларами, но никогда не были жестокими, бесчеловечными, страшными, демоническими существами.

Замечательно, что в облике самого Сергея Михайловича мало что сохранилось от такого сказочника-кудесника, как, например, сохранилось это в обличии архангельского старичка-лесовичка Степана Григорьевича Писахова и в его по-северному витиеватой речи. Нет, Сергей Михайлович являл собою образ нашего современника: его седые волосы россыпью, его бритое лицо, его хорошо пошитый костюм — все говорило о нем как о художнике, много поработавшем и много пережившем. Тем удивительнее, что именно он испытывал некий пантеистический восторг перед северной природой, что именно он ощущал ток крови, который бродил в корнях родного Заволочья. Может быть, поэтому ему удалось свершить невозможное — выразить бессознательную гениальность земляков-северян.

Вокруг стендов на выставке, о которой идет речь — я это видел сам — собирались многочисленные и благодарные зрители. Еще бы!.. Ведь на этих стезях были расположены такие шедевры малой советской пластики, как «Орущий лешачок», «Маленький гудик», «Зеленый страшила», «Бубик», как «Иван-царевич на сером волке» или «Ведьма в полете». Всех работ не перечислить — их десятки, а если собрать по музеям страны и зарубежных стран, то сотни: результат многолетних поисков, находок, открытий, ошибок.

Обычно в сказках добро сталкивается со злом — и добро всегда побеждает. Но так случается далеко не всегда. В иных случаях скульптор сталкивал зло со злом. Такова его фантастическая шутка: «Драка. 1946 год». Но и зло Сергея Орлова вызывает чуть приметную улыбку. Как я уже говорил, в его замысловатых, радужных фантазиях многое идет от этой едва уловимой улыбки, этой лукавинки. Да и как же иначе! Черпая образы и сюжеты из кладезей северной поэзии, Орлов оставался не просто художником, а философски мыслящим гражданином своей эпохи. Его фарфоровые и монументальные изваяния — предельные обобщения, «сгустки» художественных пристрастий человека-творца.

Нынче мало кто даже из учеников младших классов поверит в существование лесных духов и чудищ: в век электроники научная фантастика стала захватывающим чтением и для детей, и для взрослых. Человеческий разум срывает покровы с тайн природы, он лишает тот же северный лес его древнего очарования — ведь на любой поляне можно услышать шум трелевочных тракторов, а в небе — рокот почтовых и рейсовых самолетов. Но лишиться в искусстве всей этой красоты — красоты наивного верования в чудесное, — было бы добровольным обеднением себя. К сожалению, иногда раздаются голоса людей, которые, надо думать, родились на свет лысыми догматиками и начетчиками, усматривающими во всяком обращении к сказочным истокам и образам ни больше ни меньше как возрождение вредных, мистических верований патриархального крестьянства. Лишенные эстетического вкуса, они тычут указующим перстом в создания, подобные чудесному «Бубику» или «Лешачку», и трезвонят об утрате художником «чистоты» идеологии.

Но в книге отзывов на работы Сергея Михайловича Орлова мне запомнилась одна примечательная запись. Вот она: «Дорогой Сережа! Я очарован твоими работами на выставке. Умно, талантливо и хорошо. Все мои друзья-единомышленники восхищены также твоей фантазией и прекрасным исполнением... Любящий тебя С. Коненков».

Старейшина советских художников по достоинству оценил редкостное дарование своего собрата по профессии.

Вот он, его «Орущий лешачок»!.. На лесной коряге выросли хрупкие опята, сыроежки и еще какие-то тонконогие грибки. Из этого изумительного грибного царства возникает фигура лешачка. О чем он, махонький и забавный, кричит в лесные чащобы? Кого скликает? Кого хочет остановить или позвать на помощь? Он — сказка, с этой сказкой невозможно расправиться, с ней трудно расстаться. Да пожалуй, и не к чему расставаться с «Лешачком», потому что он — овеществленная красота!

...Сейчас, заканчивая свой очерк, я вновь вспомнил, как с толпой посетителей медленно обходил выставоч-

которая вызывает представление о русских былинных богатырях».

К слову сказать, труден был путь к осуществлению этой общей идеи. Еще в молодости Сергей Михайлович написал маслом портрет «Плотник дядя Алексей». В дальнейшем по мотивам этой картины им был создан скульптурный портрет русского крестьянина вообще. А затем, в результате сложной метаморфозы, некоторые черты мужественной народной красоты, присущие и вологодскому плотнику, и этому крестьянину, были переданы древнерусскому витязю. Ведь скульптор хотел выразить то, что он уловил в народном самосознании в дни войны и в первые послевоенные годы: красоту сдержанной силы, собственного достоинства.

Подобной же обобщенностью и одновременно конкретностью замысла был отмечен памятник Афанасию Никитину в Калининe, а также эскизы памятников Степану Разину и Суворову, увы, оставшиеся не воплощенными в металл. Короче говоря, академик Сергей Михайлович Орлов и современникам, и далеким потомкам вероятнее всего будет известен как скульптор-монументалист.

А как же малая пластика? Как же изумительный старичок-лесовичок?..

Здесь, по-моему, необходимо оглянуться в прошлое. Может быть, случайно, а может, наоборот совсем не случайно, но весной шестьдесят шестого года я узнал о персональной выставке Сергея Михайловича Орлова в здании Академии художеств СССР на Кропоткинской. И пошел на эту выставку, и пошел еще раз и еще, но уже познакоившись со скульптором, побывав в его мастерской возле Белорусского вокзала. Пошел, чтобы — в дальнейшем — вспоминать об увиденном в тех самых парадных и просторных залах, где в шестьдесят шестом я впервые вступил в особый мир, созданный полетом фантазии и пронизанный «русским духом», как неким солнечным лучом. В то время еще господствовала «узаконенная» правда в искусстве, и в первую очередь в скульптуре, еще всячески поощрялся жизнеподобный реализм в формах самой жизни. Однако Сергей Михайлович стал на этой выставке провозвестником совсем иного — самоценной «музыки форм»: может быть поэтому его малая пластика на долгие годы оказалась «непризнанной», и он эту свою не-

признанность весьма болезненно ощущал вплоть до кончины.

Как известно, фарфор и фаянс — материал холодный, трудный для пластики. И нужно исключительное художническое чутье, чтобы фаянс или фарфор заиграл «телесными», теплыми тонами, чтобы он приобрел радужность, праздничность, насыщенность колеров и оттенков, которые есть в росписях по фаянсу и глине у народных умельцев. Вот в духе этих умельцев, а также живописцев-иконников Сергей Орлов использовал широко и свободно насыщенно алый, синий, желтый цвета, поскольку, по словам одного искусствоведа, сочетание красного, синего, желтого прекрасно выражает, в частности, сущность «пресвятой рублевской троицы». Более того, Сергей Орлов смело и талантливо использовал все оттенки аметистового цвета, который особенно изыскан, чудесен, таинствен и особенно трудно поддается воплощению в материале.

Подолгу простаивая в залах выставки, в которых можно было встретить и знаменитых художников, и обычных любителей прекрасного и в которых Сергей Михайлович мог часами рассказывать о принципах своего творчества, я понял главное: скульптор ведет многолетний спор со «здравым разумом», ибо этот «здравый разум», по меткому суждению Даниила Гранина, приучает человека к прагматизму, к делячеству, делает его излишне расчетливым и рациональным. Вопреки всему этому Орлов хотел и в форме и в цвете воссоздать поверия, сказки, фантазии русского народа, испокон веков живущего среди «великого леса» и «великой воды», народа, который выжигал делянки для посевов, преклонялся перед стихийными силами природы, обожествлял их, но не без лукавства говорил себе и другим: живем в лесу, молимся колесу.

Формой, линией, цветом Орлов хотел выразить это простодушное лукавство северных крестьян, среди которых были изумительные рассказчики волшебных сказок и стародавних преданий. Ведь лес — а он стоял стеной сразу же за деревней, кольцом окружал пашни и сенокосные угодья,— так вот этот великий северный лес был полон всяческого волшебства, он населялся бесподобными образами фантазий, которые вместе с тем хранили отзвуки глубочайшей, еще языческой, еще дохристианской старины: были здесь и страшила, и гу-

ные залы на Кропоткинской и какие ассоциации возникали у меня тогда, когда я рассматривал то добродушного «Бубика», то страшную «Войну», которая летит на немыслимых скоростях и вопиет торжественно и пронзительно. Вероятно, еще дольше я пребывал тогда возле «Фауста и Мефистофеля», исполненных в цветном фарфоре. Художник своеобразно понял гетевский замысел: его Фауст и Мефистофель не только две фигуры — это один человек в своей раздвоенности. Один — отрицание, ирония, разъедающий скепсис, другой — поиск, надежда, вечное стремление к познанию мира и сотворению добра. Под скачущими всадниками — спящий средневековый город. Фауст чуть касается ладонью белой конской гривы, он не торопит коня, он ласкает его; рука же Мефистофеля указывает в бездну: властным жестом Мефистофель ведет к тьме и мраку. Причем оба коня — аллегорическое изображение неостановимого движения: колени коней, как шатуны в моторе, работают вразнобой, но именно они-то и передают образ стремительных скоростей XX века.

Я вспоминаю, как вместе с другими посетителями перешел к стеклянной витрине и увидел по добрым улыбкам окружающих, что нужно пристальнее осмотреть ее. Батюшки!.. Там, за стеклом, передо мной стоял лукавый старичок: забавно скосолапив ноги, волной распустив бороду, опершись на батожок, он кого-то ждал. Может быть, меня?.. А может, это вовсе не та фигурка? Да нет, это «Старичок!» Точно! И дата под ним: 1924 год.

Вряд ли стоит говорить о том вихре чувств, которым я был подхвачен возле этого стенда. Далекая Вологда двадцатых годов, откосы речки Золотухи, комната в доме с облупившейся штукатуркой, фанерный лист и чуткие, покрасневшие от холода пальцы мальчугана, впервые ощутившего власть искусства, — вот что я увидел, увидел и запомнил навсегда.

ЗЕМЛЯ ОЛОНИЯ

Может, это и была Кобона: мы выскочили на площадь с укромной церквушкой, домами в пышной резьбе, горбатым мостиком через какую-то речку или канаву... И круто развернулись у ближайшего палисада, Кондровский даже мотор «Явы» не заглушил. Он торопливо покуривал, по-журавлиному вытянув вперед ноги, пока я осматривался вокруг, пытаюсь увидеть хоть кого-нибудь из местных жителей.

В морозящей мгле никого не было видно: горбатый мостик, проулки, причалы, лодки на канаве были пустынные. Лишь отдаленный гул, доносившийся со стороны озера, оживлял эту странную, предвечернюю деревню.

— Вообще-то — хватит с меня твоей распрекрасной земли Олонии, — Кондровский отстрекнул сигарету к палисаду. — Ложимся на обратный курс!..

Спорить с ним было бесполезно: полдня мы петляли по проселкам Приладожья и никак не могли найти Кобону.

«Ява» рванулась, понеслась в сторону автомагистрали Тихвин — Ленинград. На крутых виражах нас так прижимало к земле, что инстинктивно я начинал клониться в обратную сторону, а Кондровский не имел возможности даже оглянуться или обругать меня: он горбатился за рулем, он сливался с обочиной, дрожащей, словно яичный желток, под мотоциклетной фарой.

Временами нас обдавало волнами света, дождевой пыли, бензинной гари — это на встречной скорости пролетали грузовики и автобусы; после них мрак становился более непроглядным, а обочина дороги более неверной и зыбкой. И чем ближе к городу, тем чаще в нас ударяли волны дождя и света. Однако Кондровский нигде не сбавлял скорости, притормозил лишь у первого ленинградского светофора. Он оглянулся на меня: его марсианские очки, закрывавшие пол-лица, сверкнули победительно и устало.

...Теперь, спустя много лет, все было по-иному: ехал я не с отчаянным мотоциклистом Кондровским, а с рассудительным критиком и литературоведом Владимиром Соломоновичем Бахтиным, и не на какой-то там никелево-оранжевой, стреляющей выхлопной трубой «Яве», а на спокойной, я бы даже сказал, добропорядочной «Волге». Правда, цель поездки оставалась прежней: добраться до земли Олонии, до Кобоны, затерявшейся среди пашен и перелесков.

Мысленно я возвращался к ней не однажды, ибо не однажды вспоминал изречение Гете: чтобы понять поэта — надо отправиться в страну поэта. А я хотел понять поэта, хотел сравнить впечатления, возникшие при чтении его книг, с живыми впечатлениями бытия, хотел обрести, говоря высоким штилем, историческую прapамь. Короче, я направлялся в Олонию уже после того, как описал ее в своих трактатах. Так что же такое Кобона?

Кобона — это старинное рыбацкое село, стоит оно на воде, да и вокруг него вода: через село протекает речка Кобонка, которую пересекает старая канава — обводной ладожский канал петровских времен, а ближе к озеру — еще один канал — екатерининских времен. Каналы были прорыты из-за бурного нрава Ладоги: застигнутые бурей суда подолгу стояли в устьях рек, не выходили в озеро, а если и выходили, то терпели бедствие в ладожских волнах. Не потому ли за бури да за крутой нрав прозвали Ладогу местные жители морем. Редко радует их шелоник — ветер с реки Шелони, которая течет по новгородской земле. Все больше суровый сиверок да зимник, прокатная волна да непроглядный туман. И все-таки ладожане не столько сидели по избам, сколько рыбачили. Так повелось с незапамятных времен. А времена эти сохранились в ле-

тописях, исторических сочинениях, былинах, песнях, побывальщинах. О прошлом Ладоги рассказывают весьма красноречиво и местные названия деревень, речек, пуштошей, лесов. Есть среди них старорусские названия — Княжбор, Царево, Иваньково, есть карельские и вепские названия: село Мегра в переводе с угро-финского означает место, где водилось много барсуков; речка Оять переводится как «ручей»... Название села Кобоны, вероятнее всего, произошло от угро-финского корня: хобони — осина, по-другому, заросший осинами берег... А весь этот обширный и озерный край до сих пор в просторечье зовут Олонией. Слово это, как гласит старинное сказание, было придумано новгородскими ушкуйниками. Не понимая местных жителей — оятской чуди, еми, корелы, — новгородцы-корабельщики пытались подражать их языку: оло-ло, оло-ло... Отсюда якобы и пошла Олония.

В древних новгородских грамотах она называлась то Обонежской пятиной, то просто Обонежьем. Это были порубежные славянские земли. Ладога открывала прямой путь через Неву — в Варяжское море, а через Свирь — в Заволочье, дальше — к самому великому Пермскому камню — Уралу.

Когда во второй половине прошлого века русские ученые — этнографы и фольклористы — обратились к изучению и собиранию памятников древнерусского эпоса, то их взоры прежде всего привлек русский Север — Заволочье, Обонежье, Беломорье. Приладожье — только часть этого поэтического «заказника», где на скрещении исторических путей народов развилось и получило распространение сказовое и песенное исполнительство, где были записаны лучшие образцы былин. Надо было ожидать, что край, в котором так обильно были родники народного искусства, явит миру нового поэта, наделенного особой чуткостью к раздольной, красочной, сочной русской речи, к самой музыке северного говора. И таким поэтом стал Александр Прокофьев. Он родился здесь, в Приладожье, в селе Кобона 2 декабря 1900 года.

Прокофьевы — из потомственных ладожан. Они осели в этих местах при Екатерине II, а возможно, еще при Петре, когда со всей Российской империи были согнаны на Ладогу работные люди рыть обводной канал. Вместе с русскими и карелами здесь страдали от холо-

да и голода тысячи казаков бывшей Запорожской Сечи. Тогда-то и родилась в Приладожье песня:

Мы канавушку копали,
Все ею мы проклинали:
На канавушку на конях,
А с канавушки-то пеша.

Мысль о том, что род Прокофьевых — из бывших запорожских казаков, высказал однажды сам поэт. О запорожцах напоминают и отдельные названия в Олонии, к примеру Черниговское поле под Кобоной. Но как бы то ни было — «земля не досыта кормила великих предков», — это с горечью отметил поэт и пояснил, что с самого раннего детства помогал отцу и матери в хозяйстве: мережи вязал, выезжал со взрослыми на рыбную ловлю...

Покачиваясь в сойме, где-нибудь возле каменного острова Птинов, Саша Прокофьев подолгу мог следить за Ладогой. Заполняющая и озеро и небо голубизна рождала в нем скрытый восторг. Может быть, ему вспоминались стихи или старинные сказания, вроде сказания о земле русской: «Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота, окиян-море! Ширь-раздолье да по всей земле...» На закате облака многоярусно дымились над горизонтом. словно табуны алых коней, они шли к неведомому водою... Озеро в малиновых отблесках пляшет вокруг лодки и, постепенно светлея, течет туда же — к пламенному солнцу. Чудится, что по этой малиновой дорожке можно плыть и плыть, не взмахивая веслами, не ставя парус, а лишь повинуюсь этому струящемуся движению воздуха и воды.

А сколько радости доставлял ему приезд коробейников! Коробейники приезжали в Кобону с вечерним парходом из Шлиссельбурга. Привозили они, помимо разных товаров, дешевые книжки. Встречать такой вечерний парход собиралось все село — и старые и молодые, — это была здешняя традиция. Возле схода — многолюдное гулянье: праздник, да и только! Правда, бывали и другие деревенские праздники, хотя бы тройца. Окна и двери в избах — настежь: слышен гомон люд-

ских голосов, звон посуды, чистая дробь каблуков. По селу — разноголосица тальянок, ливенок, хромок. Вдоль деревенского «порядка», украшенного привядшими безрезками, идут парни. В центре — тузом — гармонист. Озорно выкрикивают они частушки. Хором подхватывают припевки. Навстречу им ряд за рядом плывут девушки и молодайки. Широленные воланы, пузырьчатые рукава кофт, кованные питерские полусапожки — все по последней, городской моде. Старухи судачат о своем на резных крыльцах. Ребятишки стайками перелетают от одного посада к другому. Голосисто выводит какая-то молодуха:

Слава богу, год прошел,
На Ояти лед пошел.
Сяду я на льдиночку,
Споведаю картиночку.

Шумит ладожская застолца. К полуночи пьяный гомон — сильнее. У какой-то избы дерутся, выхватывают колья из изгороди, гоняются друг за другом. Но бывало в таких праздничных драках и другое. Вспомнятся старые обиды — и подымают руку брат на брата, сын на отца. В ход пускаются ножи...

Шумит ладожская застолца. Все в ней вперемежку: радость и печаль, веселье и злоба, смех и горькие слезы. Наутро надо браться за тяжелые весла — под праздники задолжали питерским прасолам: на неделю, не меньше, уходят ладожане в озеро, где ждет их удача, а может, и гибель в холодной волне.

И нет у рыбаков другой надежды, кроме как на Чудотворца Николая да на Илью Пророка. «Илья Пророк многомилостивый, утиши ты бурю страшенную, дай ты росу благодатную», — будут беззвучно повторять матери и жены перед скорбными лампадами. Станут они часто-часто выбегать на угорье — не виднеется ли излатанный парус, не стихает ли грохот вспененной пучины?..

Вот примерно с какими мыслями и воспоминаниями я проезжал вдоль однообразных корпусов на восточной окраине Ленинграда.

...А день выдался солнечный и холодноватый. Бывает такой в последних числах октября, когда спокойное безмятежное сияние небес позволяло оглядывать землю

особенно пристально и беспристрастно — вплоть до той самой паутинки, что, как известно, блестит на праздной борозде. Ленинград давно остался позади. Теперь вдоль автострады струилось дымчатое мелколесье, отсчитывали расстояние бетонные столбы, вставляли и сразу же пропадали всевозможные указатели. Но вдруг, как взрыв: «Станция Мга». Всего-навсего дорожный знак... Он мелькнул и — остался позади. И уже не было спокойного сияния небес, медлительных перелесков, а было то особенное состояние души, которое есть забвение и сегодняшнее бытие.

Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу.

Где-то здесь родились эти дерзкие строки Павла Шубина. Где-то здесь тонул в болотных хлябях танк Сергея Орлова, истекал кровью взвод Александра Межирова... Дорожные знаки. Садовые домики. Обелиски. Столбы. И мгинское послевоенное мелколесье.

От развилки «Волга» пошла вдоль ровной, натянутой, как струна, канавы. Я узнал ее, это был старый обводной ладожский канал. Однако встречные поселения чем-то неуловимо напоминали друг друга: то ли заброшенными полуразрушенными церквями, то ли дачными домиками, то ли этой старой канавой, с коричневой затравеневшей водой. Правда, Владимир Бахтин уверял меня, что дорога непременно приведет нас в Кобону. Но когда мы подъехали к селу, то он, по правде сказать, не сразу узнал Кобону. Такая же полуразрушенная церковь. Такие же дачные домики. Такие же бетонные столбы. И все-таки это была Кобона.

О Ладога-малина,
Малинова вода,
О Ладога, вели нам
Закинуть невода.

Ветер с Ладоги пролетал над шиферными крышами поселка, кружил листву на дорогах, рябил воду в Кобонке, действительно пересекавшей и старую канаву, и новый екатерининский обводной канал и сливавшейся за увалами с озерной голубизной! Нет, теперь я бы не мог сказать, что поселок мне показался ладожским Китеж-градом с деревянными мостиками и деревянным пышным узорочьем домов. Скорее — это был обычный

дачный пригород, хотя и удаленный от Ленинграда на сотню с лишним километров. Даже гранитные опоры моста напоминали — и не без оснований — гранитные набережные Невы. Может быть, все дело было в том, что в дни войны Кобона выгорела почти дотла. А может, потому, что старых жителей здесь почти не осталось: этот «неперспективный» населенный пункт, говоря языком официальных бумаг, должен был исчезнуть рано или поздно с лица земли. А пока здесь поселились дачники-ленинградцы. Вместе с тем новейшая история Кобоны, как и всей Олонецкой земли, богата событиями и многими славными делами. Отсюда, из устья Кобонки, в ноябре сорок первого года ушла на Ленинград первая автоколонна с хлебом, ушла по неокрепшему ладожскому льду, чтобы положить начало знаменитой ладожской Дороге жизни...

Я помню иссиня-бледные лица блокадников, выведенных через Кобону в мой родной город. Они заполняли пристанционные пути, вокзальные помещения, эвакуопункты. Но я помню и другое: загородные траншеи, едва присыпанные комьями земли, расклеванные вороньем мертвые лица, судорожно сжатые пальцы рук... Ленинградцы умирали прямо на перроне, на чемоданах и узлах, а ведь казалось, что они уже преодолели все, уже выбрались... Немало таких траншей было и здесь, в окрестностях Кобоны, траншей, сожженных автомашин, разрушенных бомбами укрытий. Земля Олония пережила все это и ничего не забыла, как не забыли этого и мы с Бахтиным.

...Голубого сияния над озером мне так и не довелось увидеть — октябрьское солнце слепило глаза, высвечивало старую колокольню, фанерные листы на заколоченных окнах домов, пожелтевшую траву на кладбище, приткнувшемся к поселку. И я поражаюсь этому нестерпимо-четкому освещению окружающего мира и думал, что, пожалуй, лучше было бы мне жить одной давней-предавней поездкой с Кондровским, когда мы пролетали, как черные демоны, по сказочно-тихим деревням Олонии.

Вот с таким обостренным чувством грустного недоумения, что ли, мне и пришлось бы, наверно, вернуться в Ленинград, если бы не Владимир Бахтин. Неугомимый собиратель фольклора, он повсюду возил с собой издававший виды магнитофон. Правда, мне как-то не ве-

рилось, что после всего, что повидала и пережила Олония, здесь могли сохраниться хотя бы слабые отзвуки достославной старины. Не случайно Владимир Бахтин рассказывал мне, что теперь ему все чаще приходится отправляться то к липованам-некрасовцам в Румынию, то к старообрядцам в Польшу... Однако я не спорил с ним по поводу магнитофона. Кто знает,—думал я, проходя мимо стоянок автомашин и домиков дачного типа,—может, магнитофон, захваченный в дорогу, пригодится здесь, в Кобоне, записать хороший вариант песен Рождественского? Кто его знает — в наше время случается и не такое.

В чистой, обставленной по-городскому комнатке нас принимала Анна Дмитриевна Прокофьева, родственница — по мужу — Александра Андреевича Прокофьева, прославленного поэта-земляка. Разговор шел долгий, шел он об общих знакомых, о примечательных местах, связанных с детством поэта, который в Кобоне ходил в школу, писал первые полудетские стихи... Да мало ли о чем могут говорить добрые люди, не встречавшиеся друг с другом много лет: Бахтину и раньше приходилось бывать в Приладожье, и не только бывать, но и гостевать у Анны Дмитриевны. Вот и теперь хозяйка наша выставляла на стол угощение, доставала из шкафчика заветный графинчик. А когда Бахтин стал уговаривать ее спеть что-нибудь, как он выразился, только для науки, она не отнекивалась, не отговаривалась, а согласно кивнула головой и пододвинула ближе магнитофон.

Пела Анна Дмитриевна тихо-тихо, как поют про себя и для себя. Эта ее сокровенность поразила меня: ведь в моем воображении старинная песня требовала обрядовой пышности, условности, какого-то особого, может быть, торжественно-оперного обрамления; иначе она вовсе не существовала для меня, иначе она не была так называемой русской народной песней, исполняемой так называемым народным хоровым коллективом.

Но удивительное дело: в тихом — почти шепотом — исполнении Анны Дмитриевны меня теперь не стесняли, не раздражали все эти многочисленные повторы, все эти протяжные окончания слов, все эти «ой» да «ах», которые пришли к нам из дальней дали.

То не мак цветет да не огонь горит —
То цветет-горит сердце молодецкое,
Ой, сердце молодецкое да атаманское...

Удивительно ладно и задумчиво выпевала Анна Дмитриевна, выпевала, выговаривала, высказывала:

Ой, цветет-горит сердце молодецкое,
Сердце молодецкое, атаманское
Не по батюшке и не по матушке,
А по одной душе красной девице.

Анна Дмитриевна отставила магнитофон, задумалась... Приготовившись слушать длинную, однообразную и, как мне казалось, скучную песню, я был вроде бы даже разочарован, даже смущен этой выразительной и краткой концовкой... Она не полагалась народной песне, она полагалась песне, сочиненной поэтом. Но Анна Дмитриевна вновь приблизила к себе магнитофон — и я услышал тихий речетатив, в котором снова были слова необыкновенной выразительности и красоты:

...Ах, я первый сон заснула — нет милого дружка,
Второй сон заснула — день белая заря...

...Когда мы вышли на улицы поселка, то белая заря октябрьского полдня сильно и ослепительно сияла над северной Русью. Бог ты мой, — размышлял я, — каким чудодейственным хрусталиком обладал Александр Прокофьев.

Кого из нас в детстве не удивляло многообразное преобразование мира, когда мы подносили к глазам осколок цветного стекла и одним движением руки изменяли знакомые цвета и краски. Но детские забавы — позади. Лишь Прокофьев сохранил непосредственное, подетски чистое восприятие мира. Не потому ли и земля Олония была для него иной, чем для нас, — более раздольной, распевной, украшенной. И народное слово являлось для него тем самым хрусталиком, той призмой, которая разлагала дневной свет на семь цветов радуги и вновь воссоединяла их в непрерывно струящихся отблесках северной зари.

...Последний раз Александр Прокофьев побывал в Кобоне в 1969 году. Как вспоминала Анна Дмитриевна, поэт был особенно взволнован дорожными впечатлениями — лесами, перелесками, болотцами, пашнями, мелькавшими по обочинам дороги, — и самой встречей с Кобонкой. Он прошел вдоль речки Кобонки к старым

елям, постоял, перейдя переулок, возле трех березок, некогда посаженных им на отцовском подворье, повернул обратно, вышел к двухэтажному зданию, в котором, как и в дни его детства, звенел школьный звонок и раздавались детские голоса. Потом отвязал лодку и уплыл в озерную даль.

Тихо пришептывала за бортами лодки озерная волна. В вольном просторе звенели лодочные моторы. Восходили из-за горизонта облака. Вечностью и покоем веяло от этой неоглядной голубизны.

...Вместе с Владимиром Бахтиным мы стоим у штакетника, за которым высятся три березы, запорошенные осенней желтизной. Теперь на одной из них — алюминиевая табличка:

Почти над самым плесом,
Почти что над водой
Шумят, шумят березы,
Посаженные мной.

Александр Прокофьев

Под ровным напором ветра шумят прокофьевские березы. Но в этом шорохе берез, шевелении трав на бывшем подворье чего-то не хватает. Такое ощущение было до той поры, пока не возник, не слился с шумом листвы тихий голос: мой спутник, повинувшись внезапному порыву, включил магнитофон.

То не мак цветет да не огонь горит —
То цветет-горит сердце молодецкое...

Пожалуй, ничего другого лучше невозможно было придумать. Ибо так же цвело и горело сердце поэта любовью к этим березам, лесам, озерным далям, к этой Олонии, к этой России.

БЕРЕГИНЯ

Березовым у нас зовут озерный берег. Если говорят: пойдём на Березовый, значит, держи на березу в селе Высоком — её отовсюду видать. Так и повелось: Березовый да Березовый. Село Высокое всего в двух километрах от озера, а ведет к нему Черная дорога. В нашей местности у каждой деревни своя черная дорога, потому что сразу же за песчаным бугром начинается низина, болотная топь. В жаркие дни, когда дурманно цветет багульник, когда над головой стоит комариный звон, а под ногами чавкает темная жижа, только эта дорога и выведет тебя из зарослей ольхи.

Вот так и повелось: береза в селе Высоком известна всей округе — кто в озере по ней ориентир держит, кто с болота по Черной дороге к ней выбирается.

Стоит береза за крайней избой Евлаши Лопатиной; где кончается уличный порядок, там — на взгорке — она и стоит. По весне этот взгорок раньше других обсыхает. Поля в снежных заносах, дорога в наледи, а у Евлашиного крыльца — капель; здесь землей оттаявшей пахнет, здесь допоздна галдят деревенские ребяташки, играя в «чижа». Под избой-пятистенкой поставлены скамеечки — хорошо сидеть здесь высококовским старикам. Видать им и синеву небес, и Большую дорогу, уходящую на Вологду, и старую-престарую березу. Кора возле

корней в трещинах, в наростах, но выше как бы прокопченный ствол светлеет, выбрасывает рогатины, подымает их выше к небесам и опускает из поднебесья темными длинными прядями, которые всегда раскачиваются на ветру.

Не возле ли этой суковатой и кудреватой березы водили девки хороводы:

Высоковская берёза, береза
Среди поля стояла, стояла,
Она листьями шумела, шумела,
Златым звенчиком звенела, звенела.

Сарафаны у девок цветастые, рубахи красным узором вышиты, шали — шелковой вязки, а сами хороводницы плывут, мелко-мелко перебирая питерскими полусапожками.

Парни из села нагрянут тучей, встанут возле березы да как ухнут под гармонь озорную частушку — хоровод врассыпную: смеху-то, веселья-то — до первых майских звезд.

А сколько здесь было встреч и прощаний, сколько слез пролито, обещаний понапрасну дано; проезжали мимо березы подводы с мужиками, проезжали одна за другой то на германскую, то на гражданскую, то — потом — на Великую Отечественную, и долго-долго, когда скрывалась околица села, когда обступали дорогу хлеба, виднелась им высококовская береза. Уезжали подводы, битком набитые мужиками, а возвращались солдаты по одному. И подолгу стояли на взгорке, прислонившись спиной к березе, не решаясь войти в родное село.

Когда я сижу в горнице Евлаши Лопатиной, никакая работа не идет на ум: то и дело выглядываешь в окно на высококовскую березу. Подгонит шофер грузовик, раскинет ватник на взгорке, перекусит — и запыхтел дальше. Вечером подымется к ней пастух и, словно верховный правитель, сурово оглядит стадо, текущее в селение. В ночной мгле долго будет светиться девичий платок, раздаваться смех, слышаться пиликанье гармошки.

А наутро — стук в дверь — приезжий человек к Евлаше с просьбой: дай стаканы или испить ковшик водички. Выглянешь по привычке — все правильно: под березой «газик», шофер на подножке покуривает, приятеля дожидается.

Изба Евлаши Лопатиной на отшибе, а народ у нее толчется день-деньской. И уполномоченный заглянет, и цыганка забредет, и молоденький солдат-отпускник попросится на ночлег, и соседки придут почаявничать. Всем рада бабка Лопатиха, всех привечает.

Дочери у Евлаши — в Иванове, муж давным-давно пропал на войне без вести — вот на людях-то ей и веселее коротать свой век. «Онной, батюшка, немого-ту, — сокрушалась иногда Евлаша, — хожу, как архiereй, от окон до дверей». И показывала мне, как ходит, пришаркивая, по половицам, как томится одиночеством, когда вокруг никого нет.

Приезжал я сюда в дни школьных, студенческих, аспирантских каникул, бывал и позднее — во время летних вакансий. Но из года в год ничего не менялось в избе Евлаши Лопатиной. В сенях пахло укропом и сухими березовыми вениками. В первой половине избы с огромной печью висел медный рукомойник, по лавкам вдоль стен стояли рамки для сот, пестери, лежало разное шитье, а на столе кипел старинный самовар, украшенный медалями. Вторая половина избы — чистая горница, куда поселяла меня Евлаша, — всегда пестрела половиками. И была светлой из-за этих половиков, стеклянной горки, кровати с никелированными «шишечками», из-за обилия грамот, дипломов, семейных фотографий и вышитых полотенец, которые висели на рамке настенного зеркала. Я настолько привык к убранству горницы, что не задумывался — почему эти полотенца Евлаша не давала мне в баню или на озеро. На тот случай у нее в сундуке был припасен холщовый утиральник. Полотенца же, обрамлявшие зеркало, были необыкновенно красивы и узорчаты — сначала шел узор по косой клетке с ромбами, за ним вышиты красные копы, а заканчивали вышивку кружева, сплетенные из толстых, суровых ниток.

Немало довелось мне повидать в деревнях висящих в переднем углу полотенец, но — покаюсь — ни разу я не подошел к ним, не разглядел узор, не полюбопытствовал: давно ли да и зачем они здесь висят? Висят, ну, пусть себе висят, наверно, чтоб мухи не засидели зеркало. Да и вообще, думал я, как по-деревенски наивен и не современен этот обычай вывешивать в комнате полотенца, расписывать печку какими-то цветочками.

Интереснее для меня были фотографии. С годами их все прибывало, однако каждый раз я разглядывал их с прежним любопытством, узнавал то брата Евлаши — усатый солдат в бескозырке застыл у чахлой пальмы, то ее сына — на петлицах два кубаря, а шея тонкая-тонкая, то дочерей — две толстощеких хохотушки выглядывают из-за высококовской березы, смотрят прямо в объектив. Да и в других избах мое внимание привлекали именно эти пожелтевшие от времени открытки, любительские тусклые карточки, моментальные фотоснимки, вставленные под одно стекло, разрозненные, разновеликие, случайные... Между семейными фотовитринами и полотенцами, обрамлявшими их, для меня не существовало очевидной связи. Наоборот, насколько жадно я всматривался в лица знакомых и незнакомых людей, настолько был равнодушен к вышитым полотенцам, считая — и не только по молодости лет — эти изделия досадным пережитком прошлого. А она была, эта связь, если вдуматься, была...

Мальчонкой я любил хрусткую белизну холщовых полотенец, любил, когда мама приносила их после стирки с мороза и они колом стояли на полу комнаты, любил, когда от них пахло снежком и морозным ветром. Полотенца оказались тем немногим, что привезла мама из деревни. Да и им была рада, начиная городское житье, обживая комнатку в коммунальной квартире. А сколько таких полотенец было сложено в рабфаковские чемоданчики, в холщовые мешки допризывников, в корзинки домработниц и нянек?! Сколько их уносила с собой северная деревня, подавшись в город?! И в одной ли нашей необъятной стране побывали вышитые кубеноозерские великоустюжские, тотемские, каргопольские полотенца?!

Как-то под городом Краковом во время минометного обстрела я спрыгнул в окоп. Солдат-пехотинец, пережидая обстрел, занялся сидором — фронтовым вещмешком. Такова старая солдатская привычка — отвлекать себя каким-нибудь делом. Поочередно пехотинец доставал из сидора масленку, теплое белье и наконец вынул запасной автоматный диск, завернутый в полотенце, — кружева сваялись, ружейное масло проступило на вышивке, но холстинка так и осталась холстинкой — я узнал ее по тусклой голубизне.

— Откуда, землячок?..

Щелкнул зажим, пехотинец вставил новый диск в автомат.

— Да вот сунула женка,— не поняв вопроса, ответил солдат. И нечто похожее на осуждение просквозило в его голосе — только заскорузлые пальцы невольно распрямляли складки полотенца.

Вечером, после прорыва немецкой обороны, я случайно натолкнулся на этого солдата. Он лежал полузасыпанный землей. Сидор был сорван, скудное армейское имущество рассыпано возле воронки. Знакомая холстинка проглядывала сквозь мерзлые комья земли — вся она была в бурых пятнах крови.

И все-таки в моем сознании никак не укладывался тот факт, что вышитое полотенце сопровождало жителя Заволчья от колыбели до гробовой доски. Полотенцем перепоясывали дружку жениха, на полотенце подавали хлеб-соль, на полотенцах же несли гроб к погосту. И солдат, убитый под Краковом, видел в холстинке иное, чем я. По-другому видела, понимала эту холстинку и Евлаша.

...Всю-то зиму прядут девки по избам, а потом с веретен нитки перематывают в мотки, а эти мотки мочат в корчагах с золой, а затем на реке их толкут в ледяной ступе со снегом да полощут в самой проруби. Из тех толченых, прополосканных мотков ткут они на крѣснах полотно. Холщовые-то концы опять стоят в корчагах со щелоком, опять девки их полощут и раскидывают на мартовский снег. На весеннем-то солнышке отбеливают полотно да опять полощут в весеннем прудике да несут в низинку на коромысле — стелить по лугам, по мелким лужицам. Со следующей весны девки начинают все сызнава, пока полотно не станет белым-белым. А потом вышивают концы двусторонним швом или росписью и выводят этой росписью досюльный, по-другому сказать, значит до сию пору придуманный, старинный узор. И зовут этот узор красная развода «гусиная плоть», развода «по одному цветку в гнездо», а то и заглавная развода «деревьё большое».

Бывалоча, ночей не спишь — узор вышиваешь. На свадьбу-то по семьдесят полотенец дарили — и свекру-батюшке, и свекрови-матушке, и дружкам жениха, и попу, и дьячку, и учителю. Нитки — красные, в городе покупные, а холстина белая — домашнего тканья. Узор-то

меленький: в девичестве от матери, от бабки-озерухи перенят. По узору женихова родня смотреть станет— велика ли молодуха рукодельница да чит ли молодуха прежноту деревенскую? А мастерицы по деревням — ой, батюшко, какие водились! Вот и не подымень от шитья головы, тратишь золотые денечки на разное рукоделне...

...Не шумит, не гудит високовская береза под окнами горницы Евлаши Лопатиной, а стекает с ее ветвей желтая медь. И прежде чем упасть, долго колышутся мелкие листики в воздухе, загустевшем от синевы и утренних заморозков, тихо-тихо ложатся на пологие склоны угорья. Обнажаются свисающие из поднебесья ветви, кучнеют грачиные гнезда, приметнее блещет белизна коры — и нет сил избавиться от ощущения безвозвратной утраты чего-то прекрасного, что зовется, может быть, этой же високовской березой, которая хороша в желтом убранстве, но которая обнажается при полном безветрии, устилает вокруг себя луговину золотыми монетками.

Разговоры с Юрием Арбатом, превосходным знатком никольских прялок, каргопольских глиняных игрушек, древних икон «северного письма», вологодских кружев и вышивок, вероятнее всего, сдвинули меня с «мертвой точки». Этот интерес к бытовой культуре старых русских деревень в какой-то степени испытали многие из нас. Например, размышляя о способности чувствовать красоту и глубокую содержательность древней иконописи, Ефим Дорош приходит к выводу, что не последнюю роль здесь сыграла сама наша современность, утверждающая иное понимание искусства и иные требования к нему, нежели иллюзорное воспроизведение натуры. И затем в нескольких абзацах писатель раскрывает эволюцию своих эстетических взглядов.

«...Я убежден,— писал Ефим Дорош,— что лично мне, например, французские импрессионисты с их культом цвета буквально открыли глаза на цвет русской иконописи, что отсутствие классической перспективы в произведениях многих художников нашего времени, их склонность к обобщенным формам приучили меня к композиции и условным формам иконы».

Уверен, что и Юрий Андреевич Арбат испытывал не-

что подобное, потому что был он и писателем, и художником, и человеком, тонко чувствующим «открытый» цвет импрессионистов и предельную обобщенность форм в произведениях древнерусских художников, а также изысканность, завершенность северного узора.

Юрий Арбат был по-человечески скор на подъем — сегодня он уезжал на Печору, а завтра мог вернуться из Рима или Никозии. И свой писательский долг он видел не только в том, чтобы заразить читателей увлеченностью, лучше сказать, одержимостью миром прекрасного — заходила ли речь о резных кониках с Печоры или об археологических раскопках на Кипре, но и быть точным во всех сферах искусства, о которых он писал.

Именно этому писателю я обязан тем, что народные ремесла, народное прикладное искусство, народная иконопись стали обретать образ сказочного северного бора. Немалые расстояния надо было преодолеть, чтобы приблизиться к этому бору, но, замороженный рассказами Юрия Арбата, я двинулся на поиски чудес, которые до времени таил от меня северный бор, уходивший куда-то за горизонт, скрывавшийся во мгле столетий.

И начал я с «деревья большого», которое так и не удосужился рассмотреть на полотенцах Евлаши Лопатиной. А ради него вышивался весь узор.

В 1921 году при Государственном Российском историческом музее была устроена выставка крестьянского искусства. Среди немногочисленных посетителей выставки ее экспонаты — полотенца, прялки, рубели, туеса и многие другие предметы бытового обихода русских крестьян — долго и пристально рассматривал почтенный ученый, профессор В. А. Городцов. Был он археолог с мировым именем и этнографией увлекался как одной из побочных отраслей археологической науки. Но здесь, на выставке, профессор откровенно изумился, встретив в произведениях крестьянского искусства пережитки глубочайшей старины. Особенно заинтересовала профессора Городцова сюжетная композиция на вышитых архангелогородских и вологодских полотенцах. В центре этой композиции помещался некий узор, весьма устойчивый в общих очертаниях. Правда, узор, похожий на магический знак, претерпевал удивительные метамор-

фозы — иногда в нем проступали очертания дерева, иногда — женской фигуры, но чаще то и другое как бы сливалось вместе. Это была древовиднопроросшая богиня с поднятыми вверх крючьями-руками. Две другие части этой композиции являли собою изображение двух «прибогов» — всадников на конях, двух фениксов, жар-птиц, петухов, короче, вариаций здесь было великое множество. И все-таки главное место занимала богиня, то выпускавшая из рук-крючьев птиц, то державшая поводья коней «прибогов». Сами всадники высоко поднимали длани с жестом адорации, то есть молитвенного благоговения.

Необыкновенная устойчивость этой композиции, ее четкое графическое исполнение, равномерно заполненный фон — все вместе взятое не могло не восхитить профессора. Он был безоговорочно убежден, что в этой композиции скрывается ключ к древнейшему культу славян — культу матери-природы.

Позднее, в 1926 году профессор В. А. Городцов высказал некоторые общие соображения на природу северной вышивки. В этой вышивке он различил отзвуки языческих мифов о круговороте мировой жизни, о культе матери-земли, он увидел пережитки верований, которые восходили к отдаленнейшим эпохам в развитии человечества. Значение этой работы заключалось в том, что он первый связал воедино разрозненные области — археологию и этнографию и, по словам академика Б. А. Рыбакова, получил «двухтысячелетнюю перспективу и научное представление о древнерусском язычестве». И помогли ему в этом северные вышивальщицы, которые красными нитками на белом полотне рассказали о некогда бытовавшем во всей Европе культе великой богини природы.

Профессор Городцов задался главным вопросом: уяснить, что это была за женщина, которая пользовалась таким вниманием русских крестьян, что означала она сама и сопровождавшие ее символы? И профессор пришел к убеждению, что это — мать всего сущего и живого.

Невольнo возникал и встречный вопрос: почему же в сонме славянских дружинных богов не упоминается ее имя? Да потому, отвечал профессор, что крестьяне забыли имена своих кумиров, так как произносить эти имена уже более тысячи лет строго воспрещалось. Культ

языческой «царицы небесной», имя которой было заменено северными крестьянами ее стилизованным изображением, ее зрительным символом, может быть, продолжал В. А. Городцов, был перенесен на христианскую царицу небесную. Дальнейшие изыскания привели к возникновению ряда новых предположений. По одному из них «мать сыра-земля» исторических песен и плачей — это и есть неизвестная богиня древних славян. По другому — неведомую богиню называли девой Живой, по аналогии с древнейшими мифами западных славян: в средневековых чешских сборниках дева Жива изображалась женщиной с цветами в руках, она символизировала богиню плодородия и жизни. Но самое убедительное, по-моему, предположение выдвинул Б. А. Рыбаков, назвав ее Берегиней. В некоторых древнерусских рукописях упоминается поклонение берегиням как наиболее древний, именно язычески изначальный культ среди восточных славян. В смысловой связи с Берегиней находятся такие слова, как «берине» — глина, земля; «береза» — священное дерево славян; «оберег» — амулет, талисман. Все эти слова так или иначе родственны культу богини-оранты. Ее геометризованная обобщенная фигура была обнаружена на полотенцах, на прялках, кружевах, в росписи по дереву и вообще на большинстве предметов крестьянского обихода. Фигура эта величественна и монументальна. Она действительно похожа на «деревьё большое», которое со временем приобрело бытовой оттенок; мифологические всадники превратились в крестьянских карюх, а жар-птицы — в петухов и «рябых курочек».

Славяне-солнцепоклонники никогда не знали символов смерти — черепов и скрещенных костей; потустороннее царство представлялось им царством вечного солнца. Тысячелетия они поклонялись «древу жизни» или богине-оранте Берегине, в честь которой в эпоху язычества воздвигались храмы, которая вся была пронизана солярными знаками — ромбами, точечными кружками, спиралевидными дисками, выражавшими не одну лишь смену времен года, но и вечный круговорот жизни и даже вихреобразное строение Вселенной.

Однако только ли у славян была эта богиня-оранта? Ведь профессор В. А. Городцов говорил, что вышитые северные полотенца — отзвуки верований, восходивших к древнейшим эпохам в развитии человечества...

...Вставали столбы пыли в лучах вечернего солнца. Горели жертвенные костры. Скакали всадники — они несли весть о победе великой богини Табити. По словам Геродота, эта богиня больше других почиталась у скифов, ибо была она богиней домашнего очага, прародительницей степных племен. У всадников, несущих радостную весть, — золотые бляшки на одежде, золотые наборные пояса, шаровары, заправленные в сыромятную обувь, по бедрам быют гориты — футляры с луками и стрелами, ножны коротких боевых мечей — кинжалов. Их волосы до плеч и густые бороды треплет встречный ветер. Они спешат к Табити — богине плодоносящих сил, которая требует жертвоприношений, требует причащения к ней жертвенным вином. Вот почему всадники никогда не расстаются с ритонами — сосудами для питья, украшенными золотыми пластинками. Скифские чеканщики по металлу и греческие мастера-рабы на ритуальных сосудах, горитах, поясах, бляшках, нашитых на одежду, изобразили все ту же великую мать степных народов. Спустя тысячелетие археологи извлекут из скифских могильников, захоронений и тайников эти изображения. О них-то и вспомнит профессор В. А. Городцов на выставке северных вышивок, его-то, в первую очередь, и поразит сходство «дерева большого» на северных полотенцах с изображениями скифской богини-женщины с поднятыми вверх руками. Именно таково, например, скифское божество на серебряном блюде, найденном в Чертомлыке. Столь же часто в археологических раскопках встречается изображение женщины, ноги которой переходят в растительные побеги, а иногда в змеевидные завитки. Позднее ученые увидят здесь отзвук мифа о происхождении скифов, которые, по словам Диодора Сицилийского, произошли от совокупления Зевса с полуженщиной, полужмеей Эхидной. Но особенно полно обряд поклонения скифской богине Табити запечатлен на треугольной пластинке из Карагодеушха. Богиня одета в длинную рубашку с пышными рукавами. На голове у нее священный убор — калаф, символизирующий плодородие. Бородатые всадники-скифы подняли руки с жестом адорации, молитвенного благоговения.

Не эти ли скифские всадники совершали стремительные набеги на дунайские гарнизоны римлян?.. И не их набеги запомнил, не о них ли писал Овидий Назон в своем тяжком изгнании?

Шли столетия. В первые века нашей эры из Зауралья на богатые степи Таврии и Северного Кавказа надвинулись хорошо вооруженные дружины сарматов и меотов. Степь огласилась скрипом повозок, ржанием табунов, воинственными возгласами и криками. Повозки сарматов — с длинными ступицами и легкими ободьями — были удобны не только для быстрого передвижения, но и жилья. Кузова повозок составлялись из легких дощатых планок, на обручи натягивались шкуры и ткани — эти походные шатры хорошо предохраняли воинов от холода и зноя. Многочисленные дружины савроматов, или сарматов, были вооружены длинными кавалерийскими мечами. В непрестанных стычках с местным населением, которое дралось мечами-кинжалами, пригодными для пешего боя, но неудобными в конном бою, сарматы поголовно вырубали вражеских воинов и постепенно оттесняли скифов в сторону степной Таврии.

Пришельцы сарматы поглотили культуру местных племен, не нарушив их хозяйственного и бытового уклада. Правда, верования сарматов претерпевали известные изменения — они вбирали местные скифские языческие представления, перерабатывали их в духе собственного культа. Так появились знаменитые «дунайские образки»...

Я снова вспоминаю то время, когда, путешествуя по Молдавии, собирая легенды, связанные образами цыганки Земфиры и Алеко, я попал в село Юрчены, где и познакомился с директором местной школы, энтузиастом-краеведом Павлом Петровичем Андриешем.

Юрчены располагаются вдоль длинного, а в летнюю пору пыльного сельского большака — справа и слева стоят молдавские касы под черепичной или камышовой крышей, с жердевыми частоколами, на которых там и тут торчат перевернутые глиняные горшки. Сельская школа мало чем отличалась от всех этих хат. Андриеш привел меня в школьный музей. Удивительный это был музей! Все его экспонаты школьники нашли или в пыли дороги, или на ее обочинах, или возле родительских хат. Великие переселения народов, походы завоевателей, битвы, сражения — все было живой историей села Юрчены. На стендах музея располагались коллекции монет — от маленьких, чешуйчатых монеток с профилем

римского императора Трояна до больших монет с профилем германского кайзера Вильгельма II. Столь же разнообразным оказалось и вооружение, — от медных скифских наконечников стрел до проржавевших стволов пехотных винтовок. Но самыми интересными в музее были, конечно же, свинцовые таблетки с полустершейся, плохо сохранившейся фигурой богини-женщины, воздевшей длани вверх. Конечно, я не мог предположить, что пройдет какое-то время и я встречу с подобным изображением на полотенцах и старинных кружевах в краеведческих музеях Севера. А ведь это был образ Берегини!

Среди солдат «вечного города» в позднеримскую эпоху были и кельтские легионеры, и сарматские конные дружинники. Вдали от родных степей и лесов эти солдаты поклонялись своей владычице, изваянной на «дунайских образках». Легионеры вели битвы с народами, заселявшими окраины римской империи, хотя бы с малоизвестным народом — даками, пока в 107 году нашей эры римский император Троян не нанес им сокрушительное поражение. Предводитель даков Децебал лишился жизни, многие даки отошли в неизвестную римлянам страну. В этих битвах большие потери понесли и даки, и римские тяжело вооруженные воины, и сарматские конные дружины, выступавшие на стороне римлян. Сарматские образки, имевшие вид храмиков с двухскатной крышей, погребались вместе с погибшими солдатами, лежали в прахе военных дорог, как лежала и та свинцовая пластина, которую я увидел в селе Юрчены.

...Число выписок из археологических и искусствоведческих трудов растет. Наслаиваются на них разные воспоминания, дай волю — и воспоминания уведут меня опять в Заволоцкую землю, к которой я всегда возвращаюсь к концу лета или в весеннее половодье. А еще я возвращаюсь к нему мысленно: хочу представить себе, что поделявает в этот зимний вечер Евлаша Лопатина.

...Стелется ночная поземка по полям, переметает колен Большой дороги, раскачивает заледенелые ветви высоковской березы... В стонущем мраке рвутся снеговые

заряды и осыпают колючим снежком притихшие сельские дворы. Да и вся округа, кажется, притихла, пританлась, оглушенная порывистым ветром, погребенная под волнами сугробов. Над коньками крыш пролетают тучи. И не видать на небе ни зги. Лишь на долю секунды блеснет над вершиной высококовской березы звезда — и тут же пропадет в летящей полуночной мгле.

Окна в избе Евлаши Лопатиной до половины засыпаны снегом. В их зыбком, призрачном свете белеет угол русской печи, которая как будто все раскачивается и медленно выплывает на середину избы. Сама же Евлаша потерялась на лавке среди ворохов одежды. С вечера прижало Евлашу — невыносим был приступ грудной жабы. — вот и не может она лечь в постель, вот и мается, сидя на лавке до рассвета: то приляжет, то поспит, склонив дремотно голову, подставив под ноги днище старой корзинки. Когда у загнетки неистово взвывает ветер, поднимет Евлаша голову, обвязанную темным платком, пробормочет: «Ох, и погодушка...» — и снова впадет в забытие. И не в силах она отличить, что привиделось ей во сне, что наяву приключилось. То вдруг станет светло, светло, чадно от дыма махорки, шумно от молодых голосов. Вроде бы это зимние посиделки... Игла прокалывает туго натянутое полотно, быстро-быстро ложится стежок ко стежку, распускается красное дерево на глазах у Евлаши. Странно, как оно тянет вверх крючья-руки, как начинает приплясывать, притоптывать, мести широким подолом пол, как, закружившись в танце, оборачивается самой Евлашей. А то найдет на старую кружевницу затмение. Но и сквозь черноту пробьются отблески белой зари, проскачут бело-розовые кони, гикнут всадники в белых рубахах, протянут ладони к высококовской березе...

Спина у Евлаши занемела от долгого сидения, упала рука, выпустив из пальцев иголку. Евлаша вздрагивает, кряхтя, подымается, идет к окошку: в снежной замети тонет, тонет вся округа и нет конца метельной ночи.

Я взглянул на часы: без четверти пять. Стеклянные стены читального зала синеют ранними зимними су-

мерками. Всего несколько минут назад, отвлекшись от книг, я погрузился в странное мечтание, а вот уже зажглись под потолком висячие люстры и засветились огни настольных ламп. Включаю и я свою лампу — круг света падает на стопки книг, на листы раскрытой тетради. Еще некоторое время, чтобы привыкнуть к яркому свету, рассматриваю рисунок славянского городища. Это — Родень, поселение, возникшее в устье реки Рось не позднее VI века нашей эры. Но бревенчатый частокол и крохотные избушки, столпившиеся внутри частокола, почему-то мало удовлетворяют меня. Я не увидел в городище священного изображения Берегини. Конечно, реконструкция произведена в соответствии с археологическими раскопками, но в одном из первых укрепленных поселов «росов» должно было быть изображение Берегини...

«Богатырский народ Рос», известный по древним письменным памятникам, получил свое наименование от речки Рось — так полагает академик Б. А. Рыбаков. Ведь в двух формах «рос» и «русь» встречается это слово в летописях, применительно к племенам Приднепровья и бассейна реки Рось. Такое созвучие не могло быть случайным.

Восточные славяне были в полной мере автохтонами, то есть наследниками тысячелетней земледельческой культуры. Но пришлые кочевые иранские племена — скифы и сарматы — распространяли свою культуру и на эти области: здесь происходила активная ассимиляция разнообразных тенденций, взаимное обогащение культур соседних народов. Вот почему в могильниках русов или росомонов находится немало всевозможных украшений, языческих оберегов-амулетов с коньками, птицами, рыбами. Но чаще всего встречается изображение древовиднопроросшей богини. Амулеты-обереги были предметом торговли и обмена между племенами, они распространялись как среди славянских, так и финно-угорских племен. Такими украшениями и были медные шумящие подвески, которые я увидел несколько лет назад в тотемском краеведческом музее. Разглядываю одно из них: к небольшой медной пластинке на цепочках прикреплены миниатюрные коники, ложечки, ключики, топорики, гребешки. Многие из них украшены типично славянским орнаментом: точечные кружки — знак солн-

ца, змейки — знак молнии. Да и каждый такой привесок имел особое значение: конь — символ добра; топорик — символ грозного божества Перуна-громовика; ключик — символ богатства; наконец, гребешок — символ домашнего довольства и домашнего очага. Вот на этом-то крошечном гребешке-амулете и я усмотрел две стилизованные головки коней, обращенных к центральному изображению божества в виде ромба... Это, конечно, был знак Берегини!

Но языческие верования и языческое искусство постепенно отодвигалось в глубь северных лесов и там на протяжении многих столетий оно сохраняло свое влияние на жизнь русской деревни.

Теперь же верования этих древних людей самым неожиданным, самым счастливым образом обнаруживаются в произведениях народного искусства. «Деревьё большое» стало центром узора и, конечно, давно потеряло всякое магическое значение. Этот необыкновенно красивый узор можно найти на прялках-символах домашнего очага, на полотенцах, применявшихся как ритуальная ткань во время свадеб, похорон, встречи властей, а позднее — на рубахах, кружевах, на всем, к чему прикасались трудолюбивые руки деревенских мастериц. Столь же многовековую историю имел и обычай вывешивать в избах праздничные полотенца, или, по летописному, уборы. В глубокой языческой древности они вывешивались на священных деревьях славян — березах — берегинях, затем — на священном дереве — иконе. В наши дни — на рамке фотографии или зеркала. Вот этот-то древний обычай, сохранившийся в силу привычки, и заставил бабушку Евлашу вывешивать в горнице полотенца с красной вышивкой и кружевами, которые я не нашел минуты как следует рассмотреть.

...Щелкает кнопка выключателя. Я протираю усталые глаза, собираю тетради, складываю книги. В огромном читальном зале редко-редко увидишь горящую лампу — сегодня суббота, и зал опустел. Сколько же дней прошло, как Юрий Арбат увлек меня в это чудесное и такое немислимо трудное путешествие? Не знаю. Да и спросить об этом некого...

Но я все-таки отыскал в волшебном северном бору «деревьё большое», отыскал Берегиню и поразился тысячелетней мощи ее корней, несказанной ее красоте.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕВЕРНЫЕ ФРЕСКИ

Память сердца	6
Чудесный город	15
Соколёна	18
Барашки	22
Ласточки и купола	25
«Ланчик»	27
Сей добро	29
Полет в грозу	32
Телеграмма	34
Вестник победы	37
Страна Прометеев	41
Перынь	43
Посвящаю Карелии	55
Мальчик	60
Поющий автобус	63
Кизи	66
Деревянная песня любви	69
Берег Олешки	71
Крека	74
Пятница из Бросачихи	83

ЛИРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

ДИОНИСИЙ	106
За монастырской стеной	106

Утешение Дионисия	115
МЫЗА ЛАВОЛА	142
ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ	181
ЭТИ БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ	232

ГРАНИ ВЕКОВ

ЛЯПУН И РАЙДА	258
ПИТОМЕЦ МУЗ	291
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ	319
ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ СИРОТИНА	354
ЛАДОЖСКИЙ ВОЯЖ	373
РЕКА ЖИЗНИ	393
СОТВОРЕНИЕ МИРА	421
ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ	429
ОГНЕННОЕ ВОДОПОЛЬЕ	470
УЗОРЫ СЕНИ МАЛИНЫ	483
СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК	493
ЗЕМЛЯ ОЛОНИЯ	501
БЕРЕГИНЯ	511

Валерий Васильевич
Дементьев
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
Том 1

Редактор *К. Евграфов*
Художник *Е. Наскова*
Художественный редактор *В. Поклова*
Технический редактор *Л. Анашкина*
Корректоры *Г. Голубкова, Г. Панова*

ИБ № 2616. Сдано в набор 10.11.81. Подписано к печати 08.06.82.
Формат 84×108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага
тип. № 1. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 26,01.
Тираж 20 000 экз. Заявка 449. *****изд*****

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного
комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевося-
на, 25

Цена 2 р.

